

НОВОБЫИ  
МИР

НОВОБЫИ МИР

1969

11



1969

# Н О В Ы Й М И Р

ЛИТЕРАТУРНО - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Год издания XLV

№ 11

Ноябрь, 1969 г.

---

О Р Г А Н С О Ю З А П И С А Т Е Л Е Й С С С Р

---

## СО Д Е Р Ж А Н И Е

	Стр.
Н. ТИХАНОВ — <b>Побег</b> (Рассказ ветерана)	3
ИРАКЛИЙ АБАШИДЗЕ — <b>Клад</b> , стихотворение. Перевел с грузинского Юрий Ряшенцев	20
ИВАН ДРАЧ — <b>Два стихотворения</b> . Перевели с украинского В. Павлинов, М. Винецкая	21
НАТАЛЬЯ БАРАНСКАЯ — <b>Неделя как неделя</b> , повесть	23
АНАТОЛИЙ ЖИГУЛИН — <b>На родине</b> , стихи	56
МАРА ГРИЕЗАНЕ — <b>Три стихотворения</b>	59
НИКОЛАЙ ВОРОНОВ — <b>Голубиная охота</b> , повесть	61
ХАЛЛДОР ЛАКСНЕСС — <b>Птица на изгороди</b> , рассказ. Перевела с исландского В. Морозова. Предисловие Геннадия Фиша	89
РОБЕР ДЕСНОС — <b>Два стихотворения</b> . Перевел с французского М. Кудинов	96
ЛЕВ ГИНЗБУРГ — <b>Потусторонние встречи</b> (Из мюнхенской тетради). Окончание. Послесловие Г. Н. Александрова	99

### НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ

ИВАН ЩЕДРОВ — <b>Партизанскими тропами Лаоса</b>	145
--	-----

### В МИРЕ НАУКИ

М. ВОЛЬКЕНШТЕЙН — <b>Наука людей</b>	178
--------------------------------------	-----

### ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Е. КРАСНОЩЕКОВА — <b>Под чистыми звездами правды и человечности...</b>	204
А. ВОЛОДИН — <b>Раскольников и Каракозов</b> (К творческой истории статьи Д. Писарева «Борьба за жизнь»)	212

(См. на обороте)

---

ИЗДАТЕЛЬСТВО  
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»  
Москва

## СОДЕРЖАНИЕ (продолжение)

	Стр.
<b>КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ</b>	
<i>Литература и искусство</i>	
<b>С. Бабенешева.</b> По страницам журнала «Север». — <b>Ф. Искандер.</b> «В прибое женщина из бронзы...» — <b>А. Дементьев.</b> Символ веры поэта. — <b>Д. Николаев.</b> Внимание: шаржеграммы! — <b>И. Варламова.</b> Шесть метров счастья. — <b>З. Паперный.</b> Литература и «ведение». — <b>Э. Кузьмина.</b> Великая проверка.	232
<i>Политика и наука</i>	
<b>Л. Зак.</b> Борец революции, строитель культуры. — <b>Д. Фурман.</b> Путь к исторической правде. — <b>С. Троицкий.</b> На заре отечественной дипломатии. — <b>С. Владимиров.</b> Решающий довод. — <b>Р. Баландин.</b> Человечество как часть планеты.	258
<b>КОРОТКО О КНИГАХ</b> — <b>А. П. Ненароков.</b> Восточный фронт. — <b>В. Ледков.</b> Метели ложатся у ног. <b>Л. Лапцуй.</b> Рассказы. — <b>А. В. Бурдуков.</b> В старой и новой Монголии. <b>В. Е. Ларичев.</b> Азия далекая и таинственная. — <b>Юлий Берзин.</b> Конец девятого полка. — <b>А. Д. Урсул.</b> Теория информации и религия. — <b>Василий Каменский.</b> Путь энтузиаста. — <b>А. Р. Лурья.</b> Маленькая книжка о большой памяти (Ум мнемониста) — Лубок. Русские народные картинки XVII—XVIII вв. — <b>Л. Д. Белькинд.</b> Андре-Мари Ампер (1775—1836). — <b>Манана Андроникова.</b> Сколько лет кино? — <b>И. И. Шафрановский.</b> <b>А. Г. Вернер,</b> знаменитый минералог и геолог. 1749—1817. — <b>А. Пузиков</b> Золя. — <b>М. Черненко.</b> Фернандель. — <b>А. Иойрыш.</b> Атом и право. — <b>Дж. Оринг.</b> Погода на планетах. — <b>Волдемар Бааль.</b> Голоса.	276
<b>КНИЖНЫЕ НОВИНКИ</b>	287

---

---

Н. ТИХАНОВ

★

## ПОБЕГ

(Рассказ ветерана)

I

**Ч**еловек я не шибко ученый. Образование получил только в начальной школе. Но учился я хорошо, дали мне похвальный лист. Он у меня и сейчас висит на стенке под стеклом. И хотелось мне поучиться дальше: учительница долго уговаривала мать пустить меня по ученой части. Но куда там! Некому хозяйство вести! Отец умер еще до моего рождения, старший брат ушел на военную службу, а средний — что был, что не был — льнул все больше к городу: как чуть, так бежит туда на заработки: плотничал он помалу.

Пришла весна. И решил я, по совету матери, засеять яровой клин. Гнедуха была старая, сил у меня с гулькин нос — мальчишка же был. Пахать пришлось самодельной старой отцовской сохой. Хлебнули мы с матерью в ту пору горя довольно.

Когда вернулся с военной службы старший брат, мы немного вздохнули. Он выучился на службе сапожному делу и начал дома подрабатывать... В ину пору и я ему чем-нибудь помогал. Купили мы новый плуг и новую борону: за плугом ходить куда легче, чем за сохой. Брат и говорит матери: «Женить надо Мишу!» А мне еще неохота — только, как брат вернулся, увидел свет. Да и молод еще был. Но в 1913 году меня поженили. Прожил год с молодухой, родился мальчик, и тут грянула беда: в августе месяце началась империалистическая. Брат ушел на войну первым, потом очередь дошла и до меня. Но в эту первую мировую войну мало пришлось мне быть на фронте. Я туда попал после свержения царя, когда начались там митинги, братания, восстания. Министры-капиталисты да Керенский заставляют нас воевать, а мы не хотим. Ввели было смертную казнь на фронте. Тогда товарищ Ленин с рабочими и солдатами такого задали трезвона всем кадетам и соглашателям, что и власть их кончилась.

А как только установилась власть Советов, товарищ Ленин первым делом издал Декрет о мире. Мы с другом Максимом Камбаровым винтовку и вещевой мешок на плечо — и на поезд. Приезжаем домой, а тут гражданская война уже по всей форме началась. Новые порядки — «вся земля крестьянам», «фабрики, заводы рабочим» — не понравились старым хозяевам. Совсем, можно сказать, им это не по носу табак. И начали оружием решать спор, кому управлять Россией. Правду надо сказать, нас с Максимом призвали в рабоче-крестьянскую армию опять по мобилизации, и документы нам такие выдали. Но пошли мы в нашу



армию уже с охотой. Мы знали, на что идем. Мы будем защищать завоевания Великого Октября. И присягу на то принимали.

Не повезло нам на первых порах с Максимом в бою с оренбургскими казаками. Счастье переменчиво.

Первого мая 1919 года наш 1-й интернациональный и 2-й рабочий полки выступили из Самары на Уральский фронт. До Бузулука ехали поездом, а дальше пути нам нет. Двинулись походным порядком на Уральск. Идем рассыпным строем, впереди пехота.

Недалеко за Бузулуком казачьи разъезды — там их граница проходит. Ударили орудия, и началась тут большая битва. Упорно казаки стояли у границы, никак не хотели пропускать нас. Но и наши полки бились, не щадя жизни...

Проходит неделя, вторая, а мы все бьемся. Впереди нас казаки, с флангов — казаки, с тылу — казаки. Вот война какая! Много пало и казаков, много и наших — упорная была война.

Вот наступило 20 мая. Нашего командира роты сильно поранило разрывной, его эвакуировали в лазарет. Командир полка приказал принять роту мне, Михаилу Лапицкому. Получил пополнение — молодых ребятишек из Бузулукского уезда, ну совсем неоперенных. Пошли мы наступать на большую станицу Соболево. Войск казачьих все прибывает и прибывает, и нам было очень даже нелегко выбивать казаков из этой станицы. Двое суток бились мы на открытом месте, а казаки сделали укрепление, вырыли хорошие окопы. Но мы все-таки выполнили свою задачу: на третий день в 12 часов ночи заняли станицу.

Наш полк шел в наступление в первой линии, а рабочий полк в резерве, нам на поддержку. И еще прислали нам на помощь мусульманский батальон, это были татары из Казани, смелые и храбрые бойцы. Вот теперь дело пошло другим порядком! Но после 12 часов ночи на 28-е наш полк перевели в резерв, а рабочий полк пошел дальше на форпост Пономарево. Казаки не остановились в этом форпосте, а отступили дальше километров на двенадцать к форпосту Чувакскому. Рабочий полк остановился в Пономареве, выставил заставы, караулы и всю остальную службу охраны. Но после трехсуточного непрерывного боя утомленные бойцы, на горе наше, заснули...

В это время на рассвете 28 мая ночным налетом казаки ворвались в Пономарево. Артиллеристы наши кинулись было к орудиям, но поздно: казаки вынули замки. Заставы и караулы — кто куда. Началась паника. Наш полк по тревоге встал на боевую готовность. Бойцы рабочего полка, бежавшие из Пономарева, присоединились к нам, но, пока вырвались оттуда, много их погибло в реке.

Это страшная была битва. Казаки бьют из наших же орудий в нас картечью... В это ужасное время подоспел было к нам на помощь мусульманский батальон, но казаки окружили его и изрубили.

Отстаивали мы позиции, как только могли. Но все наше пополнение исчезло, неоперенные разбежались по деревьям. Осталось нас совсем мало. Командира полка сильно ранило и комиссара тоже, и их отправили в тыл. Других командиров кого убило, кого ранило.

К вечеру казаки взяли нас в кольцо. Они били в нас разрывными пулями. Мне в лицо угодили мелкие осколки, но вреда не причинили, только все лицо было в крови. Я сначала было упал, а потом поднялся. Недалеко от меня показался казачий разъезд. Ну, думаю, попал в капкан, Лапицкий! Гляжу — недалеко от меня стоит моей роты комвзвод Камбаров. Это мой друг. Мы с ним и в германскую были вместе, и теперь в беду попали вместе. Наша линия давно отступила. А мы вот не успели...

Кругом лютуют казаки. Забирают наших красноармейцев в плен, рыщут, как волки за овцами. Были у меня полевая сумка и наган. Смотрю я и думаю: «Вот первая моя погибель — в полевой сумке сорок тысяч денег, которые я только что получил и не успел утром раздать бойцам; найдут у меня эти деньги да наган и скажут: «Это командир!» Смотрю на часики свои ручные — приз за стрельбу. Вот и вторая моя погибель. Скажут: «Непременно это командир!» И голову мне напрочь тут же. Раздумывать некогда. Сумку полевую с деньгами и с наганом долой. Я бросил их в реку — не доставайся врагу. А как быть с часами? Достал из кармана нитяной клубочек с иголками, что должно солдату всегда иметь при себе, и стал перематывать нитки на часы. Только успел смотать, подъезжают три казака. Один, видать, старшой, а два — рядовых. Старшой командует и наганом размахивает. Подавай ему деньги — это самое первое, что я от него услышал. Я вынимаю бумажник, который купил в Самаре, хороший такой, в нем у меня лежали четыре тысячи и документы из села Старого Кувака, что я мобилизован.

Говорю старшому: «Господин хорунжий, вы мне, пожалуйста, удостоверение и карточку моей жены оставьте». А он отвечает: «Тебе ничего не надо. Мы вас всех в расход пустим». Ну что возразишь? Ведь я пленник, как бы в мешке у него. Что захочет, то и сделает. Другие два казака просят старшого, чтобы он разрешил снять с нас все, что на нас есть. А сами они были в отрепьях. Старшой разрешил. Те говорят мне и Камбарову: «Снимайте шинель, сапоги, гимнастерки, брюки». Я говорю: «Снимайте сами». Тут прискакали еще трое казаков. У одного сабля наголо и вся в крови. Хотел он и нас зарубить. Но один из них, видимо, поумнее был, хватить рубаку за локоть и начал его стыдить: «Ты, говорит, храбрый в тылу на безоружных, а на передовой все прячешься за других». И вот мы с Максимом нашли неожиданного защитника и остались в живых. Тут казаки начали с нас наше обмундирование снимать. Я вынул клубочек ниток с иголками и держу в руке. Все сняли. А тот казак, который хотел зарубить нас, намеревался снять и нательное белье. Но опять казак поумнее не позволил ему это сделать: «Ты, говорит, готов и шкуру тельную содрать. Ты не казак, а мародер». Вот и белье на нас осталось, и носки на ногах.

## И

И погнали казаки нас в одну кучу, где собирали всех пленных. Стоят в этой куче все нагие, все белые, как зимние зайцы. Мы всех знаем, но виду не показываем. Все тут были, кто остался в живых. Как стояли в обороне вместе, так и попали все вместе. Были тут и добровольцы, были и евреи. Из моей роты пятнадцать человек евреев попало сюда, это было наше новое пополнение.

Вот, думаю, как бы кто при допросе не испугался, а то скажут еще, что среди пленных есть и командиры, и другие начальники. Ну да ладно, чему быть, видно, того не миновать...

Поставили казаки нас по четыре человека, гужом. Стали считать. Как раз сто человек. Это от всего-то полка! Все, как один, ободранные. Среди нас стоит один великан. Как был он одет в бою, так и остался одет в плену на удивление всем. Это Саша Борец из Нового Бугуруслана. Его никто не решился раздевать: шинель его всем велика, сапоги велики и все остальное велико и казакам не по росту. Саша был ранен в ягодицу и очень сградал.

Погнали нас в ближайший форпост. Там у них находился командир полка. Сидит он у раскрытого окна, как боярин, и приказывает своему подручному построить пленных в две шеренги. А мы стоим табуном, как загнанные, запаленные лошадки.

Начал нас подручный испытывать: «А ну, командиры, стройте шеренги!» Никто не пошевелинулся, никто не отозвался. Подручный кричит сильнее: «Что молчите, такие-сякие! Аль язык проглотили? Делай, говорю, построение!» Никто — ни слова.

У нас от жары во рту пересохло. Хоть один бы глоток воды глотнуть. Жаркий был этот день, 28 мая. Будем долго его помнить. Стал казачий начальник сам расставлять нас в две шеренги. Доложил полковнику. Вышел полковник к нам и стал нас спрашивать: «Кто коммунисты?» Все молчат. Три раза спросил: «Нет коммунистов?» Второй вопрос: «Кто командиры?» Тоже молчание. Тут мое сердце начало волноваться: может, среди нас есть неверные люди? Расправа у казаков короткая — сразу в расход. Ладно, пока все обошлось.

Но вот полковник, не удовлетворившись нашим молчанием, сам пошел вдоль строя. Пристально и пытливо рассматривает нас... Но где же угадать, кто командир, кто нет? Мы все как только что на свет появились, как ребенки без пеленки...

Полковник начал сам испытывать нас: «Кто евреи? Отвечай!» Вот они все сразу и отвечают, как один: «Мы евреи!»

— Евреи, три шага вперед! Выходи!

Все мои пятнадцать евреев смело вышли вперед. Долго их пытал полковник: скажите, мол, правду, кто здесь ваши начальники, и вас отпустим на свободу, а если не скажете, сейчас же в расход. Вон яма вам уже готова!

И мое сердце снова трепещет, как голубь, только уж не за себя, а за них, за моих славных бойцов: видим все мы по глазам и по голосу их: никто ничего и никогда не скажет!

Долго еще полковник испытывал их: скажите — и вот вам жизнь, вот вам свобода. Больше часу времени прошло. Но никто ничего не сказал. Твердо мои евреи стояли на своем.

Наконец полковник еще раз прошелся вдоль строя, как бы отыскивая еще кого-то. И вот нашел все-таки: был у нас в роте рыжий один красноармеец, и нос подходящий, длинный. Увидя его, полковник рассвирипел. «Ты почему не выходишь из строя?» — гаркнул он. Красноармеец отвечает: «Я русский!» Полковник опять закричал: «Выходи сейчас же в свою еврейскую шайку!» И вот этот действительно русский парень тоже вышел к ним. Увидел полковник мальчика лет четырнадцати и кричит ему: «Ты что, щенок, советской власти захотел? Так вот увидишь на том свете эту поганую власть». Рванул мальчонку за руку и швырнул его в еврейскую группу.

Стало смеркаться. Полковник подал знак, мигом подскочили убийцы-палачи и повели на смерть семнадцать человек, семнадцать наших славных героев. А нас, как скот, загнали во двор. И только мы услышали там треск пулемета и отдельные выстрелы. Все было кончено там, за воротами. Только вот сейчас, сию секунду, там за рабоче-крестьянскую правду, за советскую власть погибли наши братья...

### III

Остальных нас, восемьдесят три человека, затискали в маленький вонючий овечий хлевушок. Овчарник до того был мал, что трудно в нем дышать. Во рту пересохло так, что десны и губы потрескались до крови. В голове шумело, вот так бы и повалился на пол. Но падать было некуда, все плотно прижались друг к другу и стояли мертвыми стояками.

Дверь на замке, за дверью стража. Старший караула — казак лет за семьдесят, борода до пояса. Около двери кричат: «Пить хотим! Пить! Дайте воды!..» Старик отвечает: «Подышайте, красные бандюги! Нет вам воды!»

Вот как пришлось завоевывать власть Советов. Я говорю все это вкратце. А если подробно бы сказать, то всего и не переберешь, что тогда пришлось испытать. Много рубцов осталось на спинах наших от палок и шомполов. Время прошло, все зажило. Все зажило, но не все забылось.

Смена кончилась, заступили новые часовые. Это уже к рассвету. Слышим — речь молодая. Говорят: нужно, мол, пленных-то сосчитать. А старики домой горюются, говорят: не надо считать. Вот список, и все тут. Но молодежь отворила дверь. Старики говорят: «Смотрите, все, как один, тут. Как селедки в бочке». А казачата отвечают: «Селедка, она мертвая. А это ведь живые люди. Зачем, говорят, так тесно держите? Вон же свободный большой сарай». А старый казак — видно, он и раньше был великий душегубец — несет свое: «Эти злыдни хуже скотины, говорит, это нехристи. Пусть подышают — туда им и дорога».

У молодых мы воды попросили. Они мигом два ведра полных принесли и подали нам пять пустых консервных банок: казаки ведь староверы, своей посуды чужим не дают. Дверь отворили настежь, дует на нас свежий утренний ветерок. Пьем мы холодную родниковую воду и передаем банки товарищам. Не знаем, как и благодарить молодых казачат! Как глотнули свежей водички да дохнули воздуха с полей, так опять в глазах посветлело.

Казачата нам говорят: «Сейчас на задах поставили большие котлы и варят вам мясной суп». Ох, как мы все обрадовались! Ведь мы последний раз горячего поели 17 мая, а сегодня уже 29-е. Выпустили нас во двор из собачьего ящика к тому времени, когда суп сварился. Разбили нам в группы по пять человек. Назначили нам своего старшого. Налили нам в банки бульону. И мы сели на землю, начали, обжигаясь, пить этот бульон без хлеба, без ложек. Кашевар порубил мясо на куски и передал нам. А мы эти порции поделили между собой... Есть уже не хотелось. Многих стало тошнить. Это значит — сильно переголодали. Некоторые мясо съели, а мне нейдет. И я держу свой кусочек в руке. Завернуть его не во что. Я попросил банку у казака. И кусочек свой положил в банку. И Камбаров туда же положил. И как раз тут подоспела команда: «Вставай!» Хочешь встать, а ноги не повинуются — отекли: всю ведь ночь на ногах. Но кое-как все-таки поднялись.

Поставили нас опять по четыре человека. И мы думаем, куда же теперь нас поведут? И вдруг подъезжают к нам на лаковом фэтоне какой-то старый генерал с молодой генеральшей. Посмотрели они на нас пылливо и подошли к Саше Борцу. Что-то у него спросили. А тот что-то им ответил. Генерал дал знак конвоирам. И те вывели Сашу из строя. Генерал написал записку и передал Саше. Мы видим, что Сашу освободили. Он помахал нам рукой и пошел куда-то в поле. Куда казаки его погнали, куда послал его генерал, измученного ранами, — так мы об этом толком не узнали. Говорили пленные между собой, будто Саша Борец генеральше понравился. И генерал приказал отправить его в лазарет.

А нас погнали дальше в глубокий тыл. Прошли мы уже верст двадцать пять. Дорога жесткая, избитая, комки да камни. Прямо беда, все ноги обили, ободрали в кровь.

Мясо нам пригодилось в дороге: идем с Максимом и жуем понемножку, и от этого как будто легче.

Пришли в форпост Чувакский. Зашли опять во двор. Сарай большой, навозу навалено горы. Казаки собирают его для поделки кизяков, чтобы печи топить. У них ведь нет леса. Загнали нас в сарай и стали обыскивать. У кого записную книжку найдут или карандаш — все отбирают. Доходит очередь до меня, казак спрашивает, указывая на клу-



бок: «Это что у тебя?» Говорю: «Нитки с иголкой. Порвутся штаны, дыру зашью». Давай, говорит, сюда. А второй казак его перебивает: «Оставь, говорит, а то, на грех, у него что наружу выскочит». И оба засмеялись. Вот, думаю, удача мне какая.

Прилегли мы отдохнуть в сарае, две ночи не спали. Навоз под нами прет и нас греет. А уж дух от него до того приятный.

Ночь переночевали, с утра опять в поход. Гонят нас, куда — не знаем. На пути снова форпост. Останавливаемся на привал возле церкви на площади. Сидим на зеленой лужайке и глядим по сторонам. Что это там такое? Женщины идут толпой и прямо на нас. Чего доброго, уж не бить ли нас за убитых мужей, сыновей собираются? Нет, это они несут на коромыслах полные ведра сепараторного молока, раздают нам хлеб, шаньги, оладьи... Начинают нас кормить. Видно, добрые люди везде есть, и у нас и у них. Хлеба столько принесли, что мы и не поели. Можно бы с собой в дорогу взять. Кто знает, где еще и когда нам придется пообедать? Но нам ведь некуда хлеб положить. И на том спасибо, что досыта наелись.

В этот день мы прошли еще тридцать километров — так нам силы прибавилось после еды.

Солнце садится, день клонится к вечеру. Подходим к большому форпосту. Конвоиры говорят: «Это форпост Ранний. Сейчас мы вас сдадим коменданту. Здесь будете работать».

#### IV

Пришел комендант, старый хромой казак. Сделал переключку по списку. А у нас, у пленных, фамилии совсем другие, кто какую себе выдумал. Комендант выкликает, а мы отвечаем: «Я! Я!» Пришли новые конвоиры, старые казаки с винтовками, и повели нас к большому двухэтажному дому. Тут будет наша квартира. Привезли нам два фургона пшеничной соломы. «Вот, говорят, вам перины и подушки». А сами смеются. «Таскайте.— говорят старики,— на второй этаж». Мы перетаскали мигом солому и настелили на пол. Помещение большое, наверное здесь была когда-то казарма или тюрьма: окна за железной решеткой. Против дома большое озеро. Говорят, рыбы в нем пропасть. Привезли нам бочку воды — пей, не хочу,— и дали по фунту на человека хлеба. Мы легли спать наверху, а конвойные, шестеро казаков-стариков, расположились внизу. Сбежать никак нельзя, окна за решеткой, а ход во двор только через первый этаж, через охрану.

Наутро день выдался ясный, солнечный.

Июнь месяц на дворе. Опять выдали нам тот же паек хлеба, что и вчера. И воды привезли бочку. Пленные больше отсыпались с дороги, как поросята, в соломе. Прошло три дня. На четвертый утром рано вваливаются к нам гости, старые казаки, потрясают плетками и кричат, как пьяные: «Мишка! Гришка! Ванька! Вставай на работу!» Поднялись сразу все, как один. Комендант выдает нас под расписку казакам и казачкам — по два человека и по одному, кому как надо. Нас с Максимом взяла казачка средних лет и расписку дала в том, что охранять будет пленных сама. А если сбежим, ответ будет самый строгий. Повела она нас в нижнем белье по улице. Все смотрят в окошки на нас — срамота! И нам стыдно. А почему? Мы же ведь пленные, не по своей воле такой вид имеем.

Привела нас казачка к себе. Дом большой, крестовый. Видать, хозяйство крепкое. На дворе мазанка — это летняя кухня. Показывает нам, что надо делать. На заднем дворе огромная куча навозу. «Вот,— говорит хозяйка,— этот навоз раскладываете ровным слоем на пол-ар-

шина, не толще. Будем делать из него кизяки». Дала нам вилы, лопаты. «Работайте, говорит, а я пойду еду готовить».

Долго мы копались в этой куче навоза, аж вспотели. Время уже к обеду подошло. И есть нам захотелось страсть как. Слышим — кличет нас казачка. Руки помыли, богу помолились, садимся за стол. Какой богатый завтрак сготовлен — как на пасху! Каша молочная, каймак, блинцы, яйца... Не поскупилась хозяйка. Уж мы с Максимом тоже постарались за столом, не стеснялись. Теперь можно будет терпеть дня два, а то и три. Хозяйка говорит: «Запрягайте верблюда и поезжайте за водой». Мы говорим: «Никогда с верблюдами не работали, не знаем, как их впрягать». У ней была девка лет пятнадцати. Вот эта девка мигом накинула на верблюда седелку с нашейником, прицепила к уздечке вожжи — и вся недолга.

Я поехал за водой, а Максим остался навоз ровнять. Дали мне черпак и кнут — черен длинный, а хлыст короткий. Время полуденное, самая что ни есть жара. Мошкара и овод донимают, терпенья нет. Заехал я в озеро, налил в бочку воды ведер сорок и тронул вожжой, верблюд тут же повернулся и направился к дому. Начали мы поливать навоз. Чтобы сделать из него податливую массу, воды понадобилось много. Максим лошадьми разминает навоз, а я привожу на верблюде воду, бочку за бочкой...

С последней бочкой получилась смехота. Приехал я на озеро, а жара еще пуще. Загнал я верблюда поглубже, чтобы мне сильно с черпаком не гнущся. А верблюд взял, да и лег в воду — его доняла мошкара. Нет верблюда: пропал; только морда, как кукиш, торчит из воды. Шелвелю вожжой — вставай, мол, чего разлегся? А он не встает. Я его ударил по голой боковине. Он только головой мотнул, лежит себе по-прежнему. Вот, думаю, чертова скотина, как его теперь поднять? Не звать же людей на помощь — засмеют. Слезаю с дрожек в воду. Дергаю его за уздечку, вставай, мол, пожалуйста, не срами ты меня. Ухом не ведет, только глазком подмигивает, как бы смеется надо мной. Схватился я тогда за это самое длинное кнутовище с коротким хлыстом да как его этой палкой-то огрею. Он тут же и вскочил как встрепанный. Вскочил я на дроги и вожжой тронул его. Он мигом повернулся и как ни в чем не бывало направился к дому.

А хозяйка уж бежит навстречу: испугалась, не сбежал ли, мол, я. Спрашивает: «Что случилось, почему так долго задержался?» Я ей рассказываю всю историю. А она говорит: «Только бы и сказать одно слово «чок», когда взял за вожжи, и верблюд пошел бы». Я говорю: «А откуда мне знать?» Казачка рассмеялась. И Максим смеется, и девка. А я обиделся, думаю: больше никогда не поеду за водой на верблюде. Поезжайте сами, раз вам так весело.

Пообедали, солнце пошло к вечеру. Казачка говорит: «Пойдемте делать кизяки». — «Мы бы рады, говорим, да ведь не умеем». Она говорит девке: «Давай, Фиса, покажи и сама с ними поработай». Девка принесла широкую гладкую доску и станки. Наложила жидкого навоза в станок, потоптала, разровняла да как крутанет ручкой — и кирпич готов. Отнесла его на чистое сухое место. За этим кирпичом готов другой, третий, и мы сбились со счета. Так Фиса быстро, ловко их делала, как блины пекла. Мы смотрели и мотали на ус. А потом и сами начали. Первый кирпич получился не очень чтобы хорош, второй уже лучше. И дело пошло.

До заката успели намастерить втроем штук триста. Сели ужинать, казачка нам налила по стакану самогону. И как же хорошо было с устатку выпить. Потом повела нас сдавать коменданту. Комендант, хромой старик, спрашивает: «Ну, как работали пленные?» — «Хорошо работали», — говорит казачка.

Вернулись наши с работы в свою казарму, и пошли разговоры, кто как работал и чем кормили. Некоторые, говорят, соленой рыбой кормили, и чаем поили, да уху еще варили, а она вся ржавая...

Завтра воскресенье, нам отдых: казаки праздники почитают строго. В этот день нас повели купаться к озеру. А кое-кто достал и удочки. И Максим наловил полный котелок рыбы, наварили ухи, наелись сами досыта и другим досталось. Но счастливо день только начался, кончился несчастливо. Стали вечером нас считать, одного недостает. Три раза считали — нет одного, и все тут. Пошли на озеро искать. Нашли рубашку и штаны, а человека нет. Казаки решили, что утонул. Сели на лодки, бредни взяли и давай по всему озеру шарить. Озеро большое, гектаров пятнадцать будет. Шарили, шарили, не нашли утопленника, зато рыбы наловили полные лодки...

Вот с этого дня и пошли на нас напасти и разные строгости. Стали чаще проверять. Выходы в форпост сократили, выгоняли только на работу. Свет убавился — даже зарешеченные окна и те забили с улицы досками. Только два малых окна освещали нашу большую казарму.

В понедельник снова пришли люди брать нас на работу: слух прошел про нас с Камбаровым, что мы знаменитые плотники.

Пришла молодая красивая казачка и выпросила нас у коменданта. Что ж ей понадобилось строить? Привела она нас на задний двор и сказала: «Вот на этом самом месте надо мне сделать баню!» — «Ну что ж, говорю, баню так баню. А материал где взять?» Она привела нас в сарай и говорит: «Вот здесь муж все припас для бани. А сделать не успел, взяли на войну». Стали таскать мы колья; смотрю, они все заостренные. Место для бани подходящее, ровное и достаточно от домашней постройки удаленное. Мы набиваем колья, а она хворост таскает. Тальник хороший привезла накануне. Набили колья, стали заплетать плетень. Стенку кончили, а она в это время в яме намешала жидкой глины с соломой. Мы вверху кольев сделали обвязку, чтобы было все ровно, хорошо. Начали вторую стенку плести. А она стала штукатурить готовый плетень. Пока мы плели вторую стенку, у ней уже заглажена первая стенка. Начинаем третью стенку. А она, сделав раствор, штукатурит вторую, да так ловко, словно мастер делает.

Мы третью стенку кончили, а она уже ее заглаживает, как лаком наводит. А день жаркий, конец уже июня. Глина сохнет быстро. Начинаем последнюю стенку плести. Тут мало работы в плетении, но зато копотно: надо косяки дверные укрепить, поставить оконные косяки. Однако все это быстро кончили, и она кончила. Правда, баня небольшая, но все-таки настоящая баня. Навесили дверь, вставили окно. Она начала печь мастерить. А мы пол настелили, сделали небольшой полочек, чтобы можно было попариться. Вдоль стен на чурбачках скамеечки приколотили. Принесли ей из сарая котел и пошли в летнюю кухню чай пить. Она тем временем печку сложила и уже затопила баню. «Сейчас, — говорю я, — хозяйка, отведешь нас к коменданту?» — «Нет, говорит, еще побудете у меня часок. Я ходила к коменданту, отпросила вам отсрочку, чтобы помыться в бане». — «Когда, говорю, ты все это успела?» — «А вот, говорит, идите и посмотрите, как я устроила!»

Пришли — и вправду хорошо, чудеса, да и только! Котел горячей воды и кадка холодной, два тазика и веник, в тазу уже обваренный. «Давайте, говорит, я вас вымою». Мы говорим: «Нет, Анфисушка, у нас мужики вместе с женщинами не моются». А она уж почти разделась. «Чего, говорит, особенного. Разве женщина не человек?» Но мы так и не согласились. помылись одни. Какое это было удовольствие помыться и попариться! Ведь мы последний-то раз мылись в бане еще в Самаре.

перед Первым мая. И кто может поверить, что три человека смогут в один день сделать баню и помыться в ней! А вот так и было, как я говорю.

Дала нам Анфиса и белье чистое, хоть старое, но вполне приличное. Сдала коменданту нас в десять часов вечера.

Одним утром как-то старший начальник казачий спрашивал нас, нет ли среди нас слесарей, механиков, сапожников. Один пленный из Рязани отозвался: «Я, говорит, сапожник». Остальные молчат. Тогда я говорю Максиму: «Давай и мы назовемся сапожниками». Максим отказался: говорит, не знаю этого ремесла. «И я, говорю, не знаю, только у меня брат этим делом занимался, и я пригляделся к нему — стоящее дело». Максим отказался, а я вышел, и еще один такой, как я, вышел, и назвались тоже сапожниками. Рязанский был действительно хороший сапожник. И мы под его началом быстро освоили это дело. Нам в казарму привезли верстаки, сыромятную кожу и все остальное, что нужно для работы. И начали мы шить для казаков и казачек разную обувь, а большей всего «чирики», легкую летнюю обувь. Казачки наташили нам всякой еды, и мы, сапожники, всегда были сыты. А Максиму иногда было трудно, и мы его подкармливали. Сшили ему и себе легкие сапоги.

В голове у нас с Максимом была одна думка — как бы изловчиться сбежать? Ведь ухитрился тот «утопленник», одежду которого нашли на берегу. И казаки и мы, пленные, понимали, что ему удалось бежать. Но как? — вот вопрос. И мы с Максимом не переставали об этом думать. Прежде всего надо раздобыть одежду. В этом нам помогла немного Анфиса.

Мы уговорились с Максимом бежать вместе и не бросать друг друга: мы ведь односельчане, учились вместе, играли вместе. И вместе попали в беду.

Анфиса жила недалеко от казармы, дома через четыре от нас. Она часто забегала к нам. И каждый раз приносила какой-либо гостинец. А мы ей перечинили всю обувь и сшили новые чирики. Она много доброго сделала для меня и Максима. И что тут скрывать: она любила меня и я ее тоже часто навещал. Она говорила мне, что с радостью бы нас одела, обула, дала бы и брюки и гимнастерки своего мужа, но боится казаков. «Мне тогда не будет житья,— говорила она.— Казаки меня съедят за это. Я ведь не казацкого рода, я иногородняя, из Бузулука. Была я сирота. И меня взял богатый казак в приемыши. У него был мальчик, тоже в моих годах. Мы подросли, и нас поженили. Старый казак погиб, жена его тоже померла. И вот мы остались с мужем вдвоем. Но и его в конце зимы убили в бою под Оренбургом».

Я выслушал ее и говорю: «Нам ничего не надо. Потому что от этого будет худо не только тебе, но и нам». Она дала мне только шинель мужа и сказала: «Все пригодится ночью прикрыться». Она познакомила меня с портным, который жил с ней рядом и тоже был, как и она, иногородний. Вот этот портной и сшил нам с Максимом из подаренной шинели брюки, тому и другому. А одна старая казачка принесла нам еще старые гимнастерки. И мы прикрыли свою наготу, стали походить на людей. Теперь никто уже нас не мог счесть за пленных.

## V

Я давно вошел в доверие нашей охраны, и меня стали выпускать беспрепятственно на час, на два к моим знакомым. Как-то я прихожу к портному вечером. Сидим, разговариваем. Вдруг совсем не ко времени зазвонил колокол церковный. К чему бы это такое? «Это,— говорит



портной,— зовут на собрание. Вон и Анфиса побежала. Она сейчас вернется и все нам расскажет. Подожди чуток». Прошло немного времени, идет Анфиса обратно и прямо к портному. Я спрятался за шкаф. Она входит и говорит: «Дядя Алексей, дело плохо Казаки отступают. Красные взяли форпост Январец. На собрании решили немедленно эвакуироваться. Всех пленных потопят в Урале...» И тут же принялась плакать: «Мишу, говорит, мне жалко». Я вышел из укрытия. Она так обрадовалась, когда увидела меня. Я говорю: «Раз я тебе дорог, надо спасти нас, а не плакать». Она говорит: «Татары казанские за солью приехали. С ними можно тебе уехать незаметно. У них и пропуск есть. Они сейчас у соседки чай пьют. Соберись быстро. Я мигом все устрою». Я говорю: «Не могу бросить Максима. Мы клятву дали: не оставлять друг друга в беде». — «Я побегу узнаю,— говорит Анфиса.— Может, они и двоих возьмут? Если согласятся, я тут же приду. А нет, что-нибудь еще придумаю...»

Часы мои вышли давно. Анфиса не появилась. Я простился с портным и направился в казарму.

Старики из охраны обрадовались, что я вернулся, не сбежал, не подвел их. Куревом угощают. А когда поднялся на второй этаж, все бросились ко мне с расспросами: почему колокол звонил, какие новости принес? Я прилег на солому и стал тихонько рассказывать о том, что узнал. А в дверях поставили наблюдателя, чтобы он в случае чего дал бы сигнал. Стали крепко думать, что нам делать? Какие меры принимать? Ведь мы последнюю ночь живем. А завтра на рассвете нас всех потопят или расстреляют. Вот и решили мы уничтожить стражу. У нас сапожного инструмента много было. Вооружились молотками, рашпилями, ножами. Сейчас сделаем тихую разведку и грянем сразу на стариков. Минутное дело. Обезоружим, уничтожим караул и — кто куда, на волю!

Но наш старшой стал возражать. Как мы пройдем через форпост, когда все казаки, весь их народ на ногах? Посмотрите: в каждом доме огонь. Все собирают свои пожитки. Мы окружены сплошной охраной. Перебьют в один момент, и все. А будут ли нас утром расстреливать — это еще не известно. Подумали, подумали мы и оставили свой план. Да и как я буду убивать стариков, которые меня только что табаком угощали? Положили ножи, рашпили на место... Лежим на соломе и думаем, так или не так мы сделали? Не заснули всю ночь. Какой уж тут сон, когда судьба и жизнь наша решаются. Я все-таки про себя думал, что в борьбе, в драке за свою свободу легче умереть, чем так — возьмут тебя тихого, смиренного за шиворот да потопят, как кутенка. А ведь нам лишь по двадцать с небольшим лет...

Утром чем свет нас выгнали на улицу. Конвоиры сидят на конях, вооруженные саблями, винтовками... Вот, думаем, и конец пришел нашей молодой жизни. Конвой нас погнал в ту сторону, откуда нас пригнали. Прошли с километр, навстречу едут четыре казака вооруженные. Мы остановились. Старшой конвоя подъехал к встречным. О чем-то они поговорили, и нас повернули обратно. Опять идем через свой форпост Ранний. Женщины вышли на улицу, смотрят на нас жалостливо, некоторые вытирают глаза. Стоит и Анфиса у своего двора. Она только успела помахать мне рукой: прощай, мол, дорогой Миша! — и тоже утирает слезы. А нас гонят быстро. Кто не успевает, того подстегивают. И опять чувствуем: мы пленные, а они наши враги и пощады нам от них не будет...

Догнали до Урала. Река быстрая, глубокая. Старшой конвойный подвел нас к крутому обрыву. Внизу вода плещет, водовороты крутят, смотреть страшно. Конвойные спрыгнули с коней, бегут к нам. Спраши-

вают: «Плывать умеешь?» — «Нет!» — говорю. «Врете! Все вы умеете! Бегите к спуску за камнями!» Это значит, чтобы к ногам привязать. Принесли камень. Старшой достал из переметных сумок веревки, чтобы связать нам руки и ноги... Мы прощаемся один с другим... А я думаю про себя: «Нечего ждать! Пока не связали, в омут головой, и все! А там что бог даст!» Камбарову говорю: «Прыгай за мной! Плаваем хорошо, авось уйдем!» Вдруг видим, скачет из города по мосту казак. «Стой! — кричит. — Стой!» Прискакал, дает старшому бумагу. Отставить, говорит, это дело. Приказано вести пленных к городской тюрьме.

От сердца немного отлегло, а все же оно бьется, бьется, аж дух захватывает.

Прошли через мост. Идем по городу. Как будто идут люди нам навстречу, скачут конные, а мы ничего не видим и не слышим. Все никак не одумаемся, не придем в себя... Загнали нас в конце города в грязные, вонючие каталажки и морили здесь три дня. Все, видимо, начальники спорили, куда нас девать? На четвертый день решили: пришли к нам казачки и старые казаки, и стал нас тюремный надзиратель как невольников раздавать направо и налево. Но только раздавал по одному. И всем нужны были косари; сапожники, плотники теперь не нужны. И все мы сразу оказались отменные мастера по косьбе. Рязанский сапожник даже вспомнил стишок Кольцова:

Я куплю себе косу новую,  
Отобью ее, наточу ее...  
Даст казачка мне  
Денег пригоршни...

Всем весело, все радуются. Как же, счастье нам опять улыбается. Но мне невесело: нас разлучили с Максимом. А ведь с покоса убежать легче всего. Как же теперь быть? Он попал к старому казаку, а меня взяла казачка, и повели нас с Максимом в разные стороны.

Казачка дорогой меня спрашивает: «Косить-то умеешь?» — «Косил, говорю, на родине, верно, не забыл». — «Вот, говорит, и хорошо. Тебе у нас понравится». Дома, первым делом, стала меня кормить завтраком. А мне с расстройства и есть не хочется: вспоминается все, как нас топить собирались, и все Максим перед глазами стоит, как он устроился, где находится?

Все собираются на сенокос, и я собираюсь. Хотел было надеть новые сапоги, которые я сшил себе. Но казачка Дуня — так ее звали — мне не велела надевать сапоги, говорит: «В них будет жарко». И дала мне чирики. Брюки, которые мне сшили из шинели, тоже остались. Дуня дала мне брюки своего мужа с красными лампасами и фуражку форменную. Ну, совсем стал как казак. Выехали на покос поздно, уже после обеда. Доехали до моста, а там стоят часовые, без пропуска не пропускают. А казачка пропуск дома забыла. «Придется, — говорит Дуня, — обратно за пропуском ехать». Я говорю: «Погоди, попробуем, может, так проедем». Спрыгнул с рыдвана и быстро подхожу к часовым. Козыряю им по всей форме. Они очень любят, когда их так приветствуют. Пропуска не просят, а только спросили: «Прибыли помогать?» — «Да, говорю, надо немножко помочь, ведь женщины одни...» И свободно проехали. Вот Дуня мне и говорит: «Какой ты, Миша, смелый. И как хорошо догадался без пропуска проехать». — «Нужда, говорю, заставит, так небось догадаешься».

Ехать было далеко: километров двадцать. Приехали на место поздно. Лошадей выпрягли, пустили на волю. Казачки стали раскладывать палатку: палатка большая, человек на десять. А я начал приводить в

порядок косы-литовки, отбивать, точить, направлять. Нас четверо косцов, на каждого по две литовки. Казачка Дуня — еще молодая, лет двадцати пяти — и девка с ней, лет семнадцати, да еще старшая сестра, той под сорок будет. Главная хозяйка — Дуня. Командует всеми. Она говорит мне: «Если можешь, готовь ужин, а мы пойдем немного покосим, пока холодок». Я говорю: «Это я могу. На родине у нас так заведено: на полевой работе мужчины сами готовят питание». Я сварил суп с мясом, картошку пожарил — и ужин у меня готов. Дуня расстелила на траве кошму, на кошме — скатерть. Подала тарелки на первое и на второе... А я все обдумываю: одному бежать или Максима ждять?

Спать легли в палатке. «Наружи спать,— говорит Дуня,— не дадут комары и мошки. Комар гудит, как в дуду дудит. А мошкара втихую, исподтишка действует». — «Вот так же и казара ваша кусает нашего брата, советских бойцов», — думаю я про себя. Но я и в палатке долго не мог заснуть, все думал о Максиме. Смотри, как все неловко получается, как будто кто-то нарочно так подстраивает, чтобы нам нельзя было убежать.

Утром рано принялись за работу. Трава волглая, косить легко, коса сама ходит. Только ведь все это богатство травяное не нам и не Максиму, а нашим врагам. Они дольше будут держаться от этого. Чем больше мы им корму заготовим, тем дольше будут держаться и больше убивать наших товарищей.

Так уйду же я от вас, один ли, вдвоем ли,— все равно уйду!

## VI

Много накосили травы и много убрали сухого сена, наметали стогов воза по три, по четыре, как по месту пришлось.

Приходит неделя к концу. Завтра мои хозяйки-казачки повезут меня к себе домой; могут, конечно, и не сдать меня коменданту, еще недельку продержат. А зачем мне это надо? Эх, Максим, Максим! Знать бы, где ты! И как нам с тобой встретиться?..

Поехал я в полдень поить лошадей на озеро — большое озеро, так и плещется рыба в нем. Решил было искупаться. Привязал лошадей к кусту, смотрю на желтые кувшинки, на голубую воду — место для купанья получше выбираю. Слышу, свистит кто-то на той стороне. Я насторожился, гляжу и глазам своим не верю: Максим пригнал быков поить! Сколько у нас тут радости было... Переговорили, правда, мы здесь наскоро и очень осторожно: такое дело кусты ведь тоже могут подслушать.

— У моего хозяина,— говорил Максим,— сын из армии приехал на покос. Я слышал их разговор. Красные, говорил сын, взяли много казачьих станиц и форпостов. Старик всю ночь следит за мной, как сыч, а на заре спит. В это время я буду у вас на стану.

Короче сказать, мы решили с Максимом в эту ночь бежать.

Вернулся я на стан. Лошадей привязал к фургону с травой. Казачки в палатке отдыхают. Дуня спрашивает: «Напоил лошадей?» Говорю: «Напоил». И на всякий случай, чтобы не подумала чего и не подозревала, еще говорю: «Я друга видел. Он пригнал поить быков. Недалеко от нас косят». А Дуня мне говорит: «Вот завтра поедем домой и опять увидитесь». — «Знаю, говорю, увидимся».

Пошли опять косить. А мне совсем не до косьбы. Только махаю руками, а литовка совсем уж и не берет. И мне не хочется ее поширкать смолянкой. Думаю: «Что завтра с нами будет в эту пору?»

Вдруг слышим под вечер сильные орудийные залпы «Эх, думаю, а ведь это наши нападают на казару». Казачки мои нет-нет да остано-

вятся, бросят косить и тоже прислушиваются. Дуня кричит: «Миша! Давай вари ужин. Пора нам закусить!»

Взял я из оставшегося запаса две большие булки, кусок солонины вареной и спрятал в кустах — это нам с Максимом на дорогу.

После ужина стали чай пить. И вдруг у меня блюдце из рук упало и расколосось пополам. Я говорю: «Чай больно горячий». Они рассмеялись и подали мне другое блюдце. А я считаю часы, минуты... Дуня, как словно что почуяла, не отстает от меня ни на шаг. Куда я, туда она. Целует меня, милует, говорит разные слова. И смелый-то я, и храбрый я, и лучше меня никого на свете нет. «Я, говорит, с тобой никого не боюсь». И я не знал, как мне от ее ласки избавиться: вот-вот сейчас Максим явится. К рассвету Дуня уgomонилась и крепко заснула. А я все жду Максима, моего друга. Наконец и меня сон сморил. И вижу во сне, будто я на фронте и надо мной кружат самолеты.

Наконец и Максим явился. А уж давно рассвело. Поздоровался он с нами и просит закурить: весь, говорит, табак вышел. А я говорю ему громко, чтобы казачки слышали, что у меня курево там, на покосе. Ну что ж, пойдём, покурим... Дуня догнала нас и говорит: «Миша, прощай! Я ничего не видела и ничего не знаю... Бегите скорее...»

По приказу Дуни казачки взялись за литовки и начали у самого стана новый покос. Ночью выпал мелкий дождь. И сильный туман на зорьке поднялся над лугами.

Только мы успели подойти к покосу, глядим — по дороге киргизы-батраки гонят стадо коров, овец, торопятся вперегонки. Верблюды, быки, лошади запряжены в фургоны. Это бегут — или, как здесь говорят, «кочуют» — казаки в тыл. Красные по следам наступают...

Дуня кричит нам: «Миша! Бегите туда скорее да узнайте, с какого форпоста кочуют?» Как мы обрадовались! Ай да Дуня молодец, какая умница! Литовки положили и побежали к дороге. Спрашиваем: «С какого форпоста кочуете?» Нам отвечают: «С Царьникольского». А это совсем недалеко от нас. Смотрим на стан и через дорогу смотрим — туман стоит белой стеной. Мы казачек не видим, они нас не видят. Вот как хорошо! Махнули на стан рукой и — в добрый час — побежали! Бежим через дорогу, бежим через табуны, бежим, задыхаясь, прямо к Уралу-реке...

Трава только вот под ногами густая, след наш хорошо виден по росе. Это плохо. Кинутся казаки в погоню, найдут по следу. Километра четыре летели, как на самолете, шмыгнули в озеро, перешли озеро по грудь в воде, скорее в реку Урал; и долго шли вверх по Уралу, чтобы скрыть следы.

## VII

Сидим с Максимом в кустах. Солнце палит. Вся одежда на нас давным-давно уже высохла. На поле тихо, день субботний. Сидим и тихонько разговариваем, как бы незаметней пройти к своим. Вдруг слышим стук колес. Осмотрелись — около нас, совсем почти рядом, за кустами оказалась дорога, по ней едут беженцы. Откуда ни возьмись вдруг курица выпорхнула из фургона и летит прямо к нам. Мы испугались — пойдут искать курицу и нападут на нас. Давай скорее бог ноги!

Нашли место поукомней и там сидели до ночи. Стал моросить дождик... Хорошо! И мы двинулись в путь. Идем к тому месту, где мы косили. На поле тихо. Дошли до той дороги, где ехали беженцы из Царьникольска. Говорю Максиму: «Давай пробираться к стану». Ползком ползем к тому месту, где была палатка. Палатки нет. Только разбитое блюдце валяется да железный приколыш от палатки: забыли, видно,



его второпях. В кустах, где был спрятан хлеб, я нашел еще кусок большой сала, нож и вареные яйца. Это Дуня нам на дорогу, спасибо ей. Небо немного прояснело. Взглянули на Полярную звезду и пошли от нее влево, туда, где вчера гремела канонада. Через мелкий кустарник вышли к озеру, заросшему камышом. Ищем край озера, а его не видно. Обходить некогда, время дорого, скоро рассвет. Днем бежать нельзя — наскочишь на разъезд. Переходим озеро вброд, а где и вплавь тихой водой. На востоке уже заря занимается. Еще озеро. Здесь их, около Урала, до черта. В густых камышах и спасались весь долгий летний день. День воскресный, в лугах ни души. Пришла и ночь. Долго мы шли через покосы, озера, болота — кажется, конца им нет. На заре вышли к стогам, вот здесь и будем день проводить, — надоело до черта в камышах сидеть с лягушками. Выбрали стожок небольшой, раскопали в нем нору, залезли в нее, завалили вход сеном. Вдруг опять стук колес: ни свет ни заря кого-то нелегкая в луга принесла. Остановились прямо у нашего стожка. Один говорит: «Этот стог на три фургона маловат». — «Ну что ж, — говорит другой, — вон там стоит побольше. Поедем туда». И они уехали. Ну, слава богу, думаем, пронесло беду. Заснули и проснулись уже вечером. Чуть стемнело — двинулись дальше. Глядим — маячит перед глазами что-то. А что — не разберешь; тихонько подвинулись ближе. Мать честная! Разъезд казачий. Казак вооруженный возле коня дремлет стоя. Мигом назад, по-пластунски отползли в сторону и миновали разъезд. Верно, думаем, фронт близко.

Опять заря занимается. Вышли на ровное место — ни кустика, ни озера, ни камышинки, негде нам, бегунам, притулиться, то ли форпост, то ли деревня. Пересекли торную дорогу и за деревней увидели глубокий большой овраг. Сразу и от сердца отлегло. Спустились в этот овраг. Берега у него заросли высокой травой. Если лечь в траву, то и не видно человека. Этот овраг — прямо наше спасение. Легли мы с Максимом голова с головой и думаем, как нам дальше быть?

Слышим, словно бежит что-то по оврагу. Небольшое, видно, но и немаленькое, шуму от него достаточно. Мы затаились. И вот из травы прямо на нас выскочил еж! Он уж успел схватить кусок, который у нас остался от булки, и скорей бежать. Я за ним, догнал его и пнул ногой, как мяч. Еж хлеб бросил и свернулся клубком. Вот бы нам так, думаю, когда казаки на нас, безоружных, нападали! Поднял я кусок и говорю Максиму: «Давай отсюда перейдем немного повыше, а то кабы еще какой зверь на нас не набежал. А нам это ни к чему».

Только успокоились на новом месте, слышим — конский топот и голос командира: «Спешиться!.. Снять с вьюков пулеметы!» Потом слышим: «Огонь!..» Это были казаки. Нам хорошо их видно из травы. Они рассыпались по краю оврага цепью и начали через нас стрельбу из пулемета...

Вот он, фронт! Вот дошли наконец. Только как же теперь выбирать-ся мы будем, без оружия и в казачьей одежде?

Скоро казаки отступили. А наши начали стрелять из орудий. Снаряды то не долетают до оврага, то перелетают. Вот, думаем, как бабахнут по оврагу, так и конец нашей жизни. Это после того-то, как мы уже почти выбрались из плена!

Но нет, видно, бабушка мне и впрямь наворожила быть счастливым до конца. Снаряды рвутся все дальше, наши бьют по отступающим. И уже наша пехота из винтовок бьет через овраг, и пули свистят над нашими головами. Слышим — подходят наши к оврагу. И кто-то уже кричит: «Здесь овраг глубокий! Обходи скорее!..» Бегом бегут солдаты вдоль оврага. Нам хорошо их видно. Наши! Наши! Но как к ним вый-

дешь с красными лампасами?.. Могут еще и убить вгорячах. За первой цепью вторая движется. Эти тоже кричат про глубокий овраг, что надо его обходить. Слышим стук колес и звяканье походной кухни. Вот и санитарные двуколки. Тут мы не выдержали и вылезли из оврага. Я уж и не помню, как выскочил на дорогу и что кричал. Только слышу — Камбаров над моим ухом кричит вне себя: «Товарищи! Товарищи, не стреляйте, мы свои! Свои!.. Только что из плена! Свои мы...»

Мы кричим, а на нас никто и внимания не обращает. Гонят себе скорей к форпосту. У них ведь своя задача. Тогда мы остановились и пошли тихонько в тыл. Глядим — идет по дороге навстречу нам раненый узбек, черный, как смольной, опирается на винтовку. Подходим к нему. А он — раз! И взял винтовку наизготовку, думает, что мы казаки. «Не подходи, кричит, стрелять будем!» А мы ему: «Мы свои! Понимаешь, совсем свои! Из плена». Показываем на лампасы, на фуражку казацкую. И он, узбек этот, советский боец, поверил нам. Поверил! «Вы, говорит, красный товарища! Красный!» И мы готовы были его расцеловать, так обрадовались, что признал нас во вражеской одежде за своих...

Видим — идет большой обоз по дороге с боеприпасами, с продовольствием. Узбек показывает на него и говорит весело: «Наша обуз-то будет!» Тогда мы побежали к обозу, на большую дорогу. И здесь сразу нас признали и никто на нас винтовки не наставлял. Наоборот, обозники обрадовались; они тоже были в той битве, где мы попали в плен, — вот как получилось ловко. Посадили нас с собой вместе на фургоны и повезли в форпост Голый Эмман... Его уже наши войска заняли и остановились в нем на отдых. Дело ведь было нелегкое — взять форпост.

Обозники привезли нас и сдали батальонному командиру. А этот послал в штаб полка. А из штаба полка направили в бригаду, и так до самой дивизии добрались. Везде мы рассказывали, как попали в плен, как жили в плену и как бежали. И про казаков рассказывали, как они с семьями и со стадами бежали в Бухару.

В штабах ведь тоже разный народ имеется. Кто верил нам, а кто и сомневался: мол, не подсланные ли мы разведчики? Но на встрече с комиссаром дивизии получилось у нас даже очень хорошо. Только вошли мы с Камбаровым в кабинет, как поднимается из-за стола к нам навстречу сам комиссар дивизии и с такой радостью нас обнимает и так горячо пожимает нам руки, что все присутствующие диву даются. Что, мол, за герои такие сюда прибыли и откуда они? А это мы встретились с товарищем Павловым, нашим полковым комиссаром. Его в том же бою, где нас захватили в плен, сильно ранило. И его санитары увезли в госпиталь. А после госпиталя он был назначен комиссаром дивизии...

### VIII

Товарищ Павлов угостил нас на славу и даже немного с нами выпил за наше освобождение из плена и за победу наших войск по всему фронту.

Выдали нам в дивизии новое обмундирование, богатырку со звездой и шинель с красными разводами на груди. Красивая тогда была форма.

Хотели нам дать отпуск, чтобы отдохнули после плена и съездили на родину, — туда была отправлена бумага, что мы с Камбаровым попали без вести. Ну, да это дело поправимое: можно и другую теперь бумагу туда направить. Мы с другом отказались от отпуска. Надо добывать белых, пока они в себя не пришли. «Молодцы! — говорит командир

дивизии, хлопая меня по плечу.— Так и надо. Вот прикончим белую банду, тогда можно будет и отдохнуть».

У товарища Павлова мы были 30 июля, а 5 августа уже прибыли в свой родной полк. Командир полка был рад, что мы остались живы, даже расцеловал нас крепко. Он тут же дал приказ: заступить мне в свою первую боевую роту командиром роты. А Максим опять принял свой взвод. Мало осталось в роте старых красноармейцев, но все были рады нашему возвращению в строй.

И вот 10 августа 1919 года пошли мы снова вперед по направлению к городу Илеку и форпосту Раннему, туда, где мы два месяца мытарились в плену. Четверо суток бились мы там. И заняли и Ранний и Илек. И установили здесь навсегда власть Советов. Все казачьи семьи уключивали на восток. Остались только старики да старухи. Анфиса, как мы узнали, уехала в Бузулук, на родину к себе. А портной Алексей остался. Он занялся земледелием.

Ну вот, пожалуй, и весь мой рассказ. Разве только еще немного остановлюсь на том, как я встретился с Дуней.

После занятия Илека пошли мы дальше на восток. Казаки уж мало сопротивлялись. Им было не до войны: как бы только животы свои спасти. Все дороги и поселения забиты были беженцами. Хоть и юг здесь, но наступают холода. Бескормица, лошади падают. Люди болеют. Особенно пришло плохо тем, кто был с детишками. И вот уж далеко за Бухарой еду я на коне по дороге, смотрю — под деревом сидят у огонька казачки. И в слезах шуряется на сизый дымок. Подъезжаю ближе — да это Дуня, моя хозяйка, и еще две казачки, что на покосе со мной вместе работали! Я остановил коня: «Что, говорю, пригорюнились? О чем слезы льете?» Услыхала Дуня мой голос да как кинется ко мне, схватилась за мое стремя и шепчет, задыхаясь: «Миша, Миша! Да ты ли это?» — «Конечно, говорю, я. Кто же еще? А вы что тут делаете? Как сюда попали?» — «Да видишь, кочуем, говорит. Старики погнажи. Красные, говорят, насилюют женщин, груди отрезают». — «И ты поверила?» — «Что ты? Какая там вера! Ружья на меня наставили и орут: запрягай, и все!» — «Ну, ладно, говорю, запрягай свою фургонку и едем со мной. Нечего тут тебе по дорогам мотаться. Поедете домой». — «А разве, говорит, пустят ваши начальники меня обратно?» — «Пустят, говорю, пустят. Поехали...»

Я сказал товарищу Павлову, комиссару, что эти казачки помогли нам из плена бежать. И он их направил в обратный путь в первую очередь, дав им продукты на дорогу и документы. Казачки не знали, как меня благодарить.

И расстались мы с Дуней дружески.

Долго еще наш полк гонялся за белой казачьей армией в закаспийских степях. Наконец жалкие остатки этой банды перебрались через море к Деникину. Нас тоже перебросили под Царицын. Тут я и многие другие заболели тифом, я долго валялся по госпиталям. Вот я в бреду изобрел какую-то машину, и даже не машину, а такую штуковину, которая всегда находилась во мне, и стоило только мне как-то вот так повернуться, как я переносился в любую часть света. И везде я видел новую, правильную жизнь, которую установила наша советская власть... Кого-кого я только не повидал: и родных, и знакомых, и товарищей Ленина и Маркса видел. И Дуня несколько раз являлась: «Ты, говорит, Миша, поправисься скоро, ты смелый, и я тебя люблю».

А когда пришел я в себя, врач мне говорит: «Ну, Лапицкий, выкарабкался все-таки. Теперь все будет хорошо. Скоро в отпуск поедешь!»

К этому времени погнали беляков и на деникинском фронте. И я прибыл наконец домой, в свой родной Старый Кувак. Дело было в конце марта 1920 года. Довез меня подводчик до Шафейкинова моста. А дальше нет дороги, речка разлилась. Иду я горкой к своему селу. Вижу свою хату. Вижу свою жену на повети. Она кидает сено овцам. А меня один наш сельский увидал и кричит с улицы жене: «Паша! Миша идет!» Она как увидела меня, так скок с повети на землю — и ко мне. Бежит, руки протянула, обнимает меня, целует и глядит-глядит в глаза... И так она рада, так рада, что я вернулся домой, что остался жив. Рада моя старая мать, рад сынишка, который без меня подрос.

И сам я рад, кажется, больше всех.

Куйбышев.





---

ИРАКЛИЙ АБАШИДЗЕ

★

## КЛАД

*С грузинского*

\* \* \*

Тебе ни злата не оставлю,  
ни палат,  
оставлю то,  
с чем не сравниться им ценой:  
бессонных тысячу ночей —  
бесценный клад,  
во дни сомнений  
невзначай открытый мной.

Оставлю взгляд —  
он потускнел в пыли дорог,—  
движение уст —  
в нем затаен усталый смех,—  
обрывки тех захороненных в сердце строк,  
которым смерть —  
среди пиров, среди утех!

Оставлю все:  
падение листьев кружевных,  
боль слез,  
не явленных за время бытия.  
Моих упорных соглядатаев дневных,  
моих ревнителей ночных  
оставлю я.

Упрячь мой клад куда подальше.  
И смотри,  
пусть он хранится до неведомых годов,  
до строгой,  
утренней,  
грядущей той зари,  
когда потомок твой  
принять его готов.

*Перевел Юрий Ряшенцев.*



---

ИВАН ДРАЧ

★

## ДВА СТИХОТВОРЕНИЯ

*С украинского*

### ПЕРО

Мое перо, мой скальпель гневный,  
Мой лиходей, источник бед,  
Мой зов жестокий, каждодневный,  
Мой однолюб, мой первоцвет,

Врезай летящих дней пожары  
До сердцевины, до нутра!..  
Смешна мне ваша, язычары,  
Блудливо-лживая игра.

И дни, которым нет отрады,  
И дни весенние в огне,  
Где дремлют старые досады,  
Как черти, скрючившись на дне.

Трусливый день и день отважный,  
Рабочие мозоли-дни,  
И честный день, и день продажный,  
И дни, которым кровь сродни.

И дни, цветущие, как вишни,  
И глыбы бесполезных дней,  
И день, как глечик из Опишни,  
Пронзенный шпагами огней.

В судьбе нелегкой, беспокойной  
Ты — друг мой вечный и живой,  
Пока не встанет тополь стройный  
Седым крестом над головой.

*Перевел В. Павлинов.*



---

---

НАТАЛЬЯ БАРАНСКАЯ

★

## НЕДЕЛЯ КАК НЕДЕЛЯ

*Повесть*

### *Понедельник.*

**Я** бегу, бегу и на площадке третьего этажа налетаю на Якова Петровича. Он просит меня к себе, спрашивает, как идет работа. Ни слова не говорит он о моем опоздании — я опоздала на пятнадцать минут. В прошлый понедельник было двенадцать, и он тоже беседовал со мной, только днем, интересовался, какие журналы, каталоги — американские, английские — я просмотрела. Тетрадка, в которой мы расписываемся в лаборатории по утрам, лежала тогда у него на столе, и он поглядывал на нее, но ничего не сказал.

Сегодня он напоминает мне: в январе испытания нового стеклопластика должны быть закончены. Я отвечаю, что помню.

— В первом квартале мы сдаем заказ,— говорит он.

Я знаю, не могла ж я забыть?

Темные глазки Якова Петровича плавают в розовой мякоти лица, и, нащупав мой взгляд, он спрашивает:

— А вы не запоздаете с испытаниями, Ольга Николаевна?

Я вспыхиваю и растерянно молчу. Я, конечно, могу сказать: «Нет, что вы, конечно, нет». Лучше было бы сказать так. Но я молчу. Разве я могу ругаться?

Тихим ровным голосом Яков Петрович говорит:

— Учитывая ваш интерес к работе и... м-м-м... ваши способности, мы перевели вас на вакантное место младшего научного сотрудника, включили в группу, работающую над интересной проблемой. Не стану скрывать, нас несколько беспокоит... м-м-м... удивляет, что вы, так сказать, недостаточно аккуратно относитесь к работе...

Я молчу. Я люблю свою работу. Я дорожу тем, что самостоятельна. Я работаю охотно. Мне не кажется, что я работаю неаккуратно. Но я часто опаздываю, особенно в понедельник. Что я могу ответить? Надеюсь, что это просто разнос, ничего больше. Разнос за опоздание. Я борюсь что-то про ледяные тропки и сугробы в нашем необжитом квартале, про автобус, который приходит на остановку переполненным, про страшную толпу на «Соколе»... и с какой-то тоскливой тошнотой вспоминаю, что все это я уже говорила раньше.

— Надо постараться быть собраннее,— заключает Яков Петрович,— вы меня извините, так сказать, за нравоучения, но вы еще только начинаете свой трудовой путь... Мы вправе надеяться, что вы будете дорожить доверием, которое мы оказываем молодому специалисту...

Он растягивает губы, получается улыбка. От этой сделанной улыбки мне становится не по себе. Каким-то не своим, охрипшим, голосом прошу я извинить меня, обещаю статью собраннее и высказываю в коридор. Я бегу, но у дверей в лабораторию вспоминаю, что я не причесана, поворачиваю и бегу по длинным узким коридорам старого здания, бывшей гостиницы, в туалет. Я причесываюсь, положив шпильки на умывальник под зеркалом, и ненавижу себя. Ненавижу свои спутанные вьющиеся волосы, заспанные глаза, свое мальчишеское лицо с большим ртом и носом, как у Буратино. Почему я с таким вот лицом не родилась мужчиной?

Кое-как причесавшись, одергиваю свитер и вышагиваю обратно по коридорам — надо успокоиться. Но разговор с шефом крутится во мне, как магнитофонная лента. Отдельные фразы, интонации, слова — все кажется мне тревожно-значительным. Почему он говорил все время «мы» — «мы доверили», «нас беспокоит»? Значит, у него был разговор обо мне, с кем же? Неужели с директором? Как он сказал — «беспокоит» или «удивляет»? «Удивляет» — это еще хуже. А это напоминание о вакантном месте... Его хотела получить Лидия Чистякова. По стажу у нее было преимущество, а выбор пал на меня — специальность ближе. И, конечно, помог мой английский — лаборатория здорово им пользуется.

Взяв меня в свою группу и поручив мне полгода назад испытания нового материала, Яков Петрович, конечно, рисковал. Я это понимаю. С Лидией он был бы спокойней за сроки... А вдруг он хочет передать ей мою работу? Это ужасно, ведь я сделала почти все опыты.

Но, может, я все преувеличиваю? Может, это просто моя постоянная тревога, вечная спешка, страх — не успею, опоздаю... Да нет, он хотел пробрать меня, его раздражают мои опоздания. Он прав. Наконец, это его обязанность. Мы же знаем своего зава — он работяга, он аккуратист. Ну, хватит, довольно об этом!

Я переключаю мысли: сейчас я составлю сводку результатов испытаний на теплостойкость и жаростойкость, которые мы закончили в пятницу. Опыты в физико-химической лаборатории меня не беспокоят — они идут к концу. А вот физико-механические — это наше узкое место. В механической лаборатории не хватает установок, не хватает рук. Ну, руки ладно — у нас есть две пары своих, мы многое делаем сами. Но некоторые установки... на них целая очередь. Тут приходится «понаблюдать», как выражается Яков Петрович, или, попросту, «пробивать». Я пробиваю стеклопластик, из другой группы кто-то пробивает свое, и все мы бегаем на первый этаж, прыгаем перед старшей лаборанткой, которая составляет график испытаний и следит за очередностью, называем ее то Валечкой, то Валентиной Васильевной и всячески стараемся пролезть в какую-нибудь щель — пусть только она образуется.

Да, надо забежать к Вале. Спускаюсь вниз, толкаю дверь на пружине, навстречу мне вырывается упругая волна шума, но я преодолеваю ее и прохожу за стеклянную перегородку. Это Валина «конторка», всегда здесь народ, но сейчас она одна. Прошу ее «просунуть» нас на этой неделе. Валя качает головой — нет, но я продолжаю ее упрашивать.

— Может, во второй половине недели, заходите.

Теперь к себе, в лабораторию полимеров. В нашей «тихой» комнате, где мы обрабатываем результаты, ведем расчеты, девять человек, а столов помещается только семь. Но ведь всегда кто-то на опытах, в библиотеке, в командировке. Сегодня один из столов мой. И он простаивает уже сорок минут.

Вхожу. Меня встречает шесть пар глаз. Я киваю и говорю:

— Я заходила в механическую.

Голубые глаза Люси беленькой встревожены — «у тебя что-нибудь случилось?»; огненные глазницы Люси черной сочувственно укоряют — «эх ты, опять?»; взгляд Марьи Матвеевны, поверх очков, предупреждает — «только, пожалуйста, без разговоров!»; полуприкрытый подсиненными веками взор Аллы Сергеевны рассеян — «кто там? что там?»; Шурины круглые глаза, всегда немного испуганные, расширяются еще больше; укол острых зрачков Зинаиды Густавовны мгновенно разоблачает — «знаем, какая механическая, — опоздала, имела разговор, вон щеки горят, а глаза расстроены».

Наша группа — это обе Люси и я.

Руководитель — Яков Петрович. Но больше с делами группы возится Люся Маркорян. Когда я пришла работать в полимеры, новый стеклопластик был еще только задуман. Одна только Люся колдовала с аналитическими весами, колбами, термостатом. Работала над составом. Все считали, что идея нового стеклопластика принадлежит Маркорян, а потом оказалось — Якову. Я ее спросила как-то: «Люся Вартановна, почему говорят, что новый стеклопластик придумали вы?» Она посмотрела на меня: «Разве говорят? Ах, вот как... Ну, пусть себе говорят», — и больше ничего. Потом как-то обещала рассказать эту «преглупую историю». Пока молчит, я больше не спрашиваю.

Мне поручены испытания — что-то я делаю сама, что-то вместе с сотрудниками лабораторий, где ведутся опыты, обрабатываю и обобщаю результаты.

Люся беленькая (она же Людмила Лычкова) прессует и формует образцы для испытаний — строго по установленным стандартам — и вообще помогает во всяких делах.

Еще у нас Зинаида Густавовна, отчасти. На ней планирование и «канцелярия» по всем группам, переговоры с нашими заказчиками.

Дела всем хватает.

Вот я за столом, отодвигаю ящик, чтобы достать дневник испытаний, и тут замечаю на столе анкету. Наверху жирным шрифтом: «Анкета для женщин» — и карандашом в углу: «О. Н. Воронковой». Интересно! Оглядываюсь. Люся беленькая показывает мне такую же. Анкета большая. Читаю... Третий пункт: «Состав вашей семьи: муж... дети до 7 лет... дети от 7 до 17 лет... пр. родственники, проживающие с вами...»; муж один, детей двое, бабушек-дедушек, увы, нет, прочие родственники сами по себе. Дальше такой вопрос: «Что посещают ваши дети — ясли, детский сад, группу продленного дня в школе». Посещают, конечно, ясли, и сад посещают мои малыши.

Составители анкеты хотят знать, в каких условиях я живу: «Отдельная квартира... жилплощадь... кв. метров... количество комнат, удобства...» Условия у меня прекрасные — новая квартира, тридцать четыре метра, три комнаты...

О! Да они хотят знать обо мне решительно все. Их интересует моя жизнь по часам... «в принятую единицу времени». Ага, «единица» — это неделя. Сколько часов у меня уходит на: а) домашнюю работу, б) занятия с детьми, в) культурный досуг». Досуг расшифрован: «радио и телепередачи, посещение кино, театра и проч., чтение, спорт, туризм и проч.».

Эх, досуг, досуг... Слово какое-то неуклюжее «до-суг»... «Женщины, боритесь за культурный досуг!» Чушь какая-то... До-суг. Я лично увлекаюсь спортом — бегом. Туда бегом — сюда бегом. В каждую руку по сумке и... вверх — вниз: троллейбус — автобус, в метро — из метро. Магазинов у нас нет, живем больше года, а они все еще недостроены.

Так комментирую я про себя анкету. Но вот следующий вопрос, и всякая охота остроумничать у меня пропадает: «Освобождение от работы по болезни: вашей, ваших детей (количество рабочих дней за последний год; просим дать сведения по табелю)». Прямо пальцем в большое место! К утреннему разговору с шефом... Что у меня двое детей, начальству, конечно, известно. Но сколько дней я просиживаю из-за них дома, никто не подсчитывал. Познакомятся с этой статистикой и вдруг испугаются. Может, я сама испугаюсь — я ведь тоже не подсчитывала. Знаю, что много... А сколько?

Сейчас декабрь, в октябре был грипп у обоих — начала Гулька, потом заболел Котька, кажется, две недели. В ноябре простуда — остатки гриппа дали себя знать по плохой погоде, дней восемь. В сентябре была ветрянка — принес ее Котька. С карантином получилось чуть ли не три недели... Вот ведь уже не помню! И так всегда — один уже здоров, а у другого в разгаре.

А что еще может быть? — думаю я в страхе за ребят, за работу. Корь, свинка, краснуха... и, главное, грипп и простуда, простуда. От плохо завязанной шапки, от плача на прогулке, от мокрых штанов, от холодного пола, от сквозняков... Врачи пишут в справке ОЗД — «острое заболевание дыхательных». Врачи торопятся. Я тоже тороплюсь, и мы отводим ребят еще с кашлем, а насморк у них не проходит до лета.

Кто придумал эту анкету? Зачем она? Откуда взялась? Я верчу ее, но не нахожу никаких данных о составителях. Смотрю на Люсю черную и делаю ей знак глазами — «выйдем». Но сразу же поднимается и Люська беленькая, и мы оказываемся за дверьми втроем. Это жаль. Мне так хотелось поговорить с Люсей Маркорян об утренней беседе, работе, анкете — обо всем вместе. Люська — добрая душа, но говорить при ней я не буду, она болтушка, всякая информация ее распирает.

Маркорян тотчас закуривает и, выпустив на нас клуб дыма, спрашивает с вызовом:

— Ну что?

Это значит: «Как тебе анкета?» — я понимаю. Но Люся беленькая возмущается:

— Как — «что»? Она же ничего не знает, она опоздала...

— Еще и опоздала! — говорит Люся черная с насмешливым сочувствием и кладет мне на плечо руку, худую, как птичья лапа. — Неужели ты не можешь не опаздывать, Буратинка, а?

— К нам приходили эти самые, ну... демографы, — торопится Люська выложить новость, — и сказали, что экспериментально проведут анкету еще в нескольких женских институтах и на предприятиях...

— Институт у нас, правда, мужской, но с женскими лабораториями, — вставляет Люся черная.

— Да ну тебя! — отмахивается Люська. — А потом, если опыт пройдет удачно, такую анкету проведут по всей Москве.

— Что значит «удачно», — спрашиваю я Люсю черную, — и вообще чего они хотят?

— Черт их знает, — отвечает она, вздернув острый подбородок, — анкета — это теперь модно. В общем, они надеются выяснить важный вопрос: почему женщины не хотят рожать?

— Люся! Они ж этого не говорили! — возмущается Люся беленькая.

— Говорили. Только называли это «недостаточные темпы прироста населения». Мы вот с тобой даже не воспроизводим населения. Каждая пара должна родить двоих или, кажется, даже троих, а у нас только по одному... (Тут Люся вспоминает, что беленькая — «мать-одиночка».) Тебе хорошо — с тебя не посмеют спрашивать. Оле тоже хорошо — она

план выполнила. А я? Мне вот дадут план и тогда — прощай моя диссертация!

Они говорят, я смотрю на них и думаю: «Люся Маркорян похожа на обгорелую головешку, Людмила — на пушистого белого барашка, а если судить «по-анкетному», то первая — самая благополучная, а вторая — самая обездоленная из четырех «мамашенок» нашей лаборатории».

Мы все знаем друг про друга. Муж Люси черной — доктор наук, недавно построили большую кооперативную квартиру, денег хватает, у пятилетнего Маркуши есть няня. Кажется, куда лучше? А на самом деле вот что: доктор пять лет допекает Люсю тем, что она эгоистка, губит ребенка, доверяет воспитание чужим старухам (отдать мальчика в детский сад он не разрешает). Люся вечно ищет очередную пенсионерку «сидеть с ребенком». Доктор настаивает, чтобы Люся оставила работу, он хочет второго ребенка и вообще «нормальную семью».

У Люси беленькой мужа нет. Вовкин отец, капитан, слушатель какой-то военной академии, приехавший из другого города, скрыл от Люськи, что у него семья. Узнала она об этом поздно. Когда Люська сказала капитану, что она на четвертом месяце, он исчез, как провалился. Мать Люськи, приехавшая из деревни, сначала чуть не прибила дочь, потом пошла жаловаться на капитана «самоу главному начальнику», потом плакала вместе с Люськой, ругала и кляла всех мужчин, а потом осталась в Москве и теперь нянчит внука, ведет хозяйство. От дочери она требует только — делать покупки, стирать большую стирку и обязательно ночевать дома.

Меньше всего мы знаем про Шуру. Сынишка ее учится в третьем классе. После школы, до прихода матери, он дома один. От группы продленного дня Сережа отказался наотрез, хозяйничает. Шура за день звонит домой несколько раз: «Как поел? Не забыл газ погасить?.. Дверь смотри не оставь, когда пойдешь гулять!.. (А ключ у него на тесемке пришит к курточке.) Учишь ли уроки? Не зачитывайся». Серьезный парнишка! У Шуры муж пьет. Она скрывает, но мы догадались давно. Мы ее не спрашиваем о муже.

Должно быть, самая счастливая из нас — я.

Хохму Люси Маркорян насчет «плана по детям» Люся беленькая, в которой бушует любопытство, принимает всерьез.

— Как... план?? — ахает она, и ее тонкие бровки взлетают под самые кудряшки. — Не может быть?! Ах, ты шутишь?! — В голосе ее слышно разочарование. — Ну, конечно, шутишь... А я думаю, девочки, что анкета — это не просто так. Дадут нам, матерям, какие-нибудь льготы. А? Вот рабочий день сократят. Может, начнут больничные за детей оплачивать, не только три дня... Вот увидите. Раз изучают, что-нибудь да сделают.

Люся беленькая волнуется, трясет завитками волос, круглое лицо ее разгорается.

— Ах ты, «белая овечка, дай шерсти колечко», — говорит Люся черная словами из детской песенки, — строителей у нас мало, рук на все не хватает. Вот в чем дело. Ясно тебе? Уже сейчас строителей не хватает. А что будет дальше? Дальше кто будет строить?

— Что строить? — спрашивает Люська с горячим интересом.

— Все: дома, заводы, станки, мосты, дороги, ракеты, коммунизм... В общем, все. А защищать это все кто будет? А землю нашу заселять?!

Я слушала и не слушала. Утренний разговор опять завертелся в голове... «Советую вам быть собраннее», — сказал Яков. Может быть, уже все решено и мою работу передают Лидии? Опоздываю, распустилась... Плохо! А тут еще дойдут до него мои «показатели» по болезням...



Как жаль, что не удалось поговорить с Люсей Маркорян. Но она и сама видит, что со мной что-то не так. Обняв меня за плечи и чуть пригнул к себе, она говорит нараспев, покачиваясь вместе со мной:

— Не волнуйся ты, Оля, тебя не уволят...

— Еще бы посмели ее уволить, — вскипает Люська беленькая внезапно, как молоко, — с двумя-то детьми? Да и сначала положено выговорá давать, а у тебя пока одно замечание...

Тоже за опоздания.

Мне становится стыдно — Люська такая добрая, отзывчивая, а я не захотела при ней говорить о своих делах.

— Понимаете, девочки, боюсь я, все время боюсь не успеть со своими испытаниями. Через месяц срок...

— А! Не психуй, пожалуйста, — обрывает меня Люся Маркорян.

— Что значит «не психуй»? — кидается на нее Люська. — Видишь, человек переживает... Ты бы ей сказала: «Успокойся, не нервничай». Правда, Оля, ты зря переживаешь. Ей-богу! Вот увидишь — все будет хорошо...

От этих простых слов у меня вдруг схватывает горло. Надо бы еще зареветь! Выручает Люся черная.

— Слушайте, красавицы, — энергично хлопнув нас по плечам, говорит она. — А что, если нам устроить тройной обмен? Люся берет мою квартиру, я переезжаю к Ольге, Ольга к Люсе.

— Ну и что? — недоумеваем мы.

— Нет, ерунда... — Люся Маркорян чертит пальцем в воздухе. — Нет, надо вот как: Оля переезжает ко мне, я — к Люське, а Люся к Оле. Вот так получится то, что надо.

— Хочешь сменить свою трехкомнатную квартиру на мою комнату в коммунальной? — усмехается Люся беленькая.

— Нет, не хочу, но... приходится. Проигрываю на метраже и удобствах — ванной нет? есть? — но зато выигрываю в другом, более важном. Ты, беленькая, на этом тоже не потеряешь — Олин Дима чудесный. Мой Сурен будет счастлив — Оля моложе и, кажется, толще меня... А мне нужна бабушка, вот как нужна! Ну как — пойдет? Выручайте бедного диссертанта!

— А, идите вы, — кричит Люся беленькая, вспыхнув, — ни о чем серьезном поговорить не можете! — И она резко поворачивается, чтобы уйти, но тут дверь распахивается, и Люська чуть не врезается в Марью Матвеевну.

— Товарищи, вы так шумите, — говорит Марья Матвеевна басом, — что мешаете работать. Что-нибудь случилось?

Я хватаю Люсю беленькую за руку, и вовремя — она уже набирает воздух, чтобы одним духом выложить Эм-Эм (так между собой зовем мы Марью Матвеевну) весь наш разговор.

Мы все уважаем Марью Матвеевну. Нам нравится ее душевная чистота. Но говорить с ней на серьезные темы невозможно. Мы заранее знаем все, что она скажет. Мы считаем ее старой «идеалисткой»: нам кажется, что она несколько... абстрагировалась, что ли. Обычная жизнь ей просто незнакома — она парит над нею высоко, как птица. Биография ее исключительна: производственная коммуна в начале тридцатых, в сороковые — фронт, политотдел. Живет она одна, дочери воспитывались в детдоме, давно уже у них свои дети. Занята Марья Матвеевна только работой — производственной, партийной. Ей уже семьдесят.

Мы чтим Эм-Эм за все ее заслуги — как может быть иначе?

— Так что у вас тут? — спрашивает Марья Матвеевна строго.

— Да вот, Буратинку прорабатываем, — улыбается Люся черная, — Олю...

— В связи с чем это?

— За опоздание... — торопливо вставляет Люська, и напрасно.

Марья Матвеевна укоризненно качает головой — «так я вам и поверила»... Мне становится неловко, Люсям, я вижу, тоже. Невозможно держать себя так с Эм-Эм.

— Вот, Марья Матвеевна, — говорю я вполне искренне, хоть и не отвечаю на ее вопрос, — как странно получается: у меня двое детей и я этого... стесняюсь, что ли... Мне почему-то неловко — двадцать шесть лет и двое детей, вроде это...

— Дореволюционный пережиток... — подсказывает Люся черная.

— Что вы такое говорите, Люся! — возмущается Марья Матвеевна. — Не выдумывайте, Оля. Вам надо гордиться тем, что вы хорошая мать, да еще и хорошая производственница. Вы настоящая советская женщина!

Эм-Эм говорит, а я спрашиваю — про себя, конечно, — почему мне надо гордиться; такая ли уж я хорошая мать; стоит ли меня хвалить как производственницу и что же входит в понятие «настоящая советская женщина»?! Бесплезно спрашивать об этом саму Марью Матвеевну — она не ответит.

Мы успокаиваем Эм-Эм тем, что у меня просто такое настроение, оно, конечно, пройдет.

Все возвращаются в комнату. Даже про анкету толком не узнала — когда и кому надо ее сдать? Но тут же получаю записку: «Анкеты будут собирать в следующий понедельник от нас лично. Хотят знать наше мнение. У них могут быть вопросы. А у нас? Люся М.».

Спасибо, и хватит про анкету.

Я нахожу в дневнике пятницу и выписываю на листок последние опыты — для Люси Маркорян. Потом достаю большой, как газета, лист бумаги, расчерчиваю его по форме. Это будет сводный график всех проведенных испытаний. Он строится по данным нашего дневника.

Первый состав стеклопластика проявил повышенную ломкость. Дорабатывали рецептуру связующих. Потом начали вторую серию испытаний. Опять все сначала: гигроскопичность, влажность, теплоустойчивость, жаростойкость, огнестойкость... Никогда не представляла, что такая тщательность, осторожность, такое внимание могут быть отданы... канализационным трубам и крышам.

По этому поводу, давно, был разговор с Люсей черной. Я призналась, что мечтала попасть в другую лабораторию. Люся посмеялась: «Молодежь хитрая, все хотят работать на космос, а кто ж земную нашу жизнь будет устраивать?» А потом вдруг спросила: «А вы никогда не жили в доме, где людям на головы льются нечистоты из старых ржавых труб и проваливаются потолки?» Выяснилось, что раньше мы обе жили именно в таких домах. Только я, должно быть, не очень над этим задумывалась.

Чем больше я возилась с новым стеклопластиком, тем больше увлеклась. Теперь мне не терпится закончить испытания доработанного состава. Как он будет переносить нагрузки? Какую прочность обнаружит? И как раз в механической затор. Затор и пробка.

А все остальное идет нормально. Вот я начинаю заполнять график данными физико-химических испытаний — они почти закончены. Медленно выстраиваю колонки цифр, листаю дневник. «Водостойкость. Образец № 1... Образец № 2... Образец № 3... вес в миллиграммах... время погружения 15 ч. 20 м., время извлечения 15 ч. 20 м. = 24 ч., вес после извлечения...» Пальцы левой руки придерживают линейку на нужной странице, правая рука выписывает цифру — среднее, выведенное из результатов трех опытов, — в таблицу.

Надо быть очень внимательной, ошибаться нельзя.

— Оля, Оля,— зовет меня тихий голос,— без десяти два, я ухожу, говори, что тебе?

Сегодня очередь Шуры делать закупки для «мамашенок». Такое у нас правило — покупать продукты сразу для всех. И перерыв себе выпросили с двух до трех, когда в магазинах меньше народа. Заказываю масло, молоко, кило докторской да еще булку — здесь поесть. Никуда не пойду, буду работать — столько времени сегодня потеряла.

Люся черная куда-то скрылась, думаю, тоже наверстывает упущенное. Точно! Она появляется за десять минут до конца перерыва. Платье и волосы ее пахнут вроде бы лаком — знакомый запах нашего состава. Она голодна, как зверь. и мы съедаем половину моей колбасы, разорвав надвое булку, и запиваем свой обед водой из-под крана в лаборатории.

Я опять углубляюсь в график. Вторая половина дня проходит так быстро и незаметно, что я не сразу понимаю, почему в «тихой» комнате вдруг становится так шумно. Оказывается, все уже собираются домой.

Опять автобус, и опять перегруженный, потом метро, месиво пересадки на Белорусской. И опять надо спешить, спешить, опаздывать нельзя: мои возвращаются к семи.

Я еду в метро с комфортом — стою в углу возле закрытой двери. Стою и зеваю. Зеваю так, что парень рядом не выдерживает:

— Девушка, интересно, что вы делали сегодня ночью?

— Детей баюкала,— отвечаю я, чтобы отстал.

Я зеваю и вспоминаю сегодняшнее утро. Утро понедельника. Без четверти шесть звонит телефон, звонит долго — междугородный. Никто не подходит. Я тоже не хочу вставать. Нет, это звонят у двери. Телеграмма? Может, от тети Веры — вдруг приезжает? Я лечу в переднюю. Телеграмма лежит на полу, уже распечатанная, но в ней нет ни одного слова, только дырочки, как на перфокарте. Я плавно пролетаю над ней телеграммой и поворачиваю обратно, чтобы вернуться в постель... Только теперь до меня доходит, что звонит будильник, и я говорю ему: «Застрелись ты». Он сразу же замолкает. Становится тихо-тихо. Темно. Темно и тихо. Тихая темнота. Темная тихота...

Но я вскакиваю, быстро одеваюсь, все крючки на поясе попадают в свои петли, и — о чудо! — даже оторванный пришит. Я бегу на кухню — ставить чайник и воду для макарон. И опять чудо: конфорки пылают, вода в кастрюле бурлит, чайник уже шумит. Он посвистывает, как птица,— фюить-фу, фюить-фу, фюить-фу... И вдруг я понимаю: свистит не чайник, а мой нос. Но я не могу проснуться. Тут меня начинает потряхивать Дима, я чувствую его ладонь на спине, он покачивает меня и говорит:

— Олька, Олька, да Оля, проснись же наконец, опять будешь бежать как сумасшедшая.

Тут я действительно встаю: одеваюсь медленно, крючки на поясе попадают не в те петли, а один огорван.

Иду в кухню, зацепляюсь за резиновый коврик в передней и чуть не падаю. Нет газа, спичка гаснет, обжигая мне пальцы. А! Я забыла повернуть ключ. Наконец я в ванной. Умывшись, я погружаю лицо в теплое мохнатое полотенце, вроде бы засыпаю еще на полсекунды и просыпаюсь со словами: «Да провались оно все!»

Но это чепуха. Нечему проваливаться — все хорошо, все прекрасно. Мы получили квартиру в новом доме, Котька и Гуленька чудесные ребята, мы с Димой любим друг друга, у меня интересная работа. Проваливаться совершенно нечему, незачем, некуда. Чепуха!

**Вторник.**

Сегодня я встаю нормально — в десять минут седьмого я уже готова, только не причесана. Я чищу картошку — заготовка к ужину, — помешиваю кашу, завариваю кофе, подогреваю молоко, бужу Диму, иду поднимать ребят. Зажигаю в детской свет, говорю громко: «С добрым утром, мои лапушки!» — но они спят. Похлопываю Котьку, торможу Гульку, потом стаскиваю с обоих одеяла — «подъем!». Котя становится на колени, зарывається лицом в подушку. Гульку я беру на руки, она отбивается от меня ногами и орет. Я зову Диму — помогать, но он бреется. Оставляю Котьку в покое, натягиваю на обмякшую Гульку рубашонку, колготки, платице, а она скользит с моих колен на пол. В кухне что-то шипит — ой, я забыла выключить молоко! Сажаю Гульку на пол, бегу в кухню.

— Эх ты! — говорит мне свежевыбритый красивый Дима, выходя из ванной.

Мне некогда, я молчу. Брошенная Гулька заводится с новой силой. От ее крика наконец просыпается Котя. Я даю Гульке ее ботинки, она успокаивается и начинает, побряхтывая и сопя, крутить их возле толстых ножек. Котя одевается сам, но так медленно, что невозможно ждать. Я помогаю ему и тут же причесываюсь. Дима накрывает к завтраку. Он не может найти колбасу в холодильнике и зовет меня. Пока я бегаю к Диме, Гулька утаскивает и прячет мою гребенку. Искать некогда. Я закалываю полурасчесанные волосы, кое-как умываю детей, и мы садимся за стол. Ребята пьют молоко с булкой, Дима ест, а я не могу, выпиваю только чашку кофе.

Уже без десяти семь, а Дима все еще ест. Пора одевать детей, быстро, обоих сразу, чтоб не вспотели.

— Дай же мне выпить кофе, — ворчит Дима.

Я сажаю ребят на диван, приволакиваю весь ворох одежек и работаю за двоих: носки и носки, одни рейтузы, другие рейтузы, джемпер и кофта, косынка и другая, варежки и...

— Дима, где Котькины варежки?

Дима отвечает: «Почем я знаю», но бросается искать и находит их в неподобающем месте — в ванной. Сам туда и сунул вчера. Вколачиваю две пары ног в валенки, напяливаю шапки на мотающиеся головенки, спешу и кричу на ребят, как кричат, запрягая лошадей, — «стой же, стой, тебе говорят!». Тут подключается Дима — одевает им шубки, подвязывает кашне и пояса. Я одеваюсь, один сапог не лезет, ага, вот она, моя гребенка!

Наконец мы выходим. Последние слова друг другу: «Заперла двери?» — «Деньги у тебя есть?» — «Не беги как сумасшедшая». — «Ладно, не опоздай за ребятами» (это я кричу уже снизу) — и мы расстаемся.

Пять минут восьмого, и, конечно, я бегу. Издали, со своей горки, я вижу, как быстро растет очередь на автобус, и лечу, взмахивая руками, чтоб не упасть на скользкой тропке. Автобусы подходят полные, сядут человек пять из очереди, потом кинутся несколько смельчаков из хвоста, кто-то везучий успевает ухватиться за поручень, автобус пыхнет, взрвет и тронется, а из дверец еще долго торчит нога, пола или портфель.

Сегодня я среди смельчаков. Вспомнила студенческие годы, когда я была бегунья, прыгунья Оля-алле-гоп. Раскатываюсь по льду, прыгаю и хватаюсь и очень хочу, чтобы еще ухватился кто-нибудь сильный и втиснул меня внутрь. Так и получается. Когда мы утрясаемся немного, мне удастся вытащить из сумки «Юность». Я читаю давно уже всеми прочитанную повесть Аксенова о затоваренной бочкотаре. Я не все в

ней понимаю, но мне делается от нее весело и смешно. Читаю даже на эскалаторе и кончаю последнюю страничку на автобусной остановке у Донского. Винститут я успеваю вовремя. Прежде всего, конечно, к Вале в механическую. Она сердится:

— Что вы все бегаєте? Сказала же — во вторую половину недели.

— Значит, завтра?

— Нет, послезавтра.

Она права. Хорошо бы, конечно, не бегать... Но другие бегают, и страшно, что ты можешь прозевать какое-нибудь «окно».

Поднимаюсь к себе. Прошу Люсю беленькую приготовить на завтра образцы для испытаний в электролаборатории. Снова сажусь за сводный график. В половине первого иду в библиотеку сменить журналы и каталоги.

Я систематически просматриваю американские и английские издания по стройматериалам: у нас всегда, а в Ленинской, научно-технической, патентной, — когда удастся выбраться. Я довольна, что занималась английским серьезно еще со школы. Поллистать минут двадцать журналы после двух-трех часов работы — это отдых и удовольствие. Все интересное для нашей лаборатории показываю Люсе Маркорян, Якову Петровичу. Он тоже «англичанин», но послабее меня.

Сегодня в библиотеке я успеваю просмотреть «Стройматериалы-68», познакомиться с новыми выпусками реферативного журнала, перелистать каталог одной американской фирмы.

Смотрю на часы — без пяти два. Я забыла сдать свой «заказ» на покупки!

Я бегу к себе, по дороге вспоминаю, что я так и осталась непричесанной. Меня разбирает смех. Запыхавшаяся, лохматая, влетаю я в нашу комнату и оказываюсь в центре сборища — комната полна. Собрание? Митинг? Неужели забыла?

— А вот, кстати, спросите у Оли Воронковой, какими интересами она руководствовалась, — говорит Алла Сергеевна, обращаясь к Зинаиде Густавовне.

Я вижу по лицам, что идет какой-то горячий разговор. Обо мне? Может, я в чем-то провинилась?

— У нас тут разгорелась дискуссия вокруг этой анкеты, — поясняет мне Марья Матвеевна, — Зинаида Густавовна подняла интересный вопрос: станет ли женщина, разумеется, советская женщина, руководствоваться общенародными интересами в таком деле, как рождение детей.

— И вы хотите спросить меня и таким образом вопрос решить, — отвечаю я, успокоившись (я-то думала, что-нибудь по работе).

Я, конечно, главный авторитет в вопросах деторождения, но мне это надоело. Кроме того, «интересный вопрос» Зинаиды — просто глупый вопрос, если даже и поверить, что он сделан из чистого интереса. Но зная Зинаиду с ее вечными подковырками и ехидством, надо думать, что вопрос ее «вредный» и кому-то Зинаида хочет вколоть шпильку. Сама она в том счастливом возрасте, когда детей уже не рожают.

Шура разъясняет мне вполголоса, что спор закрутился вокруг пятого вопроса анкеты: «Если вы не имеете детей, то по какой причине: медицинские показания, материально-бытовые условия, семейное положение, личные соображения и пр. (нужное подчеркнуть)».

Я не понимаю, зачем спорить, когда каждая может отвести вопрос, подчеркнув «личные соображения». Я бы даже подчеркнула «пр.». Но пятый вопрос всех заинтересовал, а наших бездетных даже задел.

Алла Сергеевна определила его как «чудовищную бестактность», Шура возразила:

— Не больше, чем вся анкета.

Люся беленькая, впитавшая из вчерашнего разговора самое тревожное («кто будет землю нашу заселять»), бросилась на защиту анкеты:

— Надо же искать выход из серьезного и даже опасного положения — демографического кризиса.

Лидия, моя соперница в конкурсе на младшего научного, имеющая двоих обожателей, сказала:

— Те, кто замужем, те пусть и ликвидируют кризис.

Варвара Петровна, доброжелательная и спокойная, поправляет Лидию:

— Если проблема общенародного значения — значит, касается всех... до определенного возраста.

Люся черная пожимает плечами:

— Стоит ли спорить о таком бесперспективном деле, как эта анкета?

Сразу раздались несколько голосов:

— Почему бесперспективное?

Люся обосновывает тем, что составители в качестве причин отказа от ребенка выдвигают в основном личные мотивы, а значит, они признают, что каждая семья, заводя ребенка, руководствуется соображениями личного плана, стало быть, «повлиять на это дело никакими демографическими обследованиями не удастся».

— Ты же забываешь «материально-бытовые условия» — смотри, — возражаю я.

Марье Матвеевне не понравилось скептическое замечание Люси Маркрян. Она сказала:

— У нас сделано колоссально много, чтобы раскрепостить женщину, и нет никаких оснований не доверять стремлениям сделать еще больше.

— Может быть, лучший результат дал бы узкопрактический подход к проблеме, — сказала Люся черная. — Вот во Франции государство платит матери за каждого ребенка... Наверное, это действеннее, чем всякие анкеты.

— Платит? Как на свиноферме?! — брезгливо скривила рот Алла Сергеевна.

— Выбирайте слова! — Мужской голос Эм-Эм раздается одновременно с пискливым Люськиным:

— Для вас что свиньи, что люди?!

— Так то во Франции, там же капитализм, — пожимает плечами Лидия.

Мне весь этот шум надоел. Уже поздно. Ужасно хочется есть. Кому-то из «мамашенок» пора идти за покупками. И наконец, надо же мне причесаться?! Да и вообще хватит с меня этой анкеты. Я поднимаю руку — внимание! — и становлюсь в позу.

— Товарищи! Дайте слово многодетной матери! Заверяю вас, что я родила двоих детей исключительно по государственным соображениям. Вызываю вас всех на соревнование и надеюсь, что вы побьете меня как по количеству, так и по качеству продукции!.. А теперь — умоляю! — дайте кто-нибудь хлеба...

Я-то думала их насмешить, да на этом и кончить споры. Но кто-то обиделся, и началась откровенная склока. Со всех сторон полетели ядовитые реплики, голоса поднялись, заглушая друг друга. Слышались только обрывки фраз: «...важное дело превращать в цирк», «...если животный инстинкт преобладает над разумом...», «бездетники все эгоисты», «...сами себе портят жизнь», «еще вопрос, какая жизнь испорченная»,

«...добровольно же взялись увеличивать население...», «...а кто вам пенсии платить будет, если смены молодой не хватит», «...только та женщина настоящая, которая может рожать...» и даже «...кто влез в петлю, тот пусть молчит...» (!).

А во всем этом хаосе два трезвых голоса — сердитый Марьи Матвеевны: «Это же не спор, а какой-то базар» — и спокойный Варвары Петровны: «Товарищи, ну что вы так разгорячились, в конце концов каждая из вас сама выбрала свою долю»...

Стало потише, и тут мелкая душонка Зинаиды вырвалась визгливым вскриком:

— Сама-то сама, а вот когда приходится за них дежурить, или в командировку на заводы таскаться, или на отчетно-выборном вечер просидеть, то и нас касается.

На этом наш бабий разговор об анкете и деторождении закончился. И теперь я вдруг пожалела: можно было бы поговорить серьезно, даже интересно было бы поговорить.

По дороге домой я все еще думаю об этом разговоре... «...Каждая выбрала свою долю...» Так ли уж свободно мы выбираем? Я вспоминаю, как сотворилась Гулька.

Конечно, мы не хотели второго ребенка. У нас еще Котька был совсем малыш. Полтора ему не было, когда я поняла, что опять беременна. Я пришла в ужас, я плакала. Записалась на аборт. Но чувствовала я себя не так, как с Котькой, — лучше и вообще по-другому. Сказала я об этом в консультации немолодой женщине, соседке по очереди. А она вдруг говорит: «Это не потому, что второй, а потому, что теперь девочка». Я тотчас ушла домой. Прихожу, говорю Диме: «У меня будет девочка, не хочу делать аборт». Он возмутился: «Что ты слушаешь бабью болтовню!» — и начал меня уговаривать не дурить и ехать за направлением.

Но я поверила и теперь стала видеть девочку, светленькую и голубоглазую, как Дима (Котя каштановый, кареглазый — в меня). Девочка бегала в коротенькой юбочке, трясла смешными косичками, качала куклу. Дима сердился, когда я рассказывала ему, что вижу, и мы поссорились.

Подшел самый крайний срок. Был у нас решительный разговор. Я сказала: «Не могу я убивать свою дочку только потому, что нам будет труднее жить» — и заплакала. «Не реви ты, дуреха, ну, рожай, если ты такая безумная, но вот увидишь — родишь второго парня!» Тут Дима осекся, долго смотрел на меня молча и, хлопнув ладонью по столу, вынес резолюцию: «Итак, решено — рожаем; хватит реветь и спорить. — Он обнял меня. — А что, Олька, второй мальчик — это тоже неплохо... Косте в компанию». Но родилась Гулька и была сразу такая хорошенькая — беленькая, светленькая, до смешного похожая на Диму.

Мне пришлось уйти с завода, где я проработала всего полгода (с Котькой я уже просидела дома год, чуть диплома не лишилась). Дима взял вторую работу — преподавать в техникуме на вечернем. Опять мы считали копейки, ели треску, пшено, чайную колбасу. Я пилила Диму за пачку дорогих сигарет, Дима корил меня тем, что не высыпается. Котю опять отдали в ясли (с двумя я одна не могла управиться), а он постоянно болел и больше был дома.

Выбирала ли я такое? Нет, конечно, нет. Жалею ли я? Нет, нет. Об этом даже говорить нельзя. Я так их люблю, наших маленьких дурачков.

И я спешу — скорей, скорей к ним. Я бегу, сумки с продуктами мотаются и бьют меня по коленкам. Я еду в автобусе, а на моих часах уже семь. Вот они уже пришли... Только бы Дима не давал им напихиваться хлебом, не забыл поставить на газ картошку.

Я бегу по тропкам, пересекая пустыри, взлетаю по лестнице... Так и есть — дети жуют хлеб, Дима все забыл, он углубился в технические журналы. Зажигаю все конфорки: ставлю картошку, чайник, молоко, бросаю на сковороду котлеты. Через двадцать минут мы ужинаем.

Мы едим много. Я вообще первый раз за день по-настоящему. Дима после столовой тоже не очень сыт. Ребята — кто их знает, как они ели.

Детей размаривает от горячей и обильной еды, они уже подпирают щеки кулаками, глаза заволакивает сном. Надо тащить их быстро в ванну под теплую струю, класть в кровати. В девять они уже спят.

Дима возвращается к столу. Он любит спокойно выпить чаю, посмотреть газету, почитать. А я мою посуду, потом стираю детское — Гулькины штанишки из яслей, грязные передники, носовые платки. Зашиваю Котькины колготки, вечно он протирает коленки. Готовлю всю одежду на утро, собираю Гулькины вещи в мешочек. А тут Дима тащит свое пальто — в метро ему опять оторвали пуговицу. Еще надо подмести, выбросить мусор. Последнее — обязанность Димы.

Наконец все переделано, и я иду принимать душ. Я это делаю всегда, даже если мне дурно от усталости. В двенадцатом часу я ложусь. Дима уже приготовил постель на нашем диване. Теперь он идет в ванную. Уже закрыв глаза, я вспоминаю, что опять не пришила крючок к поясу. Но никаким силам не вытащить меня из-под одеяла.

Через две минуты я сплю. Я еще слышу сквозь сон, как ложится Дима, но не могу открыть глаза, не могу ответить на какой-то его вопрос, не могу поцеловать его, когда он целует меня... Дима заводит будильник, через шесть часов эта адская машина взорвется. Я не хочу слышать скрежета часовой пружины и проваливаюсь сквозь диван в глубокий, темный и теплый сон.

### ***Среда.***

После вчерашнего «базара» всем как-то неловко, все подчеркнуто вежливо и сосредоточенно работают.

Я беру дневник испытаний и ухожу в электролабораторию, где меня ждет Люська. Она уже на месте. Кокетничает с новым лаборантом, ахает и охает, глядя на устрашающие надписи «ОПАСНО! ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ!», как будто видит в первый раз.

Здесь мы не хозяйничаем, а только присутствуем. Образцы наши, помещенные еще вчера в термостаты с заданной температурой и влажностью, теперь закладываются в прибор, определяющий электрическое сопротивление. Шесть пластинок, одна после другой, — это поверхностное сопротивление, а еще шесть — объемное.

Люська делает вид, что боится — «еще убьет», пятится к двери и как-то незаметно смывается.

Удивляет она меня: руками работает ловко, что ей раз покажут — запомнит, но в суть дела вникать не хочет. Я пыталась втянуть ее в расчеты, объяснять формулы. Она говорит: «Я и так все знаю — теплостойкость, чтобы трубы не растаяли, искростойкость, чтобы крышу молнией не пробило». Жалеет, что пошла в наш техникум. Очень любит шить, хотела учиться на кройщицу, да боится: «Кто теперь женится на портнихах».



В перерыв моя очередь делать закупки. Продукты на всех — нелегкое дело. Не только потому, что тяжело тащить. А потому, что тебя непременно будет ругать очередь, хоть и самая маленькая. Купишь колбасу раз, да еще раз, да еще... И начинаются реплики: «Вы что же, для буфета закупаете?», «Всю квартиру обслуживает, а мы тут стоим...» У нас в Москве все всегда спешат. Даже те, кому некуда. Ток спешки заряжает всех подряд. В магазинах лучше всего молчать.

С видом угрюмым и замкнутым покупаю я в гастрономическом отделе три полкило масла, шесть бутылок молока, три — кефира, десять плавленых сырков, два кило колбасы и дважды по триста граммов сыра. Очередь сносит это терпеливо, но под конец кто-то вздыхает приворно:

— А все жалуются — денег мало.

Подгружаю еще в полуфабрикатах четырем десятками котлет и шестью антрекотами. Ничего себе сумочки!

И вот с этими-то сумочками я вдруг сворачиваю со своего пути, петляю между домами и выхожу к стеклянному кубу парикмахерской. У меня еще двадцать минут. Остригусь! Когда-то мне это здорово шло.

Очереди нет. Под свирепую воркотню гардеробщика оставляю свои сумки возле вешалки на полу, поднимаюсь наверх и сразу же сажусь в кресло к молодой женщине с подобранными бровями.

— Что будем делать? — спрашивает она и, узнав, что только стринься, поджимает губы. «Ну, сейчас обкорнает...» Так и есть. Смотрю в зеркало: окороченные волосы топорщатся возле щек, голова, как равнобедренный треугольник. Я чуть не плачу, но почему-то даю ей тридцать копеек сверх положенного и спускаюсь одеваться.

Гардеробщик хмыкает и, отклонив мою руку с номерком, кричит: — Ленька, иди-ка сюда!

Появляется парень в белом халате.

— Вот, Леня, — говорит гардеробщик участливо, — эту девушку наверху подстригли. Ты как, можешь ее произвести?

Леня оглядывает меня хмуро и кивает в сторону пустующих кресел мужского зала. Я не противлюсь — хуже не будет.

— Согласно вашему лицу, предлагаю под мальчика — не возражаете? — спрашивает Леня.

— Стригите, — шепчу я и закрываю глаза.

Леня щелкает ножницами, приговаривая что-то свое, поднимая и опуская мою голову легким прикосновением пальцев, потом стрекочет машинкой, взбивает волосы расческой и наконец, сняв с меня простыню, говорит:

— Можете открыть.

Открываю глаза и вдруг вижу молоденькую забавную девчонку, улыбаюсь ей, а она — мне. Я смеюсь, Леня тоже. Я гляжу на него и вижу — он любит свою работу.

— Ну как? — спрашивает он.

— Замечательно, вы просто волшебник!

— Я просто мастер, — отвечает он.

Сунув Лене в карман рубль, я смотрю на часы и ойкаю — уже три часа двадцать минут.

— Опоздываете? — сочувствует Леня. — В следующий раз приходите пораньше.

— Обязательно! — восклицаю я. — Спасибо!

Запыхавшаяся прибегаю в лабораторию — конечно, обо мне спрашивал шеф. Он в библиотеке, просил меня к нему заглянуть. Все охают, увидев мою голову, но мне некогда, схватив блокнот и карандаш, я вы-

летаю из комнаты. Я бегу по коридорам и придумываю, что я буду врать шефу, если он спросит, где я была. Потом соображаю — это бесполезно, увидит меня, все поймет.

Вхожу в читальный зал, он сидит над книгой и пишет.

— Яков Петрович, я, кажется, вам нужна?

— Да, Ольга Николаевна, садитесь.— Взгляд на меня. Шеф улыбается: — Вы очень помолодели, если это можно сказать о женщине вашего возраста... Я хотел вас просить, если не затруднит, перевести мне сейчас страничку,— и он протягивает мне книгу,— а я буду делать заметки.

Я начинаю излагать статью сразу по-русски, но он просит читать и английский текст. Кое-что он просит повторить. Вдруг я вижу за стеклянной дверью Люську. Она делает мне какие-то непонятные знаки: то будто поворачивает ключ в дверях, то поднимает два расставленных пальца и закатывает глаза. Я отмахиваюсь от нее рукой, неудобно все-таки. Люська исчезает. Но я начинаю беспокоиться — что-то там, видно, случилось. Мы уже доползаем до конца отрывка (и никакая это не страничка, а целых три), но шеф просит повторить все сначала бегло по-русски. А я уже как на иголках — мне надо к Вале в механическую, надо узнать, что там у Люськи. Наконец мы кончаем, шеф благодарит, я обрадованно отвечаю «спасибо» и бегу в старое здание.

На площадке первого этажа в старом здании меня поджидает Люська. У нее плохая новость: из самых «наивернейших источников» ей стало известно, что механическая лаборатория на той неделе будет проводить внеочередной заказ.

— Откуда ты это узнала?

— Я знаю, знаю, не спрашивай меня откуда,— Люська делает таинственное лицо,— непосредственно знаю.

Уж и «непосредственно», ах, Люська!

Впрочем, все равно — скорей бежать к Вале.

— Ты ж ей не говори! — кричит вслед Люська.

Надо покрепче нажать на Валу, иначе совсем завязнем. А завязнуть в декабре — это гроб... Конец года. выполнение плана, отчеты и прочее такое. А чтобы дело двигалось, необходимо узнать, что дала вторая композиция состава — увеличилась ли прочность стеклопластика?

В механической стоит бодрый грохот. В конторке вместо Вали сидит маленький Горфункель из лаборатории древесных плит и работает. Нет, оказывается, не работает, а ищет свои очки, почти положив лысоватую голову на стол и копошась короткими ручками в ворохе бумажек, как черепаха в сене. Я нахожу его очки и подаю ему. Где Валя, он не знает — вышла.

— Давно?

— Давно!

Я возвращаюсь к себе, по дороге заглядывая во все лаборатории. Вали нигде нет. Прячется она, что ли?

За четверть часа до конца работы в нашу комнату набивается народ. Зинаида раздаёт билеты в театр — наши идут на «Бег» к Ермоловой.

Культпоход — это не для меня, не для нас с Димой. Мне делается грустно. Мы не были в театре... Пытаюсь вспомнить, когда же мы ходили куда-нибудь, и не могу. Дура я, что не заказала билет. Пусть бы Дима пошел один, мы ведь все равно не можем вместе.

Димины мать нянчит внуков от дочери, живет на другом конце Москвы; моя мама умерла; тетя Вера, у которой я жила, когда отец снова

женился, осталась в Ленинграде, а моя московская тетка, Соня, ужасно боится детей.

Некому нас отпускать, что делать...

Выхожу из института. Снегопад только что прекратился, снег еще лежит на тротуарах. На улице бело. Вечер. Оранжевые прямоугольники окон висят над синими палисадниками. Воздух чист и свеж. Я решаю пройти пешком часть пути. На сквере у стен Донского монастыря фонари освещают запушенные ветки, заснеженные скамейки. Там, где нет огней, за верхушками деревьев виднеется тоненькая скобочка месяца...

Вдруг на меня накатывает тоскливое желание идти налегке, без ноши, без цели. Просто идти — не торопясь, спокойно, совсем медленно. Идти по зимним московским бульварам, по улицам, останавливаться у витрин, рассматривать фотографии, книги, туфли, не спеша читать афиши, обдумывая, куда бы я хотела пойти, потихоньку лизать трубочку эскимо и где-нибудь на площади под часами, всматриваясь в толпу, ждать Диму.

Все это было, но так давно, так ужасно давно, что мне кажется, будто это была не я, а какая-то ОНА.

Было так: ОНА увидела его, ОН увидел ее, и они полюбили друг друга.

Был большой вечер в строительном институте — встреча студентов старших курсов с выпускниками. Шумный вечер с веселой викториной, шутками, шарадами, карнавалом масок, джазом, стрельбой из хлопушек, танцами в жаркой тесноте зала.

Она выступала с гимнастическим номером — вилась вокруг обруча, прыгала, перегибалась, кружилась. Ей долго хлопали, ребята кричали: «О-ля, О-ля!» — а потом наперебой приглашали танцевать. Он не танцевал, а стоял, прислонившись к стене, большой, широкоплечий, и следил за ней взглядом. Она заметила его: «Какой славный увалень». Потом, проходя мимо него еще раз: «На кого он похож? На белого медведя? На тюленя?» И в третий: «На белого тюленя; чудо-юдо белый тюлень». А он только смотрел на нее, но танцевать не звал. Каждым движением своим отвечала она его взгляду, ей было весело, радостно, она кружилась непрерывно и все не могла устать.

Когда объявили «белый танец», она подбежала к нему, осыпая конфетти с коротко стриженных волос. «Наверное, он не танцует». Но он танцевал ловко и легко. Ее товарищи пытались их разлучить, звали: «О-ля, О-ля, и-ди к нам!» — закидывали на нее лассо из серпантина, но только заплели, запутали и связали их бумажными лентами.

Он провожал ее, хотел увидеть завтра, но она уезжала в Ленинград.

После каникул, весь февраль, появлялся он вечером в вестибюле. ждал ее у большого зеркала и провожал на Пушкинскую, где она жила у тетки.

Однажды он не пришел. Не было его и назавтра. Не увидев его на обычном месте и через два дня, она огорчилась, обиделась. Но не думать о нем уже не могла.

Через несколько дней он появился — у зеркала, как всегда. Она вспыхнула и, заговорив с девушками, быстро пошла к выходу. Он догнал ее на улице, сильно схватил за плечи, повернул к себе и, не обращая внимания на прохожих, прижался лицом к ее меховой шапочке. «Я был

в срочной командировке, соскучился ужасно, я ведь не знаю твоего телефона, адреса... Прошу тебя, поедем ко мне, к тебе — куда хочешь».

На углу мигнул зеленый глазок такси, они сели и ехали молча, держась за руки.

Он жил в большой коммунальной квартире. У входа под телефоном стояло кресло с драной обивкой. Тотчас приоткрылась ближайшая дверь, высунулась старушечья голова в платке, прицелилась глазом и скрылась. Что-то прошуршало в глубине коридора, куда не доходил свет тусклой и пыльной лампочки. Ей стало не по себе, она готова была пожалеть, что поехала к нему, но вспомнила чинный порядок теткинго дома, чай под старой люстрой и общие разговоры за столом...

В конце апреля они поженились. В его полупустую комнату с тахтой и чертежной доской вместо стола перевезли ее вещи: чемодан, сверток с постелью, связку книг.

В мечтах, раньше, она представляла все совсем иначе: мраморную лестницу во дворце бракосочетаний, марш Мендельсона, белое платье, фату, розы, богатое застолье с криками «горько!».

Ничего этого не было. «Свадьбу? Зачем она тебе? — удивился он. — Давай лучше улетим в далекие края»...

Рано утром они расписались — она приехала в загс с подругой, он с товарищем. Он принес ей белые кружевные гвоздики на длинных стеблях. У нее дома их ждал завтрак, приготовленный теткой. Подняли бокалы за новобрачных, пожелали им счастья. Товарищи проводили до автобуса, идущего на Внуковский аэродром. А через шесть часов они уже были в Алушке.

Они поселились в старом домике, прилепившемся к склону горы. К нему вела тропка, иссеченная ступенями на поворотах. Узкий вымощенный дворик нависал над плоской крышей другой сакли. Невысокая изгородь, сложенная из дикого камня, прорастала усиками винограда, тянувшегося снизу. Во дворе стояло единственное дерево — старый орех, наполовину засохший. Часть его ветвей — голых, серых — напоминала о зиме, о холодных краях; на других густо сидели темно-зеленые резные листья. Лиловые кисти глицинии, оплетавшей саклю, свисали в прорезях узких окон, наполняли двор дурманно-сладким запахом.

Внутри сакли было темно и прохладно. Низкая печь в трещинах, видно, давно не топилась. Хозяйка, старая украинка, принесла им вечером из своей хибарки круглую трехногую жаровню, полную печного жара, — «щоб в ніч не змэрзли». Легкое синеватое пламя бродило по углям. Они открыли дверь настежь и вышли во двор.

Было темно и тихо. Свет фонарей не доходил сюда, луна еще не взошла. Они стояли и слушали, как внизу дышит, ухает в больших камнях море. В глухой дали мигал слабый огонек — может, фонарь на рыбацьем баркасе, может, костер на берегу. Ветер дул с гор, доносил запахи леса, нагретых за день солнцем трав, земли.

Угли в жаровне стали темнеть, затягиваться пеплом, они выставили жаровню во двор.

Над саклей раскинулось черное небо с прорезями звезд. Темные ветви ореха осеняли глиняную крышу с полуобвалившейся трубой. Разоренный очаг, чужой дом, а сейчас их кров. И они вдвоем, и никого — ночь, море, тишина.

Утром они бежали по тропке вниз, завтракали в кафе, потом бродили по берегу. Взбирались на крутолобые камни, грелись, как ящерицы, на солнце, смотрели на кипение воды внизу — взрывы студеных

брызг долетали до них. Было безлюдно, тихо, чисто... Скинув платье, в купальнике, делала она гимнастические упражнения. Он смотрел, как ловко получаются у нее стойки, мостики, как высоко она прыгает, просил: «А ну-ка еще!» Порой, когда море было тихим, они бросались в воду. Холод обжигал, перехватывал дыханье, проплыв немного, они выскакивали на берег и потом долго лежали на солнце. Прокалившись в горячих лучах, уходили под деревья воронцовского парка, бродили по дорожкам под тенистыми сводами, наполненными птичьим свистом и щебетом, рассказывали друг другу о детстве, родителях, школе, друзьях, институте...

Иногда поднимались они в горы. Здесь было совсем пустынно. Тихо стояли сосны, лениво покачивая ветвями, нагретые солнцем стволы источали смолу, пахло хвоей. Отсюда, сверху, море казалось фиолетовым, оно поднималось отвесно, как стена.

Лежали на склоне, усыпанном теплыми сухими иглами, смотрели на взбитые ветром пышные облака. Вскокивали, осыпая хвою, и принимались ловить друг друга с криком, хохотом, кружа и петляя меж сосновых стволов. Съезжали по скользким от хвои склонам, как с горы-ледянки, перелезали через каменные завалы, сползали по крутизне, хватаясь за кустарник, и, умаявшиеся, разгоряченные, голодные, вываливались из душных зарослей дрока на шоссе. Асфальт приводил их в узкие алушкинские улочки, стесненные белыми стенами домов с черепичными красными крышами, с кустами жасмина и шиповника под окнами.

Полмесяца, собранные по дням из трех «законных», трех праздничных и десяти, выпрошенных у нее в институте и у него на работе, внезапно кончились.

Ранним воскресным утром с рюкзаком, с чемоданом он и она садились в автобус. Они покидали рай.

Это было пять лет тому назад.

Напрасно пошла я пешком, раздумалась. Поздно! Я бегу вниз по эскалатору, задеваю людей набитой сумкой, но остановиться не могу.

Я не очень опоздала, но все трое уже ходили с кусками. У Димы был виноватый вид, и я ничего не сказала, а кинулась скорее на кухню. Через десять минут я поставила на стол большую сковороду с пышным омлетом и крикнула:

— Ужинать скорей!

Детишки вбежали в кухню, Котька быстро уселся на свое место, схватил вилку, потом взглянул на меня и закричал:

— Папа, иди сюда, смотри, у нас мама — мальчик!

Дима вошел, улыбнулся: «Какая ты еще молоденькая, оказывается» — и во время ужина поглядывал на меня, а не читал, как обычно. И посуду мыл со мной вместе и даже пол подмел сам.

— Оляка, ты ведь совсем такая, как пять лет назад!

По этому случаю мы забыли завести будильник...

### **Четверг.**

Мы вскочили в половине седьмого, Дима бросился будить детей, я на кухню — только кофе и молоко! — потом к ним помогать. Похоже, что успеем выйти вовремя. Но вдруг Котька, допив молоко, заявил:

— Я не пойду в садик.

Мы в два голоса:

— Не выдумывай!

— Одевайся!

— Пора!

— Мы уходим!

Нет. Мотает головенкой, насупился, вот-вот заплачет. Я присела перед ним:

— Котя, ну скажи нам с папой, что случилось? В чем дело?

— Меня Майя Михайловна наказала, не пойду.

— Наказала? Значит, ты баловался, не слушался...

— Нет, я не баловался. А она наказывает. Не пойду.

Мы стали одевать его насильно, он начал толкаться, брыкаться и заревел. Я твердила одно:

— Котя, одевайся, Котя, надо идти, Котя, мы с папой опаздываем на работу.

Дима догадался сказать:

— Идем, я поговорю с Майей Михайловной, выясним, что там у вас.

Котька, красный, потный, залитый слезами, всхлипывая, пытается рассказать:

— Витька свалил, а не я. Он разбился, а она меня по-са-ди-ла од-ного... Это не я! Это не я! — И опять рыдания.

— Кто разбился — Витька?

— Не-е-ет, цве-е-ток...

Я сама чуть не плачу — так мне жалко малыша, так ужасно тащить его, такого обиженного, силком. И страшно: весь потный, еще простудится. Умоляю Диму непременно узнать, что произошло, сказать воспитательнице, как Котя нервничает.

— Ладно, не раскисайте,— говорит Дима сурово,— их там двадцать восемь штук, можно и ошибиться.

Тут вдруг Гуля, которая была до последней минуты спокойна, заплакала и стала гнать ко мне ручки:

— Хочу к маме.

Бросаю их всех, кричу с лестницы Диме: «Позвони мне обязательно!» — сбегаю вниз, несусь к автобусу, штурмую один, другой... В третий попадаю.

Еду и все время думаю о Котьке. В группе действительно двадцать восемь ребят, у воспитательницы, конечно, может не хватить на всех внимания и даже сил. Но лучше совсем не разбираться, если некогда, чем разобратся не до конца, наказать несправедливо...

Вспоминаю, как звала меня заведующая, когда Котьку переводили в наш новый сад, работать нянечкой, как уговаривала: «Полторы ставки, воспитательница помогает раскладушки расставить, постели со стеллажей снять, детей на прогулку одеть». Видно, обеим хорошо достается — и няне и воспитательнице. Представить только — двадцать пять рейтуз, платков, шапок, пятьдесят носков, валенок, рукавичек, да еще шубки, да кашне и пояса подвязать... И все это надо дважды надеть да один раз снять, а еще после дневного сна... Двадцать пять... Что это за «нормы», кто только их выдумал? Наверное, у кого детей нет или у кого они в садик не ходят...

Еду уже в метро, и вдруг меня как стукнет — сегодня же политзанятия, семинар, а я забыла дома программу, забыла даже заглянуть в нее... А ведь я взялась подготовить вопрос и... забыла! Занятия раз в два месяца, можно, конечно, забыть. Но раз я взялась, забывать было нель-

зя. Ну, ладно, приеду, возьму у Люси Маркорян программу, авось что-нибудь успею сообразить.

Все же первая моя забота должна быть «механическая». Если я сегодня не прорвусь туда, будет плохо. Заглядываю — Вали нет. Кричу: — Где Валя?

Не слышат, не понимают, потом я не сразу понимаю... Наконец дошло — Валя куда-то вышла. Опять! Оставляю ей записку, в которой все, кроме одной фразы, неправда: «Валечка, милая, выручайте! Сомневаемся в прочности доработанной массы. Без испытаний у вас все оставилось. На меня сердится Я. П. Второй день не могу вас застать».

Наверху у нас одни хорошие люди. Никто меня не спрашивает, почему я так поздно, но все хотят рассмотреть новую прическу, вчера они не успели. Я верчусь во все стороны — затылком, в профиль. Тут входит Алла Сергеевна и, сказав с улыбкой: «Очень мило», сообщает, что мною только что интересовалась Валя.

Я вылетаю в коридор, но не успеваю сделать несколько шагов, как меня окликают — к телефону. Это Дима. Он успокаивает меня — Майе про Котьку сказал, она обещала разобраться. Меня это не утешает.

— Она так и сказала?

— Да, именно так.

— А ты ей рассказал, что он говорит?

— Рассказывать особенно не пришлось, но самое главное сказал...

Повесив трубку, вспоминаю, что не предупредила Диму о политзанятиях, — ведь я приду на полтора часа позже. И загоговок к ужину не успела сегодня сделать! А дозвониться в Димин «ящик» нелегко. Попробую позже, а сейчас скорее к Вале, пока никто не проскочил вперед!

Валя недовольна — я пришла недостаточно быстро. Ворчит:

— То бегают, бегают, то не дозовешься.

Сегодня у них производственное совещание, с четырех свободны все установки, если работать самостоятельно — пожалуйста. Тот, за кем это время, отказался.

С четырех? Это слишком поздно! Всего полтора часа, если б не было семинара. А он начинается в 16.45. И я не могу сегодня с него отпрашиваться, раз мне выступать. Значит, всего сорок пять минут. Объясняю Вале, но она не понимает.

— Вы просили, вот я вам и даю.

— Нельзя ли начать хоть на часик пораньше, хоть на одной установке?

— Нет, нельзя.

— Как же мне быть? — думаю я вслух.

— Уж не знаю. Решайте... А то отдам другим. Желающих много...

— А кто там пораньше, может, мне поменяться?..

— Нет уж, не устраивайте мне тут обменное бюро — и так у нас проходной двор...

Хорошо, мы берем это время — значит, в 16.00.

На обратном пути ломаю голову — как быть? Может, Люське отпроситься с занятий, провести несколько опытов? Только каждый образец надо измерить микрометром, обязательно каждый, хоть они изготовлены по стандарту... Сделает она это? А вычислить площадь поперечного сечения? Не признает она этой тщательности. Нет, Люську отставить. Кого еще можно просить — Зинаиду? Но она, наверное, забыла все это.

Значит, необходимо отпроситься с семинара.

Я сижу над дневником, составляю сводку вчерашних электроиспытаний, а в голове все вертится мыслишка, как бы мне удрать от всех да поработать в физико-механической до конца дня.

— А где Люся Вартановна? — спрашиваю я.

Все молчат. Неужели никто не знает? Ну, если так, то я пропала. Значит, Люся черная «ушла думать». В таких случаях она умеет скрываться так, что никто ее не найдет.

Внезапно наступает перерыв. Люся беленькая, наклонясь ко мне, говорит:

— Ты что, спишь, что ли, говори скорей, чего тебе, задерживаешь, ведь два часа.

Я начинаю соображать вслух, что мне надо, а Люська торопит:

— Ну, все, что ли?

— Все, — отвечаю я, — раз тебе некогда, то все!

— Ну, что злишься? — уступает Люська.

А я не злюсь, я просто не знаю, что мне делать.

И как раз в эту минуту телефон: «Воронкову просят срочно в проходную принять изделия с производства». Я кидаю Люське две трешницы:

— Купи что-нибудь мясное. — В дверях вспоминаю: — И чего-нибудь пожевать (я ведь еще не ела сегодня).

Внизу в проходной лежат выброшенные из пикапа три громоздких свертка с надписями: «В полимеры Воронковой» — первые опытные изделия из стеклопластика-1, выполненные на нашем экспериментальном заводе, — кровельные плитки, толстые короткие трубы. Поспешил Яков Петрович заказать, ведь состав изменен... Только место на стеллажах занимать будут.

Спрашиваю у вахтера, где Юра — наш рабочий, посыльный, «мальчик на подхвате». Только что был тут. Он всегда «только что» там был, где он нужен. Пробую найти его по телефону, но мне некогда. Беру один из свертков и тащу его по лестнице на третий этаж. Старый вахтер причитает, жалея меня, бранит Юру. Под этот аккомпанемент я потихоньку перетаскиваю все свертки к нам в лабораторию. Когда я тащусь с последним, меня догоняет Люська с нашими покупками:

— Оля, «лотос» дают в хозтоварах, я заняла очередь, кто б пошел, взяли бы на всех...

«Лотос» нужен, очень нужен, но я только машу рукой — не до «лотоса» мне, четвертый час, только успеть собраться в механическую и все-таки в программу заглянуть. Но Люси Маркорян все еще нет... Впрочем, я же решила — иду в механическую?! Вот съем, что мне Люська принесла, и умотаюсь. Но беленькая куда-то пропала — не за «лотосом» ли? Лезу к ней в сумку — две булки, два творожных сырка. Уж половина-то наверное мне.

Собираюсь потихоньку, образцы наши давно внизу, и без пяти четырех исчезаю.

Начну с маятникового копра. Замеряю первый брусок, закрепляю. Устанавливаю угол зарядки. Отпускаю маятник. Удар! Образец выдержал. Теперь увеличим нагрузку. Что это, я волнуюсь? Спортивный азарт. Ставка на стеклопласт-2: выдержит — не выдержит? Образец не разбивается при максимальной силе удара. Ура! Или еще рано кричать «ура»? Испытания на прочность на этом ведь не кончаются... А растяжение? Сжатие? Твердость?

Я погружаюсь в увлекательный спорт, в котором я тренер, а мой подопечный спортсмен — Пластик. Он прошел первый тур и готовится ко второму: опять измеряется толщина, ширина, опять вычисляется площадь поперечного сечения... Теперь новая машина, новая нагрузка...

Через некоторое время я нахожу на листе с подсчетами сдобную булку и творожный сырок. Вот интересно! Я уже съела булку и сырок на-



верху. Что это — приходила Люська? Я не заметила. Очень хорошо так работать — в темпе, молчаливо, один на один с делом.

Но вдруг до меня доходит моя фамилия, которую выкрикивают напористо и зло:

— Воронкова! Воронкова!! Да Воронкова же!!

Оглядываюсь. У дверей стоит Лидия.

— Занятия начинаются. Давай. И поскорей.— Выпалив это, она хлопает дверью.

Я сбрасываю уже измеренные образцы обратно в коробку, туда же кидаю микрометр, карандаш, листы бумаги с расчетами, а сверху хлопаю дневник испытаний.

На занятия собирается вся лаборатория — человек двадцать; проходят они в большой, соседней с нашей комнате. Забегаю к себе, сваливаю на стол все имущество, беру карандаш, тетрадку и с виноватым видом вхожу.

Говорит сам Зачураев, руководитель наш, отставной подполковник. Но как только я открываю дверь, он замолкает. Я прошу извинения и делаю попытку пробраться к Люсе Маркорян.

— Что ж вы так запаздываете? — сердится Зачураев.— Садитесь, вот же свободное место.— И он указывает на ближайший стул.— ...Давайте продолжим...— Зачураев вытаскивает платок из кармана и вытирает руки. Значит, сейчас перейдет к новому вопросу.

...Ужасно, что я так и не предупредила Диму о семинаре. Что он будет делать с детьми? Чем их накормит без меня? Ведь я утром ничего не успела заготовить к ужину... Как там Котька с его переживаниями? Я не уверена, что Майя Михайловна, если она «разбиралась», не причинила ему новых напрасных обид...

Занятия окончились. Бегом до комнаты, хватаю сумку и бегом же ло раздевалки.

Часы в вестибюле показывали четверть восьмого. Такси бы схватить, не домой, конечно, но хоть до метро!

Но такси не попало, и я бежала до троллейбуса, а потом бежала по эскалатору в метро, а потом до автобуса... И вся запыханная, потная, около девяти влетела в дом.

Дети уже спали. Гуленька у себя на кровати раздетая, а Котька одетый у нас на диване. В кухне за столом, заставленным грязной посудой, сидел Дима, рассматривал чертежи в журнале и ел хлеб с баклажанной икрой. На плите, выкидывая султан пара, бушевал чайник.

— Что это значит? — строго спросил Дима.

Я сказала коротко, каким был сегодняшний день, но он не принял моих объяснений — я должна была дозвониться и предупредить. Он прав, я не стала спорить.

— Чем же ты накормил детей?

Оказалось, черным хлебом с баклажанной икрой, которая им очень понравилась — «съели целую банку»,— а потом напоил молоком.

— Надо было чаем,— заметила я.

— Откуда я знаю,— буркнул Дима и опять уткнулся в журнал.

— А что Котька?

— Как видишь, спит.

— Я вижу. Я о садике.

— Ничего, обошлось. Больше не плакал.

— Давай разденем его, перенесем в кровать.

— Может, сначала все-таки поедим?

Ладно, уступаю. С голодным мужчиной бесполезно разговаривать. Поцеловав и прикрыв Котьку (он показался мне бледным и уставшим),

я возвращаюсь на кухню и делаю большую яичницу с колбасой. Ужинаем.

В доме полный бедлам. Все разбросанное в утренней спешке так и валяется. А на полу возле дивана ворох детских вещей — шубки, валенки, шапки. Дима не убрал, очевидно, в знак протеста — не опаздывай.

После яичницы и крепкого горячего чая Дима добреет. Вдвоем мы раздеваем и укладываем сына, убираем детскую одежду. Потом я отправляюсь на кухню и в ванную — убирать, стирать, полоскать...

Я легла только в первом часу. А в половине третьего мы проснулись от громкого Гулькиного плача. У нее заболел живот, сделался понос. Пришлось ее мыть, переодевать, перестилать постель, вталкивать в нее фталазол и класть грелку.

— Вот она, икра с молоком, — ворчала я.

— Ничего, — успокаивал Дима, — это так, разовое.

Потом я сидела возле Гульки, придерживая грелку, мурлыкала сонно «баю-баю-баиньки, под кустом спят зайньки...», голова моя лежала на свободной руке, рука на бортике кровати.

Легла я около четырех и, кажется, только закрыла глаза — будильник!

### *Пятница.*

С утра меня песочат в нашей комнате за то, что я не подготовила вопроса, затянула занятия. Я покорно выслушиваю всех недовольных, прошу извиненья. А мысли мои выются вокруг ребят. Мы отвели Гульку в ясли, хотя следовало бы оставить ее дома. Оставить на один день можно и без справки, но без справки не можем обойтись ни я, ни Дима. А вызвать врача — значит, сказать, что было. Врач, конечно, пошлет на анализ, раз это желудочное. Анализ — значит, несколько дней... И мы отвели Гульку.

Меня быстро прощают, даже Лидия смягчилась. Марья Матвеевна сообщает — «строго между нами», — что с нового года у нас будет новый руководитель занятий — кандидат философских наук.

Переходим к своим делам. Пятница — конец недели: забот у всех куча. Что-то надо закончить по работе, выписать в библиотеке книги и журналы, назначить деловые встречи на понедельник, личные свиданья на выходные, в перерыв сделать маникюр или набойки... Нам, «мамашенькам», предстоят большие закупки на два дня.

И еще — надо заполнить анкету. Все как будто ждали до последнего дня, у всех возникли вопросы, и все потянулись в кадры за сведениями о больничных. Это решили провести организованно — командировали Люсю беленькую помочь в подсчетах.

Я знаю, ни у кого не будет столько дней по болезни, как у меня.

Но думать об этом некогда — и у меня, как у всех, полно дел. Надо разобраться в том, что я вчера сделала в механической. Все мое имущество, которое я вчера бросила на стол, так и лежит. Обидно, что я не использовала предложенное Валей время... Только бы не оправдалась Люськина информация насчет внеочередного заказа, которому дадут «зеленую улицу» по всем лабораториям. Или по крайней мере пусть это случится попозже. По расписанию на той неделе у нас в механической целый день. Будем работать втроем: я, их лаборантка, Люська. Может, и сделаем все, может, успеем?

Я переписываю в дневник результаты вчерашнего опыта, укладываю в коробку брошенные вчера образцы, рву и выкидываю черновики с

расчетами. Распаковываем с Люськой свертки с готовыми изделиями. Выставляю на стенд для обозрения несколько кусков листового стеклопластика, короткие трубы разного сечения. Пишу к ним этикетки. Сейчас сяду за сводный график, надо сделать так, чтобы осталось внести в него только новые испытания.

Но где же он? Вчера я над ним не работала. Позавчера положила его в свой ящик — под дневник. Там его нет. Вытаскиваю все из ящика на стол: графика нет. Перебираю все по листку — нет. Говорю себе «спокойно!», перекладываю все с правой стороны стола на левую. Нет! Может, затащила его вчера с дневником в механическую? Бегу к Вале. Нет, она не видела. Неужели пропала работа нескольких дней?

На меня находит какое-то оупение — сижу, уставившись в стену. Ничего не вижу, ни о чем не думаю. Потом замечаю табель-календарь, смотрю на него, и вдруг до меня доходит, что пятница 13 декабря — это сегодня. Еще вчера у меня было ощущение «вот начался декабрь», а тут пожалуйста — середина месяца и через две недели сдавать отчет. Успею ли я за эти четырнадцать дней... нет, за двенадцать, нет, даже за одиннадцать, закончить испытания в механической и электролаборатории, обобщить результаты, составить новый сводный график, написать отчет...

Я сижу, опустив руки, вместо того чтобы искать график, и думаю, что не могу успеть...

Вдруг мне на плечо ложится рука, и Люся черная, наклонившись ко мне, спрашивает:

— Где ты, Буратинка? Потерялась? Или что потеряла?

Люся? Как хорошо! Я чуть прикасаюсь к ее руке щекой. Все она понимает. Я действительно потерялась. Потерялась в туче дел и забот — институтских, домашних.

— Я потеряла сводный график результатов всех испытаний, такую таблицу.— Я показываю руками, какая она большая.— Все перетрясла, не понимаю...

— А это не она? — спрашивает Люся, прикоснувшись к белому листу, который лежит посредине стола.

Я беру лист, он раскрывается и превращается в мой график. Меня разбирает смех, я просто трясусь от смеха, закрываю рот руками, чтобы не было слышно, и смеюсь до слез. Смеюсь и не могу перестать. Люся хватает меня за руку, тащит в коридор, встряхивает и говорит:

— Перестань, сейчас же перестань!

Я стою, прижавшись спиной к стене, слезы текут у меня по щекам, и тихо постанываю от смеха.

— Оля, ты псих,— говорит Люся,— поздравляю, у тебя истерика!

— Сама ты псих,— отвечаю я ей ласково и прерывисто вздыхаю.— Истерика — это теперь не модно,— я вытираю мокрое лицо,— я просто смеюсь. У меня очень смешная жизнь. Одно за другим, не успеваешь ни на чем задержаться. Какой-то коктейль из мыслей и чувств. Нет, я не псих... А у тебя вон какие ямы под глазами. Ты что, опять не спишь? Вот ты и ешь настоящий псих.

— Я-то давно псих. Но я старше тебя на шесть лет, и у меня дома, ты знаешь, всегда нервы... А ты держись: ты молодая, ты здоровая, у тебя чудесный муж.— Она стискивает мои руки своими худыми пальцами, мне больно от ее длинных ногтей, но я терплю. Она глядит остро прямо мне в зрачки, как будто гипнотизирует.— Ты умница, ты способная, ты полна сил... Ладно,— Люся отпускает мои руки,— давай закурим. Ах да, ты не...— Она сжимает зубами сигарету, щелкает зажигалкой и затягивается.— А зря — помогает. Впрочем, не стоит связываться.

Ну так: в перерыв мы с тобой идем в магазины, по дороге ты мне все расскажешь.

Мы идем по улице, я рассказываю про трудности с механической и Валей, про разговор с шефом, про Гулькин живот, про срок окончания испытаний — как я боюсь не успеть.

Люся слушает, кивает головой, то суживает глаза, то раскрывает их широко и говорит «да-да-да...» или бросает певучее «да-а-а?». Мне от этого уже становится легче. Несколько минут мы молчим.

— Буратинка, ты помнишь, тебя интересовало, кто придумал наш стеклопластик? Я обещала сказать тебе.

— Да, рассказать «преглупую историю».

— Точно. Это даже не история, а просто анекдот. Коротенький. Идея была моя, я сама подарила ее Якову. Не потому, что я такая богатая. А потому, что я была беременна. И уже совсем решила родить второго... Не подумай, что Сурен меня допек. Сама решила, Маркуше так лучше. Работать потом я долго бы не смогла, я знала. Пусть, думаю, без меня делают. И подарила.

— Ну и... ?

— Что?

— А ребенок? Что же случилось?

— Ничего. Испугалась в последнюю минуту. Сделала аборт. Как всегда, втайне от Сурена.

— Как — «втайне»?

— Так, «еду в командировку» на пять-шесть дней...

Я нахожу Люсину руку и не выпускаю ее. Так мы шагаем рядом. Шагаем и молчим.

В магазинах, где толчея и спешка сегодня больше обычного, мы нагружаем допона четыре сумки и в три часа отправляемся в обратный путь. Я тащу довольно бодро, а Люся просто переламывается под своей ношей. Вдруг навстречу Шурочка:

— А я решила на подмогу.

Прошу ее взять сумку у Люси, Люся — у меня. Наконец ставим Шурку посередине и несем четыре сумки втроем. Приходится спуститься с тротуара, каждую минуту мы останавливаемся — пропустить машину.

— Девочки, примите нас в долю! — кричат нам двое встречных парней.

— У нас свои мальчики, — отвечаю я. Мне весело оттого, что день солнечный, что мы перегородили всем дорогу, оттого, что нас трое...

Оттого, что я не одна.

Приходим, и тут же появляется Люся беленькая с подсчетами «больших дней». Я, конечно, на первом месте, как я и думала. По больничным и справкам у меня пропущено семьдесят восемь дней, почти треть рабочего времени. И все из-за ребят. Все списывают свои цифры, значит, все видят, что у кого. Не пойму, почему мне так неловко. Даже стыдно. Я как-то сжимаюсь, избегаю смотреть на всех. Почему это так? Я ведь ни в чем не виновата.

— Вы заполнили анкеты? — спрашивает Люська. — Дайте посмотреть.

Но мы также не знаем, как подсчитать время — на что сколько его идет. «Мамашеньки» совещаются. Решаем, что надо обязательно указать время на дорогу — все мы живем по новостройкам, на дорогу тратим в день около трех часов. «Занятия с детьми» никому не удастся выделиться — мы «занимаемся» с ними меж другими делами. Как говорит Шура: «Мы с Сережкой весь вечер на кухне, он за день наскучается, так и не отходит от меня».

— Так как же писать про детей? — недоумевают Люся беленькая.  
 — Какую же неделю подсчитывать — вообще или конкретно эту? — спрашивает Шура.

— Любую, — отвечает Люся черная, — разве не все они одинаковы?  
 — А я не каждую неделю хожу в кино. — У Люськи новые затруднения.

— Что голову ломать, — говорю я, — я беру эту неделю. Неделя как неделя.

Глупый вопрос — заключаем мы. Разве можно подсчитать время на домашние дела, даже если ходить всю неделю с секундомером в руках. Люся Маркорян предлагает указать общее время, что остается от рабочего дня и дороги, а потом перечислить, что на это время приходится. Мы удивлены — оказывается, для дома у нас есть от сорока восьми до пятидесяти трех часов в неделю. Почему же их не хватает? Почему столько несделанного тянется за нами из недели в неделю? Кто знает?

Кто действительно знает, сколько времени требует то, что называется «семейная жизнь»? И что это такое вообще?

Я беру свою анкету домой, Люся черная гоже. Надо еще успеть до конца дня проверить разные дела.

Путь к дому сегодня нелегок. В руках две тяжеленные сумки — куплено все, кроме овощей. В метро приходится стоять — одна сумка в руках, другая под ногами. Толкучка. Читать невозможно. Стою и считаю, сколько истратила. Всегда мне кажется, что я потеряла деньги. Были у меня две десятки, а сейчас одно серебро. Не хватает трешника. Пересчитываю опять, вспоминаю покупки, что лежат в сумках. Второй раз уже выходит, что я погерила четыре рубля. Бросаю это, начинаю разглядывать тех, кто сидит. Многие читают. У молодых женщин в руках книжки, журналы, у солидных мужчин — газеты. А вон сидит голстяк в шапке пирожком, смотрит «Крокодил», лицо мрачное. Молодые парни отводят взгляд в сторону, сонно прикрывают глаза, лишь бы не уступить место.

Наконец «Сокол». Все выскакивают и бросаются к узким лестницам. А я не могу — пакеты с молоком, яйца. Плетусь в хвосте. Когда подхожу к автобусу, очередь машин на шесть. Попробовать сесть в наполнившуюся? А сумки? Все ж я пытаюсь влезть в третий автобус. Но сумки в обеих руках не дают мне ухватиться, нога срывается с высокой ступеньки, я больно ударяюсь коленкой, в этот момент автобус трогается. Все кричат, я визжу. Автобус останавливается, какой-то дядька, стоящий у дверей, подхватывает меня и втягивает, я валюсь на свои сумки. Колено болит, в сумке наверняка яичница. Зато мне уступают место. Сидя я могу взглянуть на коленку, на дырявый чулок в крови и грязи, открыть сумки и убедиться, что раздавлено лишь несколько яиц и смят один пакет молока. Ужасно жалко чулки — четырехрублевая пара!

Как только я открываю дверь, все выбегают в переднюю — ждут! Дима берет из моих рук сумки и говорит:

— Сумасшедшая!

Я спрашиваю:

— Как Гулькин животишка?

— Ничего, все в порядке.

Котька прыгает на меня и чуть не сбивает с ног, Гулька требует немедленно «ляписин», который она уже заприметила. Я показываю свою коленку и. прихрамывая, иду в ванную. Дима тащит йод и вату, все меня жалеют — мне очень хорошо!

Я люблю вечер пятницы: можно посидеть подольше за столом, повозиться с ребятами, уложить их на полчаса позже. Можно не стирать, можно сесть в ванну...

Но сегодня после бессонной ночи ужасно хочется спать, и мы, уложив ребят, бросаем все в кухне как есть.

Я уже легла, Дима еще в ванной. Уже сон тяжелит мое тело, но вдруг мне представляется, что Дима по привычке заведет будильник. Сую его под диван со словами «сиди и молчи». Но его тиканье пробивает толщу дивана. Тогда я выношу его на кухню и запираю в шкафчик с посудой.

### **Суббота.**

В субботу мы спим долго. Мы, взрослые, проспали бы еще дольше, но ребята встают в начале девятого. Утро субботы — самое веселое утро: впереди два дня отдыха. Будит нас Котька, прибегает к нам — научился опускать сетку в своей кровати. Гулька уже прыгает в своей кровати и требует, чтобы мы ее взяли. Пока ребята возятся с отцом, кувыркаются и пищат, я готовлю громадный завтрак. Потом отправляю детей с Димой гулять, а сама принимаюсь за дела. Прежде всего ставлю варить суп. Дима уверяет, что в столовой суп всегда невкусный, дети ничего не говорят, но суп мой всегда едят с добавкой.

Пока суп варится, я убираю квартиру — вытираю пыль, мою полы, трясую одеяла на балконе (что, конечно, нехорошо, но так быстрее), разбираю белье, намачиваю свое и Димино в «лотосе», собираю для прачечной, а детское оставляю на завтра. Провертываю мясо для котлет, мою и ставлю на газ компот, чищу картошку. Часа в три обедаем. Для ребят это поздно, но надо же им хоть в выходной погулять как следует. За столом сидим долго, едим не спеша. Детям надо бы поспать, но они уже перетерпели.

Котька просит Диму почитать «Айболита», которого он давно уже знает наизусть, они устраиваются на диване, но Гуля лезет к ним, капризничает и рвет книжку. Надо Гульку все-таки уложить, иначе жизни никому не будет. Я ее баюкаю (что не полагается), и она засыпает.

Теперь мне надо заняться кухней — вымыть плиту и почистить горелки, убрать шкафчики с посудой, протереть пол. Потом вымыть голову, постирать намоченное, погладить детское, снятое с балкона, вымыться, починить колготки и обязательно пришить крючок к поясу.

Диме надо сходить в прачечную, Котька не отпускает его, приходится брать мальчика с собой (что нехорошо — очередь, духота, грязное белье, — но они берут санки, на обратном пути еще погуляют, продышатся).

Зато я остаюсь одна и могу развернуться с уборкой кухни и прочими делами. В семь «мужчины» возвращаются и требуют чая. Тут я спохватываюсь, что Гулька все еще спит (я про нее забыла). Бужу ее, она поднимает отчаянный рев. Передаю ее Диме, чтобы делать ужин. Хочу управиться пораньше, сегодня надо купать детей. Гулька за столом канючит — не хочет есть, она еще не проголодалась. Котя ест хорошо — нагулялся.

— Завтра целый день дома, — говорит он и смотрит на отца и на меня.

— Конечно, завтра же воскресенье, — успокаиваю его я.

Котька уже трет глаза, хочет спать.

Наливаю воду и мою Котьку первого, а Гулька ревет, лезет в ванную и раскрывает дверь.

— Дима, возьми дочку! — кричу я.

И слышу в ответ:

— Может, на сегодня уже хватит? Я хочу почитать.

— А я не хочу?!

— Ну, это твое дело, а мне надо.

Мне, конечно, не надо.

Я ташу Котьку в кровать сама (обычно это делает Дима) и вижу, как он сидит на диване, раскрыв какой-то технический журнал, и действительно читает. Проходя, я бросаю:

— Между прочим, я тоже с высшим образованием и такой же специалист, как и ты...

— С чем тебя можно поздравить, — отвечает Дима.

Мне это кажется ужасно ядовитым, обидным.

Я тру Гульку губкой и вдруг начинаю капать в ванну слезами. Гулька взглядывает на меня, кричит и пытается вылезти. Я не могу ее усадить и даю ей шлепок. Гулька закатывается обиженным плачем. Появляется Дима и говорит зло:

— Нечего вымещать на ребенке.

— Как тебе не стыдно, — кричу я, — я устала, понимаешь ты, устала!..

Мне становится ужасно жаль себя. Теперь уже я реву вовсю, приговаривая, что я делаю-делаю, а несделанного все прибавляется, что молодость проходит, что за день я не сидела ни минуты...

Вдруг из детской доносится страшный крик:

— Папа, не бей маму, не бей маму!

Дима хватает Гульку, уже завернутую в простынку, и мы бежим в детскую. Котька стоит в кровати весь в слезах и твердит:

— Не бей маму!

Я беру его на руки и начинаю утешать:

— Что ты такое придумал, маленький, папа никогда меня не бил, папа у нас добрый, папа хороший...

Дима говорит, что Коте приснился страшный сон. Он гладит и целует сына. Мы стоим с ребятами на руках, тесно прижавшись друг к другу.

— А почему она плачет? — спрашивает Котя, проводя ладошкой по моему мокрому лицу.

— Мама устала, — отвечает Дима, — у нее болят ручки, болят ножки, болит спинка.

Слышать это я не могу. Я сую Котьку Диме на вторую руку, бегу в ванную, хватаю полотенце и, закрыв им лицо, плачу так, что меня трясет. Теперь уж не знаю о чем — обо всем сразу.

Ко мне подходит Дима, он обнимает меня, похлопывает по спине, гладит и бормочет:

— Ну, хватит... ну, успокойся... ну, прости меня... ну, перестань...

Я затихаю и только изредка всхлипываю. Мне уже стыдно, что я так распустилась. Что, собственно, произошло? Сама не могу понять.

Дима не дает мне больше ничего делать, он укладывает меня, как ребенка, приносит мне чашку горячего чая. Я пью, он закутывает меня, и я засыпаю под звуки, доносящиеся из кухни, — плеск воды в мойке, стук посуды, шарканье шагов.

Я просыпаюсь и не сразу могу понять, что сейчас — утро, вечер, и какой день? На столе горит лампа, прикрытая поверх абажура газетой. Дима читает. Мне видна только половина его лица: выпуклина лба, светлые волосы — они уже начинают редеть, — припухлое веко и худая щека — или это тень от лампы? Он выглядиг усталым. Бесшумно пере-

ворачивает он страницу, и я вижу его руку с редкими рыжеватыми волосками и обкусанным ногтем на указательном пальце. «Бедный Димка, ему тоже порядком достаётся,— думаю я,— а тут еще я разревелась, как дура... Мне тебя жалко. Я тебя люблю...»

Он выпрямляется, смотрит на меня и спрашивает, улыбаясь:

— Ну как ты, Олька, жива?

Я молча вытаскиваю руку из-под одеяла и протягиваю к нему.

### **Воскресенье.**

Мы лежим, просто лежим,— моя голова упирается в его подбородок, его рука обнимает меня за плечи. Мы лежим и разговариваем о всякой всячине: о Новом годе и елке, о том, что сегодня надо съездить за овощами, что Котьке не хочется ходить в садик...

— Дим, как ты думаешь, любовь между мужем и женой может быть вечной?

— Мы ведь не вечны...

— Ну, само собой, может быть долгой?

— А ты уже начинаешь сомневаться?

— Нет, ты мне скажи, что, по-твоему, такое, эта любовь?

— Ну, когда хорошо друго с другом, как нам с тобой.

— И когда рождаются дети...

— Да, конечно, рождаются дети.

— И когда надо, чтобы они больше не рождались.

— Ну что ж. Такова жизнь. Любовь — часть жизни. Давай-ка вставать.

— И когда поговорить некогда.

— Ну, говорить — это не самое главное.

— Да, наверное, далекие наши предки в этом не нуждались.

— Что ж, давай поговорим... О чем ты хотела?

Я молчу. Я не знаю, о чем я хотела. Просто хотела говорить. Не об овощах. О другом. О чем-то очень важном и нужном, но я не могу сразу начать... Может быть, о душе?

— У нас в коробке последняя пятерка,— говорю я.

Дима смеется: вот так разговор.

— Что ты смеешься? Вот так всегда — говорим только о деньгах, о продуктах, ну, о детях, конечно.

— Не выдумывай, мы говорим о многом другом.

— Не знаю, не помню...

— Ладно, давай лучше вставать.

— Нет, о чем «о другом»? Например?

Мне кажется, что Дима не отвечает очень долго. «Ага, не знаешь», — думаю я злорадно. Но Дима вспоминает:

— Разве мы не говорили о прокуроре Гаррисоне? О космосе — много раз?.. О фигуристах — обсуждали, спорт это или искусство... О войне во Вьетнаме, о Чехословакии... Еще говорили о новом телевизоре и четвертой программе, — продолжает добросовестно вспоминать Дима темы наших разговоров. — Кстати, когда ж мы купим новый телевизор?

— Так вот я и говорю: в коробке у нас одна пятерка...

— Есть же фонд...

Мы начали откладывать «фонд приобретений». Он хранится в моей старой сумке, а в коробке лежат деньги на текущие расходы.



Нам много чего надо — Диме плащ, мне туфли, обязательно платье, ребятам летние вещи. А телевизор у нас есть — старый «КВН-49», брошенный тетей Соней.

— До телевизора еще далеко, фонд растет у нас плохо, — говорю я.

— Мы же решили не проедать все деньги, что же ты? — укоряет меня Дима.

— Не знаю, вроде бы все, как обычно, а вот — не хватает.

Дима говорит, что так у нас никогда ничего не будет. А я отвечаю ему, что я трачу только на еду.

— Значит, тратишь много.

— Значит, ешь много.

— Я много ем?! — Дима обижен. — Еще новости, давай начнем считать, кто сколько ест!

Мы уже не лежим, а сидим друг против друга.

— Прости, я говорю: мы, мы много едим.

— Что ж я могу с этим поделаться?

— А я что?

— Все-таки ты хозяйка.

— Скажи, чего не покупать, я не буду. Давай молоко не будем брать.

— Давай лучше прекратим этот глупый разговор. Если ты не способна соображать в этом деле, так и скажи.

— Да, да, да, я не способна соображать. Я глупа, и все, что я говорю, глупо... — Я вскакиваю и ухожу в ванную.

Там я открываю кран и умываю лицо холодной водой. «Перестань, сейчас же прекрати», — говорю я себе. Сейчас я влезу под душ, сейчас приведу себя в норму. Отчего я злюсь? Не знаю.

Может, оттого, что я вечно боюсь забеременеть. Может, от таблеток, которые я глотаю. Кто знает?

А может, она вообще не нужна мне больше, эта любовь?

От этой мысли мне становится грустно, жаль себя, жаль Диму. Жалость и теплая вода делают свое дело — из-под душа я выхожу подобревшая и освеженная.

Ребята визжат и хохочут — расшалились с отцом. Достаяю им все чистое, мы их одеваем.

— Вот какие у нас красивые дети, — говорю я и зову их на кухню накрывать вместе на стол, «пока папа умывается».

Во время завтрака проходит короткая планерка. Что сегодня надо сделать: съездить в овощной, постирать детское, все переглядеть...

— Бросай все, пойдем гулять! — заключает Дима. — Смотрите, какое солнышко!

— Мама, мамочка, пойдем вместе с нами, — упрасивает Котька, — посмотрим на солнышко!

Я сдаюся — отодвину свои дела на после обеда.

Снаряжаемся, берем санки и отправляемся на канал кататься с гор. Съезжаем все по очереди, а Гулька то с Димой, то со мной. Горка крутая, накатанная, санки летят, из-под ног брызжет снежная пыль, переливается радужно, а кругом сияет и слепит снег. Иногда санки переворачиваются, ребята пищат, мы все смеемся. Хорошо!

Возвращаемся домой заснеженные, голодные, веселые. Пусть уж Дима сначала поест, потом поедет. Варю макароны, подогреваю суп и котлеты. Ребята сразу же уселись за стол и смотрят на огонь под кастрюлями.

После прогулки я очень повеселела. Уложив детей и отправив Диму в овощной рейс, я берусь сразу за все — бросаю в таз детское белье,

мою посуду, стелю на стол одеяло и достаю утюг. И вдруг решаю — подкорочу-ка я эту свою юбку. Что я хожу, как старуха, с наполовину закрытыми коленками! Я быстро отпарываю подпушку, прикидываю, сколько загнуть, остальное отрезаю. За этим делом и застает меня Дима, притащивший полный рюкзак.

— Видишь, Оляка, как тебе полезно гулять.

Конечно, полезно. И кончив приметку, я надеваю юбку. Дима хмыкает, оглядев меня, и смеется:

— Завтра будет минус двадцать, будешь обратно пришивать. А в общем, ножки у тебя славные.

Я включаю утюг — загладить подол. Потом подошью, и готово!

— Погладь мне заодно брюки, — просит Дима.

— Дим, ну пожалуйста, погладь сам, я хочу кончить юбку.

— Ты же все равно гладишь.

— Дим, совсем это не «все равно», я тебя прошу, дай мне кончить. Мне еще ребячье стирать, вчерашнее гладить.

— Так зачем же ты занимаешься ерундой?

— Дим, давай не будем обсуждать это, прошу тебя, погладь сегодня свои брюки сам, мне надо дошить.

— А куда ты завтра собираешься? — спрашивает он с подозрением.

— Ну, куда?! На бал!

— Понятно. Просто я подумал, что у вас там что-нибудь такое.

— Может быть, и «такое», — напускаю я туману (надо же мне спокойно подшить юбку и как-то отделаться от брюк). — Ты помнишь, я тебе говорила про анкету. Сегодня я должна ее заполнить: завтра придут демографы — анкеты собирать, с нами беседовать...

— А! (О господи, он, кажется, думает, что ради этой встречи я решила укоротить юбку!)

Я шью и рассказываю Диме, что подсчитали наши дни «по болезни», что у меня семьдесят восемь дней — почти целый квартал.

— А что, Оляка, может, тебе лучше не работать? Подумай, ведь почти половину года ты сидишь дома.

— А ты хочешь засадить меня на весь год? И разве мы можем прожить на твою зарплату?

— Если меня освободить от всех этих дел, — Дима повел глазами по кухне, утюгу, рюкзаку, — я мог бы зарабатывать побольше. Уж двести — двести двадцать я бы наверняка обеспечил. Ведь фактически, если вычесть все неоплачиваемые дни, ты зарабатываешь рублей шестьдесят в месяц. Нерентабельно!

— Фигушки, — говорю я, — фигушки! Мы на это несогласные! Значит, всю эту скукотину, — я тоже оглянула кухню, — на меня одну, а себе только интересное. Подумаешь, «нерентабельно»... Капиталист!

— Действительно, капиталист, — Дима усмехается, — не в деньгах только дело. Дети бы от этого выиграли. Детский сад — еще ничего, а вот ясли... Гулька же зимой почти не гуляет. А эта бесконечная про-студа?!

— Дима, неужели ты думаешь, что я не хотела бы сделать так, как лучше детям? Очень хотела бы! Но то, что предлагаешь ты, это просто... меня уничтожить. А моя учеба пять лет? Мой диплом? Мой стаж? Моя тема? Как тебе легко все это выбросить — швырк, и готово! И какая я буду, сидя дома? Злая, как черт: буду на вас ворчать все время. Да вообще о чем мы говорим? На твою зарплату мы не проживем, ничего другого, реального, тебе пока не предлагают...

— Не обижайся, Оля, ты, вероятно, права. Не стоит об этом говорить. Зря я начал. Просто мне примерещилась какая-то такая... разумно устроенная жизнь. И то, что я, если не буду спешить за ребятами, смогу работать иначе, не ограничивать себя... Может быть, это эгоизм, не знаю. Кончим об этом, ладно.

Он уходит из кухни, я гляжу ему вслед, и вдруг мне хочется окликнуть его и сказать: «Прости меня, Дима». Но я этого не делаю.

— Э-э, хали-гали, пора вставать! — кричит Дима из передней.

Это наши «позывные». Он поднимает Котю и Гулю, ребята пьют молоко, две минуты мы решаем, идти ли еще гулять, и — отказываемся. Если гулять, значит, от вечера ничего не останется. Дима находился, а у меня еще много дел.

Котька усаживается на полу с кубиками. Он любит строить, и у него получаются дома, мосты, улицы и еще какие-то нагромождения, которые он называет «высотный дворец». Но беда с Гулькой — она лезет к брату, хочет разрушать, хватает кубики, уносит и прячет.

— Мама, скажи ей! Папа, скажи ей! — то и дело взывает к нам Котя.

Никакие слова на Гульку не действуют — она смотрит ясно и прямо говорит:

— Гуля хóтит бить дом.

Тогда я делаю ей «дочку». «Дочка» — это набитый тряпьем маленький комбинезон. В капюшон я вкладываю подушечку, обернутую в белое, рисую лицо. С куклами Гуля не ладит, а «дочку» таскает по всему дому, разговаривает с ней.

Воскресный вечер проходит мирно и тихо. Дети играют, Дима читает, я стираю и делаю ужин. «Не забыть бы пришить крючок к поясу», — повторяю я несколько раз. Остальное, кажется, все! Да, еще заполнить анкету. Ну, это когда дети лягут.

Поужинав, покапризничав — не хотят кончать свои воскресные дела, — ребята собирают разбросанные кубики. Находим те, что попрятала Гуля, — под ванной, в передней в моих сапогах. Моем руки, мордашки, чистим зубы, осуждаем Гульку, которая вырывается и кричит:

— Гуля хóтит гязная.

И, наконец, укладываемся.

Время еще есть. Почитать? А может, посмотреть телевизор? Ах, да — анкета! Сажусь с ней за стол. Дима заглядывает через мое плечо и делает критические замечания. Я прошу его не мешать, я хочу поскорей кончить. Готово. Теперь возьму книгу и сяду с ногами на диван. Выбираю у книжного шкафа. Может, приняться наконец за «Сагу о Форсайтах»? Дима подарил мне эти два тома в позапрошлый день рождения. Нет, не смогу я ее прочесть — как я буду возить с собой такую толстую книгу? Отложим еще раз до отпуска. Я выбираю что полегче — рассказы Сергея Антонова.

Тихий воскресный вечер. Сидим и читаем. Минут через двадцать Дима спрашивает:

— А что же мои брюки?

Сходимся на том, что брюки глажу я, а он читает мне вслух. Антонова Дима не хочет, а берет последний номер «Науки». Мы его еще не смотрели. Он начинает читать статью Вентцеля «Исследование операций», но мне трудно воспринимать на слух формулы. Тогда Дима уходит из кухни, и я остаюсь одна с его брюками.

Я уже лежу в постели, Дима заводит будильник и выключает свет. Тут я вспоминаю про крючок. Ни за что не встану, провались он.

Среди ночи я просыпаюсь, не знаю отчего. Мне как-то тревожно. Поднимаюсь тихонько, чтобы не разбудить Диму, иду взглянуть на детей. Они разметались — Котя сбил одеяло, Гулька съехала с подушки, высунула ножку из кровати. Укладываю их, закрываю, трогаю и поглаживаю головки — не горячие ли. Ребята вздыхают, причмокивают и опять посапывают — спокойно, уютно.

Что же тревожит меня?

Не знаю. Я лежу на спине с открытыми глазами. Лежу и вслушиваюсь в тишину. Вздыхают трубы отопления. У верхних соседей тикают стенные часы. Мерно отстукивает время маятник наверху, и это же время сыплет дробью, мельтеша и захлебываясь, будильник.

Вот и кончилась еще одна неделя, предпоследняя неделя этого года.



---

АНАТОЛИЙ ЖИГУЛИН

★

## НА РОДИНЕ

\* \* \*

Зеленые дали померкли.  
Но осень суха и чиста.  
По старой, разрушенной церкви  
Узнаю родные места.

Динамик гремит у дороги  
О первых полетах к Луне.  
Давно позабыли о боге  
В родимой моей стороне.

Трава зеленеет привольно  
В проломах заброшенных стен.  
Взбираются на колокольню  
Рогатые черти антенн.

И только у края покоса  
Над желтой осенней парчой  
Тревожно мерцает береза  
Нетающей тонкой свечой.

## УГЛЯНЕЦ

За стылым лесом, за болотом,  
Где сизый дым в траву упал,  
Ходили куры под заплотом  
Из старых, прокопченных шпал.

Еще там мельница стояла,  
Четыре сумрачных крыла.  
И сено желтое пылало  
На взгорке около села.

Мы просто мимо проходили.  
Был виден домик и заплот.  
И весело зенитки били  
В большой зеленый самолет.

И не попали, не попали,  
Хотя так низко он летел!

И черные дымки пропали  
Вдали, где ельничек редел.

И плечи тер тяжелый ранец.  
И на ходу сказали мне,  
Что рядом здесь село Углянец.  
Оно осталось в стороне.

Лишь помню руки сбитых веток,  
Шальную кошку на избе...  
Да был ли он, Углянец этот,  
Когда-нибудь в моей судьбе?

Но в памяти, где брезжит юность,  
Все догорает тот стожок,  
Который там  
Тот самый «юнкерс»  
Своими пулями зажег.

\* \* \*

Невыразимой сладкой тишью  
Полны осенние луга.  
И с высоты следит за мышью  
Проворный сокол пустельга.

То на высокий провод сядет,  
То снова вьет свои круги.  
А у болота ветер гладит  
Сухие заросли куги.

И ничего не надо больше:  
Смотреть на чистые поля,  
На облетающие роши  
Желтеющего сентября.

Смотреть бездумно и беспечно  
С ребячьей радостью вокруг —  
Как будто жизнь чиста и вечна,  
Как этот золоченый луг.

Как будто может повториться  
На том печальном рубеже  
И эта даль,  
И эта птица,  
И этот лютик на меже.

\* \* \*

Тихое поле над логом.  
Чистый холодный овес.  
И за обветренным стогом  
Рошица тонких берез.

Родина! Свет предосенний  
Неомраченного дня.  
Желтым потерянным сеном  
Чуть золотится стерня.

Бледные ломкие стебли  
Жмутся к косому плетню.  
Эту неяркую землю  
Каждой кровинкой люблю.

Если назначена доля  
Мне умереть за нее —  
Пусть упаду я на поле,  
В это сухое жнивье.



---

МАРА ГРИЕЗАНЕ

★

## ТРИ СТИХОТВОРЕНИЯ

### РЫБАКИ

Рыбаки уходят в море  
и очаг свой покидают —  
забирают снасти, трубки  
и коробки с табаком,  
фотографии ребячьи  
и сухих плащей громады —  
только сердце оставляют  
на родимом берегу.

### ИЮЛЬ

У июльской тучи  
черная одежда,  
красная застежка  
и шаги летучи.  
У июльской речки  
все, как у овечки:  
блеет потихоньку,  
млеет полегоньку...  
Ты, июльский ветерок,  
глупый синий голубок,  
пролети над Русью —  
навести бабусю:  
бабушка — глухая,  
зрением плохая, —  
лето в кринки льет,  
внучку в гости ждет.



**ЯНВАРЬ**

Уютные зимние краски,  
как бабкины добрые сказки —  
ах, баюшки-баю-баю!..  
Уютные зимние звуки,  
как бабкины добрые руки,  
качают избушку мою...  
Под корочкой зимнего неба  
прозрачную корочку хлеба  
клюет воробей налегке.  
Под крышей огромная капля  
стоит, как бездомная цапля,  
на длинной прозрачной ноге.



---

НИКОЛАЙ ВОРОНОВ

★

## ГОЛУБИНАЯ ОХОТА

*Повесть*

**П**етька Крючин был счастливым! Во-первых, он держал голубей. Во-вторых, жил на конном дворе, в доме, крытом пластинами шифера. В-третьих, у него был отец да вдобавок к отцу — старший брат, тоже заступник и взрослый человек. Я не завидовал Петьке. Хотя с той мальчишеской поры прошло много лет, я точно помню, что не завидовал. Просто становилось обидно, когда он гонял голубей, а калитка и ворота у него были заперты, и ты, отираясь возле них, страдал, как от большого горя. А над тобой издевался какой-нибудь Федька Печёрников, у которого уже росли усы, и так тебя допекал, что ты кидался на Федьку драться, но не мог его одолеть. Вот тогда и становилось обидно, что у Петьки столько всего, а ты безотцовщина, и мать и бабушка не разрешают заводить голубей, потому что и барак против этого, и учиться я тогда буду совсем плохо.

Я назвал Петьку счастливым не потому, что раньше считал его счастливым: я назвал его так теперь. Тогда я жил с постоянным чувством счастья, поэтому только изредка обнаруживал различие между моим положением и Петькиным, но и это тотчас забывалось: вспоминал о матери. Для меня никто и ни в чем не мог быть равнозначен ей. Если бы мне отдали все голубятни и конные дворы города, а для защиты приставили борцов цирка, лишь бы я согласился жить не с матерью, то я, сколько бы ни уговаривали, не пошел бы на это.

Вероятно, еще и потому мои обиды были короткими, что Петька обычно пускал меня во двор, правда, со строгим предупреждением, чтобы я смиренно стоял в сторонке вместе с другими мальчишками, которых он выделял. Стоял так, куда не понадоблюсь.

Поднимался Петька на зорьке. Покамест въезжают во двор, сидя перед своими грохочущими бочками, те золотари, что работали ночью, да выезжают со двора те, которым днем орудовать черпаками, он проснетя, а потом уж и не улежит в постели. Чуть свет заядлые голубятники обганивают молодых и новых голубей, тут самый раз и ловить чужаков.

И мы, конечно, поднимаемся рано. Мы ему нужны. И если не появишься вслед за солнцем, то он будет покрикивать на тебя, а когда проспидь часов до восьми — не станет замечать. Прогнал бы, куда было бы легче. А то и прогонять не прогоняет, и словно нет тебя во дворе.

Но обычно бывало иначе. Тыходишь во двор — Петька подметает землю перед будкой, поглядывая на небо. Он разноглазый, чуточку раскосый а на редкость зоркий. Время от времени он посылает кого-нибудь из нас: меня, Сашу Колыванова (он, чуть пригибаясь за нашими

спинами, курит, выпуская дым под рубашку: Петька ненавидит куряк), Колесника по прозвищу Генка Надень Малахай, сивого Тюлю (он полуспит, и его синеватые веки закрываются, будто вечером у курицы), — посылает сбегают то к голубятне татаренка Мирхайдара, то к голубятне Жоржика Мингани. Отец этого Жоржика был на строительстве металлургического комбината в группе техспецов, приехавших из Италии, он надумал остаться в городе, женившись на Кате Иванцовой, но, как повторяла она, в самый раз спохватился и улизнул.

Прибежав обратно, мы сообщали Петьке о том, что происходит возле чужих будок. Если нам удавалось подслушать, что кто-то из них собирается шугать нового голубя или пискунов из свежего выводка, мы стремглав мчались на конный двор. Тогда Петька давал нам турманов — Лебедей, Рябых, Краснохвостых, Желтых, Бусых, и мы подтаскивали их, то есть, выдернув подол рубахи из-под ремня, выпускали под стаю Мирхайдара и Жоржика. Когда голуби вводили с собой чужака и он вместе с ними кружил над конным двором, — тут хмуроватый, малоповоротливый Петька становился проворно-резким. Он швырял из будки нелетных голубей: или засидевшихся — они выводили птенцов и отяжелели, отвыкли летать, или обдерганных, связанных в крыльях, или пискунов, у которых еще не совсем отросли костыши. Потом он хватал их с земли, подбрасывал, они падали, треща перьями. Этот треск напоминал распадение молниевых разрядов. Наверно, из-за этого и казалось, что сам Петька, шуря, выделяет электрический ток. Голуби, соскучившиеся за ночь о полете, тянули вверх. Но в конце концов на них действовало то, что Петька непрерывно давал осадку, они начинали снижаться и садились рядом на пол — на подметенную землю. Петька бросал горсть зерна поближе к порогу, туда устремлялись голуби, чужак, поозиравшись, семенил к пшеничке, и он не прочь полакомиться, и оказывался в будке, куда Петька загонял его вместе со своими голубями, а то и забивал ладонью, когда он, вспорхнув с порога, хотел рвануть в высокую синь.

Однажды унесли Петькиных голубей. Тихо унесли. Запора не срывали, жесть не сдирали, досок не выламывали. Отомкнули пудовый амбарный замок и опять закрыли, сложив голубей в мешок. Аккуратисты! Никто из голубятников не мог припомнить таких чисто работающих воров.

После этого от зари до зари топтался он возле будки — лицо вскинуто вверх, кепка валяется на полу. Ждет, что придут его голуби, умные, натасканные; где только не выбрасывал он их на дальних окраинах — и отовсюду прилетали. Связывай не связывай, обрывай не обрывай — придут. Пискуны и те наверняка придут. Однако неделя миновала, а голуби не появлялись. Ни старые, ни молодые. А он все смотрел в небо от рассвета до заката. И тогда мы, кого презрительно дразнили «Петькиными шестерками», стали бродить по городу. Повезло лишь мне: я обнаружил пары Краснохвостых и Лебедей на Туковом поселке у голубятника по кличке Банан За Ухом — у него за ухом было родимое пятно, крупное и продолговатое. Ни слова не говоря, я достал из гнезд Краснохвостых и Лебедей и сунул за пазуху. Выйдя из балагана, я схватил стальной прут. С оглядкой шагал до трамвая: мне пришлось отмахиваться и от самого Банана За Ухом, и от его приспешников.

Петька плакал, говорил, что разрешает мне в его отсутствие брать ключ от будки и выпускать голубей, а назавтра, когда мы посадили сахарно-белого чужака и попробовали схватить с пола, но не сумели — на пшеницу не позарился, а как только потеснили к открытой двери, и он взлетел на конек будки, — Петька обвинил в этом меня и толкнул плечом,

чего раньше себе не позволял. Я ушел. Даже у барака слышен был его несправедливый крик.

Вечером я выцыганил у матери червонец. Пришлось пообещать, что в новом учебном году добьюсь хороших отметок, что не буду камнями спугивать голубей с барачной крыши и не буду переплывать пруд в том месте, где ширина около двух километров.

Поутру бабушка забрала меня и Саню Колыванова на могилки, где покоился ее сын Александр Иванович, доводившийся мне дядей, а Сане — отцом. Мы переплыли пруд на катере и двинулись в гору. До того, как Урал перегородили плотиной, кладбище находилось недалеко от воды; чтобы не залило, его перенесли на холм. Где закопали прах Александра Ивановича, бабушка не знала, но всегда садилась рядом с бугорком, на котором рос паслен. Тут она кормила нас и, прежде чем спуститься к Уралу, выкладывала из корзины в ровик возле могилы крендели, шанги, яички, конфеты — для нищих, для детей и для всякой божьей твари. Все это она посыпала серебряными монетами, вынутыми из кармана фартука, который по-деревенски назывался запонком.

Теперь, едва она начала спускаться к перевозу, мы упросили ее отпустить нас в станицу. Здесь было много голубей, и продавали их дешевле, чем в городе. На околице стоял пятистенник бородатого взрывника, рвавшего железную руду на горе Атач. Мы застали дома взрывника, и он продал нам пару турманов: чубарую голубку — по серому рыжий крап, и голубя, белого, в черных пятнах, как бы разрисованных коричневыми зигзагами, за свою масть носившего кличку Страшной, но совсем не страшного, а наоборот — красавца: розовые лапки в светлых чулочках, вокруг головы кудрявый воротник, на груди темное жабо и по тому жабо — зеленые сполохи.

Я совершил покупку на выгодных условиях: с отдачей голубей после первого прилета, с выкупом за половинную цену — после второго. Хотя у меня было впечатление, что взрывник добр, я опасался подвоха: вдруг да спрячет прилетевших голубей да так турнет из станицы, что ноги впереди тебя будут бежать.

Когда голубятник не надеется, что голуби быстро приживутся к его дому, то он обрывает их: выдергивает из крыльев маховые перья; кто обрывает одно крыло, кто оба крыла. Расчет прост: пока перья вырастут — голуби привыкнут к новому дому. Я собрался обдергать Страшного на одно крыло, но раздумал: вырастая, маховые перья становятся короче и Страшной станет косокрылеть — другое крыло у него будет длинней. Я решил держать голубей в связках. Связки портят крылья, и голуби маются в них. Да что поделаешь? Саня развернул крыло Страшного. Нитку, сложенную вчетверо, я завязал на крайнем маховом пере и поочередно притянул к нему остальные маховые перья. Связали мы и Чубарую. Перед тем как выпустить голубей на пол, мы с Саней сбегали на базар за коноплей, пожарив ее на сковородке, высыпали на фанерное сиденье, вышибленное из венского стула. В жестяную банку с водой подмешали меду. Из разговоров голубятников я знал: чтобы приучить умных голубей, их надо кормить жареной коноплей, а поить подслащенной водичкой. Привада эта безотказная.

Страшной и Чубарая наперегонки клевали коноплю и воду пили охотно и жадно и все-таки после этого тянули вверх головы, выбирая, куда бы взлететь, а также упорно сдвигали клювами связки, стараясь от них освободиться.

Пришел Петька, весело ухмылялся. Мучительно вертелись турманы, каждый топырил свое стянутое крыло. Лицо Петьки стало жалостливым. Я спросил его:

— Петь, как будем жить?

Он ответил жестко.

— Жить будем без отдачи.

— Хорошо! — с вызовом сказал я.

— Краснохвостая снесла яйцо, — вдруг сказал он. Вероятно, решил идти на попятную. — Договор утвердим такой: на молодняков — с отдачей, на старичков — без отдачи.

— Нет.

— Почему?

— Без отдачи так без отдачи.

— Не дам я тебе развести голубей, раз ты такой гордый.

— Смотри, как бы я не переловил твою дичь.

— До моей дичи у тебя нос не дорос.

— Еще как дорос! Хвальбушка.

— Мои откуда хочешь прилетят, хоть из Троицка, хоть из Челябины.

— Ни один не прилетел. Ежели б не я, сидел бы с пустой голубятней.

— Мы это запомним, Кольша. Буду ловить и головы рвать. Ни тебе. Ни себе.

— Голуби не виноваты. Ты мне рви башку, ежели я виноват, а их не трогай.

— Пашке скажу — он тебя через колено переломит.

— А я на Пашку поджиг сделаю.

— Конопельки нажарил...

— Иди, куда есть на чем ходить.

Внезапно мне сделалось смешно: уж больно я рассвирепел. Я приснул, Саня подхватил мой смех. А Петька почему-то растерялся и юркнул за угол барака.

Скоро на другом конце барака появились Тюля и Генка Надень Малахай. Балаганы, будки, сарай тянулись вдоль барака; между ними и бараком было расстояние длиной в телеграфный столб. Сразу же от баракостеллились полоски картофельных грядок чуть шире комнатных окон. Генка вел сивого Тюлю тропкой между огородиками и хозяйственными строениями. Я не углядел, что руки у них за спиной. В это время я приготовился, чтобы схватить в воздухе Страшного: он метил взлететь на стальную трубу, вогнанную в землю вместо кола.

Когда я услышал хлопанье крыльев и обернулся, то увидел Лебеда с Лебедкой, летевших прямо на меня. Если бы я сам таким дерзким способом не подкидывал голубей, то невольно пригнулся бы от испуга, что голуби врежутся в меня. Но теперь я лишь восхитился: ловко, черти, подкинули.

Лебеди промчались над моей головой. И как только утянулся за ними ветерок, я услышал взлет Страшного. Саня прыгнул, чтобы поймать его на трубе, но промахнулся, и Страшной перекинулся на будку. Сидя на ней, Страшной снимет полусдвинутые связки и улетит. Этого я не мог допустить. Я полез на крышу и порвал о гвоздь брюки. Страшной, когда я, вытянув руки, двинулся к нему, не захотел спуститься вниз, несмотря на то, что там сидела, охорашиваясь, Чубарая. Невроятным усилием он, казалось, кувыркаясь, дотянул до крыши барака. Я давал матери слово, что не буду лазить на барачную крышу, и поэтому сел на порог будки. Саня хотел выручить меня, но я приказал ему вернуться. Он плохо выдерживал равновесие и мог оступиться со швов между листами железа на сами листы. Тогда крыша загрохочет, повыскакивают на улицу женщины, начнут его честить... Скандал. И прощай голуби.

Страшной стал чиститься. Он расправлял клювом перья на груди, выбирал и вытеребивал пылинки-соринки. О связках он забыл, и я

подумал, что он слетит на землю к голубке. Но не тут-то было. Я заметил, что, обираясь, он осматривал местность. Он видел крыши барачков, стоявших на одной линии с нашим, и тех, что находились ниже него, на подошве горы. Поверх нижних барачков был обзор на три стороны света. Правда, на юг, туда, где за прудом лежала, как бы скатываясь в лог, станица, даль была заперта Третьей Сосновой горой и горой-полуостровом. Зато западней горы-полуострова, за прудом, она кончалась в дымке, сквозь которую чеканился Уральский хребет черными, синими, лиловыми, голубыми отрогами. Северный угол небосклона, загруженный трубами мартенов, домнами, угольными башнями, градирнями, галереями коксохимы, терялся в бурой заводской гари.

Приглядываясь к местности, Страшной, конечно, нашел знакомые ориентиры, потому и побежал рысью на гребень крыши, а там весело принялся сдирать связки и, едва освободил крыло, тотчас взлетел по направлению к Третьей Сосновой горе и скоро перескользнул через ее макушку.

Мы следили за Страшным и не обращали внимания на Чубарую. И когда, вздохнув, я хотел загнать ее в будку, она вспорхнула на дверь, а откуда на саму будку. Связки уж были на конце ее маховых перьев, и лишь только она потянула в сторону учительского барака, они спали. В отличие от Страшного Чубарая с полчаса петляла над нашим участком — на языке голубятников *шалалась* — и улетела на Магнитную.

Я и Саша понуро брели к переправе. И хотя всегда мы с удовольствием ступали по пуховой от пыли дороге, теперь нас не радовала ее мягкость. И с паром ни разу не спрыгнули за время его полутораверстового пути. А обычно — бултых с кормы. Вынырнешь — паром уж, по первому впечатлению, далековато. Припустишься за ним. Догоняешь. Запыхался, а норовишь показать и выносливость и храбрость. Заплывешь в прозор между баржами. Темно: корпуса смоленые, вода чернолаковая, лишь кое-где в настиле, который заставлен грузовиками, фургонами, бричками, таратайками, ручными тележками башкирок-ягодниц, светятся щели. Испытывая робость, все-таки преодолешь этот мрак, нырнешь и псявишься впереди паром. Затем выскочишь из воды, будто бы хочешь ухватиться за стальной канат; за него катер тянет паром. Заохают женщины: дескать, руку озорник распорет, под паромное дно угодит. Заругается мужчина. Ты сверкнешь ягодицами. Через минуту кто-нибудь из ребят, держась за якорь, выдернет тебя на корму.

Неужели это опять когда-то будет? Обманутыми, беззащитными мы чувствуем себя, всходя на холм. На косогорах, любопытствуя, что за мальчишки, встают на задние лапы суслики. Мы почти не замечаем их, и они ласково посвистывают, привлекая наше внимание. Они как маленькие дети: доверчивы и не соображают, что иногда бывает не до них. И вдруг во мне поднимается такая жалость к сусликам. Мы им интересны. А мы, случается, вылавливаем их из нор и убиваем, чтобы обменять шкурки на крючки-заглотыши, на акварельные «пуговики», прилепленные к картонкам, на губные гармошки.

— Постоим возле папки? — спрашивает Саша.

Я не отвечаю. В ровике возле могилы уже нет ни монет, ни снеди. Под ветром клонится паслен; звездчатки его белых, розовых по краю цветов весело глазят в небо, где кружат канюки. Дядя Шура любил голубей. В детстве у него была огромная стая. Если бы он не умер, то мы попросили бы его пойти с нами к взрывнику, чтобы вернуть Страшного и Чубарую.

Взрывник был дома. Он сидел с гостями в палисаднике. Когда мы остановились за акациями, он рассказывал, как начальник рудника це-

лый день водил Клима Ворошилова по горе Атач, показывая месторождения железняка.

— В те поры было много настоящего магнитного железняка: он еще не успел размагнититься от взрывов. Жалко. Эдакую фантазию порушили. И я участвовал... Водил, водил, значит, начальник, показывал, показывал, а тот к вечеру внезапно и говорит: мол, как все же, есть руда в Магнитной или нет? Разработки на Атаче едва начинались. Он хоть и вождь, а сквозь землю не видел. Начальник рудника с год как сообразил, что имеются люди из руководства, из инженеров, какие вводят в сумление верха: железа-де в Магнитной мало, угрожает государство большие миллионы на строительство завода, а варить чугун и сталь будет не из чего. Смекнул и то — Ворошилову поручено развязать это сумление. Комиссии наезжало видимо-невидимо. Чтобы убедить их в богатстве горы, начальник приказал выбить штольню сажен на двести и водил туда комиссию. Повел и Ворошилова. Как завел, да как включил там электричество, да как засверкала руда, так Ворошилов и взвеселел. Баят: успокоил он верха. Молва, похоже, верная. Припоминается, дело на строительство ходче пошло-поехало!

Я опасался, как бы взрывник не рассердился, что мы торчим за штакетником.

Но он огладил бороду, заметив нас за акациями. Мне даже почудилось, что в его глазах блеснула радость.

— Погодите маненько,— сказал он гостям.— Пришли мои товарищи по голубиной охоте. Вы пейте, закусывайте, я отлучусь. Задержусь, дак не поимейте обиды. Товарищи ведь!

Некоторые взрослые из рабочих стеснялись, что занимаются голубями, и подтрунивали над собой, а то и грубовато выкручивались, оправдывая свою слабость тем, что не уважают ни рыбалки, ни водки, ни карт. Взрывник же, вероятно, считал, что в этом нет ничего зазорного.

— Братовья,— сказал он, обогнув палисадник,— что ж вы? А? Терпения не хватило? Обганивать вздумали? Чубарую связали, Страшного нет? Страшной от голубки завсегда удует. У него имеется понятие о доме. У человека понятие о родине, у голубя о доме. Я души не чаял в жене и своих детишках. Временное правительство как смахнули, я улую с германского фронта. По дороге узнал: Ленин зовет защищать советское отечество. Поскольку я был за народ и у меня было понятие о родине, о степи и холмах круг нее, я поворотил — и в Питер... Ну, выкладывайте, что у вас подеялось?

Мы рассказали. Он посоветовал связывать голубей на два крыла, ввел нас во двор и велел лезть на чердак. Мы робко прошли по гранитным плитам, накаленным солнцем. За углом Саша мне шепнул:

— Вдруг да лестницу уберет.— И подкрепил свой страх бабушкиной мудростью: — Мягко стелет — жестко спать.

— Дура! — осадил его я и прикинул, что из чердачного лаза можно уцепиться одной рукой за край крыши, затем ухватиться другой, выбраться на скат, оттуда прыгнуть на каменный забор, чуть пробежать по нему и сигануть в полынь. Ведь на турнике, подтягиваясь, я легко выжимался до пояса. Саша этого не умел. И я отменил свой ловкий побег и маравал, как бы нам в случае чего удрать вместе.

Я приказал Саше остаться у лестницы, а сам поднялся на чердак. Разыскивая в сумраке гнездо Страшного и Чубарой, прислушивался, не происходит ли чего внизу. На чердаке было полно голубей. Они ворковали, пищали, укали, а те, которых я спугивал, перелетывали, звеня крыльями, при посадке хлестали ими по балкам. Я думал, что из-за этого шума мне кажется, будто во дворе все тихо. А там действительно ничего

не случилось. Саша, когда я выглянул из чердачного лаза, стоял на прежнем месте; взрывник играл с цепной собакой, похожей на медведя.

Он проводил нас до околицы и уже вдогон наказал до тех пор держать голубей в связках, покамест они не начнут высиживать птенцов.

Паром отчалил от пристани, едва мы стали спускаться к переправе. Хотя мы ждали его долго и явились домой в темноте, мы чувствовали себя счастливыми. Бабушка подняла ругань, грозясь оставить нас голодными, но Саша сцепился с нею наперекрик (ему она прощала все); она угомонилась и дала нам по тарелке горошницы. Сама же она полезла под кровать, чтобы выпить рюмочку за взрывника — хорошего человека. По разумению моей матери, гораздо удобней было держать водку в шкафу: протяни руку, налей — и через мгновение выпьешь. Однако бабушка хранила бутылку с водкой под кроватью, подле стены. Достав из шкафа прямую граненую рюмку и поддев ложкой сливочного масла, она лезла под кровать. Опиралась бабушка не на ладони, а на локти: в правой руке рюмка, в левой ложка с маслом, — поэтому кровать вздымалась ввысь со всем ее чугунным весом, с толстой периной, стеганым одеялом и с тремя сугробами подушек. Из-под кровати обычно слышалось бульканье наливаемой в рюмку водки, а вот как бабушка выпивала эту водку, не было слышно. И выпивала она ее насухо, если не считать единственной капли, которая выпадала на язык бабушки, когда она, выпятившись из-под кровати и стоя на коленях, переворачивала рюмку над ртом, прежде чем поцеловать в лучистое донце. В студенческие годы полушутя-полусерьезно я пытался понять, как она умудряется пить под кроватью, но всякий раз захлебывался водкой, а рюмку опоражнивал лишь наполовину.

Мы с Сашей так проголодались, что, кроме горошницы, которую наперегонки уплетали, для нас ничего на свете не существовало, и все-таки мы покосились под кровать, откуда бабушка напонила, что пьет за хорошего человека.

Хотя Страшной и Чубарая один раз от меня улетели, я, однако, не потерял веры в чудодейственность жареной конопли. Утром я насыпал в карман конопли и налил в блюдце сахарной водички. Бабушка ушла в магазин. Я воспользовался ее отсутствием и подлил в блюдце водки. Голубятники утверждали: чтобы умная дичь забыла прежний дом, ее надо напоить.

Как и вчера, связки Страшному и Чубарой не понравились. Они кособочились, топырили крылья, пытались сбросить нитки маленькими розовыми носами. Мы мешали их раздраженным и откровенным попыткам освободиться от связок.

Голуби немного примирились со своей недолей и дружно набросились на коноплю, когда появился Петька Крючин. Он пришел смиренный. Сколько ни подсматривал я за взглядом его раскосых глаз, подвоха в них не улавливал. Чтобы подчеркнуть, что я оттаял после нашей вчерашней ссоры, а также в знак «цеховой» доверительности я сказал ему, что вода в блюдце разбавлена водкой и подслащена. Он это одобрил. И я был доволен: ведь поддерживал меня не какой-нибудь задрипанный голубятник, а серьезный, неисправимый, знаменитый Петька Крючин, который к тому же до позавчера был моим покровителем. Зная, что Петька тут, не утерпели и пришли с конного двора Генка Надень Малахай (опять он был без фуражки, и опять его мать будет кричать: «Генка, надень малахай!») и сивый Тюля. Они двигались к моей будке осторожно, боясь, что я их турну. Саша махнул им рукой:



— Да вы не трусьте, лунатики.

Они быстро подошли, стояли позади Петьки, еще не твердо веря, что им не перепадет за вчерашнюю подброску Лебедей.

Страшной наклевалса раньше Чубарой. Ему стало скучно, и он принялся ворковать, отылекая ее от конопля: едва она взглядывала на него, как он распускал хвост и, прижав кончики перьев к полу, делал к ней рывок. Поклонившись Страшному, Чубарая опять хватала с торопливым постуком зеленоватое, эмалевое на вид зерно, и снова он, надувая зоб и потрясывая загривком, выговаривал свое гулкое, страстное: «У-ва-ва-ва» — и то и дело как бы пересыпал эти звуки, напоминающие дыхание паровоза, урчащим рокотом.

Генка Надень Малахай восхитился:

— А ворковистый, черт!

Не оглядываясь, Петька отодвинул его локтем. Главным ценителем и судьей здесь был он, и то, что Генка Надень Малахай вылепил свое мнение об одной из статей Страшного, возмутило его. Да и я воспринял восхищение Генки Надень Малахай как нарушение приличия, принятого среди голубятников. Я только взглянул на него. Он мелко заколебался из стороны в сторону. Ему хотелось испариться, и оттого, что он никуда не мог деваться, он угнулся и запеленал руки в подол рубахи.

Петька выждал, покуда кощунство, совершенное Генкой Надень Малахай, рассеется, и уже тогда сказал, но таким тоном, словно совсем не было нетерпеливого замечания о ворковистости Страшного:

— Красиво бушует! Настоящая мужская порода! Раз бушует у тебя на дворе — значит, начинает признавать твой двор. Вполне вероятно — удастся удержаться.

А у Страшного, видно, пересохло в горле. Он подбежал к блюду и стал пить глубокими пульсирующими глотками. После этого его состояние показалось ему каким-то необычным — насторожило горячение в зобу, — и он потряс головой и помахал кургузыми из-за связок крыльями. Обычное самоощущение не возвратилось к нему, но он не потерял бодрости и размашистыми шажками вернулся к голубке и долбанул ее в темя.

Саша захохотал, потом воскликнул:

— Ну, мужик! Права качает. А то он к ней на хвосте, а она равнодушная.

Чубарая, отскочившая от Страшного, таращилась, куда бы взлететь. Страшной, видно, сообразил, что допустил оплошность, и заукал. Однако его призывное жалобное постаныванье не произвело на нее впечатления. Он заворковал и, повышая гул своего голоса, вращался, понемногу подступая к Чубарой. Она взворковала с негромкой, неумелой картавинкой, свойственной голубкам, и сердито клюнула по направлению к нему, но не достала. Страшной принял ее мстительный клевок за поклон и пошел колесить вокруг нее, мел хвостом землю, взогатывал.

— Вот бушует! — в другой раз не удержался Генка Надень Малахай. — Ни у кого не встречал!

— Мой Лебедь что, — грозно спросил его Петька. — хуже бушует?

— Нет, Петя. Они одинаково.

На лице Петьки появилось сожаление.

— Что значит не голубятник, — проговорил он, обращаясь ко мне. — У каждого голубя свой голос. — И уже к Генке Надень Малахай: — Надо различать...

— Он тугой на ухо, — подсказал Саша.

Чубарая все еще тянула вверх голову. Страшной перестал ворковать. Задумался. Какой-то непорядок был в нем самом, а также в норове голубки. Над этим он и задумался. Наверяд ли он додумался до того,

что с ним стряслось, а может, расхотел додумываться: дескать, зачем нам, голубям, вдаваться во всякие там сложные перемены? И направился было к Чубарой, чтобы выяснить, что с ней, но его качнуло, и он чуть не свалился набок, да вовремя успел подпереться крылом.

Саша рьяно ждал потехи. Он задрался обрадованным хохотом и никак не мог сдержаться. Легкие у Саши были малообъемные, в них не хватало воздуха на длинные выдохи, поэтому он все ниже сгибался, удушливо кашляя и взвизгивая. И меня, и Тюлю, и Генку Надень Малахай тоже разбирал смех, но мы крепились: останавливала строгая прихмурь в Петькином лице. Вскоре, когда Страшной, напряженно поддерживая равновесие, подошел к Чубарой и попытался поцеловать ее, а она увильнула и отбежала к огуречной грядке, а он, оставшись на месте, стал браниться на нее,— тут и мы не выдержали и захохотали.

Чубарая пригорюнилась возле грядки. Конечно, Страшной решил, что ему кое-что удалось ей втолковать и что уж сейчас-то она не должна пренебречь его ухаживанием, и готовно подбежал к ней, а Чубарая хлестанула его крылом и через огуречную грядку улизнула в картофельную ботву. Он искал ее среди ботвы, то обидчиво укая, то сердито бормоча. Затем вдруг прытко выскочил оттуда и прибежал к блюдцу. Я уже пожалел, что разбавил воду водкой, и хотел отогнать его от блюдца, но он даже не отпрянул от него. И когда я загородил воду руками, он начал клевать мои ладони, и так их пробивал, и так в них впивался, что выступала кровь. Я отнес Страшного в будку. Он и в будке продолжал буйнить — долбил в березовую поленницу и врезывал по ней крыльями.

Я испытывал и растерянность и огорчение. Я никак не предполагал такой бедовой реакции Страшного на водочную разбавку и такой непокладистости Чубарой. Петька понял это, однако не ушел. И я увидел, что он мне сочувствует и, пожалуй, собирается помочь. Он сказал, что нам нужно потолковать. Я догадался: у него нет желания говорить при ребятах. В «шестерки», еще куда ни шло, они годятся, а серьезный разговор при них вести бесплодно: он им ни к чему.

Я попросил ребят взглянуть, не собирается ли шугать голубей Мирхайдар. Они отошли, и Петька сразу заговорил. Воду с водкой нельзя давать Страшному. Позабудь, наверно, позабудет старый дом, но может и шалавым сделаться. А голубь он умный, красавец, бушуй и, похоже, приживется. А Чубарая не приживется. Она из тех голубей, какие не изменяют своему первому дому. Здесь Страшному ее не потоптать. И если она даже снесется, то голубят не станет высиживать.

Чем раньше она улетит, тем лучше. Он бы советовал сейчас же ее развязать и выпустить. Вчера вечером он поймал молоденькую голубочку. Носик — зернышко, веслокрылая, как и Страшной. в чулочках, вся черная, а грудь и плечи в белой косынке и хвост белый. Мастью, как говорится, Цыганка. Он готов подарить мне Цыганку. Чубарую надо выкинуть, а Цыганку спаривать со Страшным.

Я согласился. В груди у меня отворилась тоскливая пустота, когда он схватил Чубарую в картошке, освободил от связок и зашвырнул в небо. Чубарая, немного покружив над участком, улетела. Петька ушел на конный двор.

Петька был безобманным голубятником. Если о чем-нибудь условился, то не нарушит договора. Хотя он куда-то надолго запропал и хотя, по уверениям Саши, уговорил меня выпустить Чубарую, чтобы разорить голубятню, я надеялся — Петька не падет до вероломства.

Солнце склонилось за полдень. Петька не показывался. На меня как столбняк напал. Я топтался у стального кола, глядя на угол барака: оттуда должен был прийти Петька. Саша сходил к нам. Он возвратился с масляными губами. Бабушка накормила его. Она любила делать из

этого тайну. Вот он теперь и помалкивал. Но скрытничать Саше не нравилось, и он, придерживаясь правила: «После сытного обеда по закону Архимеда нужно закурить», — зашел в будку, торопливыми, с вкусным причмоком затяжками с адил папиросу и убеждал меня, что Страшной ни за что не станет спариваться с новой голубкой и не сегодня-завтра усвистит. Наверняка он был опечален улетом Чубарой и Петькиным исчезновением, и все-таки он не столько это переживал, сколько радовался тому, что у него есть повод помитинговать насчет хваленной честности Крючина, а меня пообличать в том, что я простофиля.

Его смутило мое молчание. Он сел на кирпич и начал строгать из сосновой коры лодочку, залихватски цыркая слюной. Он наслаждался сытостью. Чувство довольства было для него, как солнце для кутенка, налакавшегося мясного супа. Он запустил куском металлургического шлака в петуха. Петух не заметил, откуда летел шлак, и шел вдоль завалинки крупными шагами, не потерявши обычной шеголеватости. Из-за этого и было особенно смешно, как он опасливо вертел головой. Саша стал надрывать от хохота. Потом, покашляв, запел «Любушку». Он помнил мотив песни, а слова путал, он повторял все время две строчки, горланя на все длинное огородное пространство:

Люба, Любушка, Любушка-голубушка,  
Я тебя не в силах прокормить...

В другом настроении я подгорланил бы ему, а теперь обиделся и прогнал. Я узнал недавно, что вместо «прокормить» надо было петь «позабить», и сказал об этом Саше, но он назвал мне пел по-старому. И, уходя, в отместку опять пропел, как привык:

Люба, Любушка, Любушка-голубушка,  
Я тебя не в силах прокормить...

Я погнался за ним. Настиг. Он упал на мураву и, лежа на спине, смеялся, по-щенячьи дрыгал ногами. Разве захочешь лупить такого не-серьезного человека?

Когда я возвращался, ко мне подбежал Генка Надень Малахай. Известие, которое он принес, объяснило Петькино исчезновение. Оказывается, его брата Пашку, под хмельком вошедшего в стойло, покусал жеребец по кличке Архаровец. Петька запряг иноходца и повез Пашку в больницу.

В сумерках появился Петька. Он подал мне маленькую голубку и пошел. Ноги у него почему-то косолапили. Да и весь он был не всегдашний: пониклая спина, руки растопырены наподобие крыльев у замученного голубя.

Я посадил Цыганку в гнездо к Страшному. Страшной уже плохо видел: голуби плохо видят в сумерках. Он тревожно заукал и вжался в угол.

Я замер возле клетки, закрыв дверцу. Тишина в гнезде. Ни шевеления, ни звука. Битва начнется завтра, за восходом. Я вспомнил ладонью глянцеви́то-гладкую, легкую, как из воздуха, Цыганку и пожалел: задолбит ее Страшной. С похмелья он будет, наверно, лютый?

Утром я чуть не заревел. Страшной до того буйствовал, что повыщипал много перьев из голубкиной головки и шеи. Растерзанный вид Цыганки и особенно безобразные плешины на ее головке и на шее подействовали на меня убийственно. Я не разрешил Саше заходить в будку. Надо же быть таким бессовестным! Пришел как ни в чем не бывало да

еще невинно улыбается... И если увидит, что натворил Страшной, то будет от восторга кататься по земле. В отчаянии я прилеп на поленницу, но тотчас бросился к клетке, потому что Страшной защемило крыло Цыганки в своем клюве. Он сдавливал крыло так свирепо, что прогибались створки клюва. Я отобрал Цыганку у Страшного и посадил в нижнее гнездо. Страшной без промедления нырнул в это гнездо и начал вышибать ее оттуда. Я настегал его соломинкой по ногам. Однако он не только не унялся, а даже сильнее рассвирепел, как и вчера, до крови расклевал мою руку.

Вошел Петька. Сразу обо всем догадался. Велел оставить Страшного и Цыганку на несколько суток одних. Дважды в день приносить корму и воды и тут же убираться вон. Да, может убить. По-умному спаривают иначе. Голуби должны обзнакомиться друг с дружкой, облаяться над домом, а потом уж их можно сажать вместе. Но, коль такой случай, пусть дальше вместе сидят. Убьет так убьет... А ежели спарится, держа в памяти прежнюю голубку, то шибко будет любить и никуда не улетит от нее.

Вечером я не обнаружил Цыганку в клетке, обыскался, пока ее нашел. Бедняжка так спряталась за дрова, что сама бы не смогла выбраться. На следующий день я воспрянул духом: она таскала Страшного за воротник, а едва он вырвался, то сиганула из гнезда. Правда, минутой позже он вернулся в гнездо и задал ей трепку, но вскоре, опять схваченный за воротник, жалко шнырял под зобом у Цыганки.

Эта их игра, предваряемая и завершаемая обоюдным воркованием, в котором выражались возмущение, призыв к покладистости, нежелание сближаться по прихоти людей, продолжалась еще дня три. После день — два, приткнувшись в разных углах гнезда, они мелко подрагивали крыльями и кланялись, кланялись, без конца кланялись друг дружке. Потом я застал их в одном углу. Спрятав воротникастую голову под грудь Цыганки, Страшной укал. Всегда почему-то мне слышалась в голубином уканье невыносимая жалоба, и я еле-еле сдерживал слезы. А тут услышал такое лучистое уканье, что тотчас посветлело на душе. Но когда я замер и вник в него, то мне вдруг стало казаться, что я понимаю, о чем его уканье. Ему тепло, ему гладко, ему нежно. И он прокликает свою беспощадную драчливость и обещает быть смиренным и ласковым. Ему удивительно, что он был спарен с Чубарой. В это ему как-то даже не верится. Это все-таки было, но ему каяться не в чем. Ведь он не знал об ее, Цыганкином, существовании. Как хорошо, что мальчишка проявил упорство и заставил их спариться: ему тоже хорошо, он любит нас и от радости совсем не моргает, и уши его пристально торчат, как звукоулавливатели на военной машине.

Голубь, которого долго держат в связках, может засидеться. Он растолстеет, делается ленивым, будет таскаться на низких кругах. Никак не обойтись без расшуровки, чтобы стая с таким голубем поднялась в вышину. И хотя во время расшуровки стоят грохот, крик и свист, не всякого сидня это погонит в полет, иной из якобинцев, веерохвостов или дутышей променяет небо на черное жерло печной трубы.

Неугомонность Страшного указывала на то, что он не засидится. И вместе с тем пугали перемены в его поведении: обираясь, не тронет клювом связок, словно они совсем его не тяготят, не заглядится на голубей, кружащихся под облаками, даже не возникнет в нем невольного желания взлететь, когда, запрокидываясь, он спорхнет с Цыганки.

Петька Крючин полагал, что Страшной притворился: только ты развяжешь его — он сразу упорет.

У меня тоже было подозрение, что Страшной хитрован, но не в такой мере, как думал Петька. По уверениям Петьки получалось, что умный голубь может притворно спариться. Я так не думал и никак не мог поверить, что Страшной выбирает удобный случай, чтобы улететь. И все-таки я боялся развязывать Страшного и решился на это лишь тогда, когда куда больше стал бояться того, что навсегда загублю в нем прекрасного летного голубя.

Хотя он как будто и не понял, что его освободили от связей, и совсем не расправлял маховых перьев, он мгновенно взвился, потоптав Цыганку. Как звонко он хлопал крыльями, как гордо кораблил ими, потрепанными на вид! Как весело переворачивался через спину!

Совершив торжественный облет над бараклом, он сел возле огуречной грядки и, торжественно бушуя, вертелся волчком, а Цыганка, выгибая грудь и приспустив хвост, толчками скользила вокруг него.

Наши опасения не отпали, и все-таки то, что Страшной вернулся на пол, было причиной для радости.

Но каких-то полчаса спустя он псевел себя иначе. Не стал заходить в будку, хотя Цыганка и зазывала его в гнездо тревожным уканьем. Тут-то он и расправил перья, аккуратно подогнав волоконце к волоконцу, а потом взлетел. И теперь он колотил крылом в крыло, описывая круг, но это были настораживающие хлопки. Я бросился в будку: как только выкину оттуда Цыганку — Страшной заметит ее и сядет.

Цыганка металась по гнезду, чтобы не раздавить яйцо — еще вчера я нащупал его в голубке, к своей и Сашиной радости, я дал ей успокоиться и лишь тогда взял в ладони. А когда выскочил из будки, то Страшной уже тянул к горе, за которой были переправа и мордовский земляночный «шанхай».

Неужели Страшной не вспомнит о Цыганке и не повернет обратно?

На мгновение мне показалось, что он надумал повернуть: начал отклоняться ко Второй Сосновой горе. Скоро стало ясно: его просто сносило боковым ветром; сделав крюк, он преодолел напор ветра и канул за перевалом.

Я попросил Сашу съездить за пруд. Он боялся одиночества, безлюдной дороги по холмам, станичных собак, которые встречали путника далеко за окраиной, молча шли по пятам, изредка рыча и пощелкивая зубами. Испытываешь полную беззащитность из-за того, что они не собираются нападать, только припугивают, а ты все-таки сомневаешься в этом, а сам, однако, не смеешь взять палку, чтобы их не разъярить. Едва Саша согласился идти, я забоялся за него и стал уговаривать, чтобы он передумал. Он рассердился и побежал за башкирскими таратайками и сел на бегу в самую последнюю таратайку, которой правил старик в зеленом бархатном камзоле.

В полдень над маяком Второй Сосновой горы я углядел движущуюся точку. На всякий случай я пошел в будку за Цыганкой, и когда достал ее, то обнаружил в пуховом углублении гнезда яичко. Если бы она снеслась утром — не улетел бы голубь и сейчас наверняка уже грел бы это яичко. Теперь оно пропадет. Парить без Страшного Цыганка не будет. Редко голубки парят в одиночку.

Точка, двигавшаяся над маяком, приближаясь, оборачивалась голубем. Мои глаза еще не привыкли к очертаниям Страшного, поэтому не угадали его.

Я выпустил Цыганку на землю, и голубь, словно там, в вышине, его крыло перебила пуля, начал отвесно падать. Падая, он вращался воронкой. Я оцепенел: какая-то минута — и он разобьется. Но он вдруг прекратил движение вниз — сделал горизонтальный рывок и потянул по кольцу. По перьям в хвосте, составлявшимися в черную вилку, я узнал

Страшного и опять дал ему осадку. Он снизился. Цыганка, заметив его, стала порывисто вспархивать. Здесь бы ему и сесть: ее вспархивания своей мучительностью и стремлением к нему больше походили на биение в сетке. А он не проявил сострадания и с разворота напрямик улетел опять.

Перед закатом возвратился Саша. Собаки, как и следовало ожидать, его не тронули. Правда, он думал, что они не тронули его не сами по себе, а потому, что, стоя у могилы с кустиком паслена, он попросил папку о б о р о н и т ь его от опасности. Саша знал о том, что Страшной улетал к Цыганке и опять вернулся в станицу. Он сидит на крыше и, к удивлению бородатого взрывника, гонит от себя Чубарую — она лезет к нему с поцелуями. Саша утаил от взрывника, что Страшной спарился с другой голубкой: еще возьмет, да и застрелит его за измену.

В сумерках я пил чай, придумывая, как выпросить у матери денег на выкуп голубей. Без Чубарой взрывник не отдаст Страшного. Мать никогда не скупилась для меня, однако она была против голубей, боясь, что из-за них я запущу учение. До моего соображения, зачумленного, по словам бабушки, голубиной охотой, доходило и то, что я собираюсь разорить семью: до полочки придется влезать в долги, но я не мог жить без собственной дичи.

За окном что-то вроде бы промелькнуло. Я потянулся к стеклу. Возле порожка будки, тычась клювом в доски, бегал Страшной. Наверно, Цыганка слышала, как он садился, и невыносимо заукала. Страшной взлетел, и ударился в дверь, и упал, и снова взлетел.

Когда я примчался к будке, он лежал на боку и трудно раскрывал клюв. В смертельной тревоге я поднял Страшного. Во рту у него, под стреловидным язычком, аела кровь, он захлебывался ею.

Я сунул Страшного за пазуху, отпер будку, а потом клетку и прикнул его к Цыганке. Цыганка привстала с гнезда. Он повалился на крыло и, пытаясь встать, откатывал яичко. Цыганка испуганно пятилась из гнезда.

Я посадил голубей рядом. Ушел. Ночью часто просыпался. «Неужели умрет?» Едва рассвело, подался на улицу. С крыльца прислушался: не воркует ли Страшной? Так громко, так бурно он ворковал прежними утрами! Как назло, на заводе в это время раздался гогот пневматического молотка, производившего клепку в огромном резервуаре. Этот металлический гогот перекрыл газовый выхлоп из домны. Где-то на прокате плоско грохнулась оземь кипа стальных листов. И уже не очень далеко, на краю огромного рельсового пространства, где вчера образовалось скопище поездов, груженных коксом, рудой, блюмами, проволокой, чугунами болванками, — начал сифонить паровоз «ФД» и, набирая ход, сильнее раздувал свой настырный паровой звук. «Феликс Дзержинский» все сифонил, когда я медленно заглянул в гнездо. Цыганка трепала перышки на голове Страшного. Глаза Страшного были закрыты. В первый момент мне показалось, что он мертв. И стало жутко... Но тут он, вероятно, почувствовал мой взгляд и приоткрыл веки.

Не меньше недели Страшной был слаб и сам не мог ни пить, ни клевать. Я поил и кормил его изо рта. Как только он окреп, то стал садиться мне на плечо и совался клювом в губы. Я прекратил кормить его таким образом, зато приучил есть с ладони. Сердитый, он, очищая от пшеницы ладонь, больно прихватывал кожу.

Я стал осаживать Страшного вытянутой рукой. Он падал с подоблачной высоты, как мы говорили, колом, стоило мне несколько раз выбросить перед собой руку во всю длину.

К старому дому он не перестал летать. Поднявшись высоко, уводил стаю — у меня быстро создалась стая из наловленных чужаков, — и, по-

кружив, приходил обратно. Он сразу спускался и сменял Цыганку в гнезде: ей необходимо было подкормиться и тоже полетать. Пешинки на голове и шее, портившие ее вид, заросли перышками, и стало видно, несмотря на ее усталость, что она красавица. Мне нравилось смотреть на Цыганку в те минуты, когда она беззаботно прогуливалась. Ступает твердо, четко. Малиновые лапки просвечивают сквозь чулочки. Поступи и всему боковому очертанию Цыганки придает гордую статность высокий изгиб груди, хвост, развернутый веером, и вислокрылость. Летала она легко. Быстро набирала высоту, но скоро снижалась: она беспокоилась, как бы куда-нибудь не пропал ее Страшной, и, убедившись, что он на месте, опять пускалась в полет.

Как раз во время Цыганкиной разминки вывелся первый голубенок. Когда она спустилась вниз для своей обычной проверки, то обнаружила возле поленницы яичную скорлупку, а потом услышала капельное попискивание из клетки. Она ворвалась в гнездо и клюнула Страшного: дескать, убирайся, раздавишь малыша. Он успокоительно укнул. Это не уняло ее новой тревоги. Она попыталась подобраться ему под зоб, чтобы сдвинуть его с птенца. Тогда он возмутился, вытолкнул Цыганку из клетки, а возвратясь на место, долго ворковал, выговаривая ей за панику и за то, что рвалась в гнездо до наступления своей смены.

Цыганка хотя и усовестилась, однако не возвратилась на круг. Она сидела на дровах, не спуская глаз с насупленного Страшного. Едва он покинул клетку, что-то бормотнув, она ринулась в гнездо и картавила оттуда, будто он слушал, о том, вероятно, что право опекать птенцов — прежде всего ее материнское право.

Их размолвка на этом и закончилась, а дежурства мало-помалу начали учащаться: птенцы становились прожорливей. Это продолжалось до тех пор, пока голубята не покрылись костышами, синеватыми и кровавыми изнутри; в этих костышах, с длинными долбаками — так мы называли их клювы — они походили на уродцев. Мне и Саше не верилось, что когда-нибудь они примут «человеческий» вид, а из-за того, что их носы обещали быть длинными, мы приходили в неутешное отчаяние. Петька Крючин потешался над нами: сами из смердов, а хотим, чтоб голуби у нас были породистые, как брамины или кшатрии. Петька увлекался историей и любил козырнуть ученостью.

А Страшного почему-то совсем не тревожила гадкая внешность голубят. Для него важнее всего было, что они есть. Уже одно то, что они передвигаются шлепающими шагками и норовят клевать мух, а промахиваясь, теряют равновесие, вызывало в нем бурную радость. Он бушевал, наклоняясь над ними. Их, вероятно, пугал гул его голоса, а может, им казалось, что над баракком повис самолет, и они в страхе пригибались, помаргивали, их костышовые хвостики мелко вздрагивали. Но Страшной не утихал: он только набирал разгон для торжества. Еще воркуя, он взмывал в воздух. За ним срывалась Цыганка. Они с оттяжкой хлопали крыльями, кораблили, совершая начальный круговой облет своего дома и своих птенцов, которые теперь поворачивали к небу то левый глаз, то правый. Потом Цыганка и Страшной устремлялись вверх. И когда достигали высоты, на которой над заводом широко пласалась буро-черно-желтая кадь, то начинали оттуда падучую игру. Цыганка играла мерно, плавно, словно заботилась о том, чтобы снизу ясно просматривались ее движения.

Страшной играл азартно. Завихрится воронкой то по солнцу, то против солнца. Вскоре сядет, как и Цыганка, на развернутый хвост — и покатится, покатится с небес по вертикали, что и не разберешь, как он кувыркается, лишь различаешь вращение рябого шара, низвергающегося к земле. И захватит у тебя дух от его бесшабашного падения, и ты вос-

торженно переглянешься с Сашкой, и Петей, и Генкой Надень Малахай, и Тюлей, и еще с кем-нибудь из ребят, и подумаешь, что пора бы ему прекратить кувырканье, и тут же, в оторопи, охватишь взглядом расстояние между ним и землей, да еще услышишь крик мальчишек: «Заиграется!» — и у тебя не хватит души для выдержки, и ты свистнешь, чтобы вырвать голубя из лихого забвения, и за тобой засвищут, заулюлюкают, и почти у самой крыши он как бы выстрелится в горизонталь, и раздастся общий вздох: «Вот гад, чуть не разбился!» — а он уже тянет в синеву, где реет Цыганка, которая только что наблюдала за его игрой, наверно, обмирая от страха еще сильнее, чем мы. А то и, может быть, она просто любовалась своим ловким, храбрым Страшным.

Мастью птенцы удались в Цыганку, только у старшего на затылке завился хохол, как у Страшного. Оперенье их стало приглядным. Но из-за того, что ходили они неуклюже, сутулились, пищали и полностью не сбросили ржавый младенческий пушок, все еще оставались неказистыми. Петька считал, что они будут на редкость красивы и умны. Он хотел их у меня выменять на пару дутьшей, но я хоть и мечтал обзавестись дутьшами, отказался. У голубятников было поверие, что первый выводок надо оставить себе, а то в голубятнике не будет прилода. Второй выводок я обещал подарить Петьке, и он, при своей скромности, как ни странно, хвастался этим.

Цыганята, стоя на вытянутых лапках, начали подолгу махать крыльями; изредка в эти минуты они невольно поджимали лапки и, чуть зависнув, шлепались в испуге на землю; от маха их крыльев изо дня в день все упруге пел воздух, пело и в наших душах, но это оборачивалось для нас и волнением: скоро обганивать Цыганят. В эту пору молодняк доверчив, глуповат — может сесть у незнакомой голубятни. Петька просил не делать без него обгонку. Он приготовится, и если голуби Жоржа-итальянца или Мирхайдара приманят Цыганят, то подтащит под них сразу всю свою стаю, и она уведет пискунов в наш конец, а тут уж мы сообщаем их переловим.

Но получилось все неожиданно. На утренней зорьке, после кормления, я собирался произвести обгон, но хохлатый Цыганенок, не поклевав пшеницы, вдруг взлетел на крышу барака. Накануне утром я посылаю разведку к своим опасным соперникам. Саша, Генка Надень Малахай и Тюля уверили меня, что в последнее время ни Мирхайдар, ни Жорж-итальянец рано не встают.

Я растерялся, когда Цыганенка, который не успел освоиться на крыше, кто-то вспугнул леденящим свистом. Потом под Цыганенку полетели чужие голуби, а за будкой разорвался такой многоглоточный ор, что моя стая фыркнула в воздух. Тут же в окне появилась мать Генки Надень Малахай и стала нас поносить за голубятничеством, а на конном дворе напугались стригуны и с оглашенным ржанием понеслись вокруг конюшни. Переполох еще не утих, а я уже определил по желтым голубям, что это Мирхайдар с братьями и «шестерками» подтащил под меня свою стаю.

И его и мои голуби сбились в табун и ходили на кругах, понемногу оттягиваясь к бараку, где жил Мирхайдар. Наверняка там, у него, давали осадку. Он очень вероломный, а также предусмотрительный: голубей на осадку всегда оставляет, заранее сажая их в связки. А у меня ни в клетке, ни на полу не осталось голубей. Я послал Сашу к Петьке. Несколькими раз выбросил перед собой руку. Страшной лишь колебнулся, но снижаться не стал. И не видно было, что он собирается играть. Наверно, чтобы не покидать Цыганят?

Табун разорвался на две кучи. Чубатый пискун потащился за голубями Мирхайдара. Так он и таскался за ними битый час. И даже после



того, как моя стая было вобрала его в себя, он снова отклонился за Мирхайдаровой стаей.

Как я ни злился на хохлатого Цыганенка, я не мог и не восхищаться им. Мы выкидывали под него и Петькиных и моих голубей, но безрезультатно. Чуть-чуть отдохнув на барачке Мирхайдара, Цыганенок снова шел в лет, и Мирхайдару опять и опять приходилось поднимать стаю.

Я видел, как Цыганенок сел среди голубей Мирхайдара. Едва не плача, я простился с ним. Дело шло к вечеру. Зоб у него был пустым-пустой. И пить Цыганенок хотел, конечно, страшно.

Но не тут-то было. Хоть и пискун, а клонет осторожненько пшеничку и приготовится взлететь, лишь только Мирхайдар, стоящий шагах в пяти, сделает малейшее движение.

Чужаки, прежде чем напиться, обычно вспрыгивают на борт консервной банки. Тут ты и ловишь их. А Цыганенок не дал себя схватить. Отпивал понемногу прямо с пола, не спуская своего янтарного глаза с Мирхайдара.

В конце концов Мирхайдар решил действовать нахрапом. Он погнался голубей к открытой двери балагана. Чтобы проучить за нарушение порядка, Цыганенка уцепил за макушку мохнолапый Жук. Мирхайдар хотел воспользоваться этим, прыгнул, как рысь, да испугал Жука, и Цыганенок, освободившись, взлетел на барачную трубу. На этой трубе, уже в послезакатную сутемь, Мирхайдар и поймал его. Я предложил ему в обмен на Цыганенка пару краснохвостых (он зарился на них), но Мирхайдар заявил, что ни за что не согласится сменить кому-нибудь такого неслыханного пискуну. Тут же он поклялся, что удержит его. Без связок удержит. И удержал. Чего придумал, жох! Надевал на Цыганенка своего рода чехол с дырками для головы и лапок.

Я никак не мог примириться с этой потерей. Даже теперь, когда Мирхайдара нет на свете, а от Цыганенка и косточек не осталось, почти с прежней остротой переживаю, что проворонил пискуну.

Я сам был виноват: достукался, как говорила мама. Слова, данного ей, я не сдержал. Скверно вел себя в школе: разговаривал во время занятий, играл на деньги в «очко», забавлялся брунжанием лезвия, воткнутого в парту. Кроме того, я еще и редко брался за выполнение домашнего задания — чаще только притворялся, и бабушка похваливала меня за то, что я вникаю в умственность.

Учителем немецкого языка был у нас в классе беженец из Польши Давид Соломонович Лиргамер. Перед тем, как он пробрался к нашим, ему пришлось просидеть целые сутки под развалинами огромного варшавского дома. Хотя ему не было и двадцати лет, волосы на голове у него были какие-то ярко-снежные. Я жалел его за эту седину, но, пожалуй, мое доброе отношение к Лиргамеру зависело не столько от жалости — он поражал меня своей приятной, мягкой неизменной вежливостью.

О моих школьных дерзостях и проказах узнали дома благодаря Лиргамеру. Было это так. Он объяснял новый материал. Чтобы ему не мешать, я читал. Держа книгу на ладонях, я подносил ее снизу к щели в парте и спокойненько почитывал. Если меня и чертежника устраивал договор: я не хожу на его уроки, а он выводит мне за четверть «хорошо», то Лиргамер, по моему убеждению, должен был быть доволен, что я сижу тихо, соблюдаю приличия. Но он-то думал иначе. Книга была Петькина, занимательная — про английского короля Ричарда Львиное Сердце. Я читался и не заметил, как Лиргамер остановился поблизости от меня. Когда он крикнул: «Жь-жюлик, видь из класс-са!» — я никак не предполагал, что этот нетерпеливый приказ относится ко мне. Я подумал,

что он относится к Ваське Чернозубцеву, сидевшему передо мной, и даже постучал ему в лопатку.

— Выбирайся, кому ясные глаза Лиргамера?

И тут я засек, что ясные глаза Лиргамера, увеличенные толстыми линзами очков, смотрят не на Ваську, а именно на меня, точнее, не смотрят, нет — яростно взирают. И опять крик, прямо мне в лицо:

— Жь-жюлик, видь из класс-са!

Я оскорбился и сказал, чтобы он не обзывался. А еще сказал, что если бы он по-доброму, то я бы вышел без задержки, а теперь нарочно не выйду.

Он сходил за директором. И директор увел меня из класса, уверив в том, что Давид Соломонович еще не познал всех тонкостей русского языка и, конечно, по чистому недоразумению использовал слово «жюлик». Директор благоволил ко мне. Он жил на той же линии — через барак от нас. Время от времени он захаживал к нам. Мать и бабушка рассказывали ему о своей женской доле. А доля у них была горькая, особенно в пору их деревенской жизни. Потчевали его белым вином, селедкой, желговатой бочковой капустой и черемуховым маслом, представлявшим собой смесь сливочного масла с истолченной в ступке сушеной ягодой. Свои воспоминания они перебивали отступлениями, касавшимися меня. Мать просила директора не прогонять меня из школы, а там я, глядишь, войду «в твердый разум и налажусь». Бабушка, поддерживая дочь, обещала каждый вечер творить молитву за его здоровье. Он и без того твердо придерживался цели — сделать из этого сорванца человека — и поэтому выслушивал их благосклонно, а потом наставлял, как обходиться со мной. Хотя он говорил для них, они то и дело требовали от меня, понуро сидевшего на сундуке и приткнувшегося виском к шкафу, чтобы я крепко усваивал внушения Ивана Терентьевича.

И на этот раз директор заглянул к нам, но с Лиргамером. Он тайно мне подмигнул, указав глазами на Лиргамера. Я так понял его кивок, что давай, мол, малыш, приготовься к потехе. Но потехи не было, то есть с его точки зрения она была, а с моей — была стыдобушка: Лиргамер извинялся передо мной, матерью и бабушкой за непомерную нетактность. Мы уверяли его, что это нам надо просить у него прощения. И просили прощения. Но он тряс головой и доказывал свое. Он страдал и не знал, как ему очиститься перед школой и прежде всего передо мной.

— Ты пей и закусывай черемуховым маслом,— говорил Лиргамеру директор,— и в тебе образуется стерильная чистота.

Посещение Лиргамера и директора сразу же отозвалось на участии моих голубей.

— Завтра же кончай с голубятней,— сказала мать, когда они ушли.

Я решил схитрить: если повольнить и быстро подтянуть успеваемость, то она смилостивится. И она бы смилостивилась, кабы не коварство бабушки. На птичьем рынке она сговорилась с барышником о том, что оптом и по дешевке продаст ему голубей. Пока я был в школе, сделка состоялась, и барышник унес в мешке всю мою стаю.

Утром, постояв у дверей будки, я зачем-то побрел на переправу. Над прудом, отслаиваясь от воды, лежал туман. Местами он вздувался серыми башнями. Неподалеку бодро стучал катерок и, покрывая этот стук, то и дело распускались клубки звона — ударял паромный колокол.

Едва паром подвалил к пристани, с него на берег прошел верблюд, таща рыдван с арбузами, пара быков проволокла воз сена, просвистела свадебная тройка, проехала цыганская кибитка, влекомая низкорослым башкирским коньком, высыпали красили-артельщики из России, с мая

по ноябрь живущие в станице, у каждого за плечом узел для разноски трафаретных ковриков, покрывал, накидок.

Возчики с веревочными кнутами сгали уговаривать киргиза, управлявшего верблюдом, продать арбуз. Киргиз был доволен, что еще не доехал до базара, а уже навязываются покупатели, но торговать не стал: нужно прицениться. Кибитку задержали бабы в черных полушалках, и цыганки что-то бормотали им из темной брезентовой глубины, и зубы их сверкали, и закатывались плутоватые глаза, и качались плоские золотые серьги. Кудрявый парень увязался за тройкой, прося взять его в дружки, а ему кричали, что все свадебные должности позаняты своими и пришлые не требуются. Красилей окружили плотники и уговаривали их бросить свое ремесло и подрядиться вместе с ними строить в зерносовхозе элеватор.

Еще вчера, как и у всех этих людей, у меня был свой интерес, а теперь его нет, и я не представляю себе, зачем мне жить.

За спинами плотников я проскользнул на паром, и когда переплыл на правый берег, то пошел вверх по холму.

В станице гоняли дичь. Белела на солнце стая взрывника. Я не знал, куда деться от обиды и тоски.

Поздней осенью такая пустота в степи за Уралом, что кажется — все вымерло. Сусликов и тех почти не видать. Обесцветились растения, кроме конского шавеля, крокодилок и нивянок. Да еще среди глинистого однообразия выделялись стеклянные волокна семян кипрея. Татарник и тот поблек, и только и заметишь его по скрюченной верхушке. И запахи как ветром унесло. И словно не пахла, как березовый сок, серебристая по ножке и лепесткам сон-трава, и не тянуло через увалы аромат горлицы, фиалки, ястребинки, цикория, кипрея, пижмы, поповника...

Я ломился напрямик по этой тусклоте, и моя неприкаянность как бы терялась в бурьяне.

Я быстро добрался до Мартышечьего озера. Полежал на мхах. Нарезал рогозовых «палок» и успел вернуться домой до ухода в школу. Боль во мне, похоже, перегорела, и я вроде бы примирился с потерей голубей. Я не подсаживал на бабушку, когда она, зачерпнув ложкой сливочного масла, полезла под кровать. Даже мысль о том, что теперь не меньше недели бабушка будет праздновать на голубиные деньги, не вызвала ни злости, ни раздражения.

Возвращаясь из школы, я все же то ли загадывал, то ли умолял кого-то: «Хотя бы они не прилетели», но на всякий случай пошел вдоль сараев, балаганов, будок. Взглянул на барачную крышу. Там сидел голубь. Я подумал, что обмишулился. Уже темно. И можно принять за голубя какой-нибудь рваный ботинок, закинутый на крышу. Чего только туда не забрасывают. Я решил не смотреть больше на крышу и хотел уйти домой, но не утерпел. Действительно, на гребне крыши сидел голубь. По гладкой голове и вытянутой шее я узнал младшего Цыганенка, и уже через мгновение я бросился в барак за ключом. Едва открыл будку, Цыганенок слетел на землю и торопливо побежал к порогу. Я так был обрадован, что понес Цыганенка домой. Мать с бабушкой дивились тому, что пискунишка, которому без году неделя, прилетел, да еще и раньше старых голубей. Мать налила в блюдце молока, а бабушка насыпала чечевицы на жестяной лист, прибитый перед поддувалом голландки. Я сказал, что в незнакомой комнате он не станет есть, а вот стекло наверняка вышибет. Чтобы Цыганенок не ушибся или не порезался, прежде чем пустить его на железо, я открыл окно. Он сразу выпорхнул, вылетел и сел на пол, возле огуречной грядки. И это поразило их.

Я покормил Цыганенка возле будки, и когда, оповестив своих дружок о его возвращении, пришел домой, то мать с бабушкой все еще восхищались тем, что младший Цыганенок б а ш к а, а также толковали о деревенском поверии, будто у голубей человеческая кровь, и склонялись к тому, что в этом есть резон: умом, повадками, семейным укладом, привязанностью к дому они напоминают людей.

Со дня на день я ждал прилета Страшного и Цыганки, но они не появлялись. Пискуну было одиноко. Много им заниматься я не мог — готовился к урокам. Чтобы он не сидел в затворничестве, я выпилил в нижней части двери отверстие, и Цыганенок покидал будку и залезал обратно, когда ему вздумается. Он летал с Петькиной стаей и со стаей Жоржика-итальянца. Но чаще всего он летал со стаей Мирхайдара и всегда рядом с хохлатым Цыганенком. Иногда он исчезал из неба нашего участка. Где его носит, я не знал, да и не хотел знать. Мне было ясно, что Цыганенок любит летать, что он вольный голубь и что, хоть убей, не сядет у чужой голубятни, если даже к Мирхайдару, куда садится его брат, ни разу не спустился. Меня бесило, когда кто-нибудь из мальчишек говорил в его отсутствие:

— Опять Цыганенок шалается над городом.

Для голубятников ожидание первого снега — как ожидание первого несчастья. Снег перекрашивает мир. Были горы верблюжьего цвета, выше землянок на склонах темнели убранные огороды, а верх землянок был пестр: черный — полито смолой, бурый — крыт железом, сизый — досками, белый — берестой. Выпал снег. И пропали серые шиферные крыши конного двора, красная крыша клуба железнодорожников, зеленая крыша детского сада, разномастные крыши барачков, оранжевый зонт над трубой котельни, изумрудные крыши завода, в стекле которых мерцала на солнце медная проволочная арматура. Исчезли черные домы, глинисто-рыжий ручей, текущий с горы Атач через город, и глинисто-рыжий лед пруда в месте впадения ручья. Куда-то девались другие цветные ориентиры. Голуби дуреют от этой перекраски. Они не кружат над свежей, слепящей, беспредельной белизной — плутают, носятся, мечутся, будто промчался в небе ураган и расшвырял их и они никак не могут собраться в стаю. Но понемногу налаживается привычный порядок. Стройность ему возвращают голуби, уже не однажды зимовавшие. Сбиваясь в маленькие кучи, они начинают размеренное вращение над тысячу раз облетанной площадью, ожидая, когда полностью соберется вся их разбредшаяся стая. Но к вечеру редко в какую голубятню соберется вся дичь. В некоторых голубятнях недосчитаются и старичков.

Нежеланный день. День хаоса, обожженных резким светом глаз, отчаянной беготни, невероятных потерь.

А для кого и день азартной ловли и богатой поживы!

Приближение первоснежья тревожило меня не только тем, что я могу лишиться Цыганенка, а также и тем, что после него навряд ли дождусь Страшного и Цыганку.

Как я был счастлив, когда холодным утром с иссиня-свинцовыми тучами услышал крик Саши:

— Цыганка, Цыганка идет по крышам!

Я схватил Цыганенка и побежал за Сашей. Голубка, отдыхая, сидела на барачке директора школы Ивана Терентьевича. Я выбросил Цыганенка, и она тотчас взлетела. От радости было попыталась бить крыльями и кораблить, да чуть не врезалась в землю. Там, где она жила, у нее оборвали крылья. Они еще не отросли как следует, когда она подалась восвояси, и вот уже летит около Цыганенка. И прекрасно, что она приле-

тела накануне первого снега. Значит, есть надежда, что если Страшной в зимнюю пору будет стрелять над участком в своем поисковом полете, то он увидит Цыганку с Цыганенком и сядет за ними, хотя и не узнает ни нашего барака, ни моей будки.

Ночью, как и предполагала бабушка — у нее колело под крыльцами, — выпал снег. Я очумел от того нежного преобразования, которое совершилось во всем. Замок на будке напоминал полярную сову, трансформатор, взгроможденный на помост высоковольтного столба, походил на хлопковый тюк. Что-то гусиное было в паровом подъемном кране, который стоял на железнодорожном пути близ вагонного цеха.

В дырке над порогом появился Цыганенок и мигом отпрянул назад. Немного погодя он повысовывался из лаза, опять выскочил на порог и, поозиравшись, прыгнул на белое. Оттого ли, что он провалился в снег, оттого ли, что не знал, что это такое, Цыганенок взвился и с лета нырнул в лаз.

Я наспех оделся, подмел веником землю перед будкой и выпустил Цыганку с Цыганенком. Они долго таращили глаза по сторонам и в небо, где уже происходила голубиная суматоха. Дичь Мирхайдара переполошилась сильнее, чем Петькина и Жоржа-итальянца.

Мирхайдару нравилось жевать воск. Он жевал его беспрестанно, стараясь, чтобы получалось с прищелком. В прищелках, по словам Мирхайдара, была самая что ни на есть сладость. Учителя мирились с его дурной привычкой, но все-таки выставляли с уроков из-за этих прищелков. Желваки на скулах Мирхайдар нажевдал себе чуть ли не с кулак величиной.

Растерянное лицо Мирхайдара с огромными двигающимися желваками вдруг представилось мне, когда я уследил, что пуще всех переполошились именно его голуби. Я не хотел ему урона и даже взволновался, как бы он не потерял сегодня своего хохлатого Цыганенка.

Мой Цыганенок набив зоб пшеницей, взмыл вверх, а Цыганка лишь дотянула до крыши. Там она и сидела, обняв и наблюдая за небесной неразберихой, покамест он не вернулся. Он тоже принялся охорашиваться и весело глазел в лучистый воздух.

Я не понял, почему они вдруг вытянулись. Было впечатление, что они заметили неподалеку ястреба, хотя никакой хищной птицы в это время в городе быть не могло. И сорвались они с крыши так резко и сильно, как в опасности. Через какую-то секунду, к моему недоумению, Цыганенок начал звенеть крыльями, а Цыганка, летевшая вровень с ним, принялась кораблить своими тупыми крыльями. Секундой позже мне все стало ясно: от заводской стены тянул Страшной. Он косокрылил — правое крыло у него было короче левого. Узнав Цыганку и Цыганенка, он перекувырнулся, сел на хвост и угодил на телеграфные провода, тянувшиеся вдоль дороги.

Я бросился огибать будки, сараи, балаганы. Поднять! Спасти! И когда обежал их, то увидел, что Страшной тянет к моей будке над пышной порошей и от взмахов его крыльев взвихриваются снежинки.

Чтобы избавить Страшного от косокрылости, я оборвал ему левое крыло. Отрастание перьев ослабляло холодоустойчивость Страшного и Цыганки. В морозы я заносил их домой. А Цыганенок не мерз и в самую огненную стужу. Я оставлял его в клетке; он решался летать даже в остекленном от мороза небе. Однажды я задержался в школе. За мое отсутствие к будочной двери надуло сугроб, и он успел затвердеть. Цыганенка в клетке не было. Вполне возможно, что дырку замуровало перед наступлением вечера, поэтому он не мог попасть к себе в гнездо. Поиски не принесли утешения. На рассвете я встал и обнаружил Цыганенка в

тупичке между нашей будкой и соседским балаганом. Он спал на черенке совковой лопаты. И до этого происшествия я знал о холодоустойчивости голубей, но теперь убедился, что зиму они коротают почти с пингвиной выдержкой и бодростью.

Голубятничать, как раньше, до бабушкиной сделки с барышником, у меня не было желания. И не потому, что я не хотел школьных неприятностей и боялся, что участь Страшного и Цыганки с Цыганенком повторится. Просто мне открылась в вольной воле, которую я дал Цыганенку, такая необъятность простора, движения и красоты, что я и не представлял себе, как смогу лишиться всего этого Страшного и Цыганку.

Когда они стали вылетать втроем, то пропадали в небе почти все светлые часы дня. Иногда они приводили с собой чужаков, я дарил их бабушке, и у нее возникал повод для залезания под кровать.

По теплу голуби начали приводить с собой голубку оригинальной масти: по белому фону синеватые закорючки, напоминающие арабскую вязь. Голубка ходила вместе с Цыганенком, но к вечеру, поднявшись, нарезала через металлургический комбинат и скоро скрывалась в его железисто-черной копоти. Как-то я увидел (уже просохло, и на полянах зеленела мурава), что Цыганенок целуется с этой голубкой. Вот тебе штука! Я даже замахнулся на них. Их недоумение было недолгим. Они снова принялись целоваться, а потом со счастливым боем крыльев совершили кольцевой облет барака и сели.

В этот час возвращался со смены бородатый взрывник. По пути к переправе он купил на базаре пшеницы и нес ее в мешке. Отдыхая, он спрашивал меня о Страшном; как бы для себя сказал, что Чубарая до сих пор без пары. В масти голубки — по белому синеватые закорючки — он увидел сходство с письменным камнем, на том тоже такие значки. Тем, что назвал голубку Письменной, он опять оставил о себе хорошее впечатление. Голубка словно ждала, чтобы ее нарекли. С этого дня она поселилась у Цыганенка в гнезде.

К июню Страшной и Цыганка вывели птенцов. Я исполнил свое обещание: отдал их Петьке Крючину, едва они оостыжились. Клевать они уже умели, но с неделю понимали Петькиных голубей приставаниями: просили себя покормить, за что старички секли их крыльями.

Страшной и Цыганка подолгу сидели на конюшне, с тоской глядя на пискунцов, и оба возмущенно ворковали, если при них обижали малышей.

Письменная почему-то неслась на бараке, всякий раз ее яичко скапывалось с крыши.

Когда началась война, я решил, что Страшной и Цыганка с Цыганенком — в Письменной я сомневался — могут пригодиться на фронте. От кого-то я слышал: умные голуби после специальной тренировки бывают прекрасными войсковыми гонцами.

Мы с Сашей принарядились. Саша был в сатиновой косоворотке, сереньком, с коричневой ниткой бумажном костюмчике, в ненадежных ботинках, шнурующихся на крючки. Все было ему велико и сидело на нем, как чучело на колу, и все-таки ему было радостно: мать держала до этого его выходные вещи в сундуке под ключом. Ожидая меня у будки, он пел что есть мочи:

Люба, Любушка, Любушка-голубушка,  
Я тебя не в силах прокормить...

Я надел парусиновые тапочки, брюки из темного сукна с мохнатым ворсом, матроску, угрожающе трещавшую в подмышках. Я подsunул Страшного и Цыганку под резинку, вдетую в подол матроски, Саша

приткнул Цыганенка и Письменную под френчик. И мы направились в городской военной комиссариат.

Дорогой со стороны переправы промчался танк «Т-34». Едва мы проскочили сквозь пыль, поднятую танком, как увидели Мирхайдара. Под вельветовой курткой у него возилась дичь. По тому, как он был раздут в корпусе, можно было прикинуть, что тащит он под курткой чуть ли не всю свою стаю. Я подумал, что Мирхайдар идет в комиссариат, и сильно расстроился. Вдруг да выберут его голубей, а наших забракуют. Оказалось, что вчера он играл с Бананом За Ухом. Тот выкинул у его барака дюжину голубей, и все они улетели, и Мирхайдару пришлось расстаться с парой Желтых. Мирхайдар надеялся теперь отыграть Желтых у Банана За Ухом. Я было повеселел, но тут же ощутил разочарование. Он и не додумался до того, что голуби могут с пользой послужить на фронте, и отнесся к нашей затее снисходительно: зачем, дескать, использовать для связи беззащитную птицу, коль существуют для этой цели телефоны и рации? Телефон или рация что? Мертвые аппараты, им не страшно. А голубя убить может. Жалко.

— А людей тебе не жалко? — спросил я.

— Людей жальчей, — сказал Саша.

— Сами виноваты. Кто затевает войну? А чем же голуби-то виноваты?

— Ничем. Правильно. Только ежели фрицы нас перекокают, голубям хана: всех, гады, сожрут. Значится...

— Я паспорт получу, — перебил меня Мирхайдар, — сразу добровольцем запишусь. А дичь братьям оставлю. Она мне дороже меня.

Соображение Мирхайдара хотя и озадачило и поколебало нас, но не изменило нашего намерения.

Мы перебежали шоссе перед головой длинной пехотной колонны, спускавшейся с одиннадцатого участка. Красноармейцы двигались в обычной, табачного цвета, форме, наискось перехваченные скатками. Хотя слышался не грохот их сапог, а только слитное шурханье, однако оно гулко и почему-то больно отзывалось в ушах; вероятно, из-за того, что шествие было молчаливым, лица суровыми, командиры не подавали команд. С металлургического комбината не доносилось ни звука, словно ему было известно, что они уходят, и он примолк, прощаясь. Я был потрясен этим совпавшим молчанием.

Не меньшее потрясение произвела в моей душе и собственная бабушка. Возвращаясь с базара, она остановилась по другую сторону карагача, близ которого стояли мы с Сашей. Она не замечала нас, вглядываясь теряющими зоркость глазами в ряды проплывающих лиц. И вдруг она опустила на землю кошелку, истово как-то выпрямилась и начала, высоко воздев руку, крестить бойцов, миновавших ее, и негромко, но твердо произносила:

— Милостивец, спаси и сохрани!

Я всегда стыдился, что бабушка верит в бога, а тут испытал за нее гордость: она любит этих людей, которые шагают на вокзал и которых никто не провожает, да и не может проводить: их родные не здесь; она чувствует, что они нуждаются в чем-то горячем благословении, в каких бы словах оно ни выражалось; она желает им жизни и победы, чего им сейчас хочется больше всего на свете.

Пробраться к сосновому двухэтажному дому военного комиссариата было трудно: на подступах к нему рокотала, гомозилась, страдала, тешилась музыкой темноодежная толпа. Группа крупных мужчин волновалась из-за того, что их долго не выкликают. По спецовкам и по синим очкам, привинченным к козырькам кепок, можно было догадаться — это сталевары. Вокруг старика с гармонью вились женщины, постукивая

подборами и охая; самая удалая, красивая, заплаканная, то и дело останавливалась перед высоким мрачно-пьяным кудряшом и частила задорным голосом:

Да разве я тебя забуду,  
Когда портрет твой на стене?!

— Все и всё забывают,—повторял кудряш.

Глаза его с цыгански коричневым белком как бы отсутствовали. (Этими словами мне о нем подумалось тогда.)

Кольцом стояли физкультурники; почти все были любимцами городской пацанвы: Иван-пловец, лобастый бодряк, называвший предметы в уменьшительно-ласкательной форме; длинный волейболист Гога, гимнаст Георгий с прической «ежик», центр нападения из футбольной команды металлургов Аркаша Змейкин. Теперь не скоро увидишь, а может, и совсем не увидишь, как Иван своим угловатым кролем торпедой проскакивает стометровку на водной станции; как мощно «тушит» Гога, иногда сбивающий мячом игроков; как Георгий, качаясь на кольцах, делает стойку; как Аркашка Змейкин всаживает штуку за штукой в ворота «Строителя», «Трактора» или «Шамотки».

Мы бы пролезли между парнями, теснившимися в сенях и в коридоре, если бы не боялись раздавить голубей. К нам подкатился один из этих парней — блондинистый мордан.

— Что, огольцы, принесли папке выпить-закусить? Ваше дело в шляпе. Грузовик оттаранил вашего папку на вокзал. По червонцу за бутылку. Сойдемся?

Саша не утерпел и захохотал. За Сашей и я покатился со смеху. Поваливая боками, мордан обождал, пока мы просмеемся, и подступил с угрозой:

— Берите за бутылку по червонцу и хиляйте отсюда, а то в лоб замостырю.

— Ну, ты! — тоже с угрозой сказал Саша, ссутулясь и вытянув шею. Блатяга, чистый блатяга.— Ну, ты, не тяни kota за хвост!

Тут с кипой бумаг в руке вышел сам комиссар. Мы кинулись к нему. Он опешил от нашего предложения, но сразу смекнул, что огорчать нас не следует, и, взглянув на Цыганенку и Письменную и ласково притронувшись к их головам, поблагодарил нас за патриотическую инициативу и велел крепче учиться, особенно по физике и математике. Про голубей же сказал, что, если они потребуются для армии, об этом будет сообщено в школы через администрацию.

Выбираясь из толпы, мы увидели, что длинный Гога, Иван-пловец, футболист Аркашка Змейкин и гимнаст Георгий заскакивают в кузов полуторки. Когда машина тронулась, мы запустили в воздух голубей, и физкультурники вскинули вверх кулаки.

Держать голубей так, как держал их я, было, по выражению бабушки, не а чего сто. Пока я ловил и продавал чужаков, пока я с помощью Страшного и Цыганки выигрывал дичь и деньги, мне было выгодно иметь голубятню. Прибыль, которую получал, я тратил на пшеницу и коноплю. Но стоило мне отказаться от ловли чужаков и от голубиных игр, как я почувствовал, что расходы на корм — дело нешуточное.

Голуби — жоркие птицы; первые чревоугодники среди них жирнюги, ленивцы, сладострастники, сизари, засидевшиеся. Однако и среди голубей встречаются малоежки. Тут особняком летуны: почтарь, турман, чистяк, оренбуржец — лишь он один может взлетать и опускаться по прямой, как жаворонок, — а также голуби, озабоченные своей красотой: дутышн, трубачи да еще те, кто чистоцветной масти и одарен артистиче-



ской статью — пульсирует шейкой, хохочет, принимает декоративные позы.

Хотя Страшной с Цыганкой и Цыганенок с Письменной быстро наклеивались, забота о корме становилась для меня с каждой новой военной неделей все более сложной, даже трудно выполнимой. Денег, выдаваемых матерью на буфет — я совсем не расходовал их на школьные завтраки, — не стало хватать на покупку пшеницы; коноплю за ее кусачую цену я еще в июне исключил из голубиного меню. Пришлось покупать зерновую дробленку, затем охвостье, после этого — смесь проса с овсом, а потом — только овес. А цены все росли. И основным кормом для голубей стал хлеб нашей семьи, который мы получали по карточкам. Коль голуби были мои, я старался есть поменьше, чтобы в основном на корм им шла моя пайка.

С хлеба, как и с овса, у голубей пучило зобы, да как-то все на сторону, и они маялись, потягиваясь вверх, словно что-то глотали и никак не могли проглотить. Петька Крючин, жалея Страшного и Цыганенка, иногда приносил карман пшеницы или ржи и вытряхивал зерно перед ними, а голубок отгонял: он считал, что они гораздо живучей самцов и спокойно выдюжат на дрянных кормах. Когда на конный двор привозили жмых, то Петька приглашал меня на разгрузку; за помощь старший конюх выдавал мне целую плиту жмыха, и тогда на некоторое время и у нас в семье, и у голубей наступал праздник. Для себя мы калили жмых на чугунной печной плите, а для них дробили в медной ступке.

Банан За Ухом, узнав через Мирхайдара о моих затруднениях, пришел ко мне. Голуби клевали овес, и он грустно посетовал: «Экий плевел приходится есть такой прекрасной дичи!» — и выразил желание их купить. Банан За Ухом работал на мельничном комбинате. Уж он-то будет кормить их отборной пшеничкой! Я недолюбливал его, а здесь вдруг он понравился мне. Наверно, тем, что с восторгом смотрел на моих голубей, а может, просто стало жаль, что на щеке у него багровое родимое пятно, а за ухом нарост, похожий на маленькую картошину. Походит ли этот нарост на банан, я не мог судить: не знал, что это за плод и какого он вида.

Он сказал, что берет обе пары оптом за полтысячи. А я сказал, что скошу ему сто рублей, если он поклянется не обрывать никого из голубей. Он поклялся, выговорив для себя дополнительное условие: после первого прилета я отдаю ему Страшного и Цыганенка.

Через день я съездил к Банану За Ухом и возвратился чуть не рыдая: он обдергал крылья Цыганенку, а Страшного с Цыганкой, не мечтая их удержать, перепродал голубятнику со станции Карталы, находившейся километрах в ста от города. У меня была тайная надежда, что все мои голуби прилетят. А если так случится, что Банан За Ухом удержит их, то я смогу к нему приезжать, чтобы хоть одним глазком взглянуть на Страшного с Цыганкой и Цыганенка с Письменной. Теперь я не увижу своих старичков. Пути на станцию Карталы у меня нет и наверняка не будет. А прийти оттуда они не сумеют: такая даль, да и зима вот-вот наступит.

Уроки я учил, устроившись со всеми удобствами: подо мной край сундука, придвинутого к стене, под ногами перекладная стола, под локтями сам стол, упирающийся мне в грудь боковой столешницы. Чуть скосил глаза — видишь, что делается перед хозяйственными службами, на крышах, в том числе на Мирхайдаровом бараке, на металлургическом заводе и в небе над ним и над бараками. А чтобы увидеть свое лицо, нужно повернуться и достать подбородком до ключицы. На деревянном угольнике, накрытом кружевом, связанным мамой из ниток десято-

го номера, стоит зеркало; в него и глядись досыта на свои выпуклые глаза (за них меня дразнят Глазки-Коляски), на косую челку, на разнокалиберные уши. В зеркале я вижу отражение розового целлулоидного китайского веера и раскрашенной фотокарточки, где мы с мамой прижались друг к другу и где между ее дисковидным беретом и моим пионерским галстуком есть красный перезвук — оба затушеваны фуксином. Бабушка терпеть не может, когда я «выставляюсь в зеркале». Она думает, что я из-за этого с ошибками выполняю задания по письму. Раз я пишу, все это для бабушки — «по письму».

Ее нет дома. Поверх будки я вижу, как она из огромной кучи каменноугольной золы выбирает комочки кокса. От холода в комнате у меня химически-синие губы. Но я не обращаю внимания на холод. Я гадаю о том, сравняются ли мои уши, как выровнялись в последние годы зубы, валившиеся прежде друг на дружку. Я загибаю пальцами уши и пристально их исследую. В комнате у нас студено, но мне становится радостно: нашим под Москвой и в Москве тепло, все в ватном, в пимах, в полушубках, только у нас, в одном городе, в помощь фронту собрали эшелон зимних вещей. Счастливиц, кому достанутся мои валенки, скатанные дядей Мишей Печеркиным. Хорошо, что дядя Миша сработал большие, мне не по мерке катанки. Теперь у кого-то ноги, как в доменной печи. Дядя Миша недоросток, а любит все крупное: жену взял чуть ли не вполтину выше себя, на охоту ходит с фузеей восьмого калибра и пимы валяет на богатырей. Правда, сыновья получают в него.

Из-под щепки, которой бабушка орудует в куче, летит зола. Если стать голубем и лететь навстречу сегодняшнему ветру — через какое расстояние устанешь?

Ну да ладно. Надо браться за алгебру. Какие-то индустриальные математики придумывают задачки. «Из пункта «А» в пункт «В» вышел поезд...» «Из бассейна объемом... в бассейн объемом...» Неужели нельзя: «Со станции Карталы в город Магнитогорск вылетел голубь...» А ведь я не знаю, с какой скоростью летают голуби. Разная у них, конечно, скорость. Среднюю, разумеется, можно высчитать. А то все машины, агрегаты, емкости...

Бабушка начала дуть в побурелые от золы матерчатые варежки. Сейчас думает про себя: «Отутовели рученьки мои». Она вздрагивает там, на ветру. И тут же по моей спине прокатывает волна озноба. Она мерзнет, а я не решаю задачу. Не решишь к ее возвращению — рассердится.

Склоняюсь над тетрадь. От бумажных листов и от клеенки исходит почти жестяной холод. Скорчившись, как бы ужимая себя к очажку тепла, находящемуся в груди, я согреваюсь. И вдруг до моего слуха долетает стукоток, мелкий, мелкий, вроде бы возникающий в подполье. Может, нищенка робко царапает ноготками в дверную фанерку, а кажется, что звук идет снизу? Однако я наклоняю ухо к полу. Опять стукоток. Четко различаю — он не из подполья, а из коридора и возникает на вершок-другой от половиц. О, да это Валька Лошкарев. Ему уж около двух лет, а он все ползун. Но Валька когда приползает к нам в гости, то разбойно лупит ладошкой по фанере. От новой догадки я вскакиваю и бегу к двери, хотя в душе отвергаю эту догадку. Потихоньку растворяю дверь и слышу, как чьи-то лапки шелестят с той стороны. И вот на полу напротив меня Страшной. Треск крыльев — и он на моем плече. И сразу бушевать. И такие раскаты, рокоты, пересыпы воркованья наполняют комнату и коридор барака, каких я не слышал никогда. Закрываю дверь и прохожу на середину комнаты. А Страшной ничего, не забоялся, и все рассказывает, рассказывает о том, как стремился домой, как решился в мороз и ветер пуститься в полет, как сразу точно сориентировался, как еще

издали по горам дыма и пара узнал город, как, чуть не падая от усталости, преодолевал промежутки между бараками и как счастлив, что снова у меня в комнате, где часто ночевал под табуреткой, над которой прибит умывальник и откуда по утрам я гнал его к выходу из коридора вместе с Цыганкой и Цыганенком.

Я взял ковш, проломил в ведре корочку льда, напился и напоил изо рта Страшного. По крупным талонам позавчера мы выкупили перловку. Я сыпанул перловки на железный лист; Страшной набросился на нее, затем, будто вспомнил, что чего-то недосказал или испугался, что я уйду, снова сел на плечо и наборматывал, наборматывал в ухо. По временам он, наверно, чувствовал, что не все, о чем говорит, доходит до меня, и тогда бóльшая внятность и сдержанность появлялась в его ворковании. А может, теперь он рассказывал лишь о Цыганке и замечал, что это мне совсем невдомек, и для доходчивости менял тон и сдерживал свою горячность?

Бабушка всплеснула руками, едва увидела Страшного на моем плече.

— Ай-яй! Матушки ты мои! Из Карталов упорол! В смёртную погоду упорол!

И еще пуше она дивилась тому, что в таком длинном бараке о тридцать шесть комнат Страшной отыскал нашу дверь. И маму, когда вернулась с блюминга, отработав смену, сильнее поразило то, что он нашел нашу дверь, а не то, что он в лютую стужу прилетел из другого по сути дела города. А я был просто восхищен Страшным и не думал о том, чему тут отдавать предпочтение. Но бабушкино и материно удивленье, что голубь нашел именно нашу дверь, заставило меня задуматься над его появлением. Я прогулялся по коридору. Двери были очень разные. Наша в отличие от всех дверей была ничем не обита, с круглой жестяной латкой на нижней фанерке. Дверь перед нею была обколочена войлоком, а после нее—слодянистым толем. Не столько смелость и память Страшного поразили меня, сколько привязанность, которую он обнаружил ко мне, человеку, своим прилетом и радостным бушеванием, а также ум, благодаря которому он проникнул в коридор и стал долбить в дверь, чтобы его впустили.

Прежде чем уйти в школу, я разгреб сугроб над землей, насыпал пшеницы, добытой у Петьки Крючина, убрал от порога плаху — ею был заслонен лаз, дабы в будку не надувало снега. Я полагал: из Карталов Страшной вылетел один — он бы не бросил голубку в пути. Но вместе с тем у меня была надежда, что сейчас Цыганка пробивается к городу: не утерпела без него, не могла утерпеть, и летит.

Вечером я не обнаружил ее в будке. Не прилетела она и через неделю.

Поначалу Страшной, казалось, забыл о ней. Чистился. Кубарем падал с небес, поднявшись туда с Петькиной стаей. Он догонял голубей в вышине и катился обратно почти до самого снежного наста, черного от металлургической сажи. И не уставал. И никак ему не надоело играть. Но это продолжалось дня три, а потом он вроде заболел или загрустил. Наохлится и сидит. Уцепишь за нос — вырвется, а крылом не хлестает, не взворкует от возмущения.

— Задумываться стал,—беспокойно отметила бабушка.

И ночами начал укать. Чем дальше, тем пронзительней укал. Тоска слышалась в этих его протяжных «у».

Спать стало невмочь. Я оставлял его на ночь в будке. Но оттуда нет-нет, да и дотягивались его щемящие стоны. Я уж подумывал: не съездить ли в Карталы. Может, вымолю Цыганку за четыреста распронесчастных рублей Банана За Ухом? Но внезапно Страшной исчез. Голубиный вор

мог унести, тот же Банан За Ухом. Кошка могла утащить. Поймал Жорж-итальянец — у этого короткая расправа: не приживется, нет покупателя — пойдет в суп. Сожрет и утаит об этом. Зачем лишних врагов наживать?

Бесследно люди пропадают, а здесь — всего лишь небольшая птица.

Но Страшной не пропал. Он опять пришел, да не один — с Цыганкой.

Я был в школе, когда они прилетели. Я и не подозревал, что Страшной с Цыганкой сидят под табуретом. Я пришел домой, съел тарелку похлебки, и только тогда мама сказала, чтобы я взглянул под табурет. Я не захотел взглянуть. Решил — потешается. И мама достала их оттуда и посадила мне на колени, а бабушка стала рассказывать, что увидела, как он привел ее низами за собой, и открыла будку и сама их загнала.

Через год я отдал их Саше Колыванову, не насовсем, а поддержать, на зиму. Саша сделался заядлым голубятником. Школу он бросил, так и не окончив пяти классов, хотя и был в пятом третьегодником. Он кормился на доходы от голубей.

В то время я занимался в ремесленном училище, и было мне не до дичи: до рассвета уходил и чуть ли не к полуночи возвращался.

Как-то, когда я бежал сквозь январский холод домой, я заметил, что в той стороне барака, где жили Колывановы, оранжееет электричеством лишь их окошко.

Надумал наведаться. Еле достучался: долго не открывали. Саша играл в очко с Бананом За Ухом. Младшие, сестра и братишка, спали. Мать работала в ночь на обувной фабрике.

Из-за лацкана полупальто, в которое был одет Банан За Ухом, выглядывала голубоватая по черному гордая головка Цыганки. Я спросил Сашу:

— С какой это стати моя Цыганка у Банана?

— Проиграл, — поникло ответил он.

— Без тебя догадался. Я спрашиваю: почему играешь на чужое?

— Продул все деньги. Отыгратья хочется. В аккурат я банкую. Он идет на весь банк. И ежели проигрывает — отдает Цыганку.

— Чего ты на своих-то голубей не играл?

— Банан не захотел.

— А Страшной где?

— Под кроватью.

Я приоткинул одеяло. На дне раскрытого деревянного чемодана спал Страшной, стоя на одной ноге.

— Давай добанковывай, — сказал я.

Он убил карту Банана За Ухом, тот с внезапным криком вскочил, и не успели мы опомниться, как он мстительно и неуклюже рванул из-под полы рукой, и на пол упало и начало биться крыльями тело Цыганки. Банан За Ухом оторвал ей голову.

Мы били его, пока он не перестал сопротивляться, а потом выволокли в коридор.

Я забрал Страшного. Утром он улетел к Саше, но вернулся к моей будке, не найдя там Цыганки. Дома была бабушка, и он поднял ее с постели, подолбив в фанерку. Он забрался под табурет. И в панике выскочил оттуда. Облазил всю комнату и опять забежал под табурет. Укал, звал, жаловался. После этого бился в оконные стекла. Бабушка схватила его и выпустила на улицу.

Жил он у меня. На Сашин барак почему-то даже не садился. Неужели он видел из чемодана окровавленную Цыганку и что-то понял?

Он часто залетал в барак и стучал в дверь, а вскоре уже рвался наружу.

— Тронулся,— сказала бабушка.

Он стал залетать в чужие бараки, и дети приносили его к нам. А однажды его не оказалось ни в будке, ни в комнате. Я обошел бараки и всех окрестных голубятников. Никто в этот день его не видел. И никто после не видел.

И хорошо, что я не знаю, что с ним случилось. Когда я вспоминал о Страшном, мне долго казалось, что он где-то есть и все нищет Цыганку.



ХАЛЛДОР ЛАКСНЕСС

★

## ПТИЦА НА ИЗГОРОДИ

Рассказ

«Исландскому народу нет нужды горевать, пока бог посылает ему скальдов»,— говорит старая крестьянка, одна из героинь только что переведенного у нас романа «Свет мира».

Исландскому скальду Халлдору Лакснессу, написавшему эту книгу, за другое его произведение, за сагу о Бьяртуре из «Светлой обители», о человеке, «который в течение всей своей жизни заседал поле своего недруга», присуждена была Нобелевская премия.

— Я думаю о том, что вот я, странник, писатель с маленького острова, вдруг должен выйти к рампе перед лицом всего мира,— сказал Лакснесс на торжественном вручении ему премии в Золотом зале стокгольмской ратуши.— В эту минуту мысли мои с теми, кто окружал меня в детстве, в юности, с людьми, которых уже больше нет. Я вспомнил свою бабушку, которая всегда учила меня выше всего ставить бедных и униженных безымянных людей, создавших бессмертные исландские саги, на которых я воспитывался. В нашей стране в убогих хижинах они создавали эти саги, не мечтая о славе, успехе, деньгах. И вот я думал, что может принести успех писателю? Конечно, материальное благосостояние. Но если исландский писатель забудет, что он вышел из глубин народных, в которых живет сага, если он потеряет связь с народом и забудет о своем долге по отношению к угнетенным, которых учила меня уважать моя бабушка, то слава и материальное благополучие — это ненужная мишура.

Слова эти — как бы эпитафия к его необыкновенной книге о «самостоятельном человеке», об исландском крестьянине, который на своем клочке каменистой земли, «смыкая зарю с зарею», горбел в единоборстве с жестокой природой и еще более жестоким общественным устройством.

Через многие века после рождения саг роман этот снова ввел литературу народа, численность которого едва достигла двухсот тысяч,— в мировую литературу. Именно тот писатель, который, казалось, был поглощен проблемами сугубо исландскими, сумел стать наиболее интернациональным из всех современных писателей Скандинавии. Но сила его не только в том, что он снова возвысил родной язык и представил свой народ миру.

В краткий срок, за жизнь одного поколения, «отшельник Атлантики», как именуют исландцы свой остров, освободившись от хозяйничавших там иноземцев, стал независимой страной и, умело используя современную технику, совершил резкий экономический скачок. И вот когда, казалось иным — особенно молодежи,— «распалась связь времен» и под воздействием пропаганды американского образа жизни многие молодые люди смирились с перспективой размывания нации в «общеоатлантическом котле», книги Лакснесса — эта поэтическая история Исландии от древних времен («Герпла») через времена колониальные («Исландский колокол») до нынешней борьбы народа («Салка Валка», «Атомная станция» и другие),— книги, которым отведено почетное место на полках в каждой семье, стали цементом, скрепляющим поколения. Лакснесс снова открыл народу его историю, сняв с нее обшескандинавскую романтизацию эпохи викингов.

Его чудесные, исполненные подлинной поэзии книги, казалось, посвященные отдельным сугубо исландским проблемам, как в мозаике кусочки смальты, складываются в общую картину жизни народа, его истории, его сегодняшней, обращенной к будущему борьбы. Это, повторяю, тот цемент, который скрепляет в душе молодых исландцев их настоящее с прошлым, которым, оказывается, можно гордиться, которое вовсе незначителен терять, чтобы раствориться в англосаксонском или германском мире.

Однажды в Исландии, под немолчаливым шум могучего, низвергающегося с огромной высоты водопада Гулфосс, в усадьбе, которой принадлежала половина этого

водопада, я разговорился с седым фермером. Босой, он сошел с трактора, чтобы побеседовать с заезжим гостем. И конечно, как всегда в Исландии, речь зашла о сагах и скальдах, о литературе.

— Я откровенно отвечал тебе на все твои вопросы, — сказал старик, — ответь так же откровенно и мне: как ты думаешь — будут ли творения Халлдора долговечны? Ведь в них так много злобы дня!

— Когда говорят об Исландии и исландцах вдали от берегов вашего острова, каждому на память приходят прежде всего Лакснесс и его книги. Он представляет народ ярче и полнее, чем любой ваш президент или премьер, имена которых за рубежом не знает и один из тысяч. И разве книги, которые стали для современников первой необходимостью, не живут дольше, чем те, что пишутся в расчете на потомков?

Книги же Лакснесса — насущный хлеб для его народа, который продолжает вести борьбу за то, чтобы его родина оставалась подлинно независимой.

Если слова Лакснесса при вручении Нобелевской премии можно посчитать эпиграфом к роману «Самостоятельные люди», то публикуемый журналом рассказ «Птица на изгороди» (из последней его книги новелл «Семь этюдов») кажется нам эпилогом, прощальным словом, обращенным к уходящей в прошлое Исландии «самостоятельных людей». Герой рассказа умирает, гордый своей независимостью («Я никогда не был никому в тягость»). Вольный в своих поступках и мыслях, этот бедняк, начитанный, как и все исландцы, презирает сковывающие жизнь условности, церковную обрядность. Любовно внимая щебету птиц и журчанию ручья, он отвергает увещевания пастора о спасении души на том свете, но полон забот об этом свете, о живущих и о живом.

Геннадий Фиш.

**З**а изгородью выгона с тихим журчанием течет ручеек.

Птице, усевшейся на изгороди, и в голову не приходит, что лай собаки возвещает приближение незнакомцев, она продолжает невозмутимо чистить перышки.

Незнакомцы оставили лошадей на не скошенном с лета выгоне и, не постучав, вошли в дом. Никто не ответил на их приветствие. Собака на дворе не унималась.

С убогой кровати, стоящей в углу, послышался голос такой слабый и приглушенный, точно он раздавался в телефонной трубке и шел откуда-то издалека:

— Кто это там?

— Это мы, те, за кем ты посылал, дорогой Кнут: судья, староста и я — пастор.

Мужчины подошли ближе, чтобы поздороваться, но старик не заметил их протянутых рук, и пожатие не состоялось. Старик, лежавший на кровати, совсем высох: казалось, под одеялом ничего нет. Суставы его худых грубых рук, обезображенные долгой дружбой с примитивными орудиями труда, теперь побелели от длительного бездействия. Кожа на впалых щеках стала прозрачной, а борода — он лежал на спине — торчала вверх, как клочок высохшей травы.

— Ну, ну, бедняга, как ты тут? — спросили вошедшие.

— Хорошо, — ответил старик. — Все идет своим чередом. Дни уходят помаленьку, может, к вечеру и придет мой конец. Не такой уж я сильный, как вы думали. Ну, а что у вас нового?

— Нужна тебе наша помощь?

— Старая Бьяма при мне. Она мне воды поднесет или еще чего. Послушай, Бьяма, заткни-ка глотку этой суке, что она там лает. Так она и лошадей может спугнуть.

Из небольшой каморки за печкой послышалось ворчание:

— А чего ей не лаять, на то она и собака, чтобы лаять.

— Ну, а есть ты можешь хоть помаленьку, Кнут?

— Я ем столько же, сколько работаю.

— Ну, а как насчет табачку, нюхаешь ли ты его? — спросил один из приехавших, доставая табакерку.

— Нет,— заявил старик.— Единственное, о чем я сожалею, что вволю не побаловался табачком при жизни. А это штука полезная.

— Должно быть, недаром тебя прозвали Кнут Твердый Орешек,— сказал один из курильщиков.

— Ну, хорошо, мой друг,— начал пастор.— Чем мы можем быть тебе полезны?

— Да ничем,— молвил Кнут.— Просто мне пришло в голову сделать завещание.

— Гляди, тоже тебе лезет с завещанием!..— послышалось бормотание в каморке.

— Много ли из твоих сбережений останется, старина, если вычтешь все, что пойдет на похороны?— спросил староста прихода.

— Я никогда не был никому в тягость,— сказал старик,— и должен заявить, что по всем вашим законам я считаюсь владельцем хутора.

— Владелец владельцу рознь. Это смотря как взглянуть на дело.

— Да твоего хутора едва хватит, чтобы погасить все твои долги. Ты сколько лет сряду земельный налог не платил, не говоря уже о страховке от пожара да о приходском налоге.

— Я вас никогда ни о чем не просил и не потерплю ваших вымогательств. Я сам построил свою хижину и могу сжечь ее, коли захочу. И вот прежде всего я хочу распорядиться, чтобы мою халупу сожгли, как только меня вынесут из нее.

Мужчины в недоумении переглянулись. Пастор что-то пометил в записной книжке. Наконец один из них заговорил:

— Ну что ж, поскольку в хижине нет никаких ценностей, то сжечь ее не жаль. Хутор останется хутором и без этого жалкого дома, он-то и перейдет в собственность прихода, дорогой Кнут.

— Я перебрался сюда через много рек, чтобы быть вольным человеком. Если вы собираетесь забрать землю в счет недоимки и страховки по случаю пожара — что ж, дело ваше. Я только прошу записать в завещании, что любого, кто осмелится прибрать к рукам эту землю, я объявляю вором.

Пастор продолжал что-то записывать, а судья спросил:

— Кому же достанется земля, когда тебя не станет?

— Земля моя никому не принадлежит и никому не будет принадлежать. Это моя воля, это мое завещание.

— У тебя дети в дальних приходах, Кнут. Что скажут они?— спросил староста прихода.

— А что мне дети,— заявил старик.— Как только дети перестают быть детьми, они становятся такими же чужими, как все остальные люди.

— А не наоборот ли,— сказал пастор.— Наши дети, перестав быть детьми, становятся нашими лучшими друзьями.

— Я никогда не стремился завести друзей. Жить вольным, не подчиняясь вашим законам, где-нибудь на пустоши — вот о чем я всегда мечтал.

— Что ты там ни говори, но даже самые что ни на есть отверженные не могут оборвать всех связей с людьми. Ну хотя бы в том случае, когда они крадут овец у хуторян в горах. Но тебя, кажется, дорогой Кнут, бог миловал этой слабости.

— Что правда, то правда. Плохой из меня был отверженный,— ответил старик.

— Кроме того,— продолжал пастор,— способность человека говорить дает ему возможность обмениваться словами и мыслями с другими людьми. Это же куда лучше, чем говорить с самим собой. Так что никак нельзя отрицать пользу общения.



— Я не виноват в том, что умею говорить,— заявил старик.— И не скрываю, что человеческую речь считаю самой большой напастью в мире. Вот я и выхожу из игры.

— И тем не менее ты говоришь, Кнут.

— Большое несчастье постигло человечество, когда люди стали составлять слова — вместо того чтобы петь. Как только человек в далекие незапамятные времена произнес первое слово, тогда же возникла ложь.

— Но взаимопонимание между двумя душами, любовь между женщиной и мужчиной — что было бы с нами без всего этого? По-моему, тот, кто отрицает это, перестает быть человеком. Даже отверженным.

— Я ни в грош не ставлю всю эту никчемную болтовню. Мне горько оттого, что приходится иметь дело с людьми. Я хочу оставаться один на один с собой.

— Но позволь, дорогой Кнут, человеческое общение — это же путь развития мировой истории,— сказал пастор.

— Не верю я в мировую историю,— заявил старик.— Это еще одна из побасенок. Все, что выражено словами, вызывает у меня подозрение. Я предпочитаю слушать журчание ручья.

— Во что же ты тогда веришь, Кнут?

— Мне вполне достаточно щебета и чириканья птицы, что прилетает сюда ко мне на изгородь, можете не сомневаться. Она знает все, что нужно знать о мире. Она знает все, что нужно, чтобы жить на свете. И никто не может рассказать больше ее. Я верю в птиц. Пожалуй, наступит время, когда люди станут птицами, хотя пока что на это мало похоже.

— Но сейчас, когда приближается твой конец и святая церковь предлагает тебе все, что она может даровать душе, что ты скажешь теперь?— домогался пастор.

— Я одного хотел,— начал старик,— избегать общения с людьми. Поэтому я считаю, что те несколько лет, которые я прожил здесь, я находил в царстве небесном. Но наступает день, когда человек жаждет распрощаться с птицами, с небом, богом и всеми ангелами, и вот такой день наступил для меня. И этот день не так уж плох.

Один из посетителей при этой тираде промолвил:

— Наконец нашелся человек, которому не страшно помирать!

— Представляю, как безрадостно было твое существование, бедняга,— вставил другой, поживаясь, словно мороз пробежал у него по спине.

— Ну, зачем же торопиться с такими заявлениями,— возразил старик.— Тот, кто слушает ручей, вряд ли почерпнет многое, слушая вас. Один солнечный день — награда за все дождливое лето. Птица, сидящая на изгороди, весной поет день и ночь, и так два с половиной месяца сряду. Остаток года — всего лишь отголосок весны. День измеряется часами и минутами, но из всех минут самая блаженная та, когда человек засыпает утомленным, пусть даже эта минута незначительна, пусть не каждый это чувствует. Что ты там написал, пастор? Написал он там про землю и дом? Меня что-то стало клонить ко сну.

— Не кажется ли тебе, мой дорогой Кнут, что все это немного неразумно? Ну к чему тебе морочить всем голову и подписывать бумаги об этой хижине и об этой земле, которую ты покинешь и до которой тебе нет никакого дела? Разве тебе не все равно, что с этим станет? Не лучше ли в последние минуты подумать о загробной жизни, о грядущей вечности?

— Может статься, что наш земной мир всего-навсего сущий вздор,— сказал старик.— Но как бы там ни было, я привык рассматривать его

как неизбежный факт. Поэтому я предпочитаю оставить завещание прежде, чем отправлюсь к праотцам, а то как бы не опоздать. Так вот, мои семнадцать овец...

Но пастора нелегко было сбить. Он упорно стоял на своем:

— Плохой бы я был тебе друг, дорогой Кнут, если бы я, пастор твоего прихода, не попытался в эти последние минуты пробудить в тебе хотя бы слабый проблеск симпатии к истинной вере. Я думаю, это сняло бы гяжесть и с тебя, и со всех нас, Кнут.

— В молодости я любил зачитываться книгами. Тогда я верил в семь учений. Но факты рассеяли их в том же порядке, в каком я их приобрел. А теперь ты ко мне пожаловал с восьмым. Факты изгоняют все веры. Я сыт по горло людской болтовней. Вот уж добрых пять десятков лет, как я не открываю книги. Давай-ка лучше вернемся к прерванному делу и запишем, как распорядиться этими несчастными семнадцатью овцами, которых я считаю своими.

Пастор что-то забормотал, проглотил слюну и, собравшись с духом, снова принялся за свое:

— Не думаешь ли ты, что вера в учение, в которое верят все окружающие тебя, создает душевное спокойствие?

— Я верю в мир без всяких верований. И хватит об этом,— заявил старик.— Я всегда старался оставаться самим собой и не поддаваться той чепухе, которой потчуют людей в обществе.

— Значит, тебе и рождество — не праздник? — спросил пастор.

— Когда птица на изгороди поет день и ночь два с половиной месяца сряду, она потом умолкает и сама начинает слушать. Праздник еще не кончается. Осень давно уже вступила в свои права, а птица сидит на изгороди и слушает эхо песни. Почем знать, быть может, это не хуже самой песни. Я тоже слушаю, братцы, хотя уже зарылся в свое логово.

— Некоторые добрые верования присущи всем людям со дня их рождения,— заявил душеспаситель.— И есть существа, которые остаются верными человеку с незапамятных времен. Взять, к примеру, корову, которую иногда называют прародительницей человечества. Несмотря на все великие достижения науки и философии, она продолжает давать нам молоко из поколения в поколение хорошо известным нам способом, мыча при этом изредка. Церковь, например, многие называют царством небесным на земле. Человеческое познание претерпевает поражающие изменения, а там господствуют все те же псалмы, которые мы с тобой пели еще с детства.

— У меня никогда не было коровы,— сказал старик.— Коровье молоко для телят. И меня тошнит, когда я вижу, как суют грудь младенцам. А вот этих семнадцать овец, владельцем которых я являюсь, что ты там ни говори, я распоряжаюсь прирезать, как только они вернутся с пастбища. Пусть они пойдут старой Бьяме на пропитание. Она давно здесь живет у меня в хижине. Вот это я прошу записать.

Делать было нечего, пастор принялся писать.

Из-за приотворенной двери раздалось бормотание:

— Ну вот еще что надумал, чего еще не хватало! К чему это убивать овец ради меня? Хватит и того, что в приходе есть имущие люди. Мне ничего не надо.

Никто на ее слова не обратил внимания. Упрямец Кнут завершил дело следующей фразой:

— Вот сейчас я постараюсь нацарапать свое имя, прежде чем оччурюсь.

Сформулировать подобное завещание оказалось не просто. Отцам закона пришлось два-три раза рвать написанное, пока им не удалось составить небольшой текст, который, по-видимому, тоже не совсем удов-

летворил их. Они прочитали документ. В нем говорилось о том, что ветхий жилой дом завещателя после его смерти следует уничтожить. Земля же поступит в распоряжение государственных организаций согласно закону. Овцы с меткой завещателя — в момент написания завещания они находятся на пастбищах в горах — поступят в собственность экономки завещателя.

— Гляди-ка, я вдруг стала экономкой! Какая из меня экономка? Я даже служанкой никогда не была. Никчемная я бедолага,— раздалось за полузакрытой дверью.

— Бьяма? — Мужчины вопросительно посмотрели друг на друга.— Да как же полностью зовут старуху?

За дверью вновь послышалось бормотание:

— Как там меня зовут. Никак и не зовут. Бьяртмей Иоунсдоттир. Стыдно такое имя поставить на бумагу...

Мужчины еще раз перечитывают документ завещателю. Он им явно доволен. Затем они приподнимают его высохшее, как старая кожа, тело и держат его под руки, пока он ставит свое имя под завещанием.

— Пятьдесят лет не брал пера в руку, поэтому получилось так плохо,— сказал, извиняясь, старик.

Мужчины поспешили его заверить, что все в порядке. Когда они снова опустили старика на постель, он повернулся к стене и больше не произнес ни слова. И руки им не протянул, когда они собрались уходить.

— Я на всякий случай прощаюсь с тобой и дарю тебе благословение господне в дорогу, дорогой Кнут, хочешь ты этого или нет,— сказал пастор.

Староста и судья поднялись с места и от себя добавили:

— И мы желаем тебе того же.

Собака давно перестала лаять и лежала, вытянув передние лапы, перед входной дверью. Она не пошелохнулась, когда трое мужчин переступили через нее. Ее больше не интересовали эти люди, хотя, встречая их, она захлебывалась от лая. Быть может, она разочаровалась в их посещении.

Мужчины направились к лошадям, щипавшим нескошенную траву. Впереди староста, за ним судья, пастор замыкал шествие. Он шел сгорбившись и, кажется, был несколько озадачен.

— Чертовски трудный человек,— сказал староста вслух.

— Слава богу, что таких немного,— сказал судья,— не то пиши-пропало общество, а вместе с ним страна и народ.

— Истинное спасение для страны, когда такие отправляются в мир иной,— закончил свою речь судья.

Они сели на лошадей и стали спускаться по тропинке шагом, не спеша, как бы подчеркивая, что они нисколько не омрачены.

Вдруг послышался пронзительный крик, словно его издавало какое-то странное животное. Они оглянулись. Вслед им ковыляла на шатких ногах старуха. Это была Бьяртмей Иоунсдоттир. Они остановились и спросили, в чем дело.

Старуха сказала, что Кнут просил пастора вернуться к нему, он хочет еще что-то сказать.

Мужчины молча обменялись понимающими взглядами. Лицо пастора просияло, и, поворачивая к дому, он радостно сказал своим друзьям:

— Я все же надеялся! Я всегда надеюсь до последней минуты. А ведь сколько времени понадобилось, чтобы его разобрало! Но слава богу, раскаяться никогда не поздно. Не уезжайте, быть может, я позову вас.

— Ну-ну,— промолвил судья, когда оба мирянина остались вдвоем на выгоне.— Все-таки под конец он размяк.

— Да-а,— протянул староста.— Такие вот хулители бога и человеконенавистники рано или поздно сдаются и начинают каяться -- почти всегда так.

— Я на всякий случай захватил с собой псалтырь, подумал, вдруг старикашка захочет что-нибудь пробормотать, несмотря ни на что,— сказал судья.— Как ты считаешь, что нам следует спеть в этом случае?

Они перелистали псалтырь вдоль и поперек, и один псалом казался им лучше другого. Все же они сошлись на том, что предоставят пастору выбрать между псалмами «Я живу, я знаю» и «Ты будешь со мной» в случае, если он их позовет.

Они все еще держали псалтырь раскрытым, когда из хижины вышел пастор. По лицу его они тотчас заметили, что от той веселости, с которой он вошел в дом, не осталось и следа. У него даже походка отяжелела.

— Ну, что там? — спросили они.

— А, ничего особенного,— ответил пастор.

— Сдался он? — спросили они.

— Нельзя сказать, чтобы да.

— Но что же он сказал?

— Да ничего особенного,— ответил пастор, затягивая покрепче подпругу, прежде чем сесть на лошадь.— Он попросил меня позаботиться о его суке, чтобы она не стала бродячей после его смерти.

Судья и староста молча закрыли псалтырь.

Внизу, у выгона, тихо журчал ручей.

Когда они выезжали с хутора, птица все еще сидела на изгороди, вслушиваясь в эхо своей весенней песни.

*Перевела с исландского В. Морозова.*



---

РОБЕР ДЕСНОС

★

## ДВА СТИХОТВОРЕНИЯ

*С французского*

*Робер Деснос (1900—1945) — один из крупнейших французских поэтов. Родился и жил в Париже. Принимал активное участие в Сопротивлении, был арестован гестапо и прошел через самые страшные тюрьмы и лагеря. Из Терезинской крепости был освобожден в 1945 году советскими войсками и чехословацкими партизанами.*

\* \* \*

Он обогнул косогор  
И, посмотрев на простор,  
К солнцу руки свои простер.

Небосвод в то утро такой  
Был прозрачный, что пеной морской  
Облака казались порой.

И белели и словно в чаду  
Были яблони в чьем-то саду,  
Где сушилось белье на виду.

И ручей стал еще веселей  
Славить жизнь, что дорогой своей  
Шла вдоль изгородей, шла вдоль полей.

И, зеленым ковром окружен,  
Лес виднелся вдали, и был он,  
Словно колокол, звуками полн.

Жизнь казалась так хороша,  
Так пред ней раскрывалась душа,  
Столько было радости в ней,

Что смеяться он стал, и тот смех  
Был в честь мира всего и в честь всех  
Вздохов ветра среди ветвей.

Он смеялся лесу вдали,  
Облакам, аромату земли  
И садам, где деревья цвели.

И, смеясь, посмотрел он кругом,  
Дом увидел и рядом с крыльцом  
Незнакомку с милым лицом.

И ему засмеялась она  
И умолкла. Была тишина.  
И запели птицы опять.

Засмеялась она потому,  
Что так весело было ему.  
И опять в тишине ворковать  
Стали голуби возле пруда,  
И в ручье зазвенела вода...

С той поры не встречались они никогда.

Она часто ходила за тот косогор,  
Где прохожий, взглянув на простор,  
К солнцу руки свои простер.

Ну, а он? Много раз вспоминал он о ней,  
Вспоминал до конца своих дней.  
Его память была ему зренья верней.

Много раз и она вспоминала о нем,  
И казалось ей солнечным днем,  
Что в колодце они отражались вдвоем.

Дни бежали струйкой песка,  
Годы шли, сливаясь в века,  
Исчезали, как смятые карты из рук игрока.

Оба умерли. Плоть их гниет.  
Червь могильный во тьме их грызет,  
И земля, чтоб молчали они, им засыпала рот.

Может быть, они звали б друг друга в ночи,  
Если б смерть отдала от безмолвья ключи.  
Время мчится, дорога молчит.

Но обогнув косогор,  
С той дороги опять на простор  
Кто-то глянул и руки простер.

И опять небосвод был такой  
Там прозрачный, что пеной морской  
Облака казались порой.

Мертвецы! Вы потушенный свет,  
Что отшельником бледным воспет;  
Нет нам дела до ваших бед.

Мы живем, мы плавать хотим  
В чистом воздухе весен и зим.  
Мир прекрасен и неповторим.

## СЕМЕЙСТВО ДЮПАНАР ИЗ ВИТРИ-СЮР-СЕН

Семейство Дюпанар  
Всем скопом, млад и стар,  
Живет, глаза не пряча,  
    Живет в Витри,  
    Витри-сюр-Сен,  
И кое-что значит.

Папаша Дюпанар  
Нажил себе катар  
И капитал в придачу,  
    Живя в Витри,  
    Витри-сюр-Сен...  
Какая удача!

Мамаша Дюпанар  
Степенно пьет отвар,  
Безудержно судача  
    О всем Витри,  
    Витри-сюр-Сен.  
Вот старая кляча!

Мальчишка Дюпанар —  
Любитель всяких свар,  
Но, получая сдачу,  
    На весь Витри,  
    Витри-сюр-Сен,  
Отчаянно плачет.

Девушка Дюпанар  
Не излучает чар  
И видом поросычьим,  
    Живя в Витри,  
    Витри-сюр-Сен,  
Шокирует зрячих.

И некто есть еще.  
Но принимать в расчет  
Того, кто наудачу  
    Забрел в Витри,  
    Витри-сюр-Сен,  
Не наша задача.

И есть фамильный склеп,  
По виду он нелеп.  
Но жизнь есть жизнь, и, значит,  
    Вблизи Витри,  
    Витри-сюр-Сен,  
В тот склеп их упрячут.

Затем забудут их,  
Как, впрочем, и других  
В Париже и в Карачи  
    Или в Витри,  
    Витри-сюр-Сен...  
А как же иначе!

*Перевел М. Кудинов.*

---

---

ЛЕВ ГИНЗБУРГ

★

## ПОТУСТОРОННИЕ ВСТРЕЧИ \*

(Из мюнхенской тетради)

### XI

**М**ы выехали на рассвете. «Мерседес» Макса мчался по автостраде со скоростью ста сорока — ста пятидесяти километров мимо баварских кирх с куполами, похожих на русские церкви, мимо бело-голубых бензоколонок «Арал», мимо перемигивающихся светофоров городов и городишек. Наконец перед нами возник окруженный горами туманный Гейдельберг с его сизыми, серыми, коричневыми домами. По узкой улочке мы поднялись в гору по Нойешлосштрассе и еще выше — к Шлосс-Вольфбрунненвег, то есть «Дороге к волчьему источнику».

Подъехали к железным воротам, за которыми виднелся осенний парк. На каменном столбе у ворот высечено:

<p>А. ШПЕЕР Шлосс-Вольфбрунненвег 50</p>
--

Этот столб рядом с железной оградой, в окружении осенних деревьев, чем-то напоминал надгробный памятник...

В глубине парка мы увидели маленький деревянный дом, а затем — довольно большую виллу, около которой стояли три автомобиля, принадлежащие, очевидно, членам семьи...

Не успели мы въехать, как навстречу нам выбежал гигантский сенбернар, а вслед за ним на пороге дома показался хозяин виллы — очень высокий, даже чуть долговязый, худой, во всяком случае сильно похудевший сравнительно с фотографиями военных лет, в зеленом джемпере, в светлых вельветовых брюках, в толстых шерстяных чулках и сандалиях. У него худощавое лицо, высокий открытый лоб с бородавками, седые, зачесанные набок волосы и черные, густые, свисающие книзу брови-кисточки...

Итак, перед нами был Альберт Шпеер — бывший министр вооружения и боеприпасов, генеральный уполномоченный по вооружению в управлении четырехлетнего плана, председатель имперского совета по вооружению, генеральный инспектор шоссежных дорог, генеральный инспектор по вопросам водной энергии, а также главный архитектор третьего рейха и руководитель отдела эстетики труда в нацистской организации «Сила через радость».

---

\* Окончание. Начало см. «Новый мир» № 10 с. г.



...Об Альберте Шпеере писали, что с его именем связана новая эра в вооружении Германии. Он был министром тотальной войны, когда в дело должны были введены тотальные средства разрушения и подавления противника.

Шпеер сменил на посту министра вооружения Фрица Тодта, своего личного друга, который загадочно погиб 8 февраля 1942 года в авиационной катастрофе неподалеку от штаб-квартиры Гитлера. В свое время эта смерть вызвала немало слухов и домыслов: утверждали, что, побывав на Восточном фронте, Тодт весьма скептически отнесся к возможности выиграть войну и предлагал Гитлеру искать выхода из нее путем мирных переговоров.

Через семь дней после того, как самолет Тодта взорвался над самым «Волчьим логовом», Гитлер пригласил к себе архитектора Альберта Шпеера и предложил ему занять все указанные выше посты...

Альберт Шпеер родился в 1905 году в Маннгейме, но вскоре вместе со своими родителями переселился в Гейдельберг. Его дед и отец были архитекторами, и, следуя семейной традиции, он обучался в высших технических школах в Карлсруэ и Мюнхене, а архитектуре — в Берлине.

Еще в студенческие годы Шпеер примкнул к нацистскому движению, а с 1932 года стал членом партии. Позже он объяснял, что в партию его привела «эстетика» национал-социализма с его тягой к величию и грандиозности. Шпеер снискал широкую известность своими инсценировками нюрнбергских партайтагов с факельными шествиями, стеной подсвеченных прожекторами знамен, он же был автором проекта нюрнбергского стадиона, от которого сегодня осталось лишь пустое зеленое поле и обломки поросших травой бетонных трибун. Кроме того, он построил имперскую канцелярию, здание германского посольства в Лондоне, немецкий павильон на Всемирной выставке в Париже (1937) и разработал план перестройки Берлина, превращения его в десятиmillionный город с заменой старых домов новыми, гигантскими строениями, отвечающими «стилю эпохи».

Идея создания нового Берлина как столицы великой Германии возникла у Гитлера в 1936 году и окончательно оформилась в дни мюнхенского пакта, когда ему уже мерещилась грандиозная империя, простирающаяся от берегов Ла-Манша до Урала. Посреди города намечалось построить триумфальную арку, намного превосходящую величиной парижскую: Гитлер во что бы то ни стало стремился перещегоолять Париж и даже Унтер-ден-Линден приказал сделать на двадцать метров шире Елисейских полей... Триумфальная арка воздвигалась якобы в честь немецких солдат, павших в первой мировой войне, чьи имена — все до единого — должны были быть высечены на граните и мраморе. Но Гитлер, очевидно, уже тогда предполагал увековечить имена убитых не столько в первой войне, сколько во второй, будущей, хотя для этого не хватило бы, наверное, и сотен арок. Главной же достопримечательностью Берлина должен был стать «Большой дворец», увенчанный куполом с изображением земного шара, на котором восседает германский орел. Когда-то, еще в двадцатых годах, Гитлер сам сделал наброски этих сооружений — несколько эскизов, хранившихся как строго секретный документ в особом сейфе и переданных затем на доработку Альберту Шпееру.

Не случайно, что осуществление своего замысла Гитлер поручил именно Шпееру, чей архитектурный стиль больше всего соответствовал его собственным эстетическим вкусам. В молодом архитекторе он видел нечто такое, о чем он сам мечтал в юности, — художника, обладающего прочным националистическим мировоззрением, способного превратить бездушный камень в живое, могущественное средство национал-социалистской пропаганды. И он относился к Шпееру с чувством искренней теплоты и симпатии: может быть, это был единственный по-настоящему близкий ему человек. Еще не занимая никаких официальных постов, Шпеер был частым гостем Гитлера в Оберзальцберге, душевным собеседником и другом.

В 1938 году Гитлер удостоил своего любимца золотого партийного значка, а вскоре назначил его как бы архитектурным диктатором Германии: огненные —

особым приказом фюрера — любое архитектурное сооружение, будь то в городе или в деревне, должно было предварительно утверждаться лично Альбертом Шпеером в целях создания единого германского стиля...

К Шпееру потянулись архитекторы-карьеристы, жаждущие покровительства, художники-приспособленцы, нацистские ваятели, и, как свидетельствует один из его биографов, Шпеер «до самого конца войны оставался желаннейшим меценатом национал-социалистских художников»...

В 1939 году строительство новых домов было приостановлено: строили бункеры и бомбоубежища, и тем не менее идея нового, «великого Берлина» так и не оставляла Шпеера, и даже в 1944 году, когда Берлин под ударами союзнической авиации все больше превращался в груды развалин, Шпеер вместе с Геббельсом всерьез были заняты конкурсом на «лучший проект». Сидя в бетонном бункере, они рассматривали чертежи и макеты будущего города, самого большого в Европе, с его парками, стадионами, новым метрополитеном. Стоимость строительства исчислялась в 25 миллиардов марок, и когда один из корреспондентов спросил Шпеера, откуда предполагается взять столь гигантскую сумму, тот убежденно ответил: «Речь идет лишь о ничтожно малой доле тех средств, которые мы сегодня, к нашему сожалению, должны выбрасывать на навязанную нам войну». Что же касается рабочей силы, то ее, естественно, должны были поставлять побежденные гитлеровской Германией народы, многотысячная, а может быть, и многомиллионная армия рабов. Но это последнее обстоятельство ничуть не смущало Альберта Шпеера, занятого вопросами более крупными, чем судьбы народов: планировкой зданий, подчинением мысли инженеров и архитекторов своей воле...

Назначение Шпеера на пост министра вооружения было полнейшей неожиданностью если не для него самого, то во всяком случае для всех окружающих. Первые мероприятия Шпеера: централизация военной промышленности, тотальное подчинение делу военной индустрии всех материальных резервов страны, увеличение рабочего дня до четырнадцати часов, требование «рационального» использования иностранных рабочих, военнопленных и узников концлагерей... В этом вопросе между Шпеером и Гиммлером возникли известные трения, впрочем, не только Гиммлер, но и Геринг и Геббельс уже видели в нем серьезного соперника и вопреки интересам дела сопротивлялись тем или иным предложенным Шпеером мероприятиям, пытаясь перехватить инициативу. Но Шпеер энергично ломал межведомственные перегородки, продолжая выпускать свои «пантеры», «тигры» и «фердинанды», которые непрерывным потоком прямо с конвейера шли на Восточный фронт. Было задумано и производство сверхмощного танка «мышка» весом в сто тонн, изготовление которого поручалось фирме «Крупп», но этот проект так и не был осуществлен.

Его инженерная мысль, направленная теперь на разрушение, не знала покоя, и с его именем связано производство «фау-2», начало германского ракетостроения. Собственно, работа над ракетами началась в Пенемюнде еще в 1932 году с участием молодого Вернера фон Брауна. 7 июля 1943 года Шпеер впервые обратил внимание Гитлера на эти полузабытые агрегаты, которые по существу открывали новую эру в истории массового смертоубийства. И если в конце войны Гитлер продолжал еще надеяться на чудодейственную силу «секретного оружия», то немалую роль в этих надеждах сыграла работа, которую в глубине засекреченных подземных заводов вел самый молодой министр гитлеровского правительства — Альберт Шпеер.

Надо полагать, что осознание бесперспективности войны пришло к нему задолго до поражения нацистской Германии, но он продолжал свою маниакальную деятельность и 28 июня 1944 года, обращаясь к Гитлеру, писал: «Еще существует возможность разрушить с финского и балтийского плацдарма русскую энергосистему и тем самым парализовать значительную часть русской военной промышленности...»

## ИЗ ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА ПОДСУДИМОГО ШПЕЕРА

*(Стенограмма заседания Международного Военного Трибунала в Нюрнберге от 31 августа 1946 года)*

«Господин председатель, господа судьи! Гитлер и крах его системы причинили германскому народу невероятные страдания... После этого процесса немецкий народ будет презирать Гитлера и проклинать его как зачинщика всех несчастий... Диктатура Гитлера отличалась в одном принципиальном положении от всех его исторических предшественников. Это была первая диктатура индустриального государства в эпоху современной техники, она целиком и полностью господствовала над собственным народом и техникой... С помощью таких технических средств, как радио и громкоговорители, у восьмидесяти миллионов людей было отнято самостоятельное мышление, они были подчинены воле одного человека. Телеграф, телефон и радио давали, например, возможность высшим инстанциям передавать свои приказы непосредственно низшим организациям, где они ввиду их высокого авторитета беспрекословно выполнялись. Это приводило к тому, что многочисленные инстанции и штабы были соединены непосредственно с верховным руководством, от которого они получали ужасные приказы; следствием этого был надзор за каждым гражданином государства и строгое засекречивание преступных действий. Для постороннего этот государственный аппарат покажется неразберихой среди всех проводов телефонной станции, но так же, как и станция, этот аппарат управлялся единой волей.

Прежние диктатуры нуждались в квалифицированных сотрудниках для низших организаций, в лицах, которые могли думать и действовать самостоятельно. Авторитарная система в период господства техники может отказаться от них, одни только средства связи позволяют механизировать деятельность низших звеньев управления государством. Как следствие этого возникает новый тип бессловесного исполнителя приказов...

Гитлер использовал технику не только в целях господства над германским народом. Ему чуть не удалось благодаря своему техническому преимуществу подчинить себе Европу. Только некоторые серьезные ошибки в вопросах взаимодействия между отдельными руководящими органами, которые ввиду отсутствия критики являются типичными при диктатуре, были причиной того, что Гитлер не имел в 1942 году вдвое больше танков, самолетов и подводных лодок.

Но если современное государство использует свою интеллигенцию, свою науку, развитие техники и свою продукцию в течение ряда лет для того, чтобы сделать шаг вперед в области вооружения, то оно может использовать людей для того, чтобы полностью победить мир, если другие нации в это время будут заняты тем, чтобы использовать успехи в развитии техники для культурного прогресса человечества.

Чем сильнее развита в мире техника, тем большую она таит опасность, тем больший вес имеют технические средства ведения войны.

Эта война окончилась самолетами-снарядами, самолетами, летающими со скоростью распространения звука, новыми видами подводных лодок и торпедами, которые сами находят свою цель, атомными бомбами и перспективами на ужасную химическую войну. Следующая война неизбежно явится войной, которая будет вестись под знаком новых разрушающих открытий человеческого разума.

Военная техника через пять—десять лет даст возможность проводить обстрел одного континента с другого при помощи ракет с абсолютной точностью попадания. Такая ракета, которая будет действовать силой расщепления атома и обслуживаться, может быть, всего десятью лицами, может уничтожить в Нью-Йорке в течение нескольких секунд миллион людей, достигая цели невидимо, без возможности предварительно знать об этом, быстрее, чем звук, ночью и днем. Появилась возможность распространять в различных странах заразные болезни среди людей и животных и при помощи бактерий уничтожать урожаи. Химия нашла

страшные средства, чтобы причинить беспомощному человеку невыразимые страдания...

Как бывший министр высоко развитой промышленности вооружения, я считаю своим последним долгом заявить:

Новая мировая война закончится уничтожением человеческой культуры и цивилизации. Ничто не может задержать развития техники и науки и помешать им завершить свое дело уничтожения людей, которое начато в тех страшных формах во время этой войны. Поэтому этот процесс должен способствовать тому, чтобы в будущем предотвратить опустошительные войны и заложить основы для мирного сожительства народов. Что значит моя собственная судьба после того, что случилось, и перед лицом такой высокой цели!..»<sup>1</sup>

Вот что вкратце, в самых общих чертах, мне было известно о человеке, который с выжидающей, осторожной улыбкой стоял сейчас на пороге своего дома и смотрел на нас со жгучим любопытством.

Мы поздоровались, вошли в гостиную, хозяин хотел было переодеться к обеду, но мы отговорили его от злой условности, и он как-то простосердечно заметил, что русские, как он смог установить за годы, проведенные им в Шпандау, отличаются великодушием, открытостью и демократизмом... Мы уселись в нише возле широкого, во всю стену, окна, из которого был виден чудесный старинный парк, за маленький столик, покрытый тканой красной скатертью, с букетом красных осенних хризантем в вазе, и хозяин сидел против нас в красном матерчатом кресле, вытянув свои длинные ноги в толстых чулках из белой шерсти.

Я обратил внимание на его руки с длинными плоскими пальцами и крупными ногтями — руки инженера, архитектора. Была во всей его повадке какая-то не то чтобы подтянутость, а готовность, и вдруг я понял, что передо мной недавний арестант, заключенный, отбывший двадцатилетний срок.

В комнату вошла женщина, вполне хорошо одетая и аккуратно причесанная, интеллигентная дама, но и на ее лице я прочел тот же след еще недавно перенесенных страданий. Макс спросил, навещала ли она своего мужа в тюрьме, и она ответила, что да, раз в месяц им разрешалось свидание на полчаса.

Я попытался представить себе ее жизнь за эти двадцать лет... Это была семья, недавно обретшая мужа и отца. И на Шпеере, и на его жене, и на молодом его сыне, и на рыжеволосой, похожей на девочку невестке — на всех этих людях еще лежала тень Шпандау. Но это я заметил потом, во время обеда в роскошной старинной столовой с потолком из черного дерева...

А пока мы сидели друг против друга в красных матерчатых креслах — Макс, я и тот всемогущий министр вооружения, последнее слово которого на Нюрнбергском процессе произвело на меня впечатление если не своей истовостью или искренностью, то во всяком случае продуманностью...

Шпеер сразу же выказал нам очень большое уважение и дал понять, что этот визит для него — большая честь.

— Знаете, — обратился он ко мне, — моя дочь изучает в Западном Берлине германистику, и когда я по телефону сообщил ей о вашем визите, она сказала: «Видишь, папа, ты больше не министр, а тоже своего рода достопримечательность, если тебя навещают такие знаменитые гости»...

В 1967 году в Западном Берлине она, кажется, слушала мой доклад о принципах перевода немецкой поэзии на русский язык и, как многие немцы, испытывала «респект» к человеку, говорящему с кафедры.

Станным образом этот «респект» передался теперь и самому Шпееру, который в моем визите усмотрел, как он выразился, «обнадеживающие признаки того, что люди духа занимаются проблемами, которые действительно могут иметь решающее значение для человечества: техника и мораль, мораль и политика...».

<sup>1</sup> «Нюрнбергский процесс» Государственное издательство юридической литературы. М. 1961, т. VII, стр. 299—301.

Когда-то он находился в самом центре этих проблем, о нем писали как о живом воплощении технократической аморальности, и он, согласный с этой не слишком резкой и по-своему удобной для него трактовкой, первым делом показал нам книгу: Иоахим Фест, «Облик третьего рейха», раскрыв ее на главе «Альберт Шпеер и безнравственность техницизма».

— Здесь вы найдете очень интересную характеристику, — сказал он, словно желая заранее определить тему предстоящей беседы.

Разговор начался с комплимента, который он вновь сделал советским военнослужащим, несшим охрану в Шпандау, отметив, что они относились к нему гуманно, по-человечески, чего он не забудет до конца своих дней.

Я рассказал ему о впечатлении, которое произвело на меня его последнее слово, и спросил, считает ли он по-прежнему Нюрнбергский процесс полезным и справедливым: в глубине души я полагал, что Шпеер, под страхом смертного приговора произносивший в Нюрнберге свое последнее слово, и нынешний Шпеер, отбывший наказание и избавленный от всякой опасности, — разные люди. Однако он с безусловной уверенностью и без малейшей аффектации ответил, что и теперь глубоко убежден в необходимости такого процесса, но сожалеет, что человечество так и не сделало из него должных выводов...

Осознание опасности разрушительной войны, когда правители благодаря технике лично не рискуют жизнью, как в старину, когда короли возглавляли идущие в бой войска и шли впереди своих армий, собственно, и побудило его высказаться тогда, на процессе. Судьбы миллионов людей зависят от доброй или злой воли никем не контролируемой группы, способной простым нажатием кнопки вызвать мировую катастрофу. Суть Освенцима тоже состояла фактически в том, что организаторы массовых казней не подвергали себя никакому личному риску, и только поражение Германии и последовавший затем Нюрнбергский процесс стали для них некоей «божьей карой»... Он говорил в том числе и о себе, как на нечто само собой разумеющееся указывая на то, что и он несет всю полноту ответственности за случившееся и не отделяет себя от всех прочих участников процесса.

— Дело в том, что, несмотря на все разговоры о «народной общности» (Volksgemeinschaft), мы жили в системе, как бы разделенной на касты, на «ящики» — сравните самые слова «Kaste» и «Kasten»: юристы, политики, техники. Каждый жил внутри своего «ящика», отвечал за свой «отсек», не вмешиваясь в дела соседа. Общее руководство осуществлял фюрер, он думал за всех и отнюдь не поощрял того, что именуется советом министров: больше четырех-пяти министров никогда вместе не собирались, хотя связи между отдельными ведомствами, конечно, существовали...

Я спросил, не входим ли мы все тем не менее в так называемую «касту людей», не представляет ли собой все человечество некую «ячейку», но вместо ответа на этот вопрос он попросил жену принести «манускрипт» его мемуаров — несколько зеленых папок с напечатанным на машинке текстом — и не без авторской робости протянул мне первые страницы, ожидая моей оценки.

Там было написано:

«В этих заметках я хочу показать многочисленные моменты, которые привели к ужасающему и неизбежному концу; пусть станет известным, к каким последствиям можно прийти, когда один человек единолично воплощает в себе все виды власти, чтобы в конечном счете злоупотребить ими на горе всему миру, поставив на край гибели еврейский, польский, русский и свой собственный народ. Однако не слишком ли я порой снисходителен к Гитлеру и его окружению? Иногда в этих записках, где рассказывается о впечатлении, которое производил Гитлер на меня или на других лиц, отражены иные симпатичные или даже привлекательные его черты. При этом может показаться, что перед нами работоспособный, талантливый самоучка, который не жалеет себя во имя своего успеха и успеха (но это уже действительно нужно взять в скобки) своего народа. Но чем дольше я писал, тем больше понимал, что речь идет о сугубо внешних, поверхностных

качествах. Ибо все эти так называемые «положительные черты» зачеркиваются одним событием, которое привело к ужасающему финалу всех его сотрудников, — Нюрнбергским процессом. Здесь стала явной чудовищная, хотя и быстротечная страница истории. Здесь стало явным все, что творил Гитлер втайне. Я никогда не забуду документ, который наглядно показывал, как по приказу Гитлера людей отправляли на смерть целыми семьями — еврея с его женой и детьми, которые достойно и гордо шли навстречу смерти<sup>1</sup>.

Случись подобное один-единственный раз, и то этого бы хватило с избытком! Но такое страдание, повторенное миллионнократно, — кто в состоянии постичь это?

Может быть, эта книга послужит скромным вкладом в то, чтобы вспомнить о том, что было и что никогда не должно повториться...»

Я перелистал страницы рукописи, бледно напечатанной на пишущей машинке, с небольшой авторской правкой: там содержались пространные биографические сведения, приводились факты его сближений и разногласий с Гитлером, много говорилось о технике...

И все же передо мной сидел сейчас не философ, не писатель, а военный преступник, причастный к гибели той самой семьи, которая с осеннего поля, с обочины могильного рва шагнула в мировую историю. Тут не шуточное было дело, не абстракция: все это стоило жизни миллионам людей, которые понятия не имели о Шпеере и о его взаимоотношениях, трениях и обстоятельствах. Но каждый его шаг, каждый жест, каждое ведомственное и межведомственное совещание, сложная система взаимоотношений в конечном итоге вели к этому могильному рву...

— Да, — сказал Шпеер после того, как я с его разрешения переписал в свой блокнот начало его заметок, — есть искусство для искусства, есть техника для техники. Я испытывал эстетическое наслаждение от того, что мне удалось создать совершенный танк, совершенную ракету, совершенное орудие убийства, но совместимо ли понятие прекрасного, то есть эстетика, с орудием, предназначенным убивать? Мы говорим «красавец танк», «красавица пушка», не задумываясь над противоестественностью такого сочетания. Когда я начал свою карьеру архитектора при Гитлере, я был не больше чем архитектор. Но получив одобрение фюрера, я с утроенной энергией проектировал все эти сооружения, стадионы, соборы с колоннадой из лучей прожекторов и т. д. и т. п., довольный лишь результатами своей работы, внутренне, психологически отключенный от осмысления того, во имя чего, для чего все это делается. Меня увлекал самый процесс творчества, возможность проявить себя как творческую личность, и чем больший простор открывал для меня Гитлер, тем большей становилась моя преданность ему и тем меньшей — способность критически оценивать содержание моего творчества... Вы не поверите, но я совершенно серьезно отнесся к пожеланию Гитлера, чтобы трибуны нюрнбергского стадиона строились без металлических конструкций, при помощи одних лишь бетонных креплений. «Через тысячу лет, — говорил Гитлер, — эти трибуны превратятся в развалины, и я не хочу, чтобы куски ржавого железа портили вид этих исторических руин, которые и через тысячу лет должны выглядеть достойными той эпохи, в которую они были созданы...» Разумеется, какая-то доза «идеологии» способствовала моей работе, без идеологической приправы мне было бы намного труднее, но дело не в этом...

Конечно, Шпеер все несколько упрощал или говорил слишком конспективно, так как сводить все к «технической ограниченности» столь же неверно, как и к «слепому фанатизму», особенно в данном случае, когда «технически ограниченный» Шпеер обладал неограниченными возможностями распоряжаться жизнью и смертью огромных человеческих масс. Все было замешано также на властолюбии или честолюбии и имело под собой определенный корыстный расчет. Мне пока-

<sup>1</sup> Шпеер, по всей вероятности, имеет в виду эпизод, рассказанный на процессе немецким инженером, свидетелем одного из расстрелов на Украине.

залось, что Шпеер нашел очень выгодную версию, изображая себя лишь «рабом техники», которая в своем бездушии полностью подчиняет себе человека, парализуя в нем остатки критического мышления. Но разве архитектор Шпеер, министр Шпеер, нанятый Гитлером и германскими монополиями, не пошел на эту службу сознательно? Разве не соответствовала эта служба его убеждениям и не имел ли здесь место взаимосвязанный процесс, когда «раб техники» Шпеер пытался превратить самую технику в рабыню фашизма?..

Я спросил Шпеера, считал ли он себя уже тогда членом преступного правительственного кабинета, и он ответил на мой вопрос отрицательно:

— Даже общаясь с Гиммлером, я не видел в нем преступника, хотя этот человек был мне несимпатичен и я его инстинктивно побаивался, но и Гиммлер и Геббельс — люди, наиболее несимпатичные в окружении Гитлера, — казались мне прежде всего руководителями своих отделов, выполняющими возложенные на них функции. Все мы, в общем-то связанные круговой порукой, работали каждый сам по себе, и лишь Нюрнбергский процесс обнаружил эту преступную взаимозависимость. Все мы были чиновниками, и только Борман казался нам демоном, хотя «демон» — тоже своего рода функция в тоталитарном государстве...

Да, это действительно «функция» — демон, так как должен быть некто, кто держит всех в страхе, все цементирует и состоит при главном демоне, который выступает под маской бога.

...Мне хотелось узнать, задумывались ли когда-нибудь все эти министры об отдельных человеческих судьбах или о судьбах народов, когда они вырабатывали те или иные мероприятия?

Шпеер ответил:

— Ни в коем случае. Что вы! Человеческие жизни и судьбы, конечно, никоим образом не интересовали. Делалось дело, и на выполнении поставленной задачи концентрировались все наши усилия, внимание и даже эмоции. В лагерях «Дора» к строительству ракет были привлечены узники концлагерей, военнопленные, которых мне поставляло ведомство Гиммлера. Вообще Гиммлер претендовал на своего рода конкуренцию и пытался взять изготовление секретного оружия в свои руки. Узники, которых к нам доставляли, были настолько истощены, подвергались столь жестокому обращению, что длительное использование их на работе не представлялось возможным. Приходилось то и дело менять контингент, что вызывало дополнительные трудности, так как вновь прибывших приходилось заново обучать и приспосабливать к работе. Поэтому я высказал Гиммлеру свое недовольство таким обращением с людьми, конечно, отнюдь не из гуманных побуждений, а из чисто деловых. Калорийность пищи, отдых, моральное и физическое состояние узников интересовали меня лишь с чисто практической стороны. Вот вам — высшее воплощение преступного техницизма, о котором я пишу в своей книге!.. Конечно, каждый из нас — руководителей — сам по себе был человеком, не чуждым человеческих качеств, в том числе и потребности «делать добро». Почему бы нет? Но все это носило исключительно частный характер. Помню, я оказал материальную помощь жене нашего почтальона, попавшей в беду; даже Гитлер и тот, прослышав о чем-нибудь несчастье, мог распорядиться: «Помогите этому человеку»...

Видимо, именно это «частное добро», о котором говорил Шпеер, непроизвольно поддерживало в каждом из нацистских преступников сознание того, что лично он — дурной или порочный, но человек. Другими словами, что он — человек, а не бездушная машина. А это в свою очередь позволяло им воспринимать свою дьявольскую работу как вид человеческой деятельности.

Нас позвали к столу. Я уже упоминал об этом тихом обеде. Говорили преимущественно о поэзии, о литературе, а думали о другом — о том, что лежало за гранью времени и тем не менее не могло ни забыться, ни исчезнуть, ни примирить нас друг с другом...

Шпеер стал расспрашивать меня о моей семье и сказал, что я должен непременно как-нибудь приехать отдохнуть в Гейдельберг с женой и детьми.

— Вы всегда можете остановиться у нас. Здесь очень тихо и воздух чудесный...

Что же это такое? Я — гость Шпеера?! И он приглашает меня к себе с женой и детьми? Он, интимнейший друг Гитлера, фашистский министр, который всего лишь двадцать три года назад, не задумываясь, отправил бы меня в концентрационный лагерь, в печь, в газ?! Неужели все зависит от того, на какую клетку шахматной доски ставит людей время? Неужели наши поступки подвластны некоей, не осознанной нами «теории относительности», всесилию обстоятельств? Или все, что сейчас происходит, — только обоюдное притворство: Шпееру нужно произвести благоприятное впечатление на иностранного гостя, мне — осуществить мой «психологический опыт»? А почему бы не допустить, что за двадцать лет человек способен расстаться со своим прошлым, родиться заново, стать другим? Но если это так, то куда это прошлое исчезает, да и может ли такое прошлое исчезнуть бесследно?..

После обеда мы вновь перешли в гостиную, и Шпеер заговорил о превратностях нашего времени: мифы, предрассудки, психозы.

— Вы знакомы с трудами философа Кассирера? Его «The Myth of the State» — чрезвычайно глубокое исследование, я охотно переведу для вас несколько страниц и пришлю вам в Москву. (Свое обещание он действительно выполнил.) Понимаете, Кассирер установил, что в двадцатом веке, в величайшем столетии техники, люди научились изготавливать мифы так же надежно и с той же целью, что пулеметы или бомбардировщики. Появились искуснейшие специалисты этого дела, мастера мифотворчества. В этом отношении миф расы, или миф крови, или миф фюрера были по существу своеобразным видом оружия, может быть, более страшным, чем любой сверхтанк или пушка. Они поражали самый главный участок — человеческий мозг — и подчиняли себе человека целиком, без остатка. Не состояла ли в этом и моя личная трагедия?..

Я так и не понял, кем же себя Шпеер в конце концов считает — обманщиком или обманутым, но у нас уже не оставалось времени для углубленной дискуссии.

Мы сказали, что намерены от него поехать к Шираху, поэтому не можем дольше задерживаться. Он скептически улыбнулся:

— Читали вы его мемуары?

— Да.

— Не находите ли вы их несколько поверхностными? — Он выжался весьма осторожно — После моего возвращения из Шпандау редактор журнала «Штерн» господин Наннен предложил мне тоже выступить у него с мемуарами. Пятьсот тысяч марок — неплохой гонорар. Но печататься в иллюстрированных журналах? Нет, это не для меня... Посмотрим, что выйдет из моей рукописи. Писательство — нелегкий труд, уж вы-то это знаете!

Ему не терпелось спросить, «как он пишет», и я, догадавшись об этом, сказал, что то, что я успел прочитать в предисловии, показалось мне интересным.

Он зарделся:

— И с точки зрения стиля?

Я не знал тогда, что почти через год я увижу мемуары Шпеера. Правда, не в иллюстрированном журнале, а в гамбургской газете «Ди вельт».

Мне захотелось взглянуть на Шпеера глазами его обвинителей, и, вернувшись в Москву, я обратился к М. Ю. Рагинскому — помощнику Главного обвинителя от СССР на Нюрнбергском процессе, который допрашивал Шпеера в судебном заседании 21 июня 1946 года.

Я пришел к Марку Юрьевичу домой, на Чистые пруды, и прочитал ему свою запись встречи со Шпеером. Марк Юрьевич слушал меня очень серьезно, с боль-



шим вниманием, словно пытаюсь сквозь «моего» Шпеера увидеть того подсудимого, которого он когда-то неумолимо вел к приговору.

И то, что новый, неизвестный ему Шпеер не совсем совпадал с прежним, известным ему Шпеером, вызывало в нем профессиональную настороженность.

Тогда, в Нюрнберге, перед ним сидел поверженный гитлеровский преступник, министр, проигравший все — войну, карьеру, может быть, жизнь, — но еще не сломленный, сконцентрировавший всю свою волю для последнего поединка с судом.

— Еще до допроса, — рассказывал мне М. Ю. Рагинский, — я понимал, что имею дело с очень опасным и хитрым противником. Нам было известно, что Шпеер передал американцам документы, касающиеся военного производства Германии. Он явился к ним добровольно и выложил все, чем располагал. А чем он располагал, вы, очевидно, догадываетесь...

О том, что это крупная фигура, свидетельствует хотя бы то, что на процессе его допрашивал Главный обвинитель от Соединенных Штатов Америки — Джексон. Я подчеркиваю: Главный обвинитель, а не заместитель или помощник, как это бывало в ряде других случаев. Шпеер хорошо продумал линию защиты, он ее гнул, начиная с предварительного следствия, и сдавал позиции с большим трудом, только когда его припирали фактами. Но и факты он искажал без зазрения совести... Я сейчас не хочу вдаваться в юридическую сторону дела, но вот вам чрезвычайно характерный для Шпеера цитришок. Суд знал о том, что он инспектировал лагерь смерти Маутхаузен, — есть его фотография, снятая на территории лагеря, куда тут, казалось бы, денешься?.. Но вот его ответ, слушайте... — Марк Юрьевич заглянул в папку-скоросшиватель, сохранившуюся еще со времени процесса, и прочитал: — «Лагерь Маутхаузен я посетил с целью ознакомления с системой транспортировки камня по Дунаю и для того, чтобы познакомиться с порядками в экономическом отделе СС. Я посетил кухню, прачечную, жилые бараки, в которых имелись все удобства. Перед моим посещением никаких специальных приготовлений не было. Заключенные в то время находились на работе. Весь осмотр занял три четверти часа...» Ну, как вам это нравится: Маутхаузен со всеми удобствами! Кухню он посещал, прачечную!.. А в Маутхаузене погибли 122 766 человек!.. Он вам что-нибудь рассказывал о Маутхаузене? Ну, конечно, зачем ему об этом рассказывать: он ведь архитектор, интеллигентный человек, а не палач, и Гиммлер был ему «несимпатичен»... Я вам говорил: он и на процессе гнул эту линию, он, видите ли, не имел никакого отношения к СС, хотя еще задолго до войны яхшался с эзсовцами и состоял в личном штате рейхсфюрера СС Гиммлера... Мы это установили из его личного дела. Как это он у вас там говорит: «Мы жили в системе, разделенной на касты, на ящики»?.. Ну, так вы бы его спросили, для чего он из своего «ящика» самым беззастенчивым образом совался в «ящик» Гиммлера, и когда нужно было казнить и мучить людей, никаких «перегородок» для него не существовало?

Тогда, на допросе, я привел ему одну его собственную цитатку, касающуюся деятельности его министерства. Вот пожалуйста: «Энергичное применение самых суровых наказаний за проступки: карать каторжными работами или смертной казнью. Война должна быть выиграна...» Вот какой это был архитектор! Кстати, об архитектуре. Он и нам на процессе и, как я вижу, вам пытался внушить, что Гитлер его чуть ли не силой оторвал от чертежной доски, он был творчеством занят, а тут его вдруг ни с того ни с сего назначают министром. И он, видите ли, ужасно этим был недоволен. Я его впрямую спрашиваю: «Вы не хотели этим заниматься? Вы и сейчас это утверждаете?» — «Да», говорит. «Ну что ж. Хорошо. А теперь, говорю, посмотрим, что вы заявили в своей речи гаулейтерам в Мюнхене. «Я, — говорили вы, — бросил всю эту деятельность архитектора, чтобы беззаветно отдаться разрешению военных задач».

Вот какая это лиса! Но мы, конечно, не за то Шпеера судили, что он стал министром. Мы его рассматривали как участника гитлеровского заговора, как человека, который делал большую фашистскую политику и загубил миллионы лю-

дей. Главную вину Шпеера я видел в том, что он уничтожал людей, угнанных в Германию, — в концлагерях, на своих военных заводах... Он из них все жилы выматывал, высасывал все соки, а потом выбрасывал в печи крематориев, как отработанную, ненужную вещь. И когда я вел допрос, я хотел доказать, что в фашистском государстве любое действие любого ответственного руководителя было преступным и проводилось в жизнь с применением самых преступных методов. Здесь все было политикой, и все — преступлением, осознанным, продуманным от начала и до конца. Но Шпеер, который у вас почти что философ, тогда от всех философских, обобщающих вопросов увертывался, он их как черт ладана боялся и все сыпал техническими терминами: думал, наверно, что мы — юристы — все равно в технике ни черта не смыслим. Но мы кое-что все же смыслили...

(М. Ю. Рагинский не упомянул, что в годы войны он сам был «техником», уполномоченным Государственного Комитета Оборона на советских военных заводах, производящих вооружение и боеприпасы.)

Я спросил Марка Юрьевича, какое впечатление произвел на него Шпеер как личность и что, по его мнению, двигало его поступками: идея, корысть, карьеризм?

Он пожал плечами:

— Вы говорите — «идея». Но что значит для фашиста идея? Прежде всего разнузданное властолюбие, жажда власти. Это был человек очень властолюбивый, умный несомненно, по-своему выдающийся организатор, исключительно властный, напористый. Ведь дело дошло до того, что он подчинил себе всю экономику Германии, вплоть до регулирования товарооборота внутри страны. Я, конечно, не берусь утверждать: может быть, за двадцать лет что-то в нем сломилось, может быть, он кое-что пересмотрел, но, говоря откровенно, не думаю... Сейчас, оказавшись не у дел, выброшенный из политической жизни, он барахтается, хочет себя обелить, ищет рекламы. Но делает он это не дешевым способом, как Ширах в своих мемуарах, он целую философию вокруг себя развел, и, по-моему, пригласил он вас к себе именно с этой целью, чтобы вы его подали в таком благопристойном виде... Хотя кто его знает? Но я вам очень советую привести для полноты характеристики то, что говорил о Шпеере в заключительной речи Роман Андреевич Руденко...

Марк Юрьевич взял лежавший перед ним том «Нюрнбергского процесса» и прочел с большим выражением:

— «...Путем безжалостной эксплуатации населения оккупированных областей и военнопленных союзных государств, за счет здоровья и жизни сотен тысяч людей Шпеер увеличивал выпуск вооружения и боеприпасов для германских армий. Путем разграбления сырьевых и иных ресурсов оккупированных территорий Шпеер всячески усиливал военный потенциал гитлеровской Германии...

И когда фашистские летчики бомбардировали мирные города и села, убивая женщин, стариков и детей, когда немецкие артиллеристы обстреливали из тяжелых орудий Ленинград, когда гитлеровские пираты топили госпитальные суда, когда «фау» разрушали города Англии — это был результат деятельности Шпеера...»

...Я слушал эти слова в Москве, в квартире на Чистых прудах, а перед моими глазами стоял на пороге своего гейдельбергского дома тот высокий, худой человек с застывшей на лице выжидающей, настороженной улыбкой.

## XII

К Шираху мы ехали в густой темноте через всю Южную Германию, сперва по автостраде, потом по обычным дорогам, через маленькие города и деревни. Кое-где на ветвях сосен, на траве уже лежал снег, фары высвечивали дорожные знаки...

Из темноты возник город Швеннинген с большими магазинами, ярко освещенными витринами и рекламной иллюминацией. Тем не менее город был совершенно безлюден, настолько, что не у кого было спросить дорогу.

В Вейгхейме звонили колокола, но и здесь не было ни души, несмотря на субботний вечер...

Неподалеку от Троссингена нам встретился молодой полицейский-регуляторщик. Макс спросил, не знает ли он, где тут живет Бальдур фон Ширах, но тот даже имени такого не слышал.

Наконец мы попали в Троссинген, проехали через весь город в поисках «Sägewerk» — лесопилни, свернули в совсем уже темный, непроходимо густой лес на проселочную дорогу и наткнулись на глухой длинный забор, за которым было совершенно темно. Там виднелось какое-то строение, похожее на сарай: ни в одном из окон не было света. Развернулись, чтобы ехать обратно, и вдруг случайно обнаружили в заборе открытые настежь большие железные ворота. Мы въехали во двор, оказавшийся парком, и перед нами возник ярко освещенный особняк, охотничий замок, с матовыми желтыми стеклами дверей и прибитыми к фасаду оленьими рогами. Мы позвонили, электрический сигнал отворил дверь, и мы очутились в роскошном охотничьем замке. Наверх вела деревянная лестница; стены были украшены охотничьими трофеями — шкурами бурых и белых медведей, леопардов и громадными головами оленей и лосей.

В сопровождении двух черных пуделей вышла очень бледная, с совершенно каменным лицом женщина в очках, строго и скромно одетая, и провела нас во второй этаж, в сорокаметровый кабинет, отделанный ореховым деревом и ореховой же мебелью обставленный. Здесь на стенах тоже висели олени рога, в комнате стояли мягкие диваны, кресла и два огромных торшера на подставках из розового мрамора.

Женщина попросила нас обождать.

Мы сели за круглый столик, на котором стояла ваза с причудливыми цветами поздней осени, с темно-красными и желтыми листьями. Женщина поставила перед нами ящичек с сигаретами, предложила курить и задала бессмысленный вопрос: долго ли мы предполагаем пробыть в Германии? Пришлось объяснить, «кто есть кто»...

Надо сказать, что с Максом мы еще в Мюнхене сочинили «легенду», согласно которой он в 1936 году имел счастье лично предстать перед господином фон Ширахом, и тот пожал ему руку, что до сей поры осталось одним из самых незабываемых впечатлений его жизни. Поэтому он с особым волнением хотел бы вновь позвать руку господину фон Шираху, преподнести ему одну из выпускаемых им книг, а заодно представить своего русского друга — переводчика Шиллера, поэзии барокко и т. д. и т. п.

Женщина с неподвижным лицом выслушала все это чрезвычайно равнодушно и предупредила, что «после всего пережитого» господин фон Ширах еще очень слаб, что в шестьдесят один год он необычайно состарился и едва ли сможет нам уделить много времени.

Я сказал, что мне очень нравится этот дом, и женщина пояснила:

— Да, мы стараемся сделать его пребывание у нас как можно более приятным, установили строгий режим, и только из уважения к господину Макс, у отца которого господин фон Ширах приобретал книги еще в дни своей юности, мы разрешили ему несколько минут побеседовать с вами.

Она спросила, знакомы ли мы с мемуарами господина фон Шираха, и мы закивали головами, а я вспомнил свою статью в «Журналисте».

— Да, — сказала женщина, — в этой книге содержатся выводы всей его жизни, это очень серьезный груд, который дался ему нелегко...

Я спросил, продолжает ли господин фон Ширах писать стихи? Женщина, улыбувшись, ответила, что — увы! — нет, ему вообще очень трудно писать, он способен лишь диктовать, кроме того, изредка просматривать газеты...

Она церемонно вышла из комнаты.

Так прошло примерно минут тридцать. Я ожидал увидеть согбенного, большого старика, но вдруг сквозь боковую дверь в сопровождении одетой по-домашнему, толстой, приземистой женщины в брюках вошел худощавый, поджарый,

седой господин в темных очках, в безукоризненном темно-сером костюме, со свежим, даже румяным лицом. Сняв очки, он пошел прямо на нас, улыбаясь во весь рот и обнаруживая безукоризненно белые и ровные вставные зубы, и протянул нам свою длинную, тощую руку.

Тут я разглядел его внимательней.

Он был какой-то неживой, несмотря на румянец, вернее, еще более мертвый благодаря этому румянцу, так как его лицо казалось подкрашенным. Схожесть с покойником усиливалась благодаря его точенному лицу с тонким носом; его серые длинные волосы были словно приклеены к черепу... Нет, он был похож на манекен, который выставляли в магазинах мужской одежды.

Он пригласил нас пересесть за другой стол, сел сам и в упор посмотрел на нас невидящими глазами, вновь ослепительно улыбнулся, после чего мгновенно убрал улыбку с лица и, обратившись к Макс, сказал:

— Добрый вечер, господин Макс, я очень рад, что имею возможность вновь встретиться с вами. Когда мы виделись в последний раз?

— В 1936 году...

— С тех пор утекло много воды, не правда ли?.. — Затем он обратился ко мне: — Вы из России? В Шпандау я имел возможность изучить ваших соотечественников. Они производят действительно очень хорошее впечатление, гораздо лучшее, чем, скажем, американцы или англичане, хотя я сам по происхождению американец... Я слышал, вы пишете. О чем же? И переводите. Кого же?

Он мгновенно насупил брови, придав своему лицу выражение чрезвычайной заинтересованности. Это насупливание бровей, притворно озабоченный взгляд, без всякого внешнего повода сменяемый ослепительной улыбкой, я наблюдал в течение всей нашей беседы, которой он овладел с самого начала.

— Итак, вы переводите немецких поэтов. Каких же? — вновь спросил он и, не давая мне ответить, продолжал: — Вы любите Рильке?

Я ответил, что да.

— За что? — спросил он серьезно. — За что вы любите Рильке?

— Ну, видите ли...

Он не дал мне договорить и, прикрыв ладонью глаза, нараспев продекламировал несколько строк.

— Да... Мелодичность созвучна русской душе, я это понял в Шпандау. Знаете, среди этих простых русских солдат попадались удивительные экземпляры. Ах, там было много смешных случаев!.. Из бесед с этими людьми я установил, что Россия за последние годы значительно шагнула вперед. Вы не находите?.. Бывало, возвращается кто-либо из моих конвоиров из отпуска, спрашиваешь: «Ну как там дела, Иван, где ты был?» — «Сперва, конечно, в Москве, — отвечает Иван, — в парке культуры, посмотрел, что там придумали нового, потом — в Большом театре на балете «Лебединое озеро», ну, а потом уж к себе, в деревню...» Сейчас, говорят, в любом сельском кооперативе можно достать водку и провизию. И кино есть в каждом районном центре, хотя сеансы начинаются с опозданием на два часа. — Он рассмеялся. — Знаете, — сказал он, обращаясь к Макс, — эти люди иногда принимали меня своим простодушием. Помню, с одним я поспорил: «А знаешь ли, говорю, Иван, что ваш Пушкин по происхождению не русский, а эфиоп?» — «Как так? — возмущается Иван. — Врешь, никакой он не эфиоп, а русский, он русский!» — «Нет, говорю, эфиоп, и это документально доказано». Кстати, могу сказать, что я в какой-то степени пушкинист. Так вот, мой Иван начинает сердиться, дело чуть ли до ссоры не доходит. «Не бойся, говорю, Иван, никто у вас вашего Пушкина не отнимает, и все же он — эфиоп!..»

Он пронзительно захохотал с некоторым даже повизгиванием, еще и сегодня радуясь придуманной им забаве, возможно, существовавшей только в его воображении. Потом, насупив брови, продолжал:

— Я чрезвычайно высоко ценю русский народ, русскую историю! Петр (он так и сказал «Петр», а не «Петер»), Петр Великий был одним из величайших королей в истории! А Иван Грозный! И знаете, господин Гинзбург, как это ни

странно звучит в моих устах, величайшим преобразователем я считаю Ленина. Конечно, я не коммунист, но в известных пунктах...

Передо мной сидел Хлестаков Иван Александрович в своем немецком обличе, Хлестаков, достигший уровня главного военного преступника, и самозабвенно врал:

— Еще во времена нацизма в моей библиотеке стояло полное собрание сочинений Ленина — сто пятьдесят томов!..

— И это вам разрешалось?

— Разумеется, нет. Но я рисковал! — снова соврал он не моргнув глазом.

— Так, может быть, вас называть не «господин Ширах», а «товарищ Ширах»?

— Ничего не имею против. Но слово «товарищ» режет мне слух из-за того, что им пользуются социал-демократы... Так вот, сказать вам, какой день был счастливейшим днем моей жизни? Угадайте!.. День, когда Германия и Россия заключили между собой пакт. Это могло стать поворотным моментом в истории всего человечества. Германия и Россия! Только тупая ограниченность и самонадеянность Гитлера привели к крушению моих самых светлых надежд. Нет, совершенно серьезно. Мир должны поделить между собой сильные. Скажем, Россия и Америка... А может быть, — прищурясь, он посмотрел на меня, — Америка и... Китай? — Приоткрыв рот, он застыл, выжидая, какой эффект произведут эти слова. — Знаете, — длинным пальцем с массивным перстнем он указал на телевизор, — я наблюдаю нынешнюю мировую катавасию и говорю моим близким: «Ну что вы волнуетесь? Ни одна из сторон не желает уступать свою сферу влияния, и это совершенно разумно». Представьте себе, что сделала бы Америка, если бы от нее стала откалываться наша крохотная ФРГ, которая, конечно же, является американской колонией! Она поступила бы точно так же, как и с Вьетнамом. Вы не находите?..

Насупив брови, он неподвижно взглянул на меня и, всплеснув руками, вдруг рассмеялся:

— Никакой Германии нет — все это вздор! И немцев нет, и русских нет — есть люди... Знаете, в чем главный итог истекшего двадцатипятилетия? В совершенно изменившемся сознании людей, прежде всего молодежи. С национальной ограниченностью покончено, люди изучают иностранные языки, ездят по всему свету, живут, где хотят. Почему господин Макс должен жить в Мюнхене, а не в Варшаве или в Нью-Йорке, если ему это нравится? Национализм, границы, национальная принадлежность — все это себя изжило. Кто сказал, что Гёте немец? Он европеец, он принадлежит не Германии, а Европе. Разве русский воспринимает Бетховена не так же, как немец? Разве в Пушкине мы ищем русские национальные черты?.. Я космополит, господин Гинзбург: все мы сидим в одной лодке и какая разница — ФРГ ли, Россия ли, Франция — важно, что мы люди, европейцы, члены семьи человеческой!..

Вошла приземистая женщина<sup>1</sup>, но уже переодетая для посещения концерта: в Троссинген приехал Штутгартский оркестр.

— Нам пора...

— Одну минуту. — Он взял ее руку и приложился к ней губами. — Знаете, в НДП меня считают ренегатом. Эти авантюристы так ничего и не поняли. Вы знаете, к чему я стремлюсь?.. — Он насупил брови. — Не угадаете! К европейскому единству! Чем больше оружия в Европе, тем лучше... Вот вам, если хотите знать, точка зрения старого нациста.

Он снова рассмеялся.

Трудно было поверить, что этот позер с шутовскими замашками мог когда подчинить себе миллионы немецких юношей, которые верили каждому его слову...

<sup>1</sup> «Приземистая женщина», очевидно, была хозяйкой дома. Жена Ширах — Генриэтта Гофман — отказалась от него в первые годы его заключения.

Он и сейчас устраивал для меня маленький «домашний спектакль», с е а н с, экспромтом разыгрывая роль «нового Ширах», и все более увлекался этой игрой.

Неожиданно он вспомнил Власова:

— Он приезжал ко мне в Вену. Иногда пишут, будто я ему симпатизировал. Но это не совсем так. Мы любим предательство, но не предателей. Видите: я родил афоризм!..

Я спросил, пишет ли он стихи.

— Ах, что вы! Когда-то я пробовал... Но это были очень плохие стихи, занимайтесь-ка лучше своим Шиллером... Дорогая, дай мне монокль...

Женщина подала ему монокль на черном шнурке, он вставил стекло в глаз и стал меня пристально рассматривать, так, что мне стало не по себе...

— У меня есть кое-что для вас.

Он взял лежащую перед ним книгу — свои мемуары — и размашисто написал: «Господину Гинзбургу на память о 23 ноября 1968 года»...

Потом, призадумавшись, сказал:

— Ах, оставим все эти аристократические предрассудки: «фон»! Я подпишусь просто — Ширах... Вы сегодня обедали у Шпеера? Какое он произвел на вас впечатление? В тюрьме мы не очень ладили, часто спорили, так и не ужились за двадцать лет. Это бывает. Я проводил основную часть времени с господином Гессом: он так одинок и несчастен...

Он и его дама проводили нас к выходу. Спускаясь по лестнице, я спросил, откуда эти столь диковинные трофеи, и дама пояснила, что раз в год ездит охотиться то на Аляску, то в Африку, и трофеи эти принадлежат ей.

Она была, видимо, очень богата, еще сравнительно молода — лет сорока пяти, не больше, могла себе позволить все, и одряхлевший, выпотрошенный Ширах тоже напоминал некий «трофей»...

В парке он уселся в машину рядом со своей спутницей — седой, прямой, тощей.

Наш шофер Зепп спросил:

— Это и есть Ширах?!

\* \* \*

24 мая 1946 года на Нюрнбергском процессе подсудимый Бальдур фон Ширах сделал суду заявление:

— Моя вина заключается в том, что я воспитал молодежь для человека, который был убийцей, который погубил миллионы людей...

...11 января 1969 года газета «Нойес Дойчланд» (ГДР) сообщила, что Бальдур фон Ширах выступил по западногерманскому телевидению в передаче «Гитлерюгенд». Показывали старые документальные кадры, и Ширах пояснял:

— Маленькая Германия должна же была стать однажды великой!..

По экрану двигались молодежные толпы, они пели: «Барабаны гремят по стране» — и скандировали: «Германия, проснись!» С трибуны их приветствовал молодой Ширах.

Телевизионный комментатор спросил:

— Решились бы вы сегодня повторить все сначала?

Ширах ответил:

— Конечно.

\* \* \*

В Москве я рассказывал о своем разговоре с Ширахом нашему генералу, который еще недавно по долгу службы два раза в месяц инспектировал тюрьму Шпандау.

Генерал встревожился:

— Что еще за И в а н?.. Какой И в а н?! — Подумал с минуту, соображая, кто бы это из личного состава мог быть, потом успокоился: — Никакого Ивана там не было, врет он, сказки рассказывает... Это совершенно исключено, чтобы они имели возможность общаться с охраной. Службу в Шпандау несли наиболее дисципли-

линированные, проверенные воины... Да и каким образом?.. Вот посмотрите.—Он взял карандаш, стал набрасывать схему постов: здесь вышки, здесь пульт, здесь двор для прогулок... — Откуда же взялся Иван? Может, он кого из надзирателей имеет в виду, он не уточнял? Но и это едва ли возможно потому, что разговоры носили сугубо деловой, официальный характер, никакой фамильярности не было и не могло быть. Я сам, когда инспектировал тюрьму, заходил к ним в камеры непременно с переводчиком. Знаешь язык или не знаешь, — все равно только через переводчика положено обращаться: есть ли жалобы, просьбы, осведомляешься о состоянии здоровья, вот и все... А здоровье у них прямо-таки спортивное. Гессу давление мерили: сто десять на семьдесят — нам бы такое. А?! Да... Когда я впервые тюрьму принял, прошелся по камерам, много у меня всяких мыслей возникло... Тюрьма-то, она, как музей: весь нижний этаж пустой, пустые стоят камеры, заросшие пылью еще с гитлеровских времен. Представьте себе помещение: такая комната, перегороденная пополам железной решеткой, то есть люди там буквально находились, как в клетке. Никаких коек—бетонные помосты. И печка. Вернее, я сперва подумал, что печка, а оказалось — специальное устройство для нагнетания в камеру холодного воздуха. И еще я в одну камеру заглянул: там ни помостов, ни печек, совершенно пустое помещение, только крюки вбиты в стены... «Что это?» — спрашиваю. А это они подвешивали казненных за подбородки на крюки, как мясные туши. И здесь же была гильотина; вижу, какое-то возвышение стоит: эшафот... Идешь по коридору — гулко, пусто, оторопь иногда берет и думаешь про себя: да, попался бы ты к ним в руки лет двадцать пять назад, они бы тебя о состоянии здоровья не спрашивали и давление бы мерить не стали... Шпандау — тюрьма старая, прусская, вы ее, может, видели снаружи, когда бывали в Западном Берлине?..

Конечно, я эту тюрьму видел, и бывая в Западном Берлине, ездил на Вильгельмштрассе, чтобы посмотреть на это здание — замок, окруженный стеной с зубчатыми сторожевыми башнями из красного кирпича. Наверно, не одного меня охватывало желание заглянуть за эту стену, где, поочередно охраняемые советскими, американскими, английскими и французскими гарнизонами, пребывали Гесс, Ширах и Шпеер — тени третьего рейха, как бы переселившиеся сюда, в этот острог, из своих министерств и канцелярий.

Вначале их было семь человек: Гесс, Редер и Функ, приговоренные к пожизненному заключению, Ширах и Шпеер (двадцать лет), Нейрат (пятнадцать лет) и Дениц (десять лет), затем их становилось все меньше, а сейчас в тюрьме, рассчитанной, как мне сказали, на шестьсот восемьдесят «посадочных мест», содержится один только Гесс, заместитель Гитлера по нацистской партии, который должен сидеть здесь до конца своих дней, охраняемый и опекаемый внушительным персоналом, на который возложена обязанность довести его до этого конца в строгом соответствии с правилами и нормами. Каждый раз, передавая Гесса очередной смене, дежурный комендант составляет акт, в котором указываются вес заключенного, кровяное давление, температура и прочие медицинские данные, словно бы это не тюрьма, а больница. И как в больнице, где сестры и врачи стараются дотянуть умирающего больного до прихода сменщиков, так и здесь никому из комендантов не хочется, чтобы пожизненное заключение Гесса кончилось как раз в его смену, когда придется писать объяснительные записки и заниматься хлопотной, неприятной процедурой, также детально разработанной в особых инструкциях...

Они вставали по стойке «смирно», вытянув руки по швам, коротко, односложно отвечая на задаваемые вопросы. Заключенным были присвоены номера, называть их по именам и фамилиям строжайше запрещалось, так что за двадцать лет ни Ширах, ни Шпеер, ни Гесс ни разу не слышали своего имени.

Камеры, в которых они содержались, были несколько переоборудованы: железная солдатская койка, откидной стол, шкафчик для хранения посуды, небольшая полка для книг, умывальник... На зарешеченных окнах висело нечто вроде гардин... Камеры полагалось убирать самим, заправлять койки, мыть за со-

бой посуду. В 8.00 начиналась работа в саду, на крохотном «жизненном пространстве», засаженном клубникой и огурцами.

Два человека в вельветовой тюремной одежде, сопровождаемые надзирателями, выходили из своих камер, раскланивались друг с другом, обменивались несколькими репликами и приступали к работе. Это были Ширах и Шпеер.

Гесс держался в стороне — страшный, худой, с лохматыми седыми бровями, одинокий, как волк.

Солдаты, офицеры и надзиратели давно уже привыкли к старожилам Шпандау и относились к ним, как полагается относиться к объекту охраны, лишь иногда удивляясь, что именно эти вот люди когда-то претендовали на то, чтобы захватить в свои руки весь мир...

— Между прочим, и Ширах и Шпеер отзывались о своих советских конвоирах с известной симпатией, — сказал я.

Генерал пожал плечами.

— Ну, уж не знаю, чем мы такую симпатию заслужили! Да вранье все это — какая симпатия? Они сейчас, на воле, чего угодно нафантазируют... Выбили их из жизни, вот они и карабкаются, ищут лазейку, чтобы опять играть роль. Это, конечно, спиленные деревья, но росточки от них еще могут пойти... Никаких так называемых послаблений мы им не делали, то есть, разумеется, не притесняли, а просто требовали, чтобы они строго соблюдали установленный для них режим. И они, надо сказать, соблюдали, я ни одного случая ЧП назвать не могу. Но, в общем, впечатление производили неприятное: холодом от них веяло, надменностью...

— Книги, газеты им разрешалось читать, слушать радио?

— Радио нет. А газеты, книги — пожалуйста. Все, кроме фашистской литературы. За двадцать лет они много книг прочли. Шпеер, тот все больше специальную литературу читал, по вопросам строительства... Они очень на физическую работу рвались, чтобы быть побольше на воздухе. Ну, а Шпеер, тот во дворе Сан-Суси строил...

— Сан-Суси?

— Да знаете, есть в Потсдаме дворец Сан-Суси Фридриха Второго... Однажды Шпеер нас попросил: «Разрешите мне, говорит, построить что-нибудь, я ведь архитектор, а уже двадцать пять лет строительством не занимаюсь». Ну, дали мы ему черепицу, кирпичиков, и он в тюремном саду настоящий дворец построил — точную копию Сан-Суси. Конечно, в миниатюре, маленький. Как строит ребенок из кубиков...

Я спросил, в какой одежде Ширах и Шпеер были выпущены из Шпандау.

— В той самой, в которой их доставили из Нюрнберга, в тех же костюмах. Эти костюмы двадцать лет так и провисели в кладовке на плечиках, а костюм Гесса до сих пор висит — форма летчика, в которой он в 1941 году прибыл в Англию.

\* \* \*

Позднее я встретился с одним из советских офицеров, который несколько лет входил в состав тюремной администрации Шпандау. О своих недавних «подопечных» он говорил с сухой неприязнью, как о людях, в сущности, неисправимых, которых «не то что за двадцать — за сто лет не перевоспитаешь: такой лежит на них груз...».

Все они в тюремных условиях оставались верны себе, застывшие в своем эгоизме и высокомерии. Связанные, казалось бы, общей судьбой, общим несчастьем, они и друг к другу относились с полнейшим равнодушием, пытались сводить старые счеты, и охрана не раз с недоумением наблюдала, как во время прогулок они церемонно вышагивали по двору, стараясь держаться как можно дальше друг от друга, а встречаясь, обменивались колкостями.

В какой-то степени выделялся Шпеер: самый корректный, выдержанный и цепкий среди всех заключенных. Оказавшись в Шпандау, он поставил перед собой задачу во что бы то ни стало выжить, сохраниться как личность, и не толь-



ко сохраниться, но еще и усовершенствовать свои знания: за двадцать лет он проштудировал две тысячи книг по архитектуре. Он сидел над этими книгами и читал, читал, и в уме не укладывалось, что это и есть тот человек, который создал когда-то страшное подземелье «Дора», строил смертоносные ракеты и обрушивал на мир столько металла, что «в каждом из нас торчат осколки от его боеприпасов»...

— Дело, однако, уже не в самом Шпеере,— сказал офицер,— а в шпее-ря т а х. Образно говоря, Шпеер — это, ну, конечно, не винтик, а шестерня в механизме войны, крупная шестерня... В какое-то время шестерня ломается, ее заменяют другой... Но вот шпее р я т а! — Он вновь повторил это найденное им слово. — Сколько их, таких шпее р я т, которые «каждый в своем отсеке», «не вмешиваясь в дела соседа», — как он вам говорил, помните? — изготавливает кто одну деталь, кто другую, делая вид или на самом деле не зная, что из этих деталей в конце концов складывается. Ведь сама по себе «деталь», над которой работает тот или иной шпее р е н о к, охваченный своим техническим рвением, может показаться вещью вполне безобидной... Но общими усилиями тысяч шпее р я т получаются подводные лодки, атомные снаряды, боевые отравляющие вещества...

Я спросил, чувствовалось ли, что заключенные Шпандау — все же бывшие политики, руководители государства. Он рассмеялся:

— У Шираха своя «политика» была: обязательно на кого-нибудь наклепать, наобедничать, какую-нибудь мелкую гадость подстроить. Он мог, например, мне на американского директора пожаловаться, что американцы ему ржаного хлеба не дают, а зайдет американский директор, он ему шепчет: «Русские опять селед-кой кормили...» Вот вам и вся «политика»!..

### ХІІІ

Бывший президент рейхсбанка и министр экономики третьего рейха девяно-стодухлетний Яльмар Шахт принял нас в своей «мюнхенской резиденции» — прямо-таки музейной квартире на Куфштейнплац...

В некоторых исторических исследованиях и мемуарах Шахта называют «не-мецким Фуше», и для этого есть все основания, если вспомнить, что Шахт был именно тем человеком, который в 1932—1933 годах, используя свой банкирский престиж, буквально выпросил для Гитлера пост германского канцлера, собрав подписи крупнейших промышленников и финансистов под петицией, направленной Гинденбургу; в феврале 1933 года он финансировал выборную кампанию нацист-ской партии; в марте 1933 года возглавил германский рейхсбанк; в мае 1935 года был назначен уполномоченным по вопросам военной экономики; в 1937 году, формально оставаясь вне партии, получил от Гитлера золотой партийный значок; вплоть до 1943 года участвовал почти во всех политических, военных и экономи-ческих мероприятиях нацистского правительства, а в 1943 году, «поняв ранее, чем многие другие немцы,— как это сказано в Особом мнении советского судьи в Нюрнберге,— неизбежность краха гитлеровского режима, установил связь с оппозиционными кругами, ничего, однако, не сделав для свержения этого ре-жима. Не случайно поэтому Гитлер, узнав об этих связях, сохранил Шахту жизнь»...

Так или иначе, 1945 год застал Шахта в качестве узника гитлеровского концлагеря Флоссенбург, откуда его препроводили в союзническую тюрьму в Нюрнберге, а затем — на скамью подсудимых в зал Нюрнбергского трибунала, где американский обвинитель Джексон назвал его «представителем самого опас-ного и отвратительного типа оппортунизма»...

Придерживаясь уже выработанного метода, я накануне встречи с Шахтом перечитал нюрнбергские материалы: речь Джексона, стенограмму проведенного им допроса и последнее слово самого Шахта:

«Чувство справедливости во мне глубоко оскорблено... Обвинение целый год в мировой печати выставляло меня к позорному столбу, как разбойника, убийцу

и обманщика. Я обязан этому обвинению тем, что на закате моей жизни лишен средств к существованию и родины. Но обвинение заблуждается, если оно думает, что может причислить меня к «жалким, поникшим фигурам»... Террор гестапо не запугал меня, потому что любой террор бессилен перед зовом совести... Я по-прежнему высоко держу голову, веря в то, что мир исцелится не с помощью насилия, а с помощью силы духа и соблюдения нравственности в поступках...»

Все это не очень вязалось с более ранними речами Шахта, произнесенными хотя и при других обстоятельствах, но с тем же пафосом:

«...с безграничной страстью сердца, горящего ярким пламенем, и с безошибочным инстинктом прирожденного государственного деятеля Гитлер в борьбе, которую он вел в течение четырнадцати лет, завоевал себе душу германского народа...»

«...Теперь мы присягаем в верности нашей воспрянувшей, мощной великой германской империи. И все эти сердечные чувства мы выражаем в преданности человеку, который осуществил все эти преобразования. Я прошу вас поднять руки и повторить вслед за мной: «Я клянусь, что буду преданным и буду повиноваться фюреру германской империи и германского народа Адольфу Гитлеру и буду выполнять свои обязанности добросовестно и самоотверженно». Вы приняли эту присягу. Будь проклят тот, кто нарушит ее. Нашему фюреру трижды «зиг хайль!»...»

Дело, однако, не в речах, а в поступках, и если судить по поступкам, то Шахт, безусловно, оставался верен этой присяге, по крайней мере до 1943 года.

Впрочем, Шахт отнюдь не был склонен к тому, чтобы придавать своим речам какое-либо серьезное значение, и, сидя на скамье подсудимых, брезгливо слушал, как обвинители зачитывают цитаты из его давних выступлений, казавшихся теперь не более чем обычной формальностью, данью условностям времени: мало ли кто, когда и что говорил? Разве само искусство коммерции не требует ловкости и мимикрии? Когда и какой коммерсант руководствовался в своем деле соображениями «чистой морали»? И он откровенно недоумевал, почему и за что американцы, англичане, французы, люди вполне деловые, сговорившись с советскими коммунистами, усадили его на скамью подсудимых рядом с каким-то Кальтенбруннером или Штрейхером, приравняв всемирно известного банкира к политическим убийцам и гангстерам?..

\* \* \*

Шахт сидел, положив ногу на ногу, в своем увешанном картинами и драгоценными гобеленами кабинете, в кресле, боком к окну, — щурящийся долговязый старик в сером костюме, в мягкой белой рубашке с галстуком...

Когда мы вошли, он, встав во весь свой рост, бодро поднялся с кресла, сощурился, улыбнулся и так и застыл на секунду, как перед фотографом, словно давая нам возможность запечатлеть в памяти его облик и как бы говоря: «Ну, что, видали, каким можно быть в девяносто два года? Видали, каков он есть, Шахт?..»

Макс сунул ему в руки книгу «Воля к добру» — сборник изречений великих людей от Конфуция до Льва Толстого. Шахт бегло просмотрел оглавление, кашлянул, что-то одобрительно буркнул и вновь уселся в кресло, придиричиво всматриваясь в мое лицо:

— Вы — русский?..

Его подвижный, маленький, со щеточкой седых усов над верхней губой рот в виде буквы «о» все время добродушно улыбался.

— Что же вам угодно узнать от меня, господин Гинзбург?.. Мы живем в скверное время, в очень скверное время...

— Почему же в скверное?

— Да потому, что у нас ничего не осталось. Знаете ли вы, чем была Германия сто, двести, пятьсот, тысячу лет назад? Германское начало господствовало во всей Европе... Кто такие, скажите мне, англосаксы, как не германские племе-

на? Кто франки? Мы говорим: «Андалузия», но это же — «Вандалузия», от вандалов, которые со Скандинавского полуострова дошли до Испании. В начале девятого века господство Карла Великого (Каролус Магнус, Шарлемань) простиралось от Немецкого моря до Гарильяно, от южных склонов Пиреней до Эльбы, под его владычеством находились и славянские племена... В десятом веке Оттон I, заняв Рим, короновался императорской короной: начало Священной империи было положено...

Он говорил с необычайной оживленностью, излагая сведения, на всю жизнь усвоенные им, очевидно, еще в гимназии.

— Идея *Sacrum Imperium* — Священной империи германской нации — долго жила в немецком народе, в понятие «рейх» мы вкладывали особый смысл, и Гитлер очень ловко этим воспользовался. Слово «рейх» стало приманкой, на которую ему удалось поймать людей отнюдь не доверчивых... — Он привздохнул, давая понять, что имеет в виду самого себя. — Да. Немцы, немцы... — Он развел своими большими руками с широкими ладонями. — Кто только не был немцем? Достаточно вспомнить русских царей последней династии. Даже столица России носила немецкое название — «Петерсбург»! Разве немцы по крови не внесли свой вклад и в вашу культуру?.. Хемницер... Фон-Визин... Екатерина Великая... А что сейчас?.. Мы ютимся на клочке, мы стали провинцией. Трудно даже оценить тот колоссальный ущерб, который нам причинил Гитлер... Впрочем, у каждой нации есть свой преступник. У французов — Робеспьер, у нас — Гитлер...

Это кощунственное сравнение было тем не менее весьма характерно для Шахта. Пройграв войну, пережив величайший нравственный шок, уличенные в беспримерных в истории зверствах, нацисты пытались теперь подогнать гитлеризм под обычную схему, представив его чуть ли не в виде революционного катаклизма, с неизбежным для каждой революции насилием. Но ведь и сам Гитлер, получивший власть непосредственно из рук немецких банкиров и монополистов, из рук Шахта и Круппа, охотно называл это событие «революцией», считая подобную формулировку наиболее эффектной и привлекательной...

— Обидно только, — продолжал Шахт, — что Гитлер появился у нас с таким запозданием. Если бы он жил лет сто пятьдесят назад, мы бы сегодня уже успели кое-как оправиться, прийти в себя и возродиться как нация.

— Вы считаете, что на это уйдет еще полтора столетия?

— Не знаю... — Он улыбнулся всеми морщинами. — Сейчас все происходит гораздо быстрее, чем в прежние времена. Может быть, кое-каких перемен мы с вами еще дождемся... В принципе я уверен, что ни одну нацию нельзя уничтожить полностью. Вспомните, как американцы истребляли индейцев. Кстати сказать, они ведь выходцы из России, перебравшиеся в Америку через Аляску. Это доказано... И что же? Индейцы продолжают существовать. Вспомните армян, которых безжалостно вырезали турки! Два с половиной миллиона армян было вырезано, а сейчас их сколько? Миллионов пять? Шесть?.. Послушайте! — воскликнул он неожиданно высоким голосом. — О чем говорить, если цыгане — даже цыгане — остались!..

Он вновь внимательно посмотрел на меня, умолк и после небольшой паузы, обращаясь к Макс, сказал:

— Так что, господин Макс, нам, немцам, не стоит отчаиваться. Еще все впереди...

— Господин Шахт, — сказал я, переходя ближе к теме, — как же вы решились сотрудничать с таким человеком, как Гитлер? Наверно, это было не очень приятно...

— Что значит «сотрудничать»? — Он встрепенулся. — Я с ним никогда не сотрудничал, просто он пригласил меня однажды к себе: «Вы можете мне помочь ликвидировать безработицу? Дайте мне денег». И я дал. Если бы меня об этом попросил канцлер Брюнинг, я дал бы ему... Господи! Если бы даже сам Тельман обратился ко мне с такой просьбой, я и Тельману бы не отказал никогда... Но он не просил... Вот в чем дело...

Я вспомнил Нюрнбергский процесс, документальные доказательства, речи прокуроров: стоило ли учинять Шахту новый «допрос», который, конечно, был бы сейчас совершенно бессмысленным и безрезультатным?

— Прочитайте мои мемуары,— сказал Шахт,— их можно купить в любом книжном магазине, там все описано, я не утаил ничего... Вам известно, что Гитлер хотел меня убить, заточил в концлагерь?..

— Да... Но я видел фотографию, где вы изображены рядом с Гитлером в Компьенском лесу в день капитуляции Франции. И я читал материалы процесса...

— Ну вот, я так и знал... Нюрнбергский процесс... — Он поморщился, махнул рукой. — Почитайте, почитайте мои мемуары. Господин Джексон зря так старался....

...Вопреки требованиям всех обвинителей и Особому мнению советского судьи в заключительной части Нюрнбергского приговора было указано, что трибунал предлагает коменданту суда освободить Шахта из-под стражи после перерыва в заседании.

Очевидцы рассказывали мне, что сразу же после этого перерыва Шахт, впервые появившись в здании суда без коновоя, устроил пресс-конференцию и, обращаясь к корреспондентам, совершенно серьезно сказал:

— Господа, я готов отвечать на любые вопросы, но предупреждаю, что гонорар буду брать натурой: шоколад, сигареты, продукты... Ваши оккупационные марки — увы! — стоят недорого.

Через несколько дней «в порядке денацификации» он был арестован баварским судом, который приговорил его к восьми годам заключения — срок, отбытый им далеко не полностью.

Сейчас в беседе с нами он бегло коснулся и этой страницы своей причудливой, почти вековой биографии со взлетами и неожиданными падениями, биографии, которую он завершал бодрый, исполненный оптимизма, в довольстве и роскоши, уверенный в том, что все на свете проходит, все меняется, а деловые люди всегда остаются и всегда будут нужны. Но тот свой последний арест он назвал «величайшим позором»: не для себя — для немцев...

— Он хорошо помнит историю, вы не находите?— сказал Макс, когда мы вышли на улицу.— Но почему-то в основном древнюю. Новейшую он забыл...

#### XIV

За день до встречи с Шахтом у меня произошел знаменательный разговор в одном уважаемом обществе среди любителей «германской словесности», которые очень заинтересовались моими посещениями, хотя и недоумевали, зачем мне все это нужно.

Сперва разговор носил исключительно дружественный, даже сердечный характер — за длинным столом, за чаем с пирожками, начиненными орехами, все внутренне умилялись, что вот, мол, идеология идеологией, а чай с пирожками все-таки делает свое дело и люди всегда могут найти общий язык, особенно если этот общий язык — немецкий... Все они от души смеялись, когда я описал им свою встречу с Ширахом, потом с Эссером, и громче всех смеялся седой, плотный мужчина с молодежьим лицом, тоже оказавшийся большим любителем германской изящной словесности. Это был генерал-лейтенант, редактор военно-георетического журнала.

— Ах, этот старый осел Эссер,— сказал он, досмеиваясь,— уж кто-кто, а Гитлер не был таким простаком, чтобы на него мог кто-то влиять, даже военные... Он обладал таким стальной волей и сам влиял на миллионы людей. Ему подчинялись все. И не военщина на него влияла, а скорее он давил на военных, особенно на таких бесхребетных личностей, как Кейтель, который стал в его руках послушным орудием... Я был молодым офицером оперативного отдела генштаба, имел возможность наблюдать моих непосредственных начальников и убежден, что

никто из них даже не подозревал о готовящемся нападении на Россию. Вот вам и «военщина»!..

— Но кто-то же разрабатывал план «Барбаросса», ведь план такой был, вы не станете отрицать этого?— спросил я.

— Конечно, на самых верхних этажах кто-то этот план разрабатывал: Кейтель, Йодль — не знаю. Даже и до нас доходили отголоски этого плана: помню, например, как мы были удивлены, когда нас вдруг привлекли к участию в штабных играх: «Ведение боевых операций в условиях большого пространства». Шла война против Англии, при чем тут «большое пространство»? И мы спрашивали себя: неужели он имеет в виду Россию?.. Учтите: о н, а не м ы. Все решал он один, опираясь на свою клику — на Геринга, Гимmlера, Бормана, не интересуясь мнением военных.

— Ну, а когда поступил приказ?

— Тогда оставалось только выполнять — это естественно. Не мог же я взять и выпрыгнуть из мундира!

— Стало быть, в душе вы были против войны, но не могли послушаться приказа?

— Гм... Как вам сказать... Все это не так просто... Откровенно говоря, я, как уроженец Силезии, был не против того, чтобы мы в 1939 году возвратили себе наши исконные земли, занятые Польшей. Но начинать войну с Россией?! Боже мой, не судите нас строго, на нас выпала нелегкая миссия. Мы пошли в поход, охваченные любовью к отечеству и — не скрою — опьяненные боевыми победами. Первое отрезвление наступило под Москвой... В те дни я стал командиром дивизии...

Я посмотрел на окружающих — их было человек десять за чайным столом, но уже никто не притрагивался к пирожкам, никто не пил чая, все сидели бледные, напряженные, молча слушали генерала и вместе с ним мысленно вновь переживали сейчас тот далекий поход... Глазами я поискал возможного «союзника», не нашел и спросил генерала, в чем именно он усматривает историческую вину Гитлера перед немецким народом.

— Полагаю, что корень зла не там, где вы его ищете, — сказал генерал. — Беда в том, что для Гитлера превыше всего был немецкий народ... Не удивляйтесь. Интересы народа он ставил выше морали, выше закона. Когда речь шла об интересах народа, закон для него просто не существовал. А между тем ничего не должно было быть выше закона! Это надо усвоить, именно это мы стремимся положить в основу нашей доктрины... Видите ли, я по происхождению законник, сын, внук, правнук и праправнук юристов, хотя и стал кадровым военным, прослужив в вермахте, в бундесвере и в штабе НАТО...

Теперь я заметил, что в нем было действительно что-то «натовское», современное: элегантнй штатский костюм, густые серебряные волосы, модные очки — меньше всего он напоминал генерала старой прусской выучки, тех, кого наши карикатуристы по привычке изображают с кадыками, с моноклями, в мундирах со стоячими воротниками...

— Что значит «закон» и «интересы народа»?— спросил я. — Разве законы Гитлера не противоречили интересам народа и разве можно говорить, что Гитлер хоть в малой степени заботился об интересах немецкого народа, который он обманул, опозорил, свверг в пучину преступной войны?..

— Ах, — сказал он с досадой, — до чего же часто вы, русские, вспоминаете Гитлера... Куда чаще, чем это делаем мы... Но если уж вам так хочется говорить на эту тему, то знайте: весь ужас в том и состоял, что Гитлер был абсолютно уверен, что действует в интересах народа!..

Люди за столом одобрительно зашумели, и генерал, воодушевившись, продолжал:

— У него была великая цель, а великая цель требует порой большой крови. Вспомните французскую революцию, якобинцев! Разве мало тогда погибло невинных людей? Но это не должно повториться. Какой бы благородной целью ни была,

законность не может быть поправа... Известно ли вам, что военные пострадали от Гитлера не меньше других? Статистикой установлено, что он казнил сто девяносто пять генералов и около восьмидесяти тысяч немецких солдат. Около восьмидесяти тысяч!

— Следовательно, были и такие военные, которые отваживались «выпрыгнуть из мундира», чтобы вести борьбу против Гитлера? — заметил я.

— Ну да, конечно же! Разве я собираюсь оправдывать Гитлера и его методы?

— Но вы оправдываете цель...

— Послушайте,— сказал он,— когда мы поверили в Гитлера, мы пошли за ним не оттого, что хотели крови, убийств, уничтожения народов. Мы поверили, что он принесет пользу нашей нации и возвеличит Германию. Но получилось не так...

Любители германской словесности смотрели на генерала с явным сочувствием, и мне вдруг захотелось чисто «житейски», наглядно представить этим людям картину оккупированной Европы: заполненные мертвыми телами рвы, могилы, концлагеря, виселицы. Я старался говорить как можно конкретнее, картинней в надежде, что хоть это их как-то эмоционально проймет. Но все только ожесточилось, даже сочли это бестактностью с моей стороны, а генерал, совсем уж озлобясь, отрезал:

— Да. Была война. А на войне льется кровь и люди убивают друг друга. Ваши газеты называют нас реваншистами, и это нас возмущает... Что такое «реваншизм»? Какие мы реваншисты? Конечно, мы мечтаем о воссоединении нашего отечества в исконных границах — это верно. Армия стоит на страже интересов страны, но, вступив в НАТО, мы полностью лишили себя возможности действовать самостоятельно. Мы подчиняемся объединенному командованию. Как таковой, бундесвер сам по себе способен выполнять лишь полицейские функции: без согласия и участия партнеров он не может выступить ни против СССР, ни против Польши, ни даже против Восточной Германии... Сейчас у нас совсем другая армия, основанная на законе, верная атлантическим принципам.

Он позволил себе откусить кусок пирожка, считая дискуссию законченной.

Я спросил, много ли в бундесвере сторонников Таддена?

Он пожевал губами:

— Встречаются... Иногда... Есть молодые люди, которые хотели бы вернуть Германии подобающее ей место. И эти люди охотно идут служить в армию. Есть среди них и члены НДП. Но что в этом страшного? Прочтите программу НДП — где вы найдете хотя бы намек на истребление народов, на газовые камеры, на захватнические войны? Этим НДП полностью отличается от партии Гитлера, библией которой была «Майн кампф»...

— Следовательно, вы читали «Майн кампф» и не могли не знать, что цель преследовал Гитлер и какие «интересы народа» имел он в виду...

Генерал отложил пирожок.

— Естественно, мы читали «Майн кампф», но думали, что это всего-навсего личное сочинение Гитлера, написанное им в ландсбергской тюрьме в пылу полемики, и никогда не воспринимали эту книгу всерьез. Кто мог представить себе, что Гитлер относится к своим планам столь догматично?..

Сам того не сознавая, он почти дословно повторял сейчас то, что в свое оправдание говорили подсудимые в Нюрнберге.

— Скажите, господин генерал,— задал я последний вопрос,— почему, если в Западной Германии нет реваншизма, нет духа Гитлера, об этом с тревогой пишут такие бесспорно умные, честные, даже выдающиеся немцы, как, например, Генрих Бель? Ведь вы же не станете отрицать того, что он талантлив и честен?..

— Видите ли, крупные писатели бывают иногда плохими политиками. Я верю, что Генрих Бель — честный человек, но он пацифист и во время войны ухитрился, кажется, прослужить все шесть лет санитаром. Чего же вы от него хотите? И потом эти писательские претензии поучать всех! Извините меня, я сам

в какой-то степени причастен к литературе, но стремление всех учить уму-разуму стало у нынешних писателей чуть ли не профессиональной болезнью. По крайней мере у нас...

\* \* \*

В мюнхенском «Бюргербройкеллер» до сих пор сохранился в нетронutom виде огромный пивной зал, где обычно отмечал нацистские осенние праздники Гитлер и где на него в ноябре 1939 года было совершено (или инсценировано) покушение: квадратные колонны, обшитые деревом, некрашенные деревянные столы чуть ли не в километр длиной, грубые деревянные стулья.

Воображению нетрудно заполнить это помещение людьми в эсэсовской форме, «озвучить» зал голосами, развешать по стенам штандарты, а под центральной колонной посадить Гитлера, окруженного своими сподвижниками...

В двенадцатом часу ночи зал был почти пуст, да и самое пивную уже покидали последние посетители.

Мы прошлись вдоль столов, постояли возле колонны, как в зал неизвестно откуда вкатился маленький, взъерошенный, лысоватый человек в грязной рубашке с засученными рукавами, с замусоленной сигаркой во рту и, дико вращая белками, закричал:

— Франц! Франц!.. Черт бы его побрал! Я убью его своими руками!..

В дверях показался долговязый парень в зеленом фартуке, с копной рыжих волос.

— Ах, ты еще здесь! — завопил человек. — Почему не убран стол в малом зале?! Кто его будет убирать? Я? Или, может быть, он?! — Человек ткнул в меня пальцем.

Франц хмыкнул и, повернувшись к нам спиной, не говоря ни слова, зашагал прочь.

— Господи! Господи! — продолжал вопить человек. — Пошли же нам наконец Гитлера! Верни его нам! Хотя бы на год! Хотя бы на месяц!.. — Он схватил меня за руку: — Вы не представляете себе, что творится! Эта демократия всех нас погубит, запомните!..

Тем же голосом, которым он только что звал Франца, он крикнул в глубину зала:

— Гитлер! Гитлер!..

На этот раз не отозвался никто. Он пожал плечами и удивленно сказал:

— Вот тут они все сидели... Я их знал всех... Каждого...

Он был немного пьян...

Макс участливо посмотрел на него и спросил, чем же он столь необычайно взволнован и для какой цели ему понадобился сейчас Гитлер?

При слове «Гитлер» человек вздрогнул и, уставившись на нас своими белками, сказал, что он уже тридцать семь лет — хозяин этого заведения, «помнит в сё», но еще никогда не видел подобного безобразия...

— Они разбили две кружки, наблевали на пол и улизнули, не заплатив ни пфеннига!..

— Кто?

— Если бы я знал! Страна наводнена иностранцами: греки, итальянцы, югославы — кого только к нам черт не занес! Вчера мне угрожали ножом, пытались ограбить кассу, а сегодня... Две кружки! Две литровые кружки! И этот бездельник Франц! — Он перевел дух. — Без Гитлера мы пропадем, вот увидите!..

— Не преувеличиваете ли вы, приятель? — спросил Макс. — Может быть, опасность не так велика?

— Я преувеличиваю?! — воскликнул хозяин. — Каждый вечер я недосчитываюсь по крайней мере полдюжины кружек!.. А полиция спит... Нет, нет, пора рубить головы, — ребром ладони он ударил себя по шее. — несколько отрубленных голов — и все станет на свои места! Гитлер это хорошо понимал. При нем

был порядок!.. Быть может, господин фон Тадден предпримет что-нибудь дельное... Они у меня тут бывают, эти из НДП. Вот вчера собирались...

— Разве нынешнее правительство вас не устраивает? — спросил я в надежде получить «желаемый» ответ.

Хозяин посмотрел на меня, как на сумасшедшего.

— Чтобы они все передохли, эти ничтожества!.. — Он сплюнул. — Послушайте, после Гитлера нами правят сплошные ублюдки. Сперва они назначают канцлером выжившего из ума старика... — Он захохотал. — Скажите, можно ли в восемьдесят пять лет стать канцлером?! Потом — этот толстяк с башкой, набитой кашей... — Он надул щеки, пытаясь изобразить недавнего канцлера. — Наконец, этот со своей вечной улыбочкой: тью-тью-тью... Тот, — он указал на место возле деревянной колонны, — был личностью!

— Значит, да здравствует Гитлер? Гестапо, концлагеря? — спросил Макс.

— Ну, разумеется, не в полном объеме... — Хозяин слегка успокоился. — Но несколько голов все же отрубить не мешает... При Гитлере мои кружки были бы в целости!..

Я вспомнил слова генерала: «Выше закона Гитлер ставил интересы народа». Уж не эти ли «интересы народа» имел он в виду?..

## XV

— Вину Гитлера мы видим в том, что он поставил свое государство выше Христа, выше самого бога... — сказала настоятельница монастыря кармелиток «На святой крови», недавно построенного в Дахау на территории бывшего концлагеря. Она согласилась принять нас в монастырской исповедалине — честь, которой, кажется, не достаивался еще ни один иностранец...

Я и прежде несколько раз бывал в Дахау, еще в те времена, когда там стояли бараки, заселенные «перемещенными лицами»: помню запах домашней стирки, белье, развешанное на обрывках колючей проволоки...

За последние годы Дахау перестроился, как бы пристыженный памятниками предостережения, воздвигнутыми на месте других гитлеровских концлагерей, и теперь выглядит вполне пристойно: обветшалые бараки заменены павильонами с дневным освещением, на стендах — фотографии, отображающие историю фашизма и быт лагеря, диаграммы, таблицы, орудия пыток... В одной из комнат можно увидеть точную копию трехэтажных нар, сооруженных из свежевystруганного соснового дерева, в другой — точное воспроизведение лагерной столовой. Бетонная стена, которой окружен лагерь, очищена от грязи, колючая проволока подновлена, дозорные вышки отремонтированы, а монастырь кармелиток, с большим искусством выполненный в виде лагерного барака (одноэтажное бетонное здание с плоской крышей, в которую воткнут небольшой металлический крест), составляет вместе с другими помещениями лагеря единый архитектурный ансамбль...

Как мне рассказывали, обитательницы монастыря — это женщины и девушки в основном с высшим образованием, «из хороших семей», которые решили добровольно уйти от мира, чтобы постом и молитвами искупить на месте пролитой святой крови самые страшные грехи, когда-либо совершенные человеком; спасти свою душу там, где когда-то ни для кого не было спасения...

Монастырская исповедалиня представляла собой просторную светлую комнату, перегороденную пополам решеткой из того же свежевystруганного соснового дерева, из которого были изготовлены поддельные нары, и, как все в этом лагере, поражала своей стерильной чистотой и прибранностью.

Едва мы вошли, как по другую сторону решетки появились две женщины: пожилая настоятельница в очках и в белом чепце, с круглыми румяными щеками, чем-то похожая на сестру-хозяйку какой-нибудь больницы или санатория, и молодая монахиня с изможденным, страдальческим лицом мученицы.

Макс преклонил колени и в специально устроенное окошечко протянул настоятельнице ту же самую книгу — «Воля к добру», которую он вручил Шахту.



Подарок был принят, после чего настоятельница выразила готовность ответить на наши вопросы.

Я сказал, что меня давно занимает проблема взаимоотношений между национализмом и религией. Настоятельница, постепенно переставая улыбаться, вопросительно взглянула на молодую монахиню и, сложив свои пухлые руки как для молитвы, серьезно произнесла:

— Вопрос, который вы задаете, чрезвычайно обширен: едва ли мы сможем разрешить его за несколько минут. Взаимоотношения между религией и национал-социализмом гораздо сложнее, чем это иногда кажется. Гитлер, конечно, преследовал церковь, многие священнослужители погибли здесь, в Дахау, это известно, однако нельзя утверждать, что Гитлер был атеистом в вульгарном понимании этого слова, так же как нельзя говорить, что нацизм был порождением дьявола: его создали люди... У Гитлера был свой «бог», своя высшая инстанция — государство. Обожествление государственной власти он возвел в принцип, в то время как единственной высшей инстанцией должен быть бог, Христос — все то, что мы в обиходе именуем совестью...

Итак, я сталкивался с еще одной новой версией, однако чем-то похожей на ту, которую выдвигал мой недавний собеседник — генерал, утверждавший, что Гитлер выше закона ставил «интересы народа» — слова, неожиданно вспомнившиеся мне в зале «Бюргербройкеллер»...

Я спросил, можно ли называть «государственной властью» господство преступной, разнузданной клики?

— Дело не в названиях, — сказала настоятельница, взглядом обращаясь за поддержкой к монахине, — а в осознании той истины, что нет ничего выше господа бога, претворенного в любви к ближнему...

Монахиня молча кивнула...

— Собственно, для того, чтобы доказать это, мы и воздвигли наш монастырь в самом центре страданий, причиненных человеку слепой государственной машиной. Но сделали мы это не ради мести, а во имя любви, то есть во имя бога... — Она вновь улыбнулась ласковой, утешающей улыбкой. — Ведь, как таковой, Дахау более не существует, он принадлежит прошлому, которое уже не исправишь, но во скольких черствых сердцах еще сохранился Дахау! Существует единственное лекарство — любовь...

— И этой любовью вы надеетесь исцелить тех, кто создал Дахау?

Настоятельница задумалась.

— Может быть, даже их. Важно высечь хотя бы первую искру раскаяния, и дело пойдет...

Мне представились лица моих персонажей. Их скорее всего вполне устроило бы такое решение: не судить, не наказывать их, а «исцелять любовью». Я спросил, а как отнеслись бы к этому жертвы?

— У нас иные задачи, чем у мирского суда, — несколько уклончиво ответила молодая монахиня и поднятой кверху ладонью словно заслонилась от дальнейших вопросов. — Не возмездие наша миссия, а раскаяние. Вполне вероятно, что еще не все созрели для раскаяния, не все еще готовы искупить свой грех... Что ж, мы попытаемся это сделать за них, так же как спаситель кровью своей искупил грехи всего человечества, наши грехи...

Макс просветленно слушал.

— Меньше всего мы хотим, чтобы Дахау воспринимался как музей или памятник — это было бы величайшим кощунством. Люди должны уходить отсюда очищенными, примиренными, унося в своем сердце пусть скорбь, но не злобу...

Разговор приближался к концу и уже, казалось, не о чем было больше спрашивать — Макс кивнул головой, и обе женщины понимающе закивали в ответ, — как я вдруг сказал, что имел возможность встретиться здесь, в Западной Германии, с Ширахом, Шахтом и Шпеером...

— Верите ли вы в раскаяние этих людей? Вообще способны ли такие люди раскаяться, хотя тот же Шпеер утверждает, что многое передумал?..

— Гм... — Настоятельница чуть замешкалась, не очень довольная тем, что наша беседа принимает столь конкретный характер и касается конкретных личностей. — Все может быть... Я не знаю, что думает сейчас господин Шпеер, — она произнесла это имя подчеркнуто холодно, недружелюбно, — но если он по-прежнему не хочет найти истину в Христе, а лишь размышляет о тех или иных формах усовершенствования государства, то его раскаяние нельзя признать полным...

Мы вышли на посыпанную гравием площадь. Все-таки Дахау был музеем, и подъезжали все новые и новые экскурсанты, толпились у входов в павильоны, фотографировались и фотографировали, покупали открытки и значки...

В этой толпе я заметил высокого плотного человека в песочного цвета добротном костюме, с загорелым лицом, с большой коричневой лысиной. Он выделялся не только ростом, но и необыкновенной активностью, возбужденностью: метался по лагерю со своей кинокамерой, громче всех спрашивал, сам что-то чрезвычайно оживленно и громко объяснял, сверкая золотыми коронками, «похозяйски» расталкивая экскурсантов, перебежал из одного павильона в другой, все время чего-то ища быстрыми, живыми глазами... Он недоверчиво потрогал рукой бутафорские нары, едва взглянул на столовую и, подойдя к служителю в зеленой фуражке, спросил, сохранился ли лагерный бункер.

По всей видимости, ему чего-то здесь явно недоставало, и, шагая по аккуратным дорожкам мимо монастыря кармелиток, мимо протестантской часовни и еврейской молельни, он не обращал на эти «новостройки» никакого внимания: все это было ненастоящее, чужое, не его...

Но вот среди зелени он увидел невысокое здание с кирпичной трубой, увидел маленький — с пятачок — плац и в необычайном волнении, почти радостно закричал:

— Смотрите, смотрите! Да это же наш крематорий! Это же наш апельплац!.. Боже мой! Да здесь же стояла виселица!.. О господи, господи!..

По его щекам текли слезы, но лицо светилось той единственной, неповторимой радостью, которую испытываешь, приезжая на встречи с молодостью, на родные места, где прошли твои лучшие годы.

Да, это было именно так... Этот человек, который двадцать пять лет назад был узником Дахау, а теперь приехал из далекой южной страны, где у него семья и свое «дело», переживал сейчас светлые и святые минуты. Здесь, стоя перед крематорием, он вновь ощутил себя молодым, сильным духом, в кругу незабываемых друзей и товарищей, исполненным отчаянной решимости выжить и победить, достигшим высшей нравственной точки и приобщенным к тем высшим понятиям, по сравнению с которыми вся его дальнейшая жизнь была незначительной, мелкой, «второстепенной».

Однако не слишком ли дорогой ценой оплатил он святые минуты воспоминаний?

...Лагерный бункер остался на той части территории, которая еще в 1945 году отошла американцам и принадлежит им до сих пор: половину лагеря занимают солдаты американского гарнизона, сетчатым забором огороженные от того, что сейчас именуют «Дахау».

На небольшой спортивной площадке несколько солдат играли в бейсбол, и это тоже происходило «на святой крови», в двух шагах от крематория и монастыря кармелиток.

Но что значат «материальные следы» прошлого?..

\* \* \*

В Нюрнберге я наконец осуществил свое давнее намерение — «проник» в здание Международного Трибунала, которое в наши дни, так же как Дахау, поделили между собой американцы и немцы: в левой половине от входа размещен американский военный суд, в правой — земельный, немецкий, может быть, даже несколько немецких судов, я так и не понял... Вообще же здание казалось совершенно безлюдным, пустым, гулким от пустоты и безлюдья. Никто не сновал по коридорам, не было видно ни публики, ни судей, ни служащих. Несмотря на то, что день считался присутственным, большинство дверей было заперто и лишь в одной из комнат шло тихое разбирательство какого-то дела, очевидно гражданского. Там сидели две дамы, рядом их адвокаты в мантиях, и обе дамы были крайне взволнованны, озабочены тем, в пользу кого — истицы или ответчицы — окончится сегодня их «нюрнбергский процесс»...

Но еще до всего этого я увидел фасад исторического здания, несколько американских машин у подъезда, американский флаг на флагштоке, увидел знаменитую дверь, через которую когда-то входили участники и наблюдатели процесса, и я заставил себя вообразить, как в эту самую дверь, приложив руку к котелку, входит председатель Международного Военного Трибунала достопочтенный лорд судья Джеффри Лоренс и советский солдат-часовой ружьем отдает ему честь...

Привратник, сидевший в вестибюле в стеклянной будке, оторвавшись от газеты, взглянул на меня поверх очков и, наверно, так бы ничего и не спросил, если бы я сам не обратился к нему с вопросом, нельзя ли осмотреть тот зал, в котором...

Привратник вылез из будки и спросил, откуда я приехал, не иностранец ли я, а когда услышал, что я из Москвы, то лицо его расплылось в добродушной улыбке, из чего я понял, что сейчас он начнет рассказывать, как бывал в России — на фронте или в плену. Так оно и случилось, и он весело, однако с известным значением, произнес: «Смоленск!.. Можайск!.. Вязьма!» — и, работая локтями, стоя на месте, изобразил путника, с трудом идущего по бесконечно длинной дороге... Затем он осведомился, долго ли я собираюсь пробыть в Нюрнберге и успел ли я уже осмотреть домик Дюрера и старинную крепость — «бург»?..

Я вспомнил, как однажды, приехав в Нюрнберг, посетил эту крепость с ее мрачными темницами, где толпы туристов с неподдельным ужасом заглядывали в бездонный колодец, куда семь, восемь или девять столетий назад сажали преступников. Видел я и домик Дюрера, и домик Ганса Сакса — все, что составляет официальную достопримечательность и гордость города, который вот уже двадцать пять лет безуспешно пытается стереть со своего лица грязное пятно «партейтаггеленде» — громадного гитлеровского стадиона, выстроенного Шпеером столь прочно, что даже динамит не в силах смести эти бетонные, на тысячелетия рассчитанные трибуны. Другое сооружение Шпеера — гигантский амфитеатр «конгресс-халле», так и оставшийся незаконченным, — используется сейчас для хозяйственных нужд: в помещения, предназначенные для Гитлера, Геринга и Розенберга, свободно въезжают многотонные грузовики и фургоны.

Здесь властям, видимо, не очень-то хочется, чтобы гости и жители Нюрнберга связывали имя города с историей фашизма, справедливо поняв, что древний колодец-тюрьма в «бурге» — место куда менее страшное, чем «партейтаггеленде» и дворец нацистских конгрессов.

Разумеется, никакого музея нет и в здании бывшего Трибунала: ничто не должно напоминать приходящим сюда людям о последней странице минувшей войны и о приговоре, который был оглашен в том самом зале, куда я попал исключительно благодаря любезности привратника, «воспринявшего» меня чуть ли не как своего земляка...

Итак, я наконец своими глазами увидел этот зал, рисовавшийся моему воображению чрезвычайно большим, беспредельным, способным вместить в себя все человечество, суд народов. В действительности же, как и следовало

ожидать, зал был не так уж велик и при этом во время недавней перестройки значительно уменьшен в размерах. Но больше всего меня поразила скамья подсудимых — вернее, два ряда узких деревянных скамеек из мореного дуба, огороженных невысоким дубовым барьером, — закуток настолько крохотный, что казалось невероятным, что в этом закутке на этих двух узких скамеечках могли усесться двадцать человек.

И тем не менее так оно и было, и этих двух скамеечек хватило на то, чтобы усадить на них — без особой даже тесноты — почти все руководство гитлеровской Германии, всех ее главных правителей и министров, которым когда-то была тесной даже их собственная страна и которые столько говорили о «жизненном проклятии»...

Рядом со скамьей подсудимых, на отдельном столике, стоял флакон нашатырного спирта и пузырек валерьянки, и я узнал, что сейчас в этом зале судят только особо опасных преступников, только убийц, которым обычно выносят крайне суровые приговоры, так что их приходится приводить в чувство с помощью нашатыря и валерьяновых капель, хотя в тот момент, когда они совершали свои преступления и убивали людей, ни в валерьянке, ни в нашатыре они, конечно, потребности не ощущали...

Но чем отличались от этих «обыкновенных» убийц Геринг и Риббентроп, Штрейхер и Розенберг, Кальтенбруннер и Кейтель, которые в час расплаты тоже хватались за сердце, ловили ртом воздух и жалели и оплакивали только себя, свою личную трагедию?

Пытаясь выторговать себе жизнь, они искали любую лазейку, любое смягчающее обстоятельство или логическое обоснование своим поступкам, в то время как, убивая целые народы и уничтожая целые страны, они не принимали во внимание никаких обстоятельств, кроме своих низменных интересов, которые они путем длительного обмана и самообмана возвели в ранг «интересов немецкого народа».

И они говорили:

«...Если сейчас отдельных лиц, в первую очередь нас, руководителей, привлекают к ответственности и хотят осудить, — пусть будет так, однако нельзя карать немецкий народ... Немецкий народ не виновен...» (Геринг).

«Мне было дано право в течение долгих лет моей жизни действовать в условиях, которые немецкий народ породил на основе своей многовековой истории... Я счастлив сознанием, что выполнил свой долг...» (Гесс).

«...В час испытаний я не могу отречься от идеи всей моей жизни, от идеала социально умиротворенной Германии...» (Розенберг).

«Господа судьи, не произносите такого приговора, который заклеил бы весь немецкий народ как бесчестный народ...» (Штрейхер).

«Моя собственная судьба — это дело второстепенное, но молодежь — надежда всего нашего народа...» (Ширах).

«...Да защитит бог мой любимый народ и дело его тружеников, ради которых я жил! Да ниспошлет он подлинный мир человечеству!» (Заукель).

«...Я верю и признаю, что долг по отношению к своему народу и своей родине стоит превыше всего. Я считал своей честью и своим высшим законом выполнять этот долг...» (Иодль).

«...Если... ваш приговор объявит меня виновным, я сумею его перенести и принять на себя его тяжесть как последнюю жертву, которую я приношу моему народу, служение которому составляло весь смысл и содержание всей моей жизни...» (Нейрат)<sup>1</sup>.

Издавна приученные к тому, что все их злодеяния, все их преступные авантюры и махинации, вся их свинская жизнь мошеннически освящены именем поработанного ими немецкого народа, они и в последнюю минуту, как щитом, прикрывались Германией и немецким народом, надеясь в этой — последней — лжи

<sup>1</sup> См. «Нюрнбергский процесс», т. VII. Последние слова подсудимых.

найти для себя если не спасение, то хоть бы утешение и успокаивающее средство. И это был их «нашатырь», и их «валерьянка»...

Привратник, поигрывая ключом, терпеливо ждал, пока я осмыслю свои переживания.

Потом он провел меня по судебным коридорам, в окошечко показал здание внутренней тюрьмы и небольшую одноэтажную постройку, в которой в ночь на 16 октября 1946 года была совершена казнь, и, наконец, взяв меня под руку, повел к выходу:

— Сейчас я вам кое-что покажу. Видите?!

На противоположной стороне улицы, где виднелось довольно обшарпанное здание гостиницы «Юстицпаласт», не спеша проехал желтый старомодный трамвай номер 21.

— Вот здесь, — торжественно сказал привратник, — где сейчас трамвайная линия, в 1835 году проложили первую в Германии железную дорогу Нюрнберг—Фюрт... Вы находитесь на историческом месте!..

В этот день я убедился в безусловной пользе музеев.

## XVI

Макс решил отдохнуть от политики, устроил пикник — «Ausflug ins Grüne»: повез меня со своей женой и детьми в окрестности Мюнхена. Обедали в лесном ресторане «Форстхауз Мюльталь»... Шубертовский ручей, форели, лужайки в солнечных бликах.

Потом прошлись по берегу Штарнбергского озера, мимо опустевших скамеек, заколоченных ларьков: скоро зима.

— Зимой непременно надо ездить в Альпы, в Швейцарию, — сказала жена Макса. — Или вы предпочитаете Сибирь? Там, наверно, очень красиво, но холодно... Я бы не выдержала... Когда моя кузина была в Москве, ее угощали сибирскими пельменями и катали на тройках... Вы любите кататься на тройках?

Возвращались через лес, поставили машину возле сосны, к которой была прибита синяя с белой каемочкой металлическая табличка:

Здесь разрешается ставить автомобили только на ответственность владельца и только при условии, что в случае любого повреждения к лесничеству не будет предъявлено ни малейших претензий.

Макс рассмеялся.

— Это увидишь только в Германии: такой лес и такую табличку!.. — сказал он.

— Нехорошо потешаться над собственной страной, — упрекнула жена.

...К первому декабря она приготовила «Advents-Kranz» — венок с четырьмя красными свечками, гномами, ангелочками, перевитый красными лентами. Этот венок ставится на красную подставку с башенкой-шпилем, к которому прикреплена рождественская звезда... «Адвентскранц» — как бы предшественник елки, вестник приближающегося рождества. Четыре свечи, четыре недели до сочельника: каждое воскресенье зажигают по свече, и она горит всю неделю.

Этот венок жена Макса выбирала с большой тщательностью, объездила все цветочные магазины, пока не нашла подходящий, и убирала его весь вечер, подетски радуясь этому занятию...

— Ваша жена сейчас тоже, наверно, украшает свой «адвентскранц»... И дети ей помогают... Как? У вас нет рождества?! А что же есть? Новый год?..

Ах, да, вы же неверующий... А ваша жена?.. В России мы видели очень много красивых икон. У вас есть икона?..

Нет, она была неплохая женщина, жена Макса...

Она вся была поглощена хозяйством, воспитанием детей и даже в Мюнхен ездила очень редко, разве что иногда с Максом в оперу. На ней держался весь дом, в котором непременно всегда кто-то гостил: то родственники, то знакомые, порой весьма далекие, но за которыми нужно было ухаживать, и принимать как родных, и возиться с ними потому, что у ее мужа было такое правило: делать всем людям добро...

И вот в этом доме, роаясь в библиотеке Макса, я наткнулся на обклеенный черным ледерином альбом «Kriegsgruppen», то есть «Воспоминания о фронте», куда Макс, будучи солдатом, вклеивал фотографии. Это были обычные фотокарточки, которые имеются в каждой немецкой семье и которые пачками отбирались у немецких военнопленных. Макс на этих фотографиях выглядел типичным немецким солдатом — приличный немецкий юноша с гладким и ровным пробором, юноша ярко выраженного спортивного типа и, видимо, примерный сын и очень хороший товарищ. На одном снимке он изображен в кругу друзей, школьных приятелей, перед уходом в армию, на другом — во время побывки, вместе с дорогими своими родителями, братом и сестрой... Там, в альбоме, запечатлена вся его молодость: вот он в мундирчике, в брюках навывпуск, рука на ремне, лицо еще почти детское; вот он в строю, на плацу перед казармой, дата — 11.X.1941; вот — в группе солдат, в каске; и еще группа солдат, и он — в шортах, без рубахи, очень загорелый, белозубый, с напомаженным, четким пробором... У подозрительной грубы... На танке... И подписи: «В Баварских Альпах», «В Марселе», «В Венгрии», «Дома»...

И вдруг во мне шевельнулась острая неприязнь к человеку, изображенному на этих снимках, который не имел ничего общего с тем, кто вот-вот войдет сейчас в комнату, такой непохожий на свои давние фотографии, войдет сутулый, с едва намеченным пробором в поредевшей рыжей шевелюре, с доброй улыбкой и, застав меня за рассматриванием его альбома, только рукой махнет, усмехнется и скажет: «Ах, какая все это была глупость!..»

И все же это был он, а не кто-то другой, и с этим ничего нельзя было поделать, разве что только снова сунуть альбом на прежнее место, за книги, в глубину шкафа...

Но я стал листать альбом дальше и в самом конце, в «эпilogue», на последних страницах, увидел фотографии убитых друзей Макса, извещения об их гибели, вырезки из газет в траурных рамках. В Германии во время войны печатались такого рода объявления: фотография и под ней текст, например, вот такой:

«Памяти нашего любимого младшего сына и брата Германа Хольммахера, пулеметчика пехотного полка, павшего геройской смертью 27 февраля 1943 года в возрасте 20½ лет в Гонтовая-Липка во время тяжелых оборонительных боев южнее Ладожского озера».

И чуть ниже:

«На краткий срок Ты его дал нам, Господь, и он был нашим счастьем. Ты призвал его к Себе, и мы возвращаем его Тебе без ропота, но сердца наши полны скорби. Св. Иероним.

Да ниспошлет ему Господь вечную память!»

Или:

«Ушел от нас, остался с нами тот, кто был нашей отрадой,  
студ. инж.

Вернер Видермайер,

лейтенант, командир роты гренадерского полка, род. 17 января 1923 г., пал 26 июня 1944 г. на Востоке.

Мальчик наш, любимый, милый.  
Ты, ушедший навсегда.

Над глухой твоей могилой  
 В небе светится звезда.  
 Все с тобой мы потеряли:  
 Счастье, жизнь, любовь и свет.  
 И, застывшие в печали,  
 Смотрим мы на твой портрет.  
 Но в своей безмерной боли  
 Покоряемся судьбе:  
 То была Господня воля,  
 Он призвал тебя к Себе».

И, глядя на эти фотографии с их скорбными надписями, прикасаясь к чужому горю, я невольно испытывал, пусть мимолетное, сочувствие к этим мальчикам в немецких мундирах... И тут я вспомнил точно такой же альбом, где на черном ледериновом переплете — жестяной белый орел со свастикой и готическими серебряными буквами написано: «Kriegserinnerungen», альбом, который тоже открывался портретом приличного немецкого юноши в аккуратном немецком мундирчике и в пилотке, с детски-чистым лицом и веселым взглядом. А затем один за другим шли снимки: он — около танка, он — у подозрительной трубы, он — дома, на побывке, с отцом и с матерью, снова на фронте, и... он — у виселицы, на которой раскачиваются тела наших повешенных, и наконец, наконец... совершенно раздетые догола женщины перед расстрелом, как перед купанием, на крутом берегу — на краю рва. Фотографируя, он заставлял их поворачиваться спиной, наклоняться до пояса, потом вновь смотреть в объектив, стоять в обнимку и позорно: одиннадцать фотографий баварского обер-ефрейтора из города Фюрта...

Но как я смел сравнивать?! Что общего было между тем обер-ефрейтором и Максом?! Ничего! Только форму они носили одинаковую. Только форму.

\* \* \*

—...Я расскажу вам то, что еще никому не рассказывал, даже самым близким. О том, как я спасся... В тридцать девятом году, когда началась война, я учился на первом курсе. Меня взяли в армию, но, слава богу, мои родители были влиятельными людьми, с большими связями; кто только не покупал у нас книги! И меня оставили служить в Мюнхене, я был в ПВО, радистом... Это было величайшее счастье потому, что я ни в кого не стрелял и в меня не стреляли, наша часть была расположена в пригороде, в получасе езды от Мюнхена, и раз в неделю меня отпускали домой... Уже шла война на Востоке, уже в Сталинграде все было кончено, уже и на Курской дуге шли бои, а я все сидел под Мюнхеном, радрадешенек, что злая судьба меня миновала. И вот вдруг нашу часть снимают, грузят в эшелоны. Куда? Но бог снова оказался милостив ко мне: выяснилось, что едем мы не на Восток, а на Запад, во Францию, и так я очутился в Марселе, где никаких боевых действий тогда не велось, и мне ни разу не приходилось стрелять в человека...

Но вот наступил сорок четвертый год, и нас перебрасывают в Венгрию. Могу вам поклясться: судьба вновь меня пощадила, оставив в должности радиста, хотя могла сделать пулеметчиком, артиллеристом или стрелком. Вы скажете, что в этом нет существенной разницы? Может быть. Но мне легче от сознания того, что я не стрелял... Я впал бы в отчаяние, если бы мне пришлось, пусть даже в бою, обогреть руки человеческой кровью...

В сочельник сорок четвертого года я находился в Будапеште. В этот день, в пять часов вечера, русские окружили город. Наши дивизии были почти разгромлены, но продолжали еще сопротивляться. В этот трагический сочельник я осуществил первую в моей жизни коммерческую операцию. Еще за несколько дней до рождества все подъездные пути к городу были отрезаны, так что ни о каких елках не могло быть и речи. Но что за рождество без елки?.. Даже в тех кошмарных условиях людям хотелось справить свой праздник, и жители искали хотя бы еловую веточку. И вот тут мне пришла в голову «блестящая» идея: запасшись пропуском, который мне выписал мой земляк-писарь, мы, двое-трое солдат, на

нашей радиоустановке направились в близлежащий лес, нагрузили машину елками и прикатили в самый центр Будапешта... Началась торговля. Покупатели прямо-таки вырывали елки из рук, совали нам любые деньги. За сорок минут я сделался настоящим «капиталистом»...

Двенадцатого февраля поступил приказ вырваться из окружения. Это была поистине невыполнимая задача; потом уже, после войны, я где-то прочел, что лишь восемьсот шестьдесят четыре немца прорвались сквозь кольцо русских войск. Не многие сдавались в плен: боялись расправы; некоторые офицеры эссовских дивизий кончали самоубийством на глазах у солдат...

Когда русские вступили в город, мы с товарищем сидели в угольном подвале. У нас были деньги, штатская одежда, которую мы успели заранее заготовить, и французские документы, купленные нами при посредничестве одной старой дамы... Так вечером 13 февраля 1945 года на некоей будапештской улице оказались вдруг два француза: Марсель Жиро и Франсуа Дюваль. Марселем Жиро был я, Франсуа Дювалем — мой друг, тот самый шофер Зепп, который возил нас к Шпееру и Шираху...

Да, так мы стали французами и любому русскому патрулю рассказывали одну и ту же придуманную мной сказку: в сороковом году, в Вогезах, нас взяли в немецкий плен и привезли в знаменитый «Шталаг-7» близ Вены. Оттуда нам удалось бежать в Будапешт, где мы примкнули к венгерским подпольщикам, а теперь хотим возвратиться домой: Дюваль — в Париж, я — в Тулузу.

Русские были в восторге от этой истории, мы не вызывали у них ни малейшего подозрения, хотя я объяснялся с ними черт знает на каком языке: мой французский не выходил за рамки гимназического учебника, Зепп же вообще не знал ни одного французского слова и изображал из себя немного, контуженного. Спасало нас только то, что никто из встречавшихся нам русских сам не знал толком французского языка. Поначалу все шло гладко. Русские нас кормили, поили, принимали как своих боевых союзников и оказывали нам всевозможные знаки внимания.

Наконец мы покинули Буду с тем, чтобы, переправившись через Дунай, следовать дальше, на восток, а оттуда — на юг. Мы намеревались попасть через Югославию в Грецию, отсидеться там некоторое время, а затем потихоньку пробраться домой. На худой конец мы были готовы сдать в плен англичанам или американцам, только не русским, опасаясь если не расстрела, то уральских рудников или Сибири.

В те дни я впервые задумался над вопросом: что есть человек? С точки зрения советских законов мы были преступниками, беглыми немцами, которые с фальшивыми документами оказались в зоне военных действий; с точки зрения немецких законов — дезертирами, подлежащими немедленной смертной казни. Между тем мы не причинили никому никакого вреда, может быть, принесли даже пользу, отказавшись от дальнейшей борьбы на стороне Гитлера. Наши руки не были запятнаны кровью, а если рассматривать нас с точки зрения биологии, то мы ничем не отличались ни от французов, за которых мы себя выдавали, ни от русских, от которых мы старались теперь улизнуть, ни от венгров, ни от англичан, ни от поляков — ни от кого...

Что значит немец? — рассуждал я про себя. Я прежде всего человек, и это величайшая глупость и несправедливость, что земной шар разделен и разгорожен на отдельные страны — квартиры. Все мы — дети божьи, все мы — люди, и вся земля должна стать нашим общим домом... И все же я был немцем, а никем иным, и это мой народ вышел однажды из своей квартиры, чтобы разграбить и захватить квартиры соседей, и я несу за это свою долю ответственности... Об этом было легко рассуждать, но как не хотелось нести «свою долю ответственности», то есть прийти в советскую комендатуру и признаться во всем... В чем, собственно? В том, что я хочу жить, что хочу домой, к своим родителям, к прерванному войной учению в университете?..



Однажды нас привели в русский штаб. Советский майор свободно говорил по-немецки и по-венгерски, но французским языком владел хуже, чем я, и это опять нас выручило. После недолгого допроса нам устроили дружеский ужин, целовались с нами, провозглашали тосты за прекрасную Францию, желали счастливого возвращения домой. Майор выписал нам пропуска на переправу и даже предложил нам взять провожатых во избежание каких-либо недоразумений. Почему-то мы отказались... Мы вышли на улицу и тут же наткнулись на венгерский полицейский патруль. Офицер-венгр просмотрел наши документы и задал нам несколько вопросов по-французски. Боже мой! Он превосходно изъяснялся на французском языке, он двадцать лет прожил в Париже и теперь — о господи! — был рад поговорить с нами на языке своей юности!.. Зепп что-то промывчал, я отделался пустой фразой, произнесенной с ужасающим немецким акцентом, и... вы, очевидно, догадываетесь, что было дальше.

Нас привели в тот же самый штаб, где нас только что принимали с таким почетом. Мы поняли, что погибли. Отпираться было бессмысленно. Вскоре появился уже знакомый нам русский майор. Узнав, в чем дело, он пришел в неопишемую ярость. Может быть, он тут же бы расстрелял нас, но кто-то высказал мысль, что мы, наверно, крупные шпионы и нас следует допросить в более высоком штабе.

Двадцать шестого февраля 1945 года нас, арестованных, под усиленной охраной посадили на двуколку и привезли в город Тисафёльдвар, заперли в камеру и один раз по отдельности допросили... у нас отняли гражданскую одежду, выдали взамен какие-то лохмотья и через день перевели в главную тюрьму. Там в камере вместе со мной находились немецкие эсэсовцы, румынские дезертиры, какой-то венгерский еврей, сотрудничавший с гестапо, и венгерский солдат лет восемнадцати, кажется, бежавший из плена и выдававший себя за югославского партизана... Однажды ночью тюрьму бомбили немецкие самолеты, и мы решили, что сейчас нас всех расстреляют...

Утром меня вызвали на последний допрос. Мое положение было отчаянным. Мало того, что я был задержан с фальшивыми документами, у меня была обнаружена еще и большая сумма денег — выручка от продажи елок...

Советский офицер-следователь был ненамного старше меня. Он свободно говорил по-немецки, и когда я спросил, откуда он так хорошо знает язык моей родины, он ответил, что учился в Москве, посвятил себя творчеству Гёльдерлина, но не успел дописать свою диссертацию потому, что мы — немцы — вынудили его стать солдатом и пойти на войну... Это было поразительно и символично: мы — немцы — помешали русскому человеку заниматься нашим же Гёльдерлином и заставили «заниматься» Гитлером!

Я сказал, что и я не собирался воевать и тоже предпочел бы учиться, что я тоже студент и не лучше ли нам пожать друг другу руки, чем друг в друга стрелять? Он спросил: «Зачем вы нас обманули?» Я вновь изложил ему свою историю, ничего не утаивая, хотя понимал, что у него нет никаких оснований мне верить. Он поверил...

И в ту минуту, когда мне было объявлено, что я под своим подлинным именем (так же как мой друг Зепп) буду направлен в лагерь для военнопленных, я дал себе клятву, что никогда не допущу в свое сердце злобу или недоверие к человеку и что всю свою жизнь посвящу тому, чтобы мы — немцы — жили с русскими в мире. А потом был лагерь, три года в плену под Свердловском, тяжелая болезнь, возвращение...

Знаете, я никогда не рассказываю об этой истории потому, что вообще не люблю, когда люди то и дело вспоминают войну, что с ними было, в какие они попадали переплеты, — сейчас на такие воспоминания очень много охотников. А кроме того, еще могут подумать, что я ищу дружбы с русскими не из душевной потребности, а оттого, что хочу по крохам, по частям вернуть какой-то до сих пор не оплаченный нравственный долг. И вообще все это выглядит, наверно, чересчур сентиментально...

Было уже поздно, надо было идти спать, на следующее утро я улетал в Москву, а мне еще предстояло записать впечатления дня и историю Макса.

Он пожелал мне спокойной ночи, ушел, потом вернулся и, как всегда, положив мне руку на плечо, тихо сказал:

— Все будет хорошо... Все будет хорошо... Как бы ни развивались события, как бы ни сложилась дальнейшая судьба, мы с вами должны быть счастливы тем, что у нас чистая совесть. Так или иначе мы знаем, что умрем и что уже прожили большую часть нашей жизни. Но это не должно повергать нас в уныние. Я утешаюсь тем, что, живя в самых нечеловеческих условиях, в годы, когда лилась кровь, совершались неслыханные злодеяния, никого не убил, ни на кого не нанес, не причинил никому зла. Сознание этого — для меня самое большое утешение, и поэтому я совершенно спокоен. Моя вера зиждется на том, что люди самым ходом обстоятельств должны будут обратиться к рассудку...

Я хотел было возразить Макс, что одного этого сознания еще недостаточно для счастья, и затеять с ним спор о существовании гуманизма. Но Макс, как бы предвидя мои возражения, уже заключал:

— Да, каждый день мы должны быть готовыми к смерти, но при этом любить жизнь и выполнять свой долг так, как если бы у нас впереди была вечность...

## XVII

Незадолго до моей поездки в Мюнхен поэт Ганс Магнус Энценсбергер прислал мне сборник своей публицистики. На страницах 12—13 этой запальчивой книги я прочел: «Из нашего национального «самосознания» вырастают порой диковинные цветы, но всего поразительней то отношение к Советскому Союзу, которое мы сумели выработать. Само собой понятно, Советский Союз — наш заклятый враг, тут и думать нечего. Но дело не только в этом: в Западной Германии широко распространено убеждение, будто Советский Союз причиняет нам величайшую несправедливость. Советам нельзя доверять: они жестоки и коварны, бояться их — наша гражданская обязанность. При этом они, разумеется, нам и в подметки не годятся: во всем, что касается культуры, прежде всего.

Передо мной лежит небольшая карта. Она называется: «Людские потери во второй мировой войне». На карте изображены кресты. Каждый крест равен одному миллиону убитых. Я вижу пять крестов на Германии, пять крестов на Польше и один — на Югославии. Двадцать таких крестов я нахожу возле слов: «Советский Союз».

В небольшом музее в Ленинграде я видел кусочек заплесневелого хлеба величиной с мизинец. Таков был в зимние месяцы блокады дневной паек для жителей осажденного немцами города. Он был меньше того, что получали узники Бухенвальда.

Не думаю, что кто-либо в Западной Германии пытается «преодолеть» это прошлое. Тут едва ли годятся ставшие привычными ритуалы, ибо преодоление этого прошлого требует не молитвенных упражнений, а конкретных политических акций...»

Свою книгу Энценсбергер снабдил дарственной надписью: «...в место либрарии».

«Либриум» — распространенное лекарство против отрицательных эмоций, для успокоения нервной системы...

Я запомнил еще один вечер в Мюнхене, разговор в узком интеллигентном кругу. Собрался, как у нас принято выражаться, «профессорско-преподавательский состав» и одна дама, пианистка, — люди, настроенные подчеркнута европейски. Это не то чтобы мода, но у многих сейчас появилось ощущение «европеизма», инстинктивное противодействие надоевшему «американизму», которым еще недавно так увлекались. Считают себя скорее скорее европейцами, чем немцами, что в какой-то мере объяснимо: безвизовый проезд в западноевропейские страны, ши-

рокие и повседневные межъевропейские контакты («Я сегодня слетаю в Брюссель, завтра вернусь») и т. д.

И тем не менее все это были, конечно, немцы, и в ходе нашего «полусветского», ни к чему не обязывающего разговора пианистка неожиданно спросила, что же я напишу о своих немецких впечатлениях, когда приеду домой? Позитивная ли у меня сложилась картина или негативная?.. И все, кто присутствовал в комнате, вдруг умолкли и уставились на меня, словно от того, что я о них напишу, что-то зависит, будто им и в самом деле так важно знать мое мнение. Но, очевидно, им было действительно важно, что думает о немцах (в данном случае о западных) человек из Советского Союза, из России, способен ли он оценить их гостеприимство, их радушие и добрую волю к человеческому общению. И они смотрели на меня, ожидая моей оценки, хотя слово «оценка» имеет, как известно, два значения: мнение и цена, стоимость...

Я тогда ответил несколько уклончиво, сказал, что постараюсь написать только то, что видел, ничего не прибавлю...

И все закивали головами, и снова заговорили кто о чем — о выставке Макса Бекмана, о рациональном питании, о президенте республики и об «этих кретинах из НДП». Возник даже небольшой спор, стоит ли запрещать партию Таддена или нет, и кто-то выразил мнение, что запреты ничего не дают, просто нужно воспитывать людей в таком духе, чтобы неонацисты провалились «сами по себе», другие же, наоборот, высказались за то, чтобы правительство «вмешалось и запретило».

Нет, все они, безусловно, были против нацизма, против «диктатуры», они от одной мысли содрогались, что это может когда-нибудь вновь повториться, и тогда, тогда...

— Вы понимаете, нет ничего хуже тоталитаризма, потому что он абсолютно лишает человека выбора. Сейчас я могу делать что угодно, соглашаться с правительственной политикой или протестовать, жить здесь или уехать... А при тирании?! Ах, конечно, я не стану убийцей или доносчиком, я и тогда попробую выкрутиться, но пассивным пособником зла я так или иначе сделаюсь, потому что превращусь в рыбку, которая не может выпрыгнуть из аквариума. Вот и все...

Это сказал профессор.

— Нет, вы не правы, — возразил ему другой профессор, — потому что в любых условиях человек должен оставаться человеком. Вспомните «Белую розу»!..

— Господа, не притворяйтесь, — сказала пианистка, — не знаю, как вы, но я честно признаюсь, что я бы не выдержала, выдала бы всех, самых близких, наговорила бы бог знает что, если бы меня стали бить... Я просто не переношу боли: даже когда мне дергают зуб, я кричу... А что бы я стала делать, если бы меня привели однажды в гестапо?..

И они продолжали говорить о фашизме как о величайшем неудобстве для честных людей потому, что подлецу все равно, при какой системе жить, подлец на то и подлец, чтобы совершать подлости, а вот честному человеку нужно создать подходящие условия, чтобы проявить свою честность, не рискуя при этом своей головой.

— Вы говорите «народ», — сказала пианистка. — Но что может сделать народ? Он темен, сбит с толку, он верит тому, что пишут в газетах... Нет, нет, не думайте, что я смотрю на народ свысока. Народ хорош, добр, трудолюбив, все это правильно, ни один человек не хочет войны. Прекрасно, не так ли?.. Но вот народу начинают внушать: нам угрожает опасность, надо обороняться, мы должны быть едиными и т. д. и т. п. И люди постепенно начинают проникаться осознанием «национальных задач»... Однако предположим, что «критическое мышление» победило, народ все понял, он не верит официальным речам — все в порядке... И тут вдруг приходит призывная повестка. Что делать тогда?..

Словом, получалось, что ничто от них не зависит, вообще ни от кого ничто не зависит (значит, никому ничего не следует делать, как как это все равно бес-

полезно), и если я пишу о нацистских преступниках, то мне необходимо учесть, что, допустим, тот же Кристман не стал бы начальником эссовской зондеркоманды, если бы не было СС и такой должности — «начальник зондеркоманды». Свято место пусто не бывает, и если существует такое «место», как место палача или шефа гестапо и на самом вершине место фюрера, то должен же его в конце концов кто-то занять. Но если существует место палача, то существует и место жертвы, следовательно, и место героя, которое было бы для них одним из самых неудобных и трудных мест.

— Не дай бог, — сказал, кажется, первый профессор, — дожить до того времени, когда нам опять потребуются герои. Человек должен жить естественной жизнью и умирать естественной смертью у себя в постели, а не на поле боя и не на гильотине... Давайте отстаивать наши духовные ценности, но не станем забывать, что мы сами представляем собой кое-какую ценность. Следовательно, постараемся сохранить прежде всего самих себя...

И, рассуждая таким образом, они понемногу успокоились, и разговор вернулся в благополучное русло — это был один из тех бесчисленных беспредметных разговоров, которые ведутся в интеллигентских салонах людьми, не знающими, что их ждет завтра, и совершенно неуверенными в том, на каком стуле им придется завтра сидеть: в профессорском кресле или в министерском, на жестком стуле просителя или на скамье подсудимых, на которую их безжалостно посадит грубая, слепая сила.

И, прощаясь со мной, они протянули мне «руку дружбы» и повторили то, что я уже слышал не раз:

— Мы не хотим, чтобы русские думали о нас плохо... Ведь столько за эти годы накопилось недоброго — и все из-за политики, из-за пропаганды. Люди ужасно дезинформированы...

\* \* \*

Из Мюнхена мне позвонил Макс:

— Ну как дела, как здоровье?.. На днях встретил Фрица Вагнера, вы помните? А вчера звонил Шпеер, спрашивает, как ваша книга, наверно, беспочвонится, каким он у вас получился...

А я слушаю его голос, и мои мюнхенские встречи кажутся мне все более неправдоподобными, совсем уж потусторонними, хотя все, что я узнал и увидел, к сожалению, существовало в действительности.

В мемуарах Шпеера, изданных отдельной книгой<sup>1</sup>, которую он прислал мне с многозначительной дарственной надписью («...с пожеланием, чтобы эта книга хоть в малой степени способствовала «преодолению» будущего»), я обнаружил одно поразившее меня место. В 1937 году на Всемирной выставке в Париже Шпеер, оказывается, был удостоен главного приза — «Гран при» — за проект нюрнбергского «партайтагеленде», стадиона, о котором уже не раз упоминалось в этих заметках.

Ровно три года спустя в Париж вступили те, кто получил идеологическую, духовную и эмоциональную оснастку именно на том стадионе, за который золотая лауреатская медаль была вручена здесь, во Франции, ближайшему другу и личному архитектору Адольфа Гитлера. Сопровождая фюрера во время осмотра поверженной французской столицы, Шпеер услышал оброненное Гитлером замечание, что надо «стереть с лица земли этот город, который он сам же считал красивейшим городом Европы, полным бесценных памятников».

Странная нить протянулась от возведения нюрнбергского стадиона к падению Парижа, но так все оно и было: была политика умиротворения агрессора, были попытки западных демократий щегольнуть объективностью, сохранить беспристрастность, было и глубоко запрятанное преклонение перед силой, была беспочвенная вера в возможность сосуществования с фашизмом, с Гитлером...

Была мировая безнравственность и мировая глупость.

<sup>1</sup> Albert Speer. Erinnerungen. Propyläen. Verlag. 1969.

Вот почему в эклектичном и претенциозном творении немецко-фашистской архитектуры многие просвещенные люди сознательно захотели увидеть выдающееся достижение современной цивилизации.

Но чем уступчивее и лояльнее по отношению к Гитлеру старался быть Запад, чем истовее он демонстрировал перед ним свою «добрую волю», тем большим презрением, как свидетельствует Шпеер, проникался Гитлер к этому «слабому, безвольному и изъеденному декадансом Западу», тем большей была его убежденность в том, что Англия и Франция «слишком слабы и ничтожны», чтобы оказать ему какое-либо противодействие, и тем неотвратимее была его решимость начать мировую войну.

В 1936 году из Парижа, из Лондона, из многих столиц и стран мира (кроме СССР) в гитлеровскую Германию съехались лучшие спортсмены, чтобы принять участие во всемирных олимпийских играх, и на той земле, где уже существовали Дахау, Бухенвальд и Заксенхаузен, вертелись на брусках гимнасты, состязались пловцы и боксеры, прыгали легкоатлеты, и прославленный американский спортсмен негр Джесси Оуенс, ставший олимпийским чемпионом, сияя от счастья, подбежал к трибуне, на которой стоял германский рейхсканцлер, но Гитлер отвернулся, чтобы не пожимать ему руку. «Да,— говорил тогда Гитлер Шпееру,— в 1940 году олимпийские игры состоятся еще раз в Токио. Но это не страшно, это будут последние олимпийские игры не на немецкой земле, а потом уже до конца времен они будут проходить только в Германии и только на этом стадионе, и каким будет этот олимпийский стадион, будем определять только мы».

А между тем всего лишь за год до этих олимпийских игр писатели мира, собравшиеся в Париже на конгресс в защиту культуры, говорили, разъясняли, вдалбливали в голову человечеству, что собой представляет фашизм и что творится в Германии, где, по свидетельству не названного по имени очевидца, нелегально прибывшего в Париж из «государства лицемеров и палачей» и выступавшего на конгрессе в маске, «нет ни одного места, где можно было спокойно работать, ни одного места, где можно было стучать на машинке, не думая о том, что вдруг распахнется дверь и агенты гестапо спросят: «Что вы пишете?»...»

В те июньские дни 1935 года в Париже много было затронуто эрудиции, интеллекта и высокого красноречия для того, чтобы люди поняли простую истину, что все, что происходит в Германии с немцами, может произойти с каждым из них и что удушение культуры самым непосредственным образом ведет к удушению людей.

И ведь какие имена там были представлены, какие авторитеты там выступали или прислали конгрессу свои приветственные послания!

Но их голоса не были услышаны западными политиками, а Гитлер примерно в эти же дни, сравнивая свою популярность с популярностью Лютера, говорил Шпееру: «Для меня есть только две возможности: либо полное претворение в жизнь моих планов, либо столь же полный их крах. Если мне удастся их претворить, я становлюсь одним из величайших людей в истории. Если я потерплю крах, я буду оплеван, обвинен и предан проклятию»...

...Концепцию своих мемуаров, задуманных как исповедь и книга жизни, Шпеер тщательно выверил, взвесил, вычертил, как чертеж. Его книга построена по законам архитектуры и напоминает архитектурное сооружение, в котором предусмотрено все: фасад, интерьеры, внешняя отделка, парадный вход и запасные выходы.

Тот, кто захочет найти в этой книге раскаяние, может прочесть немало страниц, полных самоосуждения, вплоть до признания Шпеера, что он несет личную ответственность за Освенцим и что самый суровый приговор был бы недостаточным для того, чтобы покарать его за все, что он совершил.

Тот, кого тянет заглянуть в правительственные кабинеты третьего рейха, может получить подробную информацию об атмосфере нравственной коррупции, интриг, праздности, алчности и мании убийств, которой была охвачена вся гитле-

ровская правительственная верхушка, включая Шпеера и, конечно же, самого Гитлера.

Тот, кого занимают проблемы технократической аморальности, несомненно, обратит внимание на такие слова Шпеера: «Один американский историк сказал обо мне, что я любил машин больше, чем людей. Он был не так уж не прав, ибо вид человеческих страданий задевал лишь мои чувства, но отнюдь не влиял на мое поведение». Более того, он узнает, что технократическая «слепота» Шпеера была «на р о ч и т о й» и что Шпеер, как министр, сам устанавливал «меру своей отстраненности» от реального положения вещей, «интенсивность своих уверток и степень своей причастности» к тому, что... «закончилось Майданеком и Освенцимом».

Даже в таком сложном для Шпеера месте, где рассказывается, как на предприятиях «Миттельверке» в «варварских условиях», в мокрых от сырости подземных пещерах, изнемогая от непосильного труда, тысячами погибали угнанные в Германию иностранные рабочие и военнопленные, Шпеер, пожалуй, не склонен прятаться за спину Заукеля или Гиммлера (чего, откровенно говоря, я от него ожидал, приступая к чтению его мемуаров), а, напротив, подчеркивает «чувство личной вины», которое охватывает его всякий раз, когда он вспоминает о загубленных им людях...

Словом, многое можно прочесть в этой с умом написанной книге: от общеполитических и философских рассуждений до таких «частностей», как организация военного производства в гитлеровской Германии со всеми ее пороками и просчетами,— главы, в которых, помимо всего прочего, содержится и «скрытый» совет, как следует организовывать подобное производство с наибольшей рачительностью и целесообразностью. И если книгу Шпеера прочтут нынешние фабриканты оружия, то и они, отбросив шпееровские рассуждения о раскаянии, смогут почерпнуть из нее нечто чрезвычайно важное в практическом смысле.

И все же о чем бы Шпеер ни писал, с какой степенью искренности он ни осуждал бы себя и свое прошлое, основная идея его книги, в которой значительная часть отведена архитектуре, сводится отнюдь не к тому, что кажется в ней главным.

Рассказывая о прожитой жизни, Шпеер просит читателя рассматривать его в первую очередь как архитектора, и книга его задумана прежде всего как история творца, связавшего себя с дьяволом: традиционная немецкая национальная версия и современный вариант старинной германской притчи, воплотившейся в «Фаусте». «Ради того, чтобы строить,— пишет Шпеер,— я был, подобно Фаусту, готов продать душу. И вот я нашел своего Мефистофеля. Он оказался не менее ловким искусителем, чем гётевский».

Но Шпеер не был Фаустом...

Да, Шпеер не был Фаустом, и если уж вспоминать гётевскую трагедию, то есть в ней другой персонаж — Вагнер, своеобразный антипод Фауста, олицетворение посредственности, неспособной к творческому созиданию, к творческому порыву, ради которого не жаль заложить душу даже самому дьяволу.

В те годы, когда Шпеер, которого знатоки считали посредственным эпигоном Шинкеля<sup>1</sup>, стал главным архитектором Германии, лучшие представители немецкой архитектуры были (не без содействия самого Шпеера) лишены возможности работать, изгнаны из институтов и академий, выдворены за пределы своей родины или заточены в тюрьмы. Это было время, когда в Германии всякое созидательное творчество находилось в состоянии клинической смерти. И в покинутой Фаустиами стране на «вакантную» отныне роль Фауста Гитлер назначил Вагнера, Вагнера в эсэсовском звании, Вагнера-администратора, возомнившего себя творцом, Фаустом.

Но в той же степени, в какой Шпеер не был Фаустом, Гитлер не был и Ме-

<sup>1</sup> Карл Фридрих Шинкель (1781—1841) — известный архитектор, представитель немецкого классицизма в архитектуре.

фистофелем. Здесь все было фальшью, и фальшивая схема отомстила сама за себя: Лже-Мефистофель трусливо принял яд, а Лже-Фауст, средней руки архитектор, стал военным преступником.

Так внутренняя фальшь подточила искусное построение, созданное Шпеером в его мемуарах, где самовозвеличивание расчетливо выступает под видом само-разоблачения, и так, уже в конце моих очерков, для меня неожиданно разрешилась «психологическая загадка» Альберта Шпеера.

Но можно ли при таком отношении к прошлому «преодолеть» будущее?

## ВМЕСТО ЭПИЛОГА

23 сентября 1942 года в 8 часов 55 минут от вокзала Ле Бурже в Париже отошел в направлении Освенцима очередной эшелон. Сопровождавший транспорт фельдфебель Ульмайер имел при себе бумагу, подписанную оберштурмфюрером СС Рётке, в которой указывалось, что заключенные в количестве тысячи человек отобраны по разнарядке оберштурмбанфюрера Эйхмана.

Примерно в это же время, может быть чуть раньше, специальным поездом в салон-вагоне в Париж из Берлина прибыл представитель германского МИДа, сопровождавший группу иностранных журналистов.

Корреспонденты должны были ознакомиться с жизнью оккупированной французской столицы, а затем — по радио и через прессу — оповестить весь мир о гуманности победителей и о несокрушимости германского оружия, то есть что Франция, с одной стороны, по сути дела ничем не ущемлена, а с другой, что Германия представляет собой неодолимую силу, бороться против которой бесполезно, да и бессмысленно, так как ничего страшного в немецкой оккупации нет и население Парижа чувствует себя в основном превосходно: рестораны работают, Эйфелева башня на месте, Лувр открыт.

Журналистов сопровождал также уполномоченный министерства пропаганды, командированный Геббельсом...

Так каждому было предназначено свое, и каждый выполнял свою функцию: корреспонденты, представители двух министерств, Эйхман, Рётке, фельдфебель Ульмайер.

Что же касается узников, то и у них была своя функция — сгореть...

Если бы люди могли знать, что их ждет хотя бы в недалеком будущем, то многие бы, наверно, действовали осмысленней. Возможно, что Рётке порвал бы подписанную им бумагу, Эйхман отказался бы от своих разнарядок, а министерские уполномоченные постарались бы, покуда не поздно, выпрыгнуть из салон-вагона даже на ходу поезда... Но 1942 год был отделен от 1945-го тремя годами — отрезок времени не столь уж большой и все же достаточно большой, чтобы с ним мог совладать дисциплинированный службистский разум, и поэтому все шло своим чередом: ни тот, ни другой поезд не остановился, а продолжал следовать по назначенному маршруту.

На тот случай, если бы поезда встретились и журналисты увидели бы эшелон, идущий в Освенцим, у представителей министерств имелось в запасе несколько заранее подготовленных версий и утвержденных начальством фраз, среди которых была и такая: «Мы взяли на себя самую грязную, самую неблагодарную работу во имя грядущих поколений».

Именно эту фразу как-то произнес немецкий дипломат одной шведской журналистке, когда они оба, стоя у вагонного окна, заметили проходящий мимо транспорт, «сформированный» Эйхманом...

Но в тот раз все обошлось благополучно и никаких эксцессов зарегистрировано не было...

На станции Козле узников выгрузили из эшелона и произвели селекцию: немецкий политэмигрант, участник антигитлеровского Сопротивления во Фран-

ции, коммунист Курт Бахман предназначался для работы в концлагерях при заводах «Борзиг» в Верхней Силезии. Его жена получила свое назначение — в газовую камеру. Осенью 1942 года она погибла в Освенциме.

А представитель германского МИДа, так же как представитель министерства пропаганды, выполнив задание, вернулся из своей парижской командировки в Берлин...

У каждого своя функция и своя миссия в жизни. В подземных лагерях «Дору» министр вооружения третьего рейха Альберт Шпеер приступил к строительству секретного оружия. Министр считал себя ответственным за судьбу Германии и за судьбу государства, вне и без которого пошла бы под откос его собственная судьба, и поэтому, как известно, требовал от поступающих в «Дору» узников только одного — работы... После того, как они становились «неприглядными», их можно было уничтожить, ибо на этом их функция заканчивалась...

...«Марш смерти» из каторжных лагерей Верхней Силезии начали 3650 узников, но до ворот с надписью «Каждому — свое» дошли всего лишь четыреста. Среди них было девять коммунистов, в числе этих девяти был Курт Бахман.

В Бухенвальде при сортировке его признали годным к работе в подземельях «Доры»...

Пути человеческие неисповедимы. Все знают, что стало со Шпеером, с Эйхманом... Оберштурмфюрер Рётке, сделавшись адвокатом, недавно скончался в городе Вольфсбург. Бывший сотрудник министерства иностранных дел — г-н Кизингер, сопровождавший журналистов в пропагандистский вояж, стал федеральным канцлером Западной Германии.

Что в этом странного? Времена меняются, каждому — свое, у каждого своя функция, и поезда идут в разные стороны...

А узники сгорели, давным-давно превратились в дым, в пепел.

Не все...

Когда Курта Бахмана определили в «Дору», он сказал: «Нет»... Он не хотел строить ракеты, которые были так необходимы министру Альберту Шпееру. Но Шпеер бы наверняка рассмеялся, если бы узнал, что некий узник Бахман считает себя ответственным за судьбы Германии...

Коммунистическое подполье организовало спасение Бахмана: его упрятали в барак, куда не заглядывала эсэсовская охрана; три месяца он пролежал среди мертвецов и тифозных больных...

Вот неполный перечень лагерных этапов, через которые прошел Курт Бахман: Иоганнесдорф — Ратибор — Пейскретшам — Блеххаммер — Бухенвальд... В подполье концентрационного лагеря Сименс-Планиа он выполнял функции радиста: на короткой волне 29,8 метра принимал передачи из Москвы, которые тут же распространялись среди узников и рабочих Сименса.

В это же время будущий канцлер со своей стороны отвечал за радиопропаганду в министерстве Риббентропа...

Биографии Кизингера и Курта Бахмана иногда сравнивают потому, что и тот и другой являются сейчас лидерами западногерманских политических партий: один возглавляет ХДС, другой — ГКП, Германскую коммунистическую партию.

Жизнь произвела свою «селекцию», свой отбор.

23 июня 1969 года Курту Бахману исполнилось шестьдесят лет.

Я встретился с Бахманом в Кёльне 13 июня 1969 года.

### Разговор с одним немецким коммунистом

...И вот он пришел, этот человек с усталым, худым лицом, с жесткими глазами, в просторном костюме цвета его чуть всклокоченных серых волос.

Он слушал меня с товарищеской заинтересованностью и вместе с тем с легким оттенком не то чтобы недоверия, а проверки: очевидно, привык, слушая собеседника, проверять его взглядом своих жестких глаз, пытаюсь понять, что стоит за словами.



Иногда он кивал головой, иногда лицо его делалось отчужденным, холодным, как бы отталкивая от себя слова, которые он считал неточными или неправильными.

— Германия всегда щадила своих преступников,— сказал он наконец после того, как в течение получаса слушал мой рассказ о будущей книге.— В 1848 году мы не казнили своих королей, в 1918 не казнили кайзера, Гинденбурга, Людендорфа, которые загубили миллионы немцев... В 1945 году Геринга, Кальтенбруннера, Кейтеля судили не мы!.. Германская реакция испокон века считает себя «бессмертной», безнаказанной: страх перед возмездием ей не привит до сих пор!.. Восемьдесят процентов осужденных западногерманскими судами нацистских преступников реабилитированы... Да и кто их судит?.. Сейчас они придумали себе новую лазейку: этим законникам понадобились доказательства, что преступления были совершены из низменных побуждений. Но как это доказать? Кто докажет? Их прокуроры?! — Он горько усмехнулся.— Скажите, вы встречали хотя бы одного нациста, который признал, что действовал из низменных побуждений? Тех, кто на самом деле хочет раскаяться, выбрасывают из окон, убивают из-за угла или принуждают к самоубийству. Вы знакомы с делом Завады? Его нашли мертвым... Слушайте, давайте говорить языком политики: о каком «раскаении» может идти речь, если самый нацистский режим здесь не считается преступным! Сановникам Гитлера выплачиваются бешеные, колоссальные пенсии! Известен ли вам случай, чтобы кто-нибудь из этих «кающихся грешников» не принял эти деньги, пожизненную плату за свою постыдную службу?.. Чему удивляться? Правительственный аппарат, МИД, полиция, армия, прежде всего экономикка воссозданы руками тех, кто привел к власти Гитлера. Знаете ли вы о том, что «ваш» Шахт в пятидесятых годах разъезжал по Западной Европе и Америке с лекциями, вербуя сторонников Аденауэру?.. Корни зла ищите в нацизме...

Он побуравил воздух указательным пальцем, словно добираясь до этих «корней».

— Если вы хотите написать правдивую, н у ж н у ю книгу, постарайтесь вникнуть в суть явлений, а не ищите их на поверхности. Параллели между фашизмом вчерашним и фашизмом сегодняшним выходят за рамки чисто внешних, словесных совпадений и не ограничиваются одной НДП, которая, конечно же, пользуется правительственной поддержкой, несмотря на кое-какие разногласия и перебранку между Тадденом и некоторыми официальными лицами. Нам, как марксистам, важна суть! А эта суть состоит единственно в том, что и те и другие стремятся к моральной, экономической и военной гегемонии, чтобы стать определяющим фактором если не во всем мире, то хотя бы в Европе. И кое-чего они надо сказать, достигли. В финансовой, в экономической области это уже есть! Существует сознание собственной силы, самоуверенность, все чаще в их даже официальных речах проскальзывает некий покровительственный тон в отношении англичан, французов, американцев...

Он говорил, считая себя обязанным разъяснить мне то, что считал самым главным.

— Вновь подняло голову страшное чудовище немецкого национализма: мы — немцы, мы можем все, мы совершили «экономическое чудо», мы — послушайте, как это звучит! — даже в ГДР, в «восточной зоне», в условиях коммунизма, достигли высокого уровня жизни и высокой производительности труда! Вы поняли? Даже социалистические завоевания ГДР они не прочь «присвоить себе», отнести их на «общенациональный счет», объяснить исключительно пресловутым немецким трудолюбием и национальной способностью «производить»!..

Сейчас они вновь вытаскивают на свет божий идею так называемого «национального самосознания»: традиции прошлого, идеализация старины, фигуры махровых реакционеров из числа «великих немцев», от которых действительно великих немцев в тошнито на протяжении всей нашей истории... О нет, я вовсе не против романтических памятников старины, не против музеев, хотя любой из этих памятников можно истолковать и использовать по-разному, особенно в условиях

господства реакции, в атмосфере, насыщенной шовинизмом. Но попробуйте об этом сказать! Они тут же поднимут крик: «Что же, по-вашему, выходит, что немцам нельзя любить свою родину, гордиться своей историей?..» Почему же нельзя? — говорим мы. Можно. Нужно... Но какую родину любить, какой историей гордиться? Почитайте школьные учебники. Никто из этих «патриотов» и «ревнителей старины» не вспоминает ни Томаса Мюнцера, ни силезских ткачей, ни героев революции 1848 года, ни Бебеля, ни Либкнехта!

История для них это — Фридрих Барбаросса, Фридрих Второй, Бисмарк, «ратные подвиги» ландскнехтов, гнусная «идиллия» мещанского быта!.. Даже свой сталинградский позор, эпопею разгрома, они рассматривают с точки зрения выносливости германского солдата, который «в невыносимых условиях русской кампании» выполнял свой «воинский долг», хотя исполнение такого долга объективно было величайшим национальным преступлением!..

Мошеннически, мало-помалу, исподтишка они вновь реабилитируют Гитлера. Ведь это — частица их истории, их биографии, их прошлого, с которым они упорно не хотят, да и не смогут расстаться. «Гитлер обладал магической силой, Гитлер завораживал людей» — это вы найдете во всех их мемуарах, рассчитанных на обывателя, жалкая попытка самооправдаться и «самоутвердиться» одновременно! Но кого «завораживал» Гитлер? На кого распространялась его «магическая сила»? На Шахта? На Круппа? На Шираха? На толпы оголтелых, охваченных звериной алчностью лавочников? Почему эта «магическая сила» не могла поднять под себя коммунистов, героев подполья, да и вообще тех немцев — а их было не так уж мало! — которые сохранили совесть и разум?!

В какое, должно быть, уныние впали бы многие из встреченных мной персонажей, окажись они сейчас здесь, при этом разговоре. Неужели все было напрасным: борьба Гитлера, «особые мероприятия» Гимmlера, разнарядки и транспорты Эйхмана, печи Дахау, если двадцать пять лет спустя существуют люди, которые когда-то были всего-навсего безымянными лагерными номерами, а теперь вновь обрели имя, и не только имя, но и силу и возможность вновь вмешиваться в дела их Германии?.. Кто виноват в подобной «недоработке»? С кого теперь спрашивать?..

Он продолжал:

— Впрочем, национализм может выступать и под маской «европеизма» — особо опасный и распространенный у нас вид мимикрии. Кое-какие отголоски этого нового жульничества я уловил из вашего рассказа о встрече с Ширахом... Подумайте: Бальдур фон Ширах — «космополит», «европеец»! И тот натовский генерал, редактор журнала!.. Но что значит европеизм в их толковании?.. Какой бы объединенная Западная Европа ни была, ведущей силой, по их убеждению, должны стать они сами. Я уже говорил, что в экономической области они многого добились, теперь речь идет о гегемонии в политике. Как только это будет достигнуто, все «атомные ограничения», которые пока еще существуют, отпадут, и тогда они будут диктовать свою волю — сперва вместе с Соединенными Штатами Америки, а потом — по возможности — и без них...

Я старательно записывал в блокнот его слова, и он, заметив это, сказал:

— Я не собираюсь читать вам лекцию, но если кое-что из того, что я говорю, прольет хоть какой-то свет на ваши здешние встречи, это, на мой взгляд, может принести известную пользу...

Вновь передо мной промелькнули те, с кем я встречался в их особняках, апартаментах, квартирах, в кабинете у Макса. Какой багаж приволокли они в сегодняшний день? Чему научило их прошлое?.. Но теперь я видел их в новом для меня свете, очищенными от эмоциональных наслоений, занявшими позиции, на которых они закрепились и с которых мой собеседник их сшибал, сталкивал обратно в небытие, как бы подводя черту под моими потусторонними встречами...

Мы заговорили о возможных перспективах, о расстановке политических сил,

о молодежи, за которую, как он сказал, «стоит побороться, понять ее, помочь ей найти себя, направить стихийный протест молодых в верное русло»...

Под конец он не произнес традиционных слов о трудностях борьбы и неизбежности победы: для него это подразумевалось само собой потому, что жизнь продолжается, борьба между добром и злом не стихает и поезда идут в разные стороны...

Ноябрь 1968—сентябрь 1969 г.

### О «МЮНХЕНСКОЙ ТЕТРАДИ» ЛЬВА ГИНЗБУРГА

*Новое документальное повествование Льва Гинзбурга «Потусторонние встречи», несомненно, вызовет большой интерес. Как и в своих предыдущих работах («Цена пепла», «Бездна»), писатель вновь касается важнейших проблем, которые продолжают занимать умы и сердца современников: в чем состоит, если так можно выразиться, социально-психологическая подоплека и сущность фашизма, что двигало поступками людей, совершавших неслыханные в истории злодеяния, как отразились звериная «теория» и практика фашизма на отдельных человеческих судьбах? Но если в «Бездне», книге, получившей общественное и литературное признание в нашей стране и за рубежом, Л. Гинзбург рассматривал эти проблемы на более или менее «локальном» материале судебного процесса, проходившего в 1963 году в Краснодаре над группой гитлеровских пособников, изменников родины, то персонажами «Потусторонних встреч» — фигуры, простой перечень которых дает основания предполагать, что автор широко раздвинет масштабы своих прежних исследований и предоставит нам возможность заглянуть в сокровеннейшие тайники фашистской системы, лицом к лицу столкнуться с главными организаторами и вдохновителями нацистского зла, а также с их ближайшим, непосредственным окружением и, сопоставив их вчерашний облик с сегодняшним, поможет нам под новым углом зрения взглянуть на современный западный мир, и прежде всего на ФРГ, где, собственно, и происходит основное действие повести. С этой нелегкой, но важной художественной и публицистической задачей Лев Гинзбург, на мой взгляд, вполне справился. В самом деле: встречаясь в обстановке сегодняшней и ей Западной Германии с такими «потусторонними» персонажами, как Бальдур фон Ширах, Яльмар Шахт, Альберт Шпеер, Герман Эссер, как личная секретарша Гитлера Юнге или сестры Евы Браун, мы с особой силой сознаем, что все эти люди так или иначе обрели свое место в нынешней западногерманской жизни, закономерно «вписались» в западногерманский социальный «пейзаж»; более того, каждый из них является своеобразным носителем тех или иных опасных тенденций, господствующих в ФРГ, к которой, как к источнику беспокойства и напряженности в Европе, приковано присторженное внимание мировой общественности... Достаточно вспомнить позорную реабилитацию Гитлера и гитлеровской шайки в фальсификаторских измышлениях старейшего нациста Германа Эссера, оголтелую проповедь великогерманского шовинизма, выпирающую из разглагольствований «самого» Яльмара Шахта, зловещее политическое шутовство неразоружившегося рейхсгендфюрера Шираха, «философские» метания между ложью и полуправдой «выбитого из игры» Шпеера...*

*Почти четверть века назад мне довелось допрашивать некоторых из этих людей, а именно Шираха и Шахта, в качестве главных немецких военных преступников, еще до начала Нюрнбергского процесса, а затем и в зале Нюрнбергского суда, наблюдать их в течение довольно длительного времени, и я, признаться, с особым интересом читал те главы, в которых Л. Гинзбург рассказывает о своих встречах в 1968—1969 годах с этими ближайшими сообщниками Гитлера. Что произошло с ними через два с лишним десятка лет? Появилось ли у них подобие раскаяния, отвращения к своему прошлому? В какой мере совпадает позиция, занятая, допустим, Шпеером и Ширахом на Нюрнбергском процессе, с их высказываниями, которые они делают сегодня, спустя целый исторический период, после двух десятилетий, проведенных ими по нюрнбергскому приговору в одиночных камерах тюрьмы Шпандау?..*

По правде говоря, даже такие люди, как Шпеер и Ширах, могли бы при желании принести известную пользу, предостерегая западных немцев и особенно молодежь ФРГ от роковой опасности любых рецидивов нацизма и возникновения неонацизма, то есть фашизма новой формации. Уж им-то хорошо известно, что означает нацизм на практике, какие бедствия несет он народам и прежде всего самим немцам. Не случайно Л. Гинзбург под впечатлением своей встречи со Шпеером невольно задается вопросом: возможно ли «нравственное перерождение» Шпеера?..

Но вот недавно вышла книга Альберта Шпеера «Воспоминания». Насколько можно судить по этой книге, у Шпеера не хватило мужества и честности призвать своих соотечественников к осуждению прошлого, к предотвращению рецидива нацизма, угрозы новой войны. И хотя он снова признает свою ответственность за тяжчайшие преступления нацистского режима, справедливость нюрнбергского приговора и делает это даже шире, чем раньше в своем последнем слове на Нюрнбергском процессе в 1946 году, эти признания, как и прежде, сопровождаются многочисленными недомолвками, маскируются различного рода отвлечениями и лишь создают видимость самоосуждения. В этом можно убедиться, ознакомившись с новыми документами, опубликованными в ГДР в сборнике «Анатомия войны», уже в который раз раскрывающими преступную роль германских монополий в развязывании агрессивных войн, их участие в преступлениях германского фашизма — с тем, о чем умышленно не договаривает Шпеер.

Что же касается нынешнего Шираха, то я без труда узнал в нем бесчестного, трусливого и грязного человека, которого некогда привели ко мне на допрос в Нюрнберге. Свидетельство тому — опубликованные в ФРГ мемуары Шираха «Я верил в Гитлера», книга, которую я назвал бы новым преступлением Шираха против немецкого народа.

Л. Гинзбург создал достоверные и яркие психологические портреты этих персонажей: перед нами не абстрактные схемы, а живые люди, наделенные своей «индивидуальностью», выписанные до деталей так, что читатель получает полную возможность судить об их истинной сущности.

Автор умело построил свое повествование, логически связав гитлеровских заправил с их последователями и продолжателями в лице не названного по имени крупного натовского генерала, активного «функционера» НДП, выступающего под псевдонимом «Фридрих Вагнер», отравленного гитлеровскими и неонацистскими «идеями» гимназиста Майера... И не содержит ли известная перекличка между обывательскими, внешне такими «житийскими» рассуждениями одной из сестер Евы Браун — Ильзы, которая якобы до сих пор и не смогла распознать, кем в действительности был ее злоеущий родственник, и истерическими призывами «вернуть Гитлера», которые автор услышал от хозяина пресловутого «Бюргербройкеллер» — мюнхенской пивной, где некогда собирался со своими сатрапами «фюрер», а теперь — неонацистские молодчики во главе с Таддеом?..

Разумеется, в своей работе, задуманной как ряд художественно-психологических этюдов, образующих единое целое, Л. Гинзбург не претендует на то, чтобы показать в себе сложные и противоречивые процессы, происходящие в ФРГ. И тем не менее, многие стороны западногерманской жизни, составляющей как бы фон повествования, нашли свое прямое или косвенное отражение в рассказе о нынешнем, «музейном» Дахау, о посещении Нюрнберга, о беседах в салоне прекраснодоушной и по существу беспомощной и безвольной «либеральной» интеллигенции... И как хорошо, что в очерках, населенных столь густо мрачными персонажами, мы встречаемся с обаятельным образом Анжелики Пробст, сестры участника антигитлеровского студенческого кружка «Белая роза», с добрым, подчас наивным, но по-своему самоотверженным Максом, который добровольно взял на себя роль Виргилия, сопровождающего автора по кругам фашистского и реваншистского «ада». Думается, что любопытная и своеобразная фигура Макса, выступающего в повествовании как «сквозное» действующее лицо, выражает противоречия современной западногерманской жизни, где не прекращается, а, наоборот, нарастает ожесточенная борьба между добром и злом, между ложью и истиной. В этой связи особое значение имеет рассказанная автором история героического пути Курта Бахмана, председателя Германской коммунистической партии, и «Разговор с одним немецким коммунистом», не оставляющий никаких сомнений в том, что наряду с ульт-

*рореакционными реваншистскими кругами в ФРГ все активнее действуют иные, противостоящие им прогрессивные силы: передовые слои западногерманского рабочего класса, коммунистическая партия, объединенные профсоюзные организации и другие.*

*Хотел бы остановиться еще на одном аспекте повествования Л. Гинзбурга, а именно на проблеме преследования и наказания нацистских преступников, которая и в наши дни не утратила своей актуальности. По долгу службы я хорошо знаком с делом бывшего начальника зондеркоманды СС «10-а» Курта Кристмана, которого, наверно, запомнили читатели «Бездны». На сей раз Кристман предстает перед нами не в гестаповском кабинете, а в своей посреднической конторе, в самом центре Мюнхена. Когда читаешь главу о встрече автора с Кристманом, а затем о беседе с прокурорами, ведущими его дело, начинаешь лучше понимать, как удается крупным нацистским преступникам сравнительно легко избежать наказания за совершенные ими злодеяния.*

*Дело Кристмана тянется долгие годы, а сам он, как и многие другие военные преступники в ФРГ, процветает на свободе. Мюнхенские прокуроры проявляют, мягко говоря, крайнюю нерешительность в использовании полученных от советских судебных органов обширных доказательств о преступлениях Кристмана и ему подобных. Такова политика и практика западногерманской юстиции.*

*Хочется верить, что голос писателя, возмущенного безнаказанностью кровавого гитлеровского палача, будет услышан людьми доброй воли и поможет восстановлению справедливости.*

*«Потусторонние встречи» Льва Гинзбурга ставят важные идеологические и нравственные вопросы, и я не сомневаюсь в том, что этот труд явится еще одним вкладом в разоблачение реваншизма, реакции, человеконенавистнической идеологии, в благородное дело борьбы с фашизмом.*

**Г. Н. АЛЕКСАНДРОВ,**  
*советский обвинитель  
на Нюрнбергском процессе,  
заслуженный юрист РСФСР.*



---

# НА ЗАРУБЬ ЕЖНЬИЕ ТЕМЫ

ИВАН ЩЕДРОВ

★

## ПАРТИЗАНСКИМИ ТРОПАМИ ЛАОСА

### ГОРОД, КОТОРОГО НЕТ НА КАРТЕ

**Ч**тобы добраться до темной норы — входа в пещеру, — пришлось долго, в обход, карабкаться по скользким скальным выступам вверх. Лестница, свитая из лиан, прошлой ночью сгорела от прямого попадания ракеты. Американский пилот, видимо, целился в темное отверстие входа, да промахнулся. Дождливая ночь. Резкие порывы ветра пронизывают тело, ledenят руки... Порою даже не верится, что нахожусь в гропиках, что еще днем изнывал от жажды под немилосердными лучами солнца. Наконец узкая цепочка черных теней с фонариками в руках медленно вползает в пещерный провал. Огромные своды едва проглядывают в бледных отсветах самодельных факелов. Над самой головой с шумом пронесаются летучие мыши, к которым с детства отношусь с отвращением. И снова угнетающая полутьшина.

Входное отверстие в пещеру время от времени озаряется отблесками красного света, и несколько секунд спустя сюда врывается запоздалый вой реактивных двигателей, доносятся упругие волны от рвущихся бомб... Командир отряда карабинеров, с которым я продвигаюсь к фронту, выставил пикеты. Свободные от нарядов бойцы готовятся к ночлегу, выбирая сухие островки среди сырой гигантской пещеры. Совсем рядом звонко капает вода. Цок, цок, цок.

Неожиданно где-то высоко под сводами раздается странное разноголосое пересвистывание.

— Летучие мыши, — поясняет Бунен, молодой карабинер, разместившийся по соседству со мной на циновке.

Из дальнего угла доносится раздражающий душу писк полевых крыс. Днем их обычно не видно — рыскают в полях. С наступлением темноты тысячи серых комков надвигаются на нас отовсюду. И до самого утра стоит зловеющий шум и визг крысиных побоищ за обладание местом и добычей. Еще не так давно полчища крыс атаковали здесь целые деревни, уничтожая на пути все живое. Нас спасает лишь, свет факелов, отвоевывающих у темноты безопасное для человека пространство. Крысы смертельно боятся огня.

Пока дежурные разводят костер, мы с Буненом, ступая по лужам, уходим на поиски питьевой воды. В одной из расщелин лучи фонариков нащупывают плетенные из тростника и обмазанные глиной пузатые кувшины. Они наполнены водой. Цок, цок, цок... и холодные капли из-под нависшей каменной глыбы бьют по плечам, по голове, падают в диновинные кувшины. Год назад пещера служила кровом буддийскому монаху-отшельнику. И эти кувшины, и остатки самодельного водопровода из бамбуковых стволов — плоды его практичной изобретательности. Сам монах, не выдержав бомбардировок и обстрелов, перекочевал куда-то, пытаясь найти невозможное — тихий глухой уголок в охваченной войною стране.

Рано утром нас разбудил пронзительный вой реактивных двигателей и раз-

рывы бомб. Через узкий проем в пещеру пробился оранжевый сноп света, и на стенах выступили выписанные угольками изображения американских бомбардировщиков. Художник придал им вид сказочных демонических птиц, пронзенных стрелами. Чуть пониже — изображения зениток, пулеметов и охотников с арбалетами, стреляющих по стервятнику. По дошедшим до наших дней древним поверьям лаосцев, пещерные рисунки обладают магической силой. Убитый зверь, поверженный враг, а в эту войну и бомбардировщик, начертанные на стенах, рассматриваются как важный магический шаг на пути к победе...

Из пещеры открывается чудесный вид на щедро залитую солнцем зеленую долину. Со всех сторон ее теснят горные хребты. Среди светло-зеленых рисовых полей вьется голубая лента горной речушки. И кругом, как глубокие раны, темнеют воронки от бомб.

Мы — в Среднем Лаосе. В нескольких десятках километров отсюда на запад — линия фронта, протянувшаяся с севера на юг более чем на полторы тысячи километров.

Третью неделю я нахожусь в освобожденном районе, который хотя и не входит, по утверждениям Пентагона, в так называемую зону «троп Хо Ши Мина», но над которым — также вопреки всем элементарным международным нормам — Соединенные Штаты установили свой зловещий «воздушный контроль». За годы работы на фронтах Индокитая многое пережито. Но то, что я увидел здесь, потрясло.

После завтрака начал знакомство с обитателями пещерного города, разместившегося по соседству с нашим ночным убежищем. Пробираемся с «этажа» на «этаж» узкими ходами, пробитыми в каменистом теле горного хребта. У «небоскреба» высотой в сто — сто пятьдесят метров нет названия. Его обитатели считают себя здесь временными жильцами. На сколько? На год, два, а может быть, на десятилетия — этого никто не знает. Но они твердо верят, что не навсегда.

Древний Махасай лежит километрах в трех-четыре отсюда, в благодатной солнечной долине, над которой день и ночь висят зловещие дюралевые птицы далекой, как они здесь произносят, «Амелики».

По преданию, в Махасае много веков назад побывал Марко Поло. Летописи сохранили память о пребывании здесь великих путешественников средневековья — из Китая и Индии. Орды захватчиков на протяжении веков пытались огнем и мечом покорить, уничтожить гордый народ. Но он выстоял. Выстоял и древний Махасай, город мирных землепашцев и торговцев, рыбаков и охотников. На этот раз беда свалилась с неба.

Когда кольцо смертоносных бомбардировок вплотную обложило Махасай и американские пилоты начали прицельно обстреливать отдельные дома и хижинны, охотиться за работающими на полях крестьянами, стало ясно: единственное спасение — в близлежащих пусть сырых и темных, но надежных горных пещерах. Перебирались сюда не день и не неделю, не все скопом. До боли жалко было оставлять обжитые места, очаги предков, которые здесь чтут как святыню.

Но и терять каждый день родных и близких, ожидать смерти было бессмысленно. Вот так и оказались оставшиеся в живых махасайцы в горном «небоскребе». Город слился на весь край своими охотниками за слонами — последними из могокан этой древней профессии. «Дикарей» они отлавливали с помощью прирученных слонов, приучали к нелегкому труду. Часть оставляли у себя, других продавали. С войной всему этому тоже пришел конец. Последние слоны так и не дошли до горного хребта, сраженные осколками бомб.

И вот я в одной из «квартир» пещерного города, не отмеченного ни на одной карте мира. В большой пещере прямо у стен топчаны и нары. В глубине — наспех сооруженные миниатюрные хижинны с двускатными крышами, защищающими от непрестанно капающей со сводов воды.

На кострах в котлах готовится пища. Рядом стучат ткацкие станки. В углу копошатся дети. Влажный спертый воздух смешан с едким дымом. Десятки и

десятки пещерных жилищ. В глубине одного из гротов неожиданно вырастают из полумрака почерневшие от времени желто-красные статуи. Окаменевшие лица Будд бесстрастны. Перед ними курятся благовонные палочки. Восемь буддийских священнослужителей монотонно читают нараспев молитву, прерываемую время от времени ударом небольшой палочки в круглый «барабан». Сопровождающий меня лаосец объясняет: бонзы обращаются к Будде с просьбой вернуть стране мир, прогнать чужеземцев, пришедших в Лаос из «Амелики».

Молитва завершена. Можно побеседовать. Священнослужители усаживаются кружком, поджав под себя ноги. Желтые одежды-покрывала. Стриженные головы. Оголенные, покрытые татуировкой плечи и ноги. Восемь бонз — от шестидесятишестилетнего Бунтхонга до худенького лет восьми мальчика-послушника — рассказывают о себе, о трагедии Махасая, о надеждах на Будду, который, как они уверены, вняв их молитвам, даст народу силу и дальше сражаться за свободу и мир на лаосской земле.

В одном из нижних этажей «небоскреба» задержались. Крепко скроенный лаосец опробовал отравленными стрелами арбалет. Короткие штаны наподобие шорт. Обветренное бронзовое тело покрыто татуировкой. Лет ему на вид под пятьдесят.

— Тян Тхай, мэр Махасая, — представился он.

Дальше знакомство с пещерным городом продолжаем в его сопровождении. А по пути мэр отвечает на вопросы, рассказывает об обстановке:

— Дел много. Занимаемся организацией народного ополчения и эвакуацией, решением продовольственного вопроса, другими неотложными делами. Продовольствием и одеждой обеспечиваем себя сами. У каждой семьи есть кое-какая живность. Условия трудные. Сами видите. Но мы будем продолжать борьбу, чего бы это нам ни стоило.

У подножья горного кряжа под густыми, увитыми лианами кронами деревьев в клетушках и загонах — свиньи, птица, буйволы. Кипит работа у примитивных каменных рисорушек.

В огромной пещере, где мы провели ночь, разместились склады и магазин местных органов народной власти. Собственно, это не совсем магазин, скорее фактория. В обмен на рис и маис, лесные коренья, шкуры и рога диких животных крестьяне и охотники получают черную хлопчатобумажную ткань, голубые рубашки, грубые одеяла, соль, мыло, спички, мотыги, котелки... Здесь же на низеньком столике потрепанный ценник. На базе-фактории раз или два в месяц кадровые работники органов народной власти получают по строгой норме рис и соль. Часть продовольствия идет на нужды местных вооруженных сил.

— Ну что ж, в добрый путь, — напутствует мэр. — Не рискуйте. Американские летчики иногда охотятся и за одиночными пешеходами.

Нам предстоит пройти всего три-четыре километра до мертвого города Махасая. Трудность в том, что сотни метров придется преодолевать по открытой, размытой ливнями местности. Прорубленная тесачами в чащобе джунглей тропа явно не рассчитана на мои габариты. От укулов ядовитого кустарника кровоточат руки и ноги. То и дело приходится останавливаться, чтобы пламенем зажигалки сбить успевших присосаться к телу пиявок. Они прыгают прямо с кустарников... Несколько раз пережидаем американские самолеты. Поперек тропы в исковерканном осколками лесостое обнаруживаем длинные чушки неразорвавшихся контейнеров шариковых бомб. С ними шутки плохи. Пустив в ход тесачи, обходим контейнеры стороной и осторожно двигаемся дальше.

Но вот уже окраина города. Мертвую тишину улиц нарушает лишь карканье ворон. Вокруг глубоких котлованов, в вывороченной бомбовыми взрывами красно-бурой земле — черные обгоревшие остовы деревьев. Вся правобережная часть города иссечена осколками — каменные дома, бамбуковые хижины. Осторожно, шаг за шагом, по битому кирпичу и обломкам балок вместе с тремя карабинерами пробираемся к алтарю пагоды. Взрывная волна раскидала в разные стороны статуи невозмутимых Будд. Один из бойцов осторожно ставит их на свои места,



втыкает тоненький прутик — благовонную палочку — в фарфоровую чашу с золой. Вокруг разливается пряный аромат.

Очередной облет переживаем в опустевшей бамбуковой хижине на сваях. Недалеко от лестницы, в зарослях бананов, обвалившийся вход в бомбоубежище. В кадке на террасе распустились огненно-красные бутоны никому уже здесь теперь не нужных диковинных цветов. Настил из дранки местами обвалился. В короткое затишье карабинеры занялись сбором плодов. Один из них ловко, в считанные минуты, взобрался по голому стволу на высоченную пальму и сорвал несколько кокосовых орехов. За легким завтраком едим ароматные плоды манго, запиваем приятным на вкус кокосовым молоком.

Вдуг с левобережной стороны Махасая послышалось мычание буйволов и петушиный гомон. Бунен объяснил, что некоторые из жителей оставили в городе свой скот и птицу. По ночам или на заре они приходят проведать скотину и взглянуть на свой дом.

К вечеру мы возвратились в пещеру. Нам устроили здесь небольшой торжественный прием. При свете чадающих факелов нас ждали, расположившись на циновке кружком, мэр Махасая и карабинеры. На перекладинах для москитных сеток — автоматы, карабины, пистолеты. Разморенные теплом, уставшие, мы слушали наших друзей и вместе с ними мечтали о том, чтоб на лаосскую землю, вот уже почти четверть века не знающую мира, пришла бы наконец долгожданная тишина и те из обитателей пещерного города, кто останется в живых, вернулись бы на берега горной речки Себанафай, на родные пепелища и принялись бы строить новый, каменный Махасай. А пещерный город будет памятником мужеству и выдержке героического поколения, отдавшего детство, юность, лучшие годы жизни во имя счастья своих детей и внуков.

Один из карабинеров даже размечтался о том, что эта огромная пещера, освещенная факелами, станет местом народных гуляний и крупнейшим концертным залом. А вдоль большой мраморной лестницы, которую тогда, наверно, соорудят здесь, будут тянуться по скалам лесенки из лиан...

В полночь, оборвав на полпути мечтания, мы вернулись в реальный мир: американские самолеты начали «обработку» соседнего квадрата, вывесив в небе осветительные ракеты. Установив антенну, вслушиваемся в разноголосое попискивание эфира, пытаемся поймать ночной выпуск последних известий из Пном-Пеня на французском языке.

— В Южном Вьетнаме, — доносится голос диктора, — отряды американской морской пехоты продолжают карательную операцию на дороге номер девять южнее семнадцатой параллели... На границе Камбоджи обстреляна деревня. Убито несколько крестьян!..

Диктор продолжает:

— В Среднем Лаосе сбит еще один американский самолет...

Мы находимся где-то в центре этого бушующего смерча войны.

— Только что поступило сообщение из штаб-квартиры ООН, — звучит бесстрастно голос. — Национальное управление по авионавигации и исследованию космического пространства приступило по просьбе министерства обороны США к разработке проекта, предусматривающего запуск на орбиту гигантского спутника-зеркала. Он будет отражать солнечный свет на поверхность Земли с тем, чтобы освещать зону в сто тысяч квадратных километров двойной силой света полной Луны. Соединенные Штаты намереваются использовать первый спутник-зеркало для того, чтобы в ночное время освещать, как днем, территорию Вьетнама и соседних стран с целью оказания помощи своим войскам. В связи с этим представитель Камбоджи направил на имя председателя Совета Безопасности протест, в котором говорится: «Такого рода спутник-зеркало, если он будет использован во Вьетнаме, неизбежно вызовет пагубные последствия для сельскохозяйственных культур и для жизни людей в соседних странах».

Соседние страны — это Лаос, Камбоджа. До сообщения о зеркале-спутнике

я добросовестно переводил последние новости лаосцам, а тут растерялся. Кругом темнота. Сырая, душная пещера, где пытаются спастись от гибели сотни и сотни людей. А теперь еще и новые планы бесчеловечных экспериментов могущественной супериндустриальной империалистической державы над целыми странами, над теми, с кем я делю сегодня трудности и лишения развязанной ею войны. Я так и не решился сообщить им эту зловещую новость. Но сам не смог уснуть до рассвета.

В догорающем костре тлели угли. Карабинеры, свободные от дежурства, давно уже спали на разложенных прямо на каменистом грунте циновках. А я вновь и вновь возвращался к тем дням — это было в 1963 году, — когда я впервые вступил на партизанские тропы Лаоса. К тому, что было увидено и пережито за многие месяцы и годы на этой охваченной войной земле.

Как прекрасен и самобытен этот экзотический уголок нашей планеты, где еще бродят стада диких слонов и носорогов, где в джунглях живут «лесные люди», где сохраняются столь древние обряды и праздники, каких нет больше нигде на земном шаре! Но главное сейчас — не экзотика, не открытие и изучение этнографических белых пятен. Как военному репортеру, мне приходится открывать иные «пятна» — кровоточащие, взывающие к совести людей раны на теле этой древней и прекрасной страны. Девятый год работаю я в Индокитае. Из них свыше пяти — это война. С отрядами лаосских патриотов проделал я тысячи километров. Прожил здесь в общей сложности более девяти месяцев.

Сотни ежедневных авиационных налетов и непрерывающиеся наземные бомбежки изменили лицо Лаоса. Устарели составленные в тридцатых годах нашего века французскими колонизаторами карты. Обозначенные на них города и селения превращены в развалины или покинуты людьми. Вместо них в джунглях выросли новые. Через горные долины и перевалы пролегли «трассы джунглей» и тропы, заменившие разбитые бомбами и ракетами дороги.

Прежний Лаос — колониальная окраина, место паломничества охотников и туристов — исчез: на его месте более двадцати лет существует, строит новую жизнь, с оружием в руках отстаивает свои завоевания и свободу иной, новый Лаос, о котором сегодня миру известно гораздо меньше, чем об Антарктиде или Арктике. За последние годы лишь «каменный мешок» — Сам Неа, — где размещается главная ставка патриотических вооруженных сил, время от времени посещают иностранные корреспонденты, дипломаты и зарубежные делегации. Несколько иностранных корреспондентов побывало в Долине кувшинов, также расположенной в Верхнем Лаосе. Мне же довелось побывать не только здесь, но и в освобожденных районах Среднего и Нижнего Лаоса. Об увиденном и пойдет рассказ.

### «КРАСНЫЙ ПРИНЦ» СУФАНУОНГ

На небольшой каменистой площадке прилепилась к склону горного кряжа бамбуковая хижина. Густые кроны тропических деревьев скрывают ее от постороннего взгляда. От подножья сюда ведет деревянная лестница, укрепленная на серых скалах. Лишь поднявшись к самой хижине, обнаруживаю по соседству с ней темный провал — вход в пещеры. В светлом солнечном пятне греется на камушках сиамский кот. У входа в пещеру — кадка с алыми горными цветами и телефон.

Мы во временной резиденции лидера патриотических сил Лаоса принца Суфанувонга.

Принц прошлой ночью вернулся из поездки на фронт. Он выходит навстречу и приглашает в хижину. Мы знакомы более десяти лет. Встречаться приходится в разной обстановке. И всегда меня поражала неиссякаемая энергия и выдержка этого человека, его оптимизм, не убывающие даже в самые трудные моменты. Внешне Суфанувонг мало изменился: мягкая речь, быстрые движения, все те же знаменитые усы. Разве что виски стали седыми.

В хижине полумрак. Посредине стол, несколько стульев. На стенах синекрасно-белое знамя Патет Лао, календарь, плакаты и карта Индокитая. На ней темными тонами отмечены освобожденные районы Лаоса и соседнего Южного Вьетнама. На столе керосиновая лампа в окружении фарфоровых чашечек и тарелок с фруктами и конфетами.

Свои вопросы для интервью я переслал принцу заранее, и ответ на них уже готов. Остается сделать перевод и отправить текст в редакцию. Прошу небольшую часть интервью записать на магнитофонную ленту по-русски. Суфанувонг соглашается.

— Разрешите мне, — начинает он, четко выговаривая каждое слово, — передать братский привет великому советскому народу. Пусть крепнет боевая дружба между лаосским и советским народами. Успехов вам в строительстве коммунизма. До свидания!

Принц знает четырнадцать иностранных языков. На десяти читает, пишет и говорит: на русском, французском, английском, испанском, немецком, итальянском, греческом, латинском, тайском и вьетнамском.

Судьба этого человека поистине легендарна. Его жизнь как бы распадается на две части — до и после 1945 года. И хотя между обеими частями есть прямая связь, преемственность, это все же как бы две жизни. Так считает сам принц.

Я прошу Суфанувонга ответить еще на несколько вопросов биографического характера. Вопросы эти не так просты и вовсе не второстепенны, как может показаться на первый взгляд. Даже для людей, проживших десятки лет в Лаосе, сложные родственные связи большой королевской семьи остаются загадкой. Сотни принцев, тысячи и тысячи людей, причисляющих себя к королевской семье, играют активную роль в политической жизни страны. Многие из них вот уже четверть века находятся по разные стороны фронта. До сих пор на имя Шри Саванга Ваттханы, нынешнего короля Лаоса, шлют послания лидеры самых разных лаосских группировок, участвующих в лаосской войне. И сами эти лидеры — и принц Суфанувонг, лидер патриотических сил, и принц Суванна Фума, глава вьентьянского правительства, продолжающего военные действия против патриотов, — члены все той же большой королевской семьи.

Суфанувонг берет лист бумаги и начинает объяснять:

— Более подробно я остановлюсь лишь на принцах луангпрабангской королевской династии. К их числу отношусь и я сам. Луангпрабангская, чампассакская и вьентьянская ветви ведут прямое начало от короля Сулинья Вонгса, правившего страной в конце XVII и начале XVIII века. С XIX века королевский престол наследуют уже только луангпрабангские принцы. После короля Манта Турата, который умер в 1836 году, в королевской семье появляются две династические ветви — старшая и младшая. Старший сын Манта Тураты стал королем, а младший — вице-королем, или, по-нашему, «упахатом». Нынешний король Лаоса Шри Саванг Ваттхана, вступивший на трон в пятьдесят девятом году, наследник старшей династической ветви, а я и мои братья представляем младшую. Если же говорить о родственных связях, то его величество Шри Саванг Ваттхана — мой племянник. У моего отца, упахата Бун Конга, было одиннадцать жен. Мой старший брат принц Фетсарат был последним вице-королем. Сейчас из пяти моих братьев-принцев осталось двое: я и Суванна Фума. Мы с ним сводные братья. Помимо основных — старшей и младшей луангпрабангской династических ветвей, — в Лаосе множество других, образующих большую королевскую семью.

— Много ли у вас детей?

— Восемь сыновей и две дочери. Пятеро из них учились или учатся в Советском Союзе. Старший сын Ария окончил физико-математический факультет Московского университета, а дочь Виен Кео — Институт международных отношений. Все старшие дети — активные участники освободительного движения. Ария после возвращения в Лаос был назначен комиссаром в один из районов Сам Неа, где шли ожесточенные бои против лаосских наемников ЦРУ. Он трагически погиб в начале 1968 года.

Затем принц рассказал в общих чертах о перипетиях своего жизненного пути, я передам его рассказ с некоторыми дополнениями и разъяснениями.

13 мая 1912 года, когда в семье упахата Бун Конга родился сын, ему дали имя Суфанувонг. Мать мальчика была простой лаотянкой. Суфанувонгу было восемь лет, когда умер отец. Но он по-прежнему жил вместе с другими принцами в королевском дворце в Луанг Прабанг, окруженный заботами многочисленной челяди. Отца ему и Суванне Фуме заменил старший брат — принц Фетсарат. А вскоре мальчика отправили в Ханой — учиться в привилегированном лицее Альбера Сарро. Здесь прошла его юность. Через десять лет, получив степень бакалавра, принц Суфанувонг уезжает на девять лет в Париж. В 1939 году, девятнадцать лет спустя, он надолго возвращается на родину. Суфанувонг — один из первых инженеров Лаоса. Он проектирует и строит десятки отличных мостов. Последний, самый любимый, как отзывался о нем сам Суфанувонг, он построил в 1940—1942 годах недалеко от Чепона. Несколько лет назад этот мост разбомбили американцы.

Весть о капитуляции Японии, оккупировавшей к тому времени Индокитай, застала Суфанувонга в Ханое. Здесь он встретился с Хо Ши Мином, будущим президентом первого в Юго-Восточной Азии государства рабочих и крестьян. На глазах Суфанувонга происходили бурные события вьетнамской августовской революции 1945 года. Принц срочно выехал в Лаос, в Саваннакет, чтоб принять участие в освободительной борьбе своего народа.

Так начался новый этап в его жизни. Впрочем, для самого Суфанувонга поворот не был неожиданностью. За долгие годы учения и работы, в свои тридцать три года, он во многом разочаровался, многое понял в окружающей его жизни. Годы поисков, раздумий, исканий гимназиста, студента и инженера на многое открыли глаза.

О некоторых из своих встреч, оставивших заметный след в его душе, он рассказал мне в этой небольшой хижине под шум ливня и раскаты грома. Во Франции лаосский принц познакомился с французами, совсем не похожими на колонизаторов. Было это в незабываемые тридцатые годы подъема Народного фронта, когда начинающий инженер проходил практику в доках Бордо и Гавра. Многое дало ему общение с прогрессивными кругами французской интеллигенции. Постепенно его увлечения техникой, биологией и медициной отступают перед социальными проблемами. Но он еще многого не знал, не понимал. Сказались девятнадцать лет жизни вдали от родины. Когда же он увидел на лаосской земле полурабский труд кули на каучуковых плантациях, когда постиг всю горечь слов «дороги, вымощенные костями туземцев», когда узнал, что значит быть в глазах колонизаторов «туземным инженером», многое, очень многое понял сын упахата Бун Конга.

В первом временном правительстве независимого Лаоса, созданном в октябре 1945 года, премьер-министром стал принц Кхаммао; принц Суфанувонг — министром вооруженных сил и главнокомандующим; принц Суванна Фума — министром общественных работ. В марте 1946 года раненый принц Суфанувонг с последними частями и временным правительством отступил в Таиланд. В Лаос вновь вернулись французские колонизаторы. Постепенно, к 1949 году, большая часть членов временного правительства перешла на сторону французов. Лишь принц Суфанувонг и его соратники не согласились на сотрудничество с колонизаторами и продолжали борьбу.

Во многих районах Лаоса разгорается партизанская борьба, в ходе которой выросли прославленные командиры Кейсон, Нухак, Ситхон Коммадам, Фейданг и другие. В освобожденных районах образуются народные комитеты, ликвидируются феодальные и колониальные порядки.

25 октября 1949 года оставшиеся в Таиланде члены временного правительства большинством голосов приняли решение о роспуске национальной армии Патет Лао и о самоликвидации временного правительства. Принц Суфанувонг и его

сторонники выступили против этого решения и нелегально вернулись в освобожденные районы Лаоса.

В августе 1950 года в освобожденных районах Сам Неа был созван национальный конгресс представителей движения сопротивления колонизаторам. На нем было принято решение о создании Единого фронта освобождения Лаоса — Нео Лао Итсала (НЛИ), принята программа борьбы против французских колонизаторов, за подлинно независимый Лаос, избран ЦК НЛИ и сформировано правительство национального Сопротивления. Председателем НЛИ и главой правительства был избран принц Суфанувонг. Борьба продолжалась.

Женевские соглашения 1954 года по Индокитаю означали для Лаоса конец господства французских колонизаторов, восстановление мира. Но в действительности путь к достижению независимости оставался тернистым. На смену французским колонизаторам пришли янки. Их ставленники затянули претворение в жизнь Женевских соглашений, а в 1959 году сорвали их окончательно.

В новой обстановке в январе 1956 года в Сам Неа был созван второй съезд Нео Лао Итсала. Его решением НЛИ был переименован в Нео Лао Хансат — Патриотический фронт Лаоса (ПФЛ). На съезде была принята политическая программа. Она наметила задачи борьбы за мирный, нейтральный, независимый Лаос. Председателем ЦК ПФЛ был избран принц Суфанувонг.

Правые лаосские организации, вынужденные сперва согласиться на коалицию с ПФЛ, затем пошли на открытое предательство. В мае 1959 года принц Суфанувонг и другие видные деятели Патриотического фронта Лаоса были арестованы. В застенках вьентьянской тюрьмы им угрожала физическая расправа. Лишь через год при содействии подпольных организаций узникам удалось совершить дерзкий побег.

А в августе 1960 года во Вьентьяне восставший гарнизон королевской армии во главе с капитаном Конг Ле и старшим лейтенантом Дьюном установил контроль над столицей, объявив себя нейтралистами, то есть сторонниками мирного урегулирования лаосской проблемы путем переговоров между ними, правой группировкой и ПФЛ, в результате которых должно быть сформировано коалиционное правительство трех основных политических группировок. Оно было создано осенью и получило одобрение со стороны короля. В законное правительство Лаоса вошел принц Суфанувонг, другие представители ПФЛ, а также правые и нейтралисты. Но лаосская реакция, за спиной которой стоял Вашингтон, подняла мятеж в южных городах, и оттуда они повели наступление на Вьентьян. В декабре правые мятежники ворвались в столицу.

Части Патет Лао и нейтралистов с боями отступили в горные районы. Часть членов коалиционного правительства вместе с ними ушла в освобожденную Долину кувшинов, другие эмигрировали в Камбоджу. Временной ставкой этого законного правительства в дни войны стал город Кхан Кхай. Здесь же при законном правительстве находилось и посольство Советского Союза.

Война снова полыхала по всей стране.

К лету 1962 года под контролем Патриотического фронта Лаоса и образовавшейся в 1960 году нейтралистской группировки находились две трети страны. США вынуждены были 23 июля 1962 года пойти на подписание Женевских соглашений по Лаосу.

Второй конгресс ПФЛ, собравшийся в апреле 1964 года, подвел итоги восьмилетней борьбы против поддерживаемых американцами правых сил и принял программу первоочередных задач. В конце октября — начале ноября 1968 года в Сам Неа состоялся Чрезвычайный, по существу третий съезд ПФЛ. Он принял новую политическую программу. В ней поставлена задача довести до конца борьбу против агрессии США — за единый, мирный, нейтральный, независимый Лаос, в котором не будет места ни иностранным войскам, ни иностранным военным базам. В программе были также сформулированы задачи первоочередных демократических и социально-экономических преобразований. Председателем ЦК Патриотического фронта Лаоса был снова избран принц Суфанувонг.

Так на всех этапах большого и трудного пути национально-освободительного движения бесменным его лидером был и остается «красный принц» Суфанувонг. Вместе с ним — его боевые соратники Кейсон, Нухак и другие.

Авторитет «красного принца» в стране настолько велик, что даже враги Суфанувонга не решаются в открытую чернить его. Лидера сражающегося Лаоса часто можно увидеть в селениях освобожденных районов, на массовых митингах. На одном из них был однажды и я.

— Принц, товарищи, братья! — обратился к собравшимся, открывая этот митинг, председатель.

Товарищи, братья — это те, кто борется плечом к плечу за единую, независимую, демократическую и мирную отчизну, против империализма и сил внутренней реакции. Таково теперь содержание слова «товарищ» и в Лаосе, и в Южном Вьетнаме, и во многих других странах, охваченных освободительной борьбой.

В своем интервью Суфанувонг знакомил советских читателей с общей обстановкой и первоочередными задачами. В беседе со мной он говорил о Москве и Сам Неа, о Лаосе и Советском Союзе. Принц несколько раз был в нашей стране. Впервые он увидел Москву в 1961 году. Из Москвы получает он и теперь письма от своих детей.

— Мы не забыли, — говорит Суфанувонг, — что первым государством, признавшим наше правительство, рожденное в бурном 1960 году, был Советский Союз. Не забыли и того, что посольство СССР находилось с нами в освобожденном районе в 1961—1962 годах. Почти четверть века мы ведем суровую борьбу за свободу и независимость. Жить людям приходилось, да и приходится, сами видите, в трудных условиях. Но мы полны решимости добиться свободы, независимости, лучшей жизни своему народу. Поддержка, помощь Советского Союза, других социалистических стран, всех революционных народов придает нам новые силы. И это не просто слова!

Принца ждут неотложные дела.

— Ну что же, — говорит он на прощанье по-русски, — до свидания. Приезжайте еще раз к нам в Самград — так, кажется, по-русски Сам Неа?.. Придет время, и мы снова встретимся, но не здесь, а во Вьентьяне — столице единого независимого Лаоса. А пока, — улыбнулся он, — пока я отдал распоряжение, чтобы вас до ближайшей базы сопровождал бронетранспортер. Война. Ничего не поделаешь.

Набросив на плечи плащи, осторожно спускаемся по скользкой лестнице вниз на тропу. Дождь прекращается. Через несколько минут останавливаемся. Выжидаем. В небе снова появились американские бомбардировщики.

## В ГОРАХ СРЕДНЕГО И НИЖНЕГО ЛАОСА

Четвертый день находимся на небольшой базе в глубине джунглей. Ждем связных, которые задержались из-за почти непрекращающихся налетов американской авиации. Живем втроем дружной коммуной: водитель Тэ, переводчик Тхуонг и я. Снова на несколько дней наш быт вошел в нормальную колею: днем работаем, ночью спим. С Тэ я знаком уже больше года. Вместе проделали мы тысячи километров по дорогам Вьетнама, недосыпали, недоедали. Но в этих краях мы впервые. Тэ уже давно за сорок. В Ханое жена и куча ребятишек. Он повсюду, даже если стоим хотя бы один день, обрастает приятелями. Вот и здесь уже с кем-то успел обменяться сувенирами: Тэ подарил подобранный в пути небольшой контейнер от американской осветительной ракеты, а к нему перешли роскошные рога горного оленя. Пока мы с Тхуонгом занимаемся подготовкой к дальнейшей дороге, водитель успел узнать об истории района, об обстановке и о местных съедобных растениях — это может пригодиться в пути.

Тхуонг, стройный кареглазый парень, в отличие от Тэ неразговорчив. Он принадлежит к народности лаотхынг. Впервые за последние годы снова едет в родной край. Его деревня где-то под Чепоном, городом, которого больше нет, как может быть, нет и его деревни. Ушел он из этой деревни четырнадцатилетним мальчуганом, оставив там родных и свою нареченную — у народности лаотхынг юноши женятся в двенадцать — шестнадцать лет. На вид ему больше двадцати и не дашь. На самом деле — тридцать. Из них шестнадцать — это партизанский отряд, учеба, снова борьба. В годы первого Сопротивления Тхуонгу много пришлось общаться с вьетнамскими добровольцами. И теперь он свободно говорит на трех языках: родном лаотхынгском, лаосском и вьетнамском. А вчера утром, увидев у меня в руках «Правду», медленно прочитал вслух несколько заголовков. Перевести, правда, не смог. Русский начал учить несколько лет назад, слушая уроки по радио. А потом в круговороте дел так и не смог продолжить. Красивым ученическим почерком вывел в моем блокноте: «стол», «стул», «Маша». Мечтает побывать когда-нибудь в Москве и научиться русскому языку. За свою беспокойную жизнь Тхуонг переменял много профессий — от связного до кино-механика. Недавно окончил курсы кинооператоров. Его мечта — снять большой полнометражный документальный фильм о лаосской войне, а пока Тхуонг прикомандирован в нашу группу. Я часто вижу его одного погруженным в свои думы. С остальными спутниками познакомиться труднее. Я не знаю лаосского, они — русского. Да и дел у бойцов пока больше, чем у нас: приходится вести круглосуточные дежурства по охране нашей базы, ремонтировать дорогу.

По вечерам коротаю время, слушая то грустные, то отчаянно веселые лаосские мелодии. Их играет на стареньком кхене карабинер Хамди. Кхен — самый популярный национальный инструмент: четырнадцать тоненьких бамбуковых трубочек, скрепленных лопарно. В руках Хамди он превращается в настоящий «мини-орган». Хамди — виртуоз-самоучка. А вообще я еще не встречал лаосца, который не умел бы играть на этом инструменте. Мелодии, как правило, традиционные, а слова каждый раз новые. Чаще всего песня и танец слиты воедино. У большинства песен припевки хоровые. Присутствующие хлопают в такт ладошками, в то время как танцоры отплясывают в кругу. Один из танцоров, как где-нибудь у нас на деревенском прятчке, запекает озорные частушки под одобрительный смех, крики и свист присутствующих. Эта импровизация может начаться в любое время без всякого повода, просто в короткие минуты передышки. Без песни, танца и кхена лаосца трудно представить.

Перед рассветом проснулись от шума грузовика и громких голосов. Прибыли связные. С наступлением сумерек двинемся в путь. Провожают нас торжественно, насколько позволяет обстановка. На столе последняя на базе курица, пиалы с рисом и даже по стакану самогона. Перед самым отъездом каждому завязывают на запястье белые толстые нитки. Это «баси» — пожелание счастья, доброго пути. Без «баси» и связанных с ним торжественных церемоний не обходится ни одно сколько-нибудь важное событие в семейной жизни лаосца и даже в государственных делах. И носят «баси» до тех пор, пока они не перетрутся. А их на каждой из рук по несколько десятков.

\* \* \*

— Прибыли! — слышу сквозь сон голос Бунена.

Полуторка резко тормозит. Еще темно, но на востоке уже проглядывается светлая полоска. Несколько минут спустя мы один за другим забираемся по шаткой лесенке во влажное нутро темной пещеры. На настилах из досок громоздятся тюки, ящики. Карабинеры осторожно продвигаются между завалами вглубь, пытаюсь найти местечко для ночлега. Но вся пещера оказывается забитой непонятными для нас тюками и ящиками.

После короткого совещания решаем устроиться прямо на них, предварительно ознакомившись с содержимым. Кому охота спать на взрывчатке или па-

тронах? Осторожно вскрываем один, другой, третий. Мыло! Спички! Ткань! Мотыги!

Выделив дневального, устраиваемся на отдых. За целую ночь проехали всего около двадцати километров. Находимся, видимо, где-то по соседству с механическим заводом, в одном из складов-факторий. Но это выяснится утром. Перед тем как завалиться спать, решили поесть. «Поварской» наряд с котелками растворяется в темноте. В одной из ниш пещеры карабинеры нашли самодельную маскировочную лампу. Она устроена так: керосиновая коптилка ставится в большую пустую консервную банку с квадратным отверстием, которое в случае тревоги задвигается крышкой. Такая лампа — обязательная принадлежность пещер-гостилиц и крестьянских жилищ.

Через час повара возвращаются. На лицах загадочные улыбки. Оказываются, они умудрились не только вскипятить воду и сварить рис, но и приготовить суп из листьев дерева же, похожий по вкусу на рассольник.

Утром нас поднимает сигнал тревоги. К пещере движется группа неизвестных. Свои или диверсанты? Неизвестно. А пока боевая тревога. Незнакомцы оказались «хозяевами» — рабочими разыскиваемого нами механического завода. Он разместился неподалеку — тоже в пещерах, куда нас и приглашают переселиться. В самой большой из них — столы, скамейки из бамбука и небольшая трибуна. В глубине портрет принца Суфанувонга. Это клуб. По соседству в низких пещерах разместились цеха, жилые помещения, общежитие дорожных рабочих, склады. В городке постоянно проживает до двухсот человек. Среднего роста лет сорока лаосец знакомится с нами. Он здесь и директор и командир. Сначала, разумеется, пьем чай и лишь затем приступаем к главному — разговору о предприятии. А за это время мелкий дождь переходит в мощный тропический ливень. За плотным потоком воды ничего не видно. Сплошная водяная стена. Зажигаем коптилки. В пещеру врываются мутные пенистые ручьи. Где-то в глубине они уходят под землю.

— Да, — говорит директор, наблюдая, как набухают потоки, — из-за тропических ливней нам скоро снова придется менять базу. Вот так и живем четыре года. То бомбят американцы, то потоп. Скоро на все лето этот район превратится в болотистую кашу. Ни пройти, ни проехать. Это уже восьмое место, куда мы перекочевали за последние четыре года. Трижды наше предприятие накрывали американские бомбардировщики. Мы уже присмотрели новый район — повыше и посуше. Потихоньку за месяц, пожалуй, и переберемся.

Ливень кончился так же неожиданно, как и начался. И мы отправляемся в цеха. В соседних пещерах — кузница, слесарные и столярные верстаки. Рядом готовая продукция — котелки, мотыги, лопаты, наконечники для плугов, другие сельскохозяйственные орудия и предметы домашнего обихода.

На предприятии всего несколько специалистов, профессиональных рабочих. Остальные — новички; им еще совсем недавно был знаком лишь нелегкий труд земледельца и охотника, только в этих пещерах многие из них научились читать и писать. Здесь деревня как бы переплелась с городом. Из пещер доносится заводской шум, и тут же разгуливают собаки, пятнистые свиньи, куры. У скальных выступов в клетушках тревожно мычат буйволы. На полянках сушится белье, развешанное на тонких нитях лиан. А где-то совсем рядом в темных многоярусных джунглях время от времени стремительно проносятся стаи гиббонов, и тогда до нас доносится их захватывающий резкий свист. На вершинах соседних великанов-деревьев гнездятся огромные черные птицы.

В нескольких километрах отсюда вчера ночью прошло стадо диких слонов, оставив в илистой почве глубокие следы. Где-то совсем рядом кукует кукушка. Порою кажется, что ты на каком-то отрезанном от всего мира клочке земли. Но это не так: база десятками троп и дорог связана с такими же поселками, эвакуированными деревнями. Здесь тоже, образно говоря, фронт. В пиратской воздушной войне, которую вот уже шестой год ведут в Лаосе американцы, Пентагон одной из главных задач поставил подрыв экономики освобожденных районов,



удушение патриотических сил «голодной смертью». В главной ставке ПФЛ я побывал в экономическом комитете Фронта. Руководители этого учреждения, которое и в шутку и всерьез называют министерством экономики, рассказали о положении на местах и о своих планах. Главные проблемы — продовольственный вопрос, снабжение населения и армии необходимыми товарами. Из семисот тысяч га обрабатываемой площади почти пятьсот тысяч — причем лучших земель — находится в зоне, контролируемой вьетнамским правительством. Заново почти на голом месте пришлось в освобожденных районах создавать и промышленность. Лишь с 1968 года ПФЛ смог приступить к реализации первого трехлетнего плана развития экономики. Главные его задачи все те же — решение продовольственного вопроса, развитие промышленного и кустарного производства. Итоги первого года обнадеживают. План по основным показателям успешно выполнен. Увеличились посевные площади под рисом. Налаживается работа эвакуированных в труднодоступные джунгли и горные районы предприятий.

Рабочие, служащие, бойцы и командиры НОАЛ по строго установленным нормам регулярно снабжаются необходимым минимумом продовольствия и потребительских товаров. В победе на экономическом фронте есть заслуга и механического предприятия, под гостеприимным кровом которого находится наш отряд.

Со второй половины дня горную долину снова заполняет рев реактивных двигателей, разрывы бомб. «Амелика» взялась за свою обычную работу. По долине раскатывается гулкая канонада зенитных батарей. Они разместились на гребнях горных кряжей на высоте двухсот—трехсот метров. Не так-то просто в этом краю бездорожья тащить на такую высоту по крутым склонам орудия, наладить бесперебойное снабжение снарядами, водой, питанием. Еще труднее перебазировать демаскированные врагом батареи.

На закате к пещерам на бешеной скорости подъехал грузовик. Задняя часть кузова словно обрублена. Водитель сбивчиво рассказывает, что на трассе, идущей через джунгли, они неожиданно выехали на открытый участок, выжженный прошлой ночью напалмом. И надо же случиться — попали под обстрел американских самолетов. Что со второй машиной — он не знает. Она шла следом. Прошлой ночью на этой же дороге были подожжены две машины с медикаментами. Есть убитые, раненые...

\* \* \*

Эти записи я делаю, пристроившись на нарах. С потолка пещеры то и дело падают крупные водяные капли. На соседнем настиле при свете бамбуковых факелов фельдшер перевязывает нашего шофера Тэ. И тотчас на белоснежных бинтах выступают расплывающиеся алые пятна. Оказывают помощь и другим ребятам из нашего отряда. После контузии я стоны и разговор слышу как бы издалека. Закончив перевязку, девушка направляется ко мне.

— Суон, — представляет ее командир отряда.

Она раскладывает на нарах инструменты, ампулы. Предстоит уколы от столбняка.

События последней ночи, которая еще не кончилась, разворачивались стремительно и трагически сказались на судьбе нашего небольшого отряда. Вот как это было.

Мы выехали ночью. Приказ не зажигать фар. Вдоль разбитого полотна дороги — гигантские бомбовые воронки, черные, выжженные напалмом квадраты земли и мертвые деревни. Стоят хижины на сваях, темнеют еще не сгнившие заборы. И ни огонька, ни звука. Время от времени над головой с ревом проносятся самолеты и исчезают. Возникнет из темноты дорожный патруль — проверит, пропустит, и снова мертвая тишина.

Страшная фронтовая дорога, уродливое лицо которой не в состоянии скрыть даже великолепная тропическая ночь. Уцепившись за поручни, дремлем, просыпаясь на ухабах. В полусне чувствую, как машина начинает вертеться, а

потом следует сильный удар, взрывы бомб, рев удаляющегося самолета. И тишина, прерываемая стонами. Это не сон. Оглядевшись, пытаюсь найти выход. Дверцу заклинило. Мы лежим вверх ногами. Выползаю через разбитое ветровое стекло и хватаюсь за кусты. Внизу пропасть. Машина чудом удержалась на крутом склоне, уткнувшись в огромное одинокое дерево. Все тело горит огнем. Крови не видно. Наконец, понимаю, в чем дело. Выбрался прямо в муравьиную кучу. Рядом из-под машины выползает еще кто-то. Вдвоем пытаемся вытащить остальных. У Тэ лицо, шея, одежда в крови, ноги перебиты. Двигаться не может. По одежде ползут полчища муравьев. Оставив машину, перетаскиваем раненых наверх — к полотну дороги, перевязываем рубашками, майками. В машине оружие, документы, продукты, кино- и фотокамеры, магнитофон, пленка. Часть отснятой пленки погибла, повреждена кинокамера.

Что делать? Прежде всего маскируем машину. Если она будет видна с воздуха, по ней снова будут бить ракетами. Один из бойцов (его лишь слегка контузило) уходит в разведку, а мы, укрывшись в кустарнике, ждем: авось пройдет попутная машина. Но надежд мало. Впереди в нескольких километрах от нас американские самолеты вывешивают в небе осветительные ракеты.

К утру добрались до «обжитой» пещеры, где и встретили Суон. Пока она оказывала первую помощь, рабочие дорожного отряда вытащили нашу машину на дорогу. И хотя чудес не бывает, но машина ожила и своим ходом добралась до госпитального поселка.

Факелы снова приближаются. Суон обносит раненых и контуженых водой в термосе. Вода здесь необычная, я долгое время не мог к ней привыкнуть. Кипяток настаивается на жженом клейком рисе. Утверждают, что этот мутноватый напиток гигиеничен, питателен и хорошо утоляет жажду. В отблесках пламени отсвечивают серьги и браслеты Суон, светится ее милая, добрая улыбка. Уже потом я узнал, что она за несколько дней до нашего появления потеряла любимого. Он погиб на этой же дороге от осколка американской бомбы.

Покидаем базу на следующий день. Двигаемся на попутном грузовике дальше, а наш неунывающий Тэ остается на попечении Суон. Его переправят в полевого госпиталь. Пройдет еще много месяцев, прежде чем мы сможем с ним встретиться вновь. Долгие месяцы Тэ будет числиться в «списках пропавших». В корпункт «Правды» в Ханое после моего возвращения из лаосской командировки придет жена Тэ с кучей ребятишек. Вместе с ней мы будем разыскивать ее мужа, посылать запросы, волноваться: жив ли он? А потом Тэ явится сам, и мы узнаем, что этот дорожный инцидент был лишь началом долгой и трудной игры в прятки со смертью...

\* \* \*

Следующий день провели у зенитчиков. В деле я их видел не раз. Но на фронте жизнь складывается не только из боев и атак. И очень важно, что было до и после боя, как живут солдаты и командиры.

Светло-зеленые фуражки с козырьками, гимнастерки и широкие брюки цвета хаки, парусиновые прорезиненные полуботинки. Так внешне выглядят бойцы и командиры прославленной зенитной батареи, на счету у которой десятки сбитых американских стервятников. Самому молодому — пятнадцать, а «старику» Енгу — тридцать пять. На мой вопрос: кем мечтаете быть после войны? — отвечаю вразнобой: водителем машины, рабочим на механическом заводе, военнослужащим. Но большинство все-таки хочет вернуться в родные села. Когда я спрашиваю, кто же из них сбил больше всего самолетов, все поворачиваются к небольшого роста бойцу. На его счету «Т-28» вьетнамских ВВС, который здесь называют «мухой», военно-транспортный «С-147», обслуживающий по заданию ЦРУ диверсионно-шпионские банды, и реактивный «Ф-105» — ударная сила ВВС США. Зовут зенитчика Ну. Он рассказывает о боях, в которых его расчет одержал победу. Его дополняют другие.

Район здесь горный, население малочисленное. Нередко американским пило-

там удается уйти от кары. Другие погибают, не успев раскрыть парашюта. А третьи отсиживаются в плену.

Постепенно разговор меняет направление. Говорим о жизни, о том, какими путями пришли они сюда. Ну двадцать пять лет. В партизанских отрядах он с шестнадцати. Шестой год воюет зенитчиком. Его родная деревня до сих пор в зоне, контролируемой правыми. Что с отцом, матерью, братьями и сестрами, не знает. С лица не сходит улыбка, когда он рассказывает о жене, детях.

— Они здесь недалеко. Километрах в тридцати. Живы. Вместе с другими временно обитают в пещере. Недавно родился второй сын. Старшему уже два года, и ему дали имя Сихо.

— А как назвали младшего?

— О, это не так быстро у нас делается. Но я верю, что придет время, когда мы сможем дать имя и второму сыну. И знаете, как это будет? Устроим пир. Потом повяжем сыночку «баси» и дадим настоящее имя.

Сидящий рядом Тхунг как бы невзначай заметил:

— Мне настоящее имя дали, когда было четыре года. Я рос хилым ребенком.

Древний лаосский обряд присвоения имени — очень торжественный, он связан не только с анимистическими представлениями, но и с суровыми условиями жизни, с высокой детской смертностью. Еще совсем недавно из десяти новорожденных выживало двое-трое. Остальных косили эпидемии, голод. Одна старая лаоска, потерявшая одиннадцать «безымянных» детей, грустно заметила:

— Если бы у них были имена, то я вспоминала бы каждого по имени. А так вот приходится горевать обо всех сразу: бедные мои дети.

Сейчас имена дают на шестой, восьмой месяц. Меняется жизнь, меняются обычаи. Но скоро и нынешние уступят место новым. Смертность детей в освобожденных районах за последние годы резко сократилась. И это тоже достижение освободительной борьбы.

Командир батареи Кхамсук в революционной борьбе с пятнадцати лет. Он вспоминает родную деревеньку: хижинки на сваях, в каждом доме на видном месте луки и самострелы, рога горных животных. К охоте приучали с малолетства. Сначала на мелкую дичь, а потом и на кабанов, обезьян, тигров, слонов. За долгие годы войны он так и не смог больше побывать в родной деревушке. Женился. Потерял двоих детей. Бывший мальчик-связной стал командиром прославленной зенитной батареи.

Провожают нас с песнями. Квартет кхенов — ударная сила батарейной самодеятельности — исполняет махасайские и чепонские танцы — мелодии далеких краев, из которых пришли сюда бразые солдаты.

Через час над долиной снова гремел бой. И до нашей пещеры докатывалась канонада зенитных расчетов Н-ской батареи. На войне, как на войне.

\* \* \*

На очередной стоянке связного, о котором сообщала телеграмма Главной ставки, не оказалось. Из-за этого, казалось бы, пустяка путь немного удлинится. После утомительных поисков удалось лишь установить связь с одним из племен лаотхынгов, разместившимся в соседних джунглях. Переговоры окончились успешно: нам разрешили вступить на горный тракт и выделили группу носильщиков до ближайшего «перекладного пункта».

Впрочем, для того, чтобы последующий рассказ был понятен, необходимо остановиться на некоторых особенностях национального и религиозного состава населения освобожденных районов.

Лаос — буддийская страна. Так пишут в путеводителях и научных трудах. Но это верно лишь отчасти. Буддизм утвердился в стране с XIV века, когда пришедшие сюда с севера лао основали свое первое государство, которое они назвали Страной миллиона слонов и белого зонтика. Древние племена и народности, населявшие истари эти земли и известные ныне под названием «лаотхынг», бы-

ли оттеснены из долины Меконга в горные районы. Но до сих пор они — вторая по численности народность Лаоса. Их можно встретить повсюду. Основной район, где лаотхынг и поныне составляют большинство, — это Средний и Нижний Лаос.

Так вот, если у собственно лаосцев (или, как их называют, лаолум) традиционной религией был и в значительной степени остается буддизм, то остальные народности сохранили свои прежние анимистические верования. Но поскольку большинство национальных меньшинств за последние десятилетия оказались в партизанских и освобожденных районах, находясь под контролем патриотических сил, здесь, в ходе строительства новой жизни, новых отношений, старые религии и верования постепенно уступают прогрессивному революционному мировоззрению. В Сам Неа, в Главной ставке патриотов, мне довелось беседовать с интересным человеком — Кхамсенгом, встречаться с его помощниками из группы по делам национальностей при ЦК Патриотического фронта Лаоса. Они рассказали мне, что в первые же годы освободительной борьбы остро встал вопрос о создании единого общелаосского прогрессивного фронта. А для выработки программы и конкретных мер необходимо было выяснить этнический состав населения страны, выявить основные народности. С этой целью уже в 1950 году была создана группа специалистов. Лишь в 1954 году она смогла довести свою работу до того этапа, когда можно было приступить к первым выводам и обобщениям. Дело в том, что занимавшиеся этнографией Лаоса французские и другие иностранные этнографы колониального периода главное внимание в своих исследованиях уделяли изучению особенностей различных этнических групп, подчеркивая при этом то, что их разделяло. Патриотам-этнографам пришлось провести огромную и кропотливую работу, чтобы установить общие черты, объединяющие близкие друг к другу народности и племена. Это было нелегко, если учесть военную обстановку, нехватку кадров, сложный состав населения Лаоса. К настоящему времени, как принято считать, его трехмиллионное население (первая и последняя перепись была проведена в стране почти шестьсот лет назад, в 1376 году!) составляют, по неполным данным, шестьдесят восемь народностей и племен. В результате исследований были установлены три основные группы народностей. Приблизительно семьдесят процентов населения относятся к собственно лаосцам, или лаолум. К группе лаотхынг, составляющей около двадцати процентов населения страны, условно относят пятьдесят девять народностей и племен. У представителей древнейшего населения страны много общего в обычаях, обрядах, верованиях. Некоторые группы находятся на уровне каменного века и первобытнообщинных отношений. Что касается языка, то народности и племена группы лаотхынг нередко не понимают друг друга. Еще одна народность — лаосунги — пришла в Лаос с севера сравнительно недавно — два-три века назад. Самые многочисленные племена этой группы — мео.

Результаты этнографических исследований оказали помощь не только в проведении на местах политической работы по сплочению всех народов и племен в борьбе за независимый и свободный Лаос, но и в строительстве новой жизни, в выкорчевывании вредных пережитков тяжелого прошлого, в создании прогрессивной культуры. Так, на базе лаолумской письменности создана письменность лаотхынгов и лаосунгов. Появились первые школы, первые учебники, первые книги на этих языках. И когда я задаю вопросы жителям партизанских и освобожденных районов, кто они по национальности, мне отвечают — лаолум, лаотхынг, лаосунг, причисляя себя к одной из крупных ветвей лаосского народа. Раньше многим народностям и племенам давались презрительные названия. Лаотхынгов, например, обзывали «кха» — дикие рабы. Теперь этого не услышишь.

Лунной ночью с караваном носильщиков по проложенным сквозь джунгли горным тропам вступаем на землю лаотхынгов.

Особенно трудно даются подъемы. В отряде несколько раненых. Нелегко и воинам-носильщикам. На частых коротких остановках длинная цепочка людей об-

разует на каменистой площадке круг, обозначенный красными огоньками цигарок. Их скручиваем из древесных листьев. От крепких самокруток першит в горле, и кашель перекатывается по кругу.

Перед выходом всматриваемся в ночной небосклон, вслушиваемся в дремлющую тишину джунглей, изредка прерываемую свистом гиббонов, звериным рычанием, вскриками взбудораженных птиц.

Вверх — вниз, вверх — вниз. Пока в одной из долин не появилась неожиданно небольшая деревушка. Десяток хижин на сваях разместился под кронами огромных деревьев. И лишь вступив на сельскую улицу, убеждаемся, что перед нами еще одна мертвая деревня: дома стоят, а обитателей как ветром сдуло.

Один из носильщиков подходит к перекладине с подвешенной бамбуковой дощечкой. Ударяет по ней несколько раз со всего размаху. По горам раскатывается звонкое эхо. Минут через двадцать из кустов появляются двое воинов. Только татуировка на их телах несколько иная, чем у наших носильщиков. Они о чем-то совещаются. Наконец сообщают: скоро прибудет новый отряд носильщиков из племени, обслуживающего этот участок тропы. Один из воинов, явившихся по условному сигналу, уже отправился за ними в стойбище. Наши носильщики этой же ночью вернутся назад.

На рассвете прибывает новый отряд воинов. Со старинными тесаками и луками, в набедренных повязках. Через два-три километра очередная смена «наряда».

На призыв бамбуковой дощечки вышло четверо светлокожих парней двухметрового роста. Они молча оглядели поклажу, пересортировали ее в два «места», легко взвалили груз на бамбуковые носилки и первыми двинулись в путь. Лишь раз парни сделали остановку — у пяти просторных хижин на высоких сваях. Здесь устроили долгий привал, разговорились. Великаны-красавцы оказались местными жителями из народности путхай, принадлежащей к лаолумам. Удивительной красоты женщины принесли кокосовые орехи. Бросалось в глаза, что женщины держатся на расстоянии от мужчин. Вот одна, сложив перед собой ладошки, чуть согнувшись, стремительно пробегает от хижины к хижине, оглябая нашу мужскую компанию метров за пять. Оказывается, по путхайским обычаям, женщина не имеет права пройти между разговаривающими мужчинами. В одной из хижин я увидел большой портрет принца Суфанувонга.

Так, от селения до селения, и добрались мы до конечной цели нашего маршрута, рассчитанного на первые сутки, — небольшой деревни лаотхынгов. Здесь нам предстоял длительный отдых.

\* \* \*

Эту запись я делаю в хижине главы одного из лаотхынгских племен. В разгаре солнечный день, а здесь, под низкой двускатной прокопченной крышей, бушует пламя очага: когда опускаются сумерки, жители, опасаясь налета, огня не разжигают. В одну из ночей двинемся дальше. Носильщики-воины, обслуживающие очередной участок горного тракта, уже здесь, отдыхают в соседних хижинах.

На косогоре, где разместилось эвакуировавшееся племя, вовсю кипит работа. Толкут в каменных ступах рис, сооружают загоны для скота, готовят пищу. Восемнадцать хижин. Всего в племени около ста человек. Несколько месяцев назад было на одну семью больше. И жили они не здесь, а в зеленой долине, в полуктора километрах отсюда — кусочек оставленной деревни впаден с косогора, — да вот из-за бомбардировок пришлось перебраться поближе к священному лесу. Об этом нам рассказывает Ван — тридцатилетний глава племени. Сам он в освободительном движении участвует с 1961 года. Первым перенес сюда бамбуковую дощечку — алтарь предков и добрых духов. С этого и началась новая деревня. За Ваном последовали другие. В первый же вечер вождь познакомил меня с другими соплеменниками.

Старик Планг родился более шести лунных двенадцатилетних циклов тому назад. Он не застал «дофранцузского» Лаоса, а вот работоторговцев и вере-

ницы рабов помнит. В ночной темноте мерцает тоненький язычок копилки. Перед копилкой рядом со мной сидят на корточках семидесятишестилетний Планг, наиболее уважаемые воины и землепашцы. Планг монотонно, с большими остановками рассказывает, словно былинку:

— Раньше нас называли кха. Ни мне, ни отцу моему, ни деду не довелось жить в свободной стране. Нам выпала иная доля — тяжелых унижений и позора. Сколько наших соплеменников погибло на чужбине, в рабстве! За века сотни тысяч лаотхынггов были уведены в чужеземное рабство, — продолжал он. — Вот почему нас называли кха — дикие рабы. Но наши предки мужественно защищались. Дед моего отца был одним из участников сражения с сямцами. Оно длилось три дня и три ночи. В бой вступали все новые и новые подкрепления. Но силы были неравными. На третий день все поле битвы было покрыто телами павших воинов, воды рек окрасились в алый цвет от крови раненых и убитых. Погибли сотни боевых слонов. И когда осталось совсем мало воинов и исход битвы был решен, предводитель мужественных лаотхынггов приказал дать знак, что он признает себя побежденным. Он вышел со своими сыновьями и встал перед вражеским войском. Взмахнул мечом — и голова старшего сына покатилась по траве. Взмахнул еще и еще... Последним ударом вождь покончил с собой. Одержав победу, сямцы устроили дикую резню. Те же, кто выжил и не успел скрыться в джунглях, были уведены в плен и проданы навечно в рабство. Старики рассказывали, что после резни от одного из племен, насчитывавшего более двухсот тысяч человек, осталось всего четыре тысячи.

В разговор вступает Лой, сухонький старичок с редкой белой бородкой. Он поправляет набедренную повязку, проводит рукой по бороде и, обращаясь ко мне, медленно говорит. Тхуонг фразу за фразой переводит его слова:

— О чужеземец, о сыновья и внуки мои. Я расскажу то, что видел, то, что было на моей угасающей памяти. В годы моей юности старики считали, что свою волюность мы потеряли из-за междоусобиц, из-за предательства, из-за того, что некоторые из нас, лаотхынггов и лаолумов, воевали друг с другом, чтобы захватить добычу и пленных. Я участвовал в одном из набегов на соседнее племя. У нашего вождя было много наложниц и рабов из бывших пленников и семей бедняков, которые за долги отдавали в рабство своих детей. Но ему этого было мало. Вождь решил воспользоваться тяжелым положением соседнего племени, с которым мы издавна жили в мире и дружбе. На него напали пришельцы. Отстаивая свою свободу, соседнее племя потеряло многих воинов. Этим и решил воспользоваться наш вождь. Вышли мы ночью, а к утру все было кончено. Рукопашная схватка длилась всего несколько часов. Тех, кто не сдавался, убивали. Обмазавшись кровью убитых соседей, мы плясали на их трупах. При свете подожженных хижин делили добычу и захваченных в плен мужчин, женщин, детей. А потом под боевые песни и гром барабанов ушли назад, уводя в свою деревню рабов, унося добычу. Слабых, старых и сопротивлявшихся добивали по пути. Больше всего добычи досталось вождю. Многое забылось, а это осталось в памяти до сих пор.

Мечется огонек копилки. Рядом с луками висят на перекладине карабины. Сквозь драпку, устилающую пол, виден темный провал бомбоубежища, а я все не могу вернуться в реальность: ведь все это было на памяти сидящего передо мною не такого уж старого человека.

— Да, — вступает снова в беседу Планг, — для нас теперь главное — держаться всем вместе. Вместе мы великая сила...

Расходимся за полночь. В хижине предводителя на циновках — дети, жена, он сам, я и Тхуонг. Душно. Бредит больной ребенок. Так и не сомкнув глаз, перебираюсь по шаткой лесенке вниз. Натягиваю между деревьев гамак, нейлоновую накидку от дождя, москитник и заваливаю спать. Просыпаюсь от прикосновений чьей-то руки. Глаза слепит мертвенно-белый свет, в ушах разрывы бомб. Ван тянет меня в бомбоубежище:

— Пай, пай, сахарй... (Идем, идем, товарищ...)

Над долиной на уровне нашего склона американские самолеты вывесили осветительные ракеты. Со всех сторон — детский плач, причитания женщин, мычание скота, крик домашней птицы и вой реактивных двигателей. Все это, усиленное горным эхом, звучит чудовищно, устрашающе. И так минут сорок.

А днем, пробудившись от громкого разговора, снова вижу тихую деревушку на косогоре. Рядом со мной на зеленой лужайке беседуют двое лаосцев. Всматриваюсь в лица и вспоминаю, что я их уже встречал за многие сотни километров отсюда. В Сам Неа. Они растирают опухшие ноги. Рядом на земле — длинные белые мешки, набитые рисом. Тесаки, пистолеты и фуражки с козырьком, какие носят бойцы Патет Лао. К верхнему карману походного мешка привязаны миска, кружка, фляга и фонарь.

Это бывшие курсанты политического училища ПФЛ. Закончив учебу, будущие комиссары с мандатами на руках шагают пешком по глухим дорогам и тропам на родину, в самые дальние районы Нижнего Лаоса. По командировочному удостоверению получают на складах положенные нормы риса, соли. С тех пор, как они вышли, минуло почти четыре луны — около двух месяцев. А впереди еще столько же.

Идут, видят, что происходит в стране, рассказывают о том, что видели, узнали, поняли сами. Комиссары освободительной революции. Они начинали борьбу двадцать с лишним лет назад партизанами в отрядах легендарного Ситхона Коммадама здесь же, в джунглях Нижнего Лаоса...

\* \* \*

Собственно, одной из целей моей поездки в этот район и была встреча с Ситхоном Коммадамом. Я встречал его и до этого, но мне хотелось увидеться с ним именно здесь, на земле лаотхынгов, в его родной стихии. Сегодня поздним вечером из письма, которое доставил связной, мы узнали, что встреча не состоится. Ситхон Коммадам срочно отбыл в Главную ставку. И все-таки рассказ о лаотхынгах будет неполным, если не сказать здесь об удивительной судьбе целого поколения вождей этого мужественного народа.

Из книг, изданных на Западе или во Вьетнаме и рассказывающих о военно-политических бурях, пронесшихся над Средним и Нижним Лаосом за последнее столетие, можно узнать что угодно, вплоть до подробнейших деталей из жизни чампассакского принца Бун Ума, известных реакционных деятелей — Катая, Сананикона, Фуми Носавана, но только не об Онг Кео и Коммадамах, об их поистине героических и трагических судьбах. Разве что несколько фраз, сказанных мимоходом и с пренебрежением.

Для того, чтобы понять, насколько велики авторитет и популярность Онг Кео и Коммадамов, надо побывать в сражающемся Лаосе. Здесь в селениях и стойбищах, на боевых позициях и в глубоком тылу я слышал сказания и песни, рассказы очевидцев и соратников. Легендарные Коммадамы стали героями не только лаотхынгов, но и всего Лаоса. Именем Онг Коммадама названо первое офицерское пехотное училище ПФЛ. Как-то во время одной из встреч Суфанувонг представил мне своего собеседника:

— Ситхон Коммадам. Один из моих первых помощников.

Белая рубашка, галстук, строгий темно-синий костюм европейского покроя и несколько резковатая, но яркая образная речь. На вид за шестьдесят. Я представлял себе несколько иным лидера свободолюбивых горцев. И лишь после многих встреч понял, почему он так популярен. За внешней простотой, сдержанностью я увидел трибуна, говорящего с народом на близком и понятном ему языке, умного военачальника, трезвого политического деятеля, непреклонного революционера. От него я впервые услышал историю о «добрых разбойниках», вождях непокоренных лаотхынгов — Покадоуте, Онг Кео и Онг Коммадаме.

Сейчас наш маршрут пролегает по старым повстанческим базам Коммадамов. Начало этой истории восходит к мартовскому восстанию лаотхынгов 1901 го-

да. Шел восьмой год с тех пор, как Франция установила свой протекторат над Лаосом, огнем и мечом сломив сопротивление местных феодалов и их армий. Однако свободолюбивые лаотхынгй отказались подчиниться колониальным властям, выполнять принудительные работы и выплачивать налоги. Объединенные под командованием Покадоута, их вооруженные отряды окружили французскую резиденцию в Сараване. Армия повстанцев представляла внушительную колонну длиной в четыре километра. Тысячи воинов из маленьких горных стойбищ и селений собрались для решающего боя под знамена Добродетельного, как называли восставшие своего вождя. Свою же борьбу они назвали движение Счастливых людей, справедливо считая человеческим счастьем — свободу и независимость.

«Счастливых» поддержали и лаолумы. Вскоре весь юг страны от Ххаммуона до Саравана был в огне освободительной борьбы. Семь лет мужественно сражались повстанческие отряды, опиравшиеся на широкую народную поддержку. Против отрядов Добродетельного, вооруженных старинными щитами и мечами, пиками и луками, ножами и кремневыми ружьями, была брошена регулярная колониальная армия. Лишь в 1907 году французам удалось хитростью заманить вождя восставших в ловушку. Все они были казнены. Но разрозненные остатки повстанцев, оттесненные в глухие джунгли, продолжали борьбу. Через три года вспыхнуло новое, еще более мощное восстание. Оно продолжалось двадцать семь лет. Возглавил его Онг Кео, вождь лавелей, одного из самых многочисленных племен «диких рабов». Ни экономическая блокада, ни артиллерия, ни ударные силы колониальной армии не смогли сломить сопротивление плохо вооруженной армии Онг Кео. Плато Воловен оставалось неприступным бастионом повстанцев. И снова колонизаторы пошли на коварный обман — в 1916 году они предательски убили Онг Кео.

Но и после этого борьба продолжалась. На место Онг Кео сразу же встал его родной брат — Онг Коммадам. Его армия стала хозяином положения почти во всех районах Нижнего Лаоса. Ведя упорные бои с колонизаторами, повстанцы предприняли важные шаги по строительству новой жизни, развитию национальной культуры. Во всех контролируемых ими районах была отменена трудовая повинность, налоги и поборы колониальных и королевских властей. Первые были организованы школы, где лаотхынгй обучались на родном языке и собственной письменности «хон. По рассказам очевидцев, ее разработал сам Онг Коммадам. Как же сам вождь племени получил образование? Тринадцатилетним мальчиком он был брошен колонизаторами в тюрьму. Здесь такие же, как и он, заключенные преподали ему первые уроки грамоты. В тюремных застенках у Онга зародилась мысль о создании первой в истории древнего народа собственной письменности, об организации по всей «Лаотхынгйи» школ для знатных и незнатных.

Вывравшись из тюремных казематов, Онг Коммадам добирается до главной ставки восставших и становится одним из соратников своего брата Онг Кео.

Лишь к 1934 году, собрав в кулак крупные силы, французы оттеснили повстанцев в пограничный с Вьетнамом горный район Фу Луонг. А через два года окруженные со всех сторон отряды Онг Коммадама героически защищались до последнего. Против них были брошены авиация и артиллерия, отборные части колониальной армии, двести боевых слонов и натасканные в карательных операциях своры овчарок.

Колонизаторам удалось разгромить последнюю базу повстанцев. Шестидесятилетнему вождю, тяжело раненному в бою, с остатками отрядов удалось прорвать кольцо окружения и уйти в джунгли. Озверевшие каратели жестоко расправились с его семьей. Старшего сына Онга — Ситхона, раненного в бою, и оставшихся в живых двух других сыновей бросили в тюрьму. Военный трибунал приговорил Ситхона Коммадама к пожизненному тюремному заключению, а его братьев — к двадцати годам каторжных работ. В застенках был брошен и Санг Ххам, шестилетний сын Ситхона, внук Онг Коммадама...



В феврале 1937 года в джунглях от тяжелых ран умер Онг Коммадам. В последний путь его провожали ближайшие соратники. И чтобы колонизаторы не потревожили прах мужественного борца, его смерть долго держалась в тайне. А в народе Онг Коммадама стали считать бессмертным.

Его сыновей — Ситхона и Кхампхана — освободила революция 1945 года. Третий так и не дожидаясь свободы. С 1945 года Ситхон Коммадам — активный участник освободительного движения. В марте 1946 года с последними частями Патет Лао он отступил в Таиланд, а в 1947 году снова вернулся в Нижний Лаос. С 1950 года Ситхон — член ЦК Нео Лао Итсала, а с 1956 года — заместитель председателя ЦК ПФЛ.

Сына Ситхона считали погибшим. Но Санг Кхам выжил и в 1950 году бежал из концлагеря. Горными тропами пробирается он на юг в ставку Ситхона Коммадама. Это была первая встреча отца и сына после пятнадцатилетней разлуки.

Радостной была она и грустной. Санг Кхам рассказал отцу о пережитых им трагических днях в Фу Луонге в памятном на всю жизнь 1936 году. Санг Кхам было шесть лет, когда погиб его дед — великий Онг Коммадам. На глазах мальчика каратели зверски убили двух его младших братьев. Несколько позже погибла и старшая сестра. К 1950 году из своих двадцати лет жизни — четырнадцать он провел в тюремных застенках, в ссылке. Сейчас Санг Кхам — член военного совета Народно-освободительной армии Лаоса в Нижнем Лаосе.

Имя Коммадамов стало символом мужества и свободолюбия, беспредельной любви к своей родине, своему народу. Во всех селениях освобожденных районов и воинских частях Патет Лао на почетных местах можно увидеть портреты вождей лаосской революции: принца Суфанувонга и его боевого соратника Ситхона Коммадама.

## НА СИЕНГКУАНГСКОМ ФРОНТЕ

Бронетранспортер резко бросает в сторону. Еще не успеваю сообразить, в чем дело, как командир Сивилляй кричит:

— Пай бо дай! (Дальше нельзя!)

Светло, как днем. Видны даже листья на деревьях. Впереди гремят взрывы. Над головами шипящий звук — ракета! Через несколько минут вокруг снова темнота и тишина. Легкий ветерок несет едкую гарь... Пиратский налет.

Мы успели свернуть с дороги. Зенитные пулеметы, как объяснил Сивилляй, будем использовать лишь в крайнем случае. Бронетранспортер снова выползает на дорогу. Через несколько минут останавливаемся.

Языки пламени дожирают остовы трех хижин, прилепившихся к скалистому склону. Из темных пещер выскакивают один за другим с криками, проклятьями и плачем люди. Убиты наповал двое крестьян, случайно оказавшихся у входа. Остальные спаслись под защитой каменных сводов. Нутро пещер в едком дыму. На помощь уже прибыли местные ополченцы и дорожные рабочие. Тушат пожар, помогают женщинам с детьми...

Мы же продолжаем путь по единственному шоссе — дороге № 7. Она связывает восточные и западные районы Верхнего Лаоса. Нет больше на этой дороге до самой Долины кувшинов ни городов, ни селений, ни пагод. Но американскому командованию это ни почем — они бомбят и бомбят эвакуированных в джунгли и в пещеры людей, выжигают рисовые поля. До штаба командующего сиенгкуангским фронтом генерала Синкапо осталось немного, какие-то десятки километров. Я бывал уже здесь, предстоит встреча со старыми знакомыми.

Последний раз я виделся с генералом Синкапо в апреле 1964 года в Долине кувшинов. Только что безуспешно закончились переговоры лидеров трех группировок. Чувствовалось, что война стоит у порога. Генерал Синкапо не успе-

вал отвечать на вопросы журналистов, сыплющиеся со всех сторон, кому на лаосском, кому на французском, кому на вьетнамском. Отвечал лаконично, самую суть, остроумно. Один из английских дипломатов пытался поддеть Синкапо:

— Вы говорите, что американские самолеты совершают над освобожденными районами провокационные полеты. Где доказательства?

Генерал не задумываясь парирует:

— Хорошо. Я прошу внимания, господа корреспонденты! Если английский дипломат настаивает, то мы по его просьбе собьем парочку американских самолетов и представим их в качестве доказательства Великобритании — председателю по Женевским соглашениям 1962 года. Сэр, вы удовлетворены?

Дипломат растерялся.

— Вы меня не так поняли, я не просил сбивать американские самолеты, — бормочет он под дружный хохот корреспондентов.

Меня и потом не раз удивляла необыкновенная способность генерала вести беседу в наступательном стиле. Где надо, он тверд, ясен, а где шуткой, острым словом может пригвоздить собеседника. Синкапо сказал как-то мне:

— Какой я генерал? Ведь у нас в Патет Лао нет званий. А генералом я стал называться, когда надо было представлять Патет Лао на переговорах с правыми генералами.

Это было сказано и в шутку и всерьез. Действительно в Народно-освободительной армии Лаоса не было и нет воинских званий. Но чины «дипломатов-генералов» были даны некоторым военным руководителям ПФЛ не только в связи с переговорами, но и как признание их важной роли в создании и укреплении регулярных освободительных вооруженных сил, за успешное руководство крупными боевыми операциями.

Но факт остается фактом. Почти все военные руководители вышли из профессиональных революционеров и политических деятелей — военных академий они не кончали. Многие из них свое первое боевое крещение получили в вооруженном восстании против японцев или в боях с французскими колонизаторами. И начинать им приходилось прямо с организации партизанских отрядов. Росли патриотические вооруженные силы, а вместе с ними и сами командиры.

Профессиональным революционером, активным участником освободительного движения Синкапо стал в 1945 году. В свои тридцать два года он успел многого добиться. Сын мелкого колониального чиновника, блестяще окончил в родном Тхакхеке семилетнюю общеобразовательную школу, в 1930 году поступил во Вьентьяне во французский коллеж. Когда умер отец, Синкапо не смог продолжать учебу. Стал преподавать, чтобы поставить на ноги четверых братьев и сестер. Вскоре он приобрел известность не только как преподаватель, но и как боксер и инструктор физкультуры. В 1945 году при японцах, для маскировки патриотической нелегальной деятельности, он занял пост начальника отдела просвещения провинции Кхаммуон (Тхакхек). В августе 1945 года Синкапо уже один из руководителей первого очага антияпонского восстания в Тхакхеке. Потом пришли в страну чанкайшисты, а вслед за ними и французы. Но к этому времени Синкапо уже выбрал окончательно свой жизненный путь. В марте 1946 года вместе с остатками отрядов Патет Лао Синкапо после трагической битвы под Тхакхеком уходит в Таиланд. Через два года он с товарищами пробивается в первые освобожденные районы. Не обошлось и без предательства. Командир отряда Фуми Носаван тайно перешел на сторону врага. Командование отрядом, а затем и партизанской зоной перешло к комиссару — Синкапо. Потом им не раз пришлось встречаться по разные стороны баррикад, в боях и на переговорах. Встречаться до тех пор, пока даже прославивший «сильной личностью» вьентьянского режима Фуми Носаван в 1967 году не вынужден был спасаться бегством в Таиланд: его оттеснили другие генералы, пользующиеся большим доверием Пентагона.

Все эти годы Синкапо отдал борьбе в рядах Патет Лао. Много лет он провел на фронте, командуя ударными соединениями патриотических вооруженных сил. Однажды судьба свела его с бывшим учеником. Когда в августе 1960 года во

Вьентьяне мало кому тогда известный капитан Конг Ле совершил переворот и выступил против засилья американцев, для Синкапо это не было неожиданностью: ведь Конг Ле был его учеником.

И из Вьентьяна в декабре 1960 года они уходили с боями вместе — генерал Синкапо и объявивший себя нейтралистом капитан Конг Ле. Их объединенные вооруженные силы освобождали в начале 1961 года Долину кувшинов. С тех дней генерал Синкапо — бессменный командующий военным округом Сиенг Куанга, куда входит и Долина кувшинов. В 1963—1964 годах он делал все возможное, чтобы помочь своему бывшему ученику, ставшему уже генералом, правильно разобратся в обстановке. Но после того, как Конг Ле под давлением реакционных офицеров вступил на путь предательства боевого союза Патет Лао и нейтралистов, Синкапо не колеблясь выступил против него. Для Синкапо не было ничего выше интересов революции. Недаром бойцы Патет Лао за глаза называют своего командира «наш железный командарм». После ухода к правым генерала Конг Ле части левых нейтралистов продолжали с отрядами Патет Лао борьбу против вьентьянских войск на рубежах у Долины кувшинов. А генерал Конг Ле разделил судьбу других, ему подобных. Как и Фуми Носавану, ему пришлось спасать свою жизнь бегством и скитаниями по другим странам. Те самые офицеры, которые толкнули в 1963—1964 годы генерала-нейтралиста на разрыв боевого союза с Патет Лао, устранили его, как только он стал негоден все тому же Пентагону. Весной 1964 года в Долине кувшинов на переговорах я видел их вместе: Синкапо, Носавана и Конг Ле. Это была их последняя встреча.

\* \* \*

Разместили нас по соседству со штабом генерала Синкапо в бамбуковой мазанке. Прохладно. Дрожу под двумя теплыми одеялами. То ли уже сказывается привычка — не спать по ночам, то ли, наоборот, неприспособленность, но всю ночь не до сна. Звонко раскатывается канонада боя, идущего на подступах к Долине кувшинов. А когда дают залпы стопятидесятимиллиметровые тайландские пушки, тоненькие стены хибары начинают вибрировать...

На рассвете к штабу подъезжает бронетранспортер. С фронта вернулся генерал Синкапо. После дружеских объятий, традиционных вопросов: «Как здоровье? Как доехали? Что нового?» — вспоминаем прежние встречи здесь, в Лаосе, и у нас, в Советском Союзе. Синкапо много раз был в Москве, Ленинграде, Киеве, Баку, Тбилиси.

— Ты знаешь, вот уж сколько лет прошло, а я все помню. Особенно один вечер в грузинской деревне. Песни, танцы, гостеприимные и добрые хозяева. И люди и природа там так близки Лаосу. Я временами даже забывал, что нахожусь за пятнадцать тысяч километров от родных краев.

Интересовало Синкапо и положение в социалистическом содружестве, в международном революционном и освободительном движении, обстановка в соседнем Вьетнаме...

Тот же бодрый голос, та же активная наступательная речь. Но годы дают себя знать. Очки. Угловатее стали движения. Как-никак, а уже пошел шестой десяток. Трудно дались последние годы войны. Я осторожно говорю об этом генералу, а он в ответ отшучивается:

— Дед? Ну что ж. Пусть дед. Но мы еще повоюем. Я надеюсь своими руками строить новую жизнь в мирном Лаосе. А вообще, знаешь, начинаю понимать глубину истины: за свободу воевали наши деды... Вот я и есть один из тех самых дедов.

До обеда вместе с Сивилеям знакомимся со штабным поселком. Несколько деревянных барачков за колючей проволокой. Во дворе трофейные базуки, обломки американских самолетов, поржавевшие кузова разбитых авиационными осколками джипов. Несколько огромных воронок. Целившиеся в штаб американские пилоты промазали. Но наповал были убиты проходившие мимо школьники.

Синкапо принимает меня в главном штабном бараке. На столе разостлана

трофейная карта. Но прежде чем сесть за стол, он с гордостью показывает плакаты и репродукции, украсившие все стены барака.

— Подарок покойного маршала Малиновского во время нашего визита в Москву в 1962 году, — поясняет Синкапо.

На самом видном месте — портреты Ленина и Суфанувонга. И когда я задерживаю на них внимание, генерал поясняет:

— Много вождей дало международное революционное движение. Но особое место среди них занимает Ленин. Он был, есть и будет вождем всех угнетенных и обездоленных, всех поднявшихся на борьбу за свободу, социальный прогресс, народное счастье.

За длинным столом — Синкапо, офицеры штаба. Разговор — об общей обстановке в их районе. И для этого приходится обратиться к карте.

Сиенг Куанг занимает центральное положение в Верхнем Лаосе. Через эту провинцию проходят стратегические дороги. Тот, кто контролирует Долину кувшинов, занимает господствующую позицию. Отсюда идут шоссе в провинцию Сам Неа, где находится Главная ставка патриотических сил; в восточные районы страны вплоть до границы с Вьетнамом; на юг, в освобожденные районы Среднего и Нижнего Лаоса. Отсюда же идут ближайшие удобные сухопутные дороги в крупнейшие города Верхнего Лаоса, находящиеся в зоне правой группировки: Луанг Прабанг и Вьентьян. Именно поэтому на подступах к Долине кувшинов с первых дней войны идут ожесточенные бои. Если почти на всей остальной наземной линии фронта между патриотическими и проамериканскими силами нет позиционных рубежей с минными полями, окопами, колючей проволокой, то здесь они созданы и не раз становились местом ожесточенных боев. В остальных районах страны позиции противных сторон разграничены зонами влияния. И там переход из рук в руки отдельных деревень и высот нередко имеет местное значение. Сиенгкуангские рубежи обороняют хорошо экипированные части регулярной Народно-освободительной армии Лаоса под командованием генерала Синкапо и полковника-нейтраллиста Дьона. В операциях против засланных в тылы освобожденных районов шпионско-диверсионных групп активное участие принимают отряды народного ополчения, или, как их здесь именуют, партизаны. На сиенгкуангский плацдарм проамериканская группировка бросает отборные части: ударные силы ставленника Центрального разведывательного управления США генерала Ван Пао, «мобильные усиленные» батальоны вьентьянской армии, подразделения бывшей армии Конг Ле. Их поддерживают военно-воздушные силы Соединенных Штатов, тайландские артиллерийские дивизионы.

Особую политику патриоты проводят в отношении военнопленных лаосцев. После разъяснительной работы им предоставляют право выбора. Уроженцам освобожденных районов разрешают жить и трудиться в своих деревнях. Тем, кто изъявляет желание вернуться в зону правых, это желание также удовлетворяют, правда, взяв клятву, что военнопленные не будут больше участвовать в войне против патриотических сил. Многие же выбирают иной путь — добровольно вступают в ряды Патет Лао или левых нейтралистов. Потому-то здесь, в районе ожесточенных боев, нет лагерей военнопленных.

Как бы подытоживая все сказанное, последним вступает в беседу генерал Синкапо:

— Я хотел бы начать с того, что, если бы не было такой страны, как Советский Союз, американский империализм в своей эскалации войны мог дойти бы до того, чтобы сбросить на Лаос и Вьетнам атомные бомбы. Ваша страна была, есть и, я уверен, будет прочной военно-политической, экономической базой, важным моральным фактором для борьбы всех угнетенных народов за свою свободу.

В просторной многокомнатной бамбуковой хижине полумрак, хотя горит немало чадящих всюду светильников. Под аккордеон, гитары и кхены лихо отплясывают в кругу солдаты и офицеры. Время от времени по сигналу часовых при-

ходится гасить светильники, и в хижину врывается вой проносящихся над головой американских самолетов, канонада далекого боя. Так заканчивается день, который я провел в ставке патриотических нейтралистских сил в Сиенг Куанге.

Глубокой ночью расходимся, освещая дорогу узкими лучиками карманных фонарей. Добравшись до хижины, где мне определен ночлег, зажигаю керосиновую лампу. Достая чистые блокноты и до самого утра записываю впечатления от посещения ставки нейтралстов, встреч с политическими и военными лидерами левых нейтралстов.

Нейтралистская группировка родилась осенью 1960 года после восстания частей вьентьянского гарнизона. И первыми, кто провозгласил себя нейтралстами, сторонниками мирного урегулирования конфликта между Патриотическим фронтом Лаоса и правыми проамериканскими силами, были военные, руководители восставших — капитан Конг Ле и старший лейтенант Дьон. А через несколько месяцев сложилась более широкая военно-политическая группировка, куда вошли принц Суванна Фума, Киним Фолсена, Кхамсук Кеола, генералы Буфа и Монгкхонвилай, многие другие. Когда же правая проамериканская группировка подняла военный мятеж и возобновила в конце 1960 года войну, в стране сложилось новое соотношение — из трех, а не из двух, как до этого, сил. С одной стороны, правые во главе с принцем Бун Умом и генералом Фуми Носаваном, а с другой, объединенный фронт ПФЛ и нейтралистской группировки, который выступил против вмешательства США, за независимый, нейтральный и единый Лаос. На Женевском совещании летом 1962 года речь также шла о трех военно-политических группировках и мирном урегулировании лаосского конфликта, без вмешательства извне. Однако в 1963—1964 годах американской агентуре и силам реакции удалось вызвать раскол в рядах нейтралстов. Конг Ле с частью нейтралстов перешел на сторону проамериканской группировки. Некоторые политические лидеры нейтралстов также начали скатываться на позиции сотрудничества с правыми и США. Они приняли участие во вьентьянском правительстве, претерпевшем серьезные изменения после реакционного военного переворота 19 апреля 1964 года. 17 мая того же года страна вновь была объята войной. Линия фронта разделила ее на два воюющих лагеря. С одной стороны, объединились проамериканская группировка и примкнувшие к ней правые политические и военные лидеры нейтралистской группировки. За их спиной стояли и стоят США. С другой стороны, засилье проамериканских офицеров в частях бывшей нейтралистской армии, перешедшей на сторону правых, заставило многих солдат и офицеров разобраться в обстановке и выступить против генерала Конг Ле. Они в боевом союзе с ПФЛ продолжают борьбу за единый, нейтральный, независимый и процветающий Лаос, против американской агрессии.

Руководство этим широким антиимпериалистическим фронтом борьбы осуществляют принц Суфанувонг и Кхамсук Кеола. Основные вооруженные силы нейтралстов сражаются здесь, на сиенгкуангском фронте, под командованием полковника Дьона, в ставке которого я побывал.

Впервые с ним мы встретились в Москве летом 1962 года. В составе лаосской делегации он участвовал во Всемирном конгрессе за разоружение и мир. Только что были подписаны Женевские соглашения по Лаосу, открывшие путь к миру. Но в те же дни в соседнем Южном Вьетнаме стремительно разгорался пожар войны, развязанный все теми же американцами. В Москву прибыла первая официальная делегация Национального фронта освобождения Южного Вьетнама. Мы стояли в холле Дворца съездов — лаосцы, вьетнамцы и советские, обсуждая обстановку, перспективы мира в Индокитае. Лаосская делегация была героем дня. Она представляла мужественный народ, который вынудил Соединенные Штаты признать за ним его законное право самому решать свои вопросы. Но угроза новых провокаций еще оставалась. В Москве же мне довелось присутствовать при подписании первого совместного заявления лаосских и южновьетнамских патриотов, осуждающих агрессивную политику США в Индокитае. От

имени лаосской делегации свою подпись поставил полковник Дьон. На память о Москве он привез несколько репродукций картин об Октябрьской революции.

Их-то я увидел первыми в ставке нейтралистов. На самом видном месте — портрет Ильича, выступающего на митинге. Много раз на партизанских тропах в освобожденных районах, у подпольщиков Индокитая я видел Ленина, «как живой с живыми» говорящего с мужественными борцами за народное счастье.

— Для меня, — медленно обдумывая каждую фразу, говорит Дьон, — поездка в Советский Союз, на родину великого Ленина, в другие социалистические страны была особенно впечатляющей. Вы знаете, что путь мой в освободительное движение был пеленгом и сложным.

О полковнике Дьоне стоит рассказать хотя бы потому, что он один из признанных лидеров нейтралистов, да и потому, что таким же путем в освободительное движение пришли многие военные руководители нейтралистской группировки. В тридцать три года, в возрасте Христа, как сострил один из друзей Дьона, в жизни его наступил ошеломивший всех перелом. Сначала многие из его окружения в это просто не поверили. А когда поверили — отреклись и оказались с ним по разные стороны баррикад. До событий, разыгравшихся во Вьентьяне ночь с 8 на 9 августа 1960 года, старший лейтенант Дьон имел репутацию одного из блестящих офицеров королевской армии, ее элиты — парашютных батальонов. Американские военные советники называли его «коммандосом № 1», «восходящей звездой». Но начнем с того, когда маленький вьентьянец из зажиточной семьи делал свои первые шаги в жизни. Семья жила в пригородном селе. Каждое утро Дьон с ватагой своих сверстников приходил в сельскую пагоду, где в течение трех лет старый бонза обучал их по старинным священным книгам, написанным от руки на пальмовых листьях, и по новым, отпечатанным типографским способом, грамоте. Старый бонза учил детей не только читать, но и воспитывал в духе буддийских заповедей: будь честным, не воруй, слушайся старших, чти Будду, короля, помни, убийство — тяжкий грех. Но детский мир не замыкался стенами храма. А вокруг происходили события, которые никак не укладывались в буддийские каноны. Окончив школу, Дьон, старший сын в семье, работал на своем поле, а потом и у чужих. Жизнь дорожала. Семья росла. А денег не хватало. И когда во Вьентьяне появились объявления о наборе во французскую колониальную армию, на семейном совете решили: быть Дьону солдатом. Жалованье приличное, а последние части повстанцев отступили в Таиланд. Шел 1946 год. Хотя насчет жалованья надежды оправдались, но воевать все же Дьону пришлось еще много. О партизанах офицеры рассказывали, что те предали короля, лучшего друга Лаоса — Францию и отреклись от Будды...

Через восемь лет Дьона направили в офицерское пехотное училище в Саваннакет. В 1955 году он получил звание младшего лейтенанта и назначение во Вьентьян. Французских инструкторов к этому времени постепенно сменили американские, а враг оставался прежним — Патриотический фронт Лаоса. Три года спустя лейтенант Дьон был назначен командиром роты во второй парашютно-десантный батальон «коммандосов» — ударную антипартизанскую часть. Идея ее создания принадлежала американцам. Да и фактически командиром был американский подполковник Джек.

Все офицеры и часть рядового состава второго батальона проходили специальную подготовку на американских базах в Таиланде и на Филиппинах. Лейтенант Дьон самолетом вылетел в Манилу.

Пройдя обучение, лаосские курсанты принимали участие в военных маневрах на морском побережье совместно с американскими и филиппинскими частями. После маневров американский инструктор заявил: «Вы настоящие коммандосы. Самые быстрые солдаты джунглей. Как тигры. Лучшим из вас показал себя лейтенант Дьон».

Им выдали новое обмундирование с черными наплечными эмблемами в виде морды тигра. А затем снова Вьентьян и карательные рейды. Сто тридцать раз со своим «летучим отрядом» прыгал с самолетов в партизанские джунгли «черный

тигр», теперь уже старший лейтенант Дьон. Но к этому времени он стал задумываться над происходящим. В их батальоне появилось уже десять американских офицеров. Янки чувствовали себя здесь хозяевами. А может быть, правы Патет Лао? Да и его ближайшие друзья — капитан Конг Ле, лейтенант Тхонг Ми не раз спрашивали друг друга: «Что же делать? Так дальше нельзя». Американцы, как до них японцы и французы, лишь натравливают одних лаосцев на других. Постепенно созрела идея антиамериканского восстания и провозглашения нейтралитета, чтобы все лаосцы могли объединиться и жить в мире в единой стране. Скоро на их стороне оказалось большинство офицеров. И когда «коммандосам» был дан приказ высадиться в районе, где, по данным разведки, находился бежавший из вьентьянской тюрьмы принц Суфанувонг, штаб подготовки восстания принял решение. В ночь с 8 на 9 августа 1960 года столица Вьентьян перешла в руки восставших. Руководили им командиры второго батальона «коммандосов» — Конг Ле, Дьон и Тхонг Ми. Отличительным знаком восставших были красные шейные платки и красные повязки на рукавах. Сразу же были установлены контакты с представителем ПФЛ — генералом Синкапо.

В декабре 1960 года во Вьентьян ворвались превосходящие силы правых. За их спиной стояли США и Таиланд. Отряды патриотов вели ожесточенные бои на улицах столицы. С ними вместе сражались подразделения, сформированные из народных добровольцев, которым тут же раздали оружие, и два ударных батальона из бывших политических заключенных вьентьянских тюрем. Последним покинул столицу отряд Дьона.

В 1963 году уже здесь, в Долине кувшинов, ему вновь пришлось вспомнить второй батальон «коммандосов»: в ставку Конг Ле прибыл их бывший шеф — подполковник Джек. Он пытался вернуть в «свое лоно» недавних подопечных. С Конг Ле у него это вышло, а с Дьонгом и его товарищами — нет.

— Наши дороги с господами из Пентагона, — говорит полковник Дьон, — разошлись раз и навсегда. Мы будем бороться до тех пор, пока американские интервенты не оставят лаосскую землю в покое и не уберутся восвояси.

Речь заходит о военном положении.

— На этом участке фронта, — рассказывает командующий, — мы действуем совместно с частями Патет Лао. И хотя по существу здесь две армии, но наши отношения товарищеские. Планы операций разрабатываем совместно. Вместе их и осуществляем. В общем, полная взаимосвязь и взаимоподдержка. За последние годы нейтралистские вооруженные силы значительно укрепились. На нашем участке фронта мы располагаем пехотными, противоздушными и бронетанковыми подразделениями. Нет пока авиации. Настроение в частях боевое. Мы ведем там большую политическую работу. Вот, пожалуй, и все. А остальное увидите на фронте.

\* \* \*

Чем ближе к фронту, тем больше вдоль изрытой глубокими бомбовыми воронками дороги — разбитых машин, сожженных рощ и черных пепелищ. У небольшого мостика фары выхватывают из темноты радиатор разбитого грузовика и бешено вертящийся под порывами ветра вентилятор. Ни души. Когда впереди зловещим красноватым светом вспыхивает осветительная ракета, бронетранспортер, словно вкопанный, останавливается, а пулеметчики замирают у боевых позиций. Минут через пять снова двигаемся на ощупь, навстречу приближающейся канонаде боя. Остаток пути до позиций, занимаемых батальонами Патет Лао и нейтралистов, проделываем пешком. На горном склоне, прямо рядом с тропой, небольшая дощечка: «Осторожно! Зона артобстрела». Рядом черная глубокая нора от зарывшегося в землю и неразорвавшегося стопятидесятимиллиметрового снаряда. Мы находимся в расположении защитников Фукута.

Еще недавно безымянная, высота стала теперь символом непреклонного мужества и героизма лаосских патриотов. Отдыхаем в небольшой землянке. Три наката толстых бревен, и над ними прямо на черной выгоревшей земле небольшой

шалаш. В нескольких шагах от входа отвесный обрыв. В землянке нары, уставленные ящиками с патронами и снарядами. На стенах карабины и автоматы. Чадит несколько коптилок, и поминутно трезвонит телефон. Это командный пункт. Сидим на корточках на циновках, положив рядом автоматы. Пьем зеленый лесной чай. То и дело отрываясь к телефону, комбат Буакхам вводит нас в обстановку. Его рассказ дополняют другие. Война для защитников фукутских рубежей началась с самого первого ее дня. С тех пор Фукут — один из самых напряженных участков фронта. Противнику так и не удалось сломить эту линию обороны.

Фукут по-лаосски означает «волнистый гребень». Тот, кто владеет им, держит под контролем один из важнейших путей, ведущих в Долину кувшинов. Двухкилометровой высоты кряж покрыт соснами; собственно, так было несколько лет назад. Из-за непрерывных бомбардировок и артобстрелов гребень Фукута «укоротился» на несколько метров, и на его склонах уже нет ни одной зеленой сосны, лишь чернеют страшные обугленные стволы.

Буакхам достает записную книжку и четко, по-военному читает лаконичные записи из военных сводок. Не считая мин, по Фукуту было выпущено свыше двухсот тридцати тысяч снарядов. На каждый квадратный метр этой опаленной земли пришлось по двадцать пять снарядов и одной бомбе. Десятки жестоких атак противника, нередко врукопашную, отразили мужественные защитники Фукута.

С вершины кряжа, где расположены окопы, просматривается долина, ряды колючей проволоки, минные поля и длинные полосы переднего края противника на той стороне долины, приблизительно в километре отсюда. Позиции тяжелой артиллерии тайландских наемников в десяти километрах, во втором эшелоне. Защитники высоты очень молоды. Но за плечами каждого годы фронтовой жизни. Взять хотя бы комбата Буакхама. Из тридцати двух лет жизни половина пришлось на войну. Сначала сражался, живя в родной деревушке, что находится за тысячу километров отсюда, в Среднем Лаосе. Потом на разных фронтах в Верхнем Лаосе. Вместе со своим взводом он освобождал Долину кувшинов, воевал на самом тяжелом рубеже, у перевала Сала Фуххун, в прошлую войну. С 1964 года снова на фронте — здесь, на фукутском рубеже. Или комиссара батальона Мани. Озорные карие глаза и копна курчавых волос выдают в нем лаотхынга. Он тоже начал свою беспокойную солдатскую жизнь в шестнадцать, оставив тихую деревушку на сваях и своих любимцев-слонов. А для двадцатисемилетнего бойца Пхадхи война началась всего, как он говорит, четырнадцать лет назад. Даже в блиндаже он не выпускает из рук автомат.

Артиллерийская канонада продолжает усиливаться, и прямо из блиндажа Пхадхи уходит на огневой рубеж.

\* \* \*

На небольшой горной площадке шла обычная пристрелка. Из карабинов. По мишени. Над долиной гулко разносилось эхо. Дождавшись конца учебных стрельб, вместе с отрядом карабкаемся по крутой горной тропе наверх. Там, в селении лаосунгов, нас уже ждут. Спрашиваю, из какого они отряда.

Отвечают дружно:

— Из отряда Патчая.

Сколько же этих отрядов Патчая? Десятки раз я встречался с бойцами-лаосунгами в разных районах Верхнего Лаоса, и каждый раз мне говорили:

— Мы из отряда Патчая.

Все подразделения патриотов, сформированные из лаосунгов, носят имя Патчая. Оно стало символом освобождения.

Вражеская пропаганда в течение многих лет настойчиво твердит, что племена лаосунгов якобы поголовно выступают против народной власти и действуют под командой «черного генерала» Ванг Пао.



Но как обстоит на самом деле? Посещая многие освобожденные районы Верхнего Лаоса, я старался бывать в деревнях и партизанских отрядах мео, встречаться с патриотическими лидерами лаосунгов. Помню разговор в сельском медпункте деревни Хуа Нхан. В небольшой бамбуковой хижине с земляным полом, покрытой легонькой двускатной кровлей, под которой развешан трофейный американский парашют, я застал молодую девушку. Это была фельдшер Чы — весь наличный персонал медпункта. Она показала мне свое немудреное хозяйство. В комнатухе справа — два топчана, покрытых циновками. Около каждого — по карабину. Слева от входа ее «приемная». Даже в трудные военные годы девушки остаются девушками: рядом с оружием — зеркальце, браслеты, кольца. Мы долго беседовали обо всем на свете, Чы — народности лаосунг, ей двадцать два года. Ей, как и остальным сельским медикам, приходится нелегко. На прощанье Чы просит меня:

— Расскажите вашим людям про лаосунгов. Как мы вместе с другими народностями Лаоса участвуем в освободительной борьбе, строим новую жизнь. Наш народ верен заветам Патчая...

Опять Патчай! Кто же такой этот Патчай?

Вот небольшое достоверное, что удалось мне узнать. В 1918 году в ответ на приказ французских колониальных властей платить налоги и выполнять трудовую повинность и последовавшие вслед за этим репрессии в горах Верхнего Лаоса вспыхнуло восстание лаосунгов. Руководил им один из племенных вождей — Тяо Патчай. Повстанцы провозгласили независимость, отменили налоги и повинности, организовали партизанские отряды. Пять лет длилась эта народная война. Лишь в 1922 году Патчай был предательски убит подосланным в его ставку агентом французских колонизаторов. Вскоре колонизаторы разгромили отряды повстанцев — силы были неравными. Сотни лаосунгских селений были преданы огню.

Мне сказали, что в частях Патет Лао в Сиенг Куанге воюет внук Патчая.

Живут лаосунги высоко в горах. В большинстве районов страны, за исключением Сиенг Куанга, они составляют национальное меньшинство. Не случайно очагом нового восстания в 1945 году снова стали труднодоступные горные районы этого края. Его возглавил молодой вождь одного из племен — Фейданг. Юношей он слышал рассказы о Патчае, восхищался его героизмом. Сейчас Фейданг вице-председатель ЦК ПФЛ. Он живет в Сиенг Куанге. Я не раз встречался с ним. Он рассказал мне, как началось вооруженное сопротивление лаосунгов в 1945 году.

Однажды их селенье окружил отряд колонизаторов. Французы разыскивали его. Донос на молодого предводителя написал сам «король мео» — Тубилифонг. Но Фейдангу с верными ему воинами удалось прорвать кольцо окружения и, отстреливаясь, уйти горными тропами в джунгли. Здесь они создали первую базу сопротивления лаосунгов. Через несколько лет многие лаосунгские деревни превратились в неприступные для колонизаторов крепости. У повстанцев не хватало винтовок. Но были луки с отравленными стрелами. Сам Фейданг владеет ими в совершенстве и считает лук незаменимым оружием партизанской борьбы: стреляет бесшумно, точно направленная стрела сражает врага наверняка.

В 1946 году Фейданг создал единую организацию — Лаосунгскую лигу сопротивления, куда вошли многие селения провинции Сиенг Куанг. В районах, контролируемых патриотами, были отменены налоги и трудовые повинности, ликвидирована колониальная администрация, созданы отряды самообороны. Одним из главных лозунгов движения был: равенство всех народов.

Лаосунги не только продолжили дело Патчая, но и учли горький урок восстания 1918—1922 годов — изолированность их движения от борьбы других народов. Лаосунгская лига сопротивления установила контакты, а затем и боевое сотрудничество с партизанскими отрядами лаолумов и лаотхынгов. В 1950 году она вошла в первый общенациональный патриотический фронт — Нео Лао Итсала. Ныне представители лаосунгов активно участвуют и руководят многими орга-

нами народной власти в Сиенг Куанге и других освобожденных районах. Их видные политические деятели — Не Вы и Ло Фунг — члены ЦК ПФЛ. Ло Фунг, с которым мне довелось встретиться в Сам Неа, оказался удивительно разносторонним человеком. Он хорошо разбирается в истории лаосунгов и своей страны, создал лаосунгскую письменность.

### В СТАВКЕ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО

На рассвете на базу, где разместился наш отряд, прибыл из ставки главнокомандующего Народно-освободительной армии Лаоса связной. Он доставил пакет с приглашением товарища Кхамтея прибыть к нему вечером того же дня.

С наступлением темноты, вооружившись фонариками, отправляемся вместе со связным в путь. Снова зарядил проливной дождь. Весь день, как и накануне, в перерывах между короткими ливнями в небе висели американские самолеты, сбрасывая очередные тонны бомб.

Неожиданно из густой завесы ливня выросла фигура часового. Несколько минут мы идем вдоль телефонных проводов по узкой тропе. Небольшой подъем, а затем крутой спуск по земляным ступенькам, и мы оказываемся в огромной, ярко освещенной керосиновыми лампами глубокой нише. Посредине пещеры, перегородившая ее, висит большая карта Индокитая.

Нас ждали. Навстречу легкой походкой вышел высокий стройный лаосец в резиновых сапогах и зеленой армейской форме без знаков различия. Это и был главнокомандующий, товарищ Кхамтей. Улыбаясь, он пожал руку, справился о здоровье и дороге. Время встречи и беседы ограничено двумя часами — у товарища Кхамтея, понятно, дел хватает и без нас. Сегодня утром были получены сообщения об усилившихся боях в районе Долины кувшинов. Наше первое знакомство состоялось незадолго до начала войны, в городе Сам Неа, в светлой просторной вилле — резиденции принца Суфанувонга. С ее балкона открывался чудесный вид на долину, по которой разбежались шумные улочки теперь уже не существующего города. Вечером 20 января 1964 года здесь в торжественной обстановке отмечалась пятнадцатая годовщина со дня рождения Народно-освободительной армии Лаоса.

К началу американской интервенции в 1964 году НОАЛ прошла суровые боевые испытания в борьбе против французских колонизаторов. Выросли ее ряды. Укрепилось на местах народное ополчение. На смену лукам и мечам пришла новая военная техника. Выросли опытные военачальники. Один из них — товарищ Кхамтей.

Двадцатидвухлетним крестьянским пареньком вступил он добровольцем в патристическую армию в дни революции 1945 года. Весною 1946 года он отступал с остатками разбитой патристической армии. Долгие мучительные месяцы провел в эмиграции. А через два года о бесстрашном командире, командующем партизанскими частями патристов в Нижнем Лаосе, заговорили вьетъянские газеты. Это были, пожалуй, самые трудные годы Сопротивления. Зачастую на весь отряд были один-два трофейных карабина и несколько гранат. Остальное вооружение составляли луки с отравленными стрелами.

Впоследствии Кхамтея можно было увидеть на многих фронтах Лаоса. Но особенно памятна для него и для всех патристов-лаосцев весна 1959 года. Предательски нарушив соглашение, вьетъянские реакционеры приказали арестовать принца Суфанувонга и других лидеров патристов Патет Лао. Одновременно они попытались разоружить единственные оставшиеся недеобилизованными отряды патристических сил — первый и второй батальоны Народно-освободительной армии Лаоса.

Сквозь горы и джунгли, вместе с обозом женщин и детей, ведя ожесточенные бои с превосходящими силами противника, второй батальон шаг за шагом продвигался на старые партизанские базы. Это был лаосский «железный поток», он вошел в историю как одна из героических страниц борьбы народа за свою свободу.

Вскоре на старые партизанские базы удалось прорваться большинству бойцов и командиров первого батальона НОАЛ. В эти трудные дни на плечи товарища Кхамтея и других оставшихся на свободе руководителей патриотического движения легла нелегкая задача — возродить армию, отстоять завоевания национально-освободительной революции. Через несколько месяцев им удалось восстановить старые партизанские базы, а через год организовать беспрецедентный по своей смелости побег из вьентьянской тюрьмы принца Суфанувонга и его соратников. В 1960 году партизанский командир Кхамтей был назначен главнокомандующим НОАЛ. В то время ему было тридцать шесть лет. За сравнительно короткий срок на базе двух батальонов и сотен партизанских отрядов возродилась регулярная армия. Она пополнилась молодыми добровольцами, новыми кадрами командиров и комиссаров. Ныне в ее рядах сражаются десятки тысяч патриотов.

Я побывал во многих пехотных, зенитных, саперных, бронетанковых и других частях НОАЛ. Подавляющее большинство ее бойцов и командиров — молодежь в возрасте от семнадцати до двадцати трех лет. Как я уже упоминал, в НОАЛ нет званий и знаков различия и по внешнему виду трудно отличить рядового бойца от командира. Армия до сих пор строится на добровольном принципе. Но это уже не партизанские части. Тысячи командиров и комиссаров не только прошли «университеты» на фронтах, но и окончили военные училища.

Часто НОАЛ называют «вооруженные силы Патет Лао» — патриотические вооруженные силы. Я попросил товарища Кхамтея объяснить, какое из названий более правильное.

— Дело в том, — сказал он мне тогда, — что все они верны, но родились на разных этапах борьбы. До 1954 года мы называли себя вооруженные силы Лао Итсала (Освобождения Лаоса). Во время Женевского совещания 1954 года это название встретило возражения со стороны правых. Мы не стали настаивать — дело в конце концов не в том, как называться. Так появился термин — вооруженные силы движения Патет Лао (Страны Лао). В начале нынешней войны, весной 1964 года, мы восстановили старое название, несколько расширив его: Народно-освободительная армия Лаоса.

Главнокомандующий пригласил нас к столу. По обычаю здесь сначала угощают чаем, расспрашивают о здоровье, пути. Адъютант командующего то и дело подкачивает керосиновые лампы, чтобы поддержать ровный свет.

— Положение вкратце можно охарактеризовать так, — начал Кхамтей. — Американские империалисты ведут здесь «особую войну». В наземных операциях против нас на почти полуторатысячекилометровой линии фронта участвуют в основном силы восьмидесятитысячной армии правой лаосской группировки, которая фактически находится под руководством американских офицеров и генералов. Одновременно военно-воздушные силы США наносят все нарастающие удары по нашим боевым позициям и освобожденным районам. Активную роль в проведении подрывных операций в наших тылах играет агентура и отряды лаосских наемников американского ЦРУ. Что касается деталей военных действий и отдельных операций, то об этом вам расскажут наши товарищи. А пока краткий итог: нам удалось отстоять ключевые освобожденные районы, нанести врагу тяжелые потери в живой силе и боевой технике. Короче говоря, нам удалось сорвать агрессивные планы Пентагона относительно военного решения лаосской проблемы. Противник вынужден перейти к стратегической обороне. Моральный дух армии противника резко падает. Что же касается наших сил, то они заметно выросли, окрепли в боях. С уверенностью могу сказать одно: мы ведем справедливую борьбу и будем защищать каждую пядь территории, контролируемой патриотическими силами. Наша главная сила в поддержке народных масс, в высокой сознательности бойцов и командиров НОАЛ. И разумеется, очень много значит то, что все миролюбивые народы мира на нашей стороне. Соединенным Штатам в конце концов придется обратиться с нашей земли.

Главнокомандующего ждут неотложные дела, время, отведенное на встречу с нами, подходит к концу.

— Передайте,— говорит он на прощание, — братский привет Советской Армии и советскому народу, нашу искреннюю благодарность за поддержку нашей справедливой борьбы. Мы знаем Советский Союз не только по словам...

Накинув плащ-палатки, покидаем сухую, ярко освещенную пещеру и погружаемся в кромешную тьму тропической ночи. К утру добираемся на свою базу, где, как и обещал главнокомандующий, нас ждут штабные командиры. Они кратко знакомят с положением на фронте.

В Лаосе восемнадцать провинций, сто семнадцать городов, тысяча семьдесят восемь уездов и более тридцати тысяч деревень. Население, по разным данным, составляет от двух до трех миллионов жителей. К лету 1962 года, когда были подписаны Женевские соглашения, под контролем ПФЛ и нейтралистских сил находились две трети территории страны — более восьми с половиной тысяч деревень и десятки городов, где жила половина населения Лаоса. В 1964—1965 годах проамериканской группировке и перекинувшимся на их сторону правым нейтралистам при активной поддержке военно-воздушных сил США удалось захватить ряд освобожденных районов — свыше полутора тысяч деревень. В 1966—1967 годы положение на фронтах относительно стабилизировалось, и новые крупные наступательные операции противника были сорваны. К началу зимней военной кампании 1967—1968 годов под контролем патриотических вооруженных сил и левых нейтралистов оставалось пятьсот семьдесят один уезд и семь тысяч тридцать деревень.

С ноября 1967 года инициатива в боевых действиях переходит к НОАЛ. На многих участках фронта она развертывает наступление, ликвидирует бандитские гнезда ЦРУ в тылах, в освобожденных районах. В результате крупных боевых операций НОАЛ к ноябрю 1968 года было освобождено шестьдесят семь уездов, около шестисот деревень с населением более полтораста тысяч человек.

С этого момента Пентагон резко усиливает необъявленную пиратскую войну против освобожденных районов, организует все новые и новые атаки на позиции, удерживаемые НОАЛ и патриотическими нейтралистами. Вот лишь некоторые данные Пентагона об эскалации необъявленной воздушной войны Вашингтона против Лаоса. В 1966 году американская авиация совершила около двадцати тысяч боевых самолето-вылетов, в 1967-м до тридцати тысяч, а лишь за первую половину 1969-го семьдесят пять тысяч. Иными словами, интенсивность боевых операций ВВС США в 1969 году по сравнению с 1967 годом возросла в пять раз. Сброшено только за первые три месяца этого года — 1095 тысяч тонн фугасных, около семи тысяч тонн зажигательных и напалмовых, более 3300 контейнеров шариковых бомб. И еще один любопытный подсчет, сделанный пентагоновскими счетно-вычислительными машинами по итогам 1968 года. Пиратские налеты обошлись Вашингтону в кругленькую сумму — миллиард долларов, но «83 процента этих средств не было возмещено потерями, нанесенными противнику». Официальный Пентагон отрицает, что американские вооруженные силы ведут в широких масштабах войну в Лаосе, умалчивает о своих потерях. Представители Главной ставки НОАЛ сообщили, что уже к маю 1969 года — за пять лет войны — части противовоздушной обороны патриотов сбили или серьезно повредили тысячу сто двадцать семь боевых самолетов и вертолетов противника. Мне довелось познакомиться с любопытным документом, помеченным грифом Женевского Красного Креста. В нем даны фамилии, воинские звания и даже даты последних вылетов девяноста семи «пропавших без вести» пилотов. Отрицая свое широкое участие в вооруженной агрессии, Вашингтон окольными путями пытается добиться выдачи ему захваченных в плен воздушных пиратов. По сведениям, исходящим от Пентагона, число американских военнопленных достигает нескольких сот человек.

— Мы рассматриваем захваченных в плен американцев,— заявили мне в Главной ставке, — как военных преступников и не намерены отвечать на ультимативные угрозы Пентагона, ведущего необъявленную войну.

\* \* \*

Посреди пещеры — длинный дощатый стол. На нем — традиционное угощение: чашечки с зеленым чаем, тарелки с конфетами. За столом на широких скамейках человек пятнадцать: кто в военной форме цвета хаки, кто в синих рабочих куртках, а кто в обычных черных брюках и белых рубашках. Мы на пресс-конференции, созданной Главной ставкой.

С обстановкой в Лаосе собравшиеся знакомы достаточно хорошо. Почти все добирались сюда из фронтовых районов. Поэтому особый интерес вызывает захваченный в плен янки. Слушаем американского пилота, сбитого в этом районе. Здоровенного верзилу зовут Дэвид Луис Хрдлика. Капитан военно-воздушных сил США. Вылетел с американской базы Такли из соседнего Таиланда. Был ведущим в тройке реактивных истребителей-бомбардировщиков «Ф-105».

Разбомбив отмеченный на карте «объект», здесь же, в провинции Сам Неа, Хрдлика на обратном пути был сбит огнем зенитной батареи. Это был четвертый и последний боевой вылет американского капитана.

— Я признаю, — говорит пилот, — что принимал участие в агрессии против лаосского народа, ведущего справедливую борьбу. В плену мне была оказана своевременная медицинская помощь. Отношение ко мне хорошее. Прошу помилования...

Сын чешского эмигранта, покинувшего родину в поисках счастья, стал наемником, военным преступником. Многие из его коллег погибли. Другие, как и он сам, ждут конца войны и решения своей судьбы в сырых пещерах. А отвечать за разбой придется. В конце 1968 года в освобожденных районах Лаоса образована Комиссия по расследованию американских преступлений.

Сразу же после окончания пресс-конференции начинаем переговоры о том, как поскорее доставить корреспонденции. Пока идут переговоры, радиостанция Патет Лао уже начинает передавать сообщения о пресс-конференции, о показаниях сбитого американского аса. Нашей же информации предстоит долгий путь на машине, которая по ночам будет пробираться сотни километров под бомбежками. И лишь потом, по телефону, если будет нормальная связь, ее передадут из Ханоя в Москву.

В моем распоряжении всего полтора часа. Записываю самое главное...

Ночью снова отправляемся в путь, оставив друг другу на память адреса полевых почт и заранее зная, что многим из нас долго не доведется встретиться.

Репортаж о Дэвиде Луисе Хрдлике и его братьях по плену был опубликован в «Правде» вместе с фотографией. А через несколько месяцев я получил письмо из Калифорнии. Г-жа Джеймс Дж. Эванс сообщила, что она по совету друзей нашла «Правду», где был напечатан репортаж. И на фотографии увидела человека, очень похожего на ее мужа. Он тоже был военным летчиком, бомбил Лаос и после одного из боевых вылетов не вернулся. Она просила помочь ей выяснить судьбу мужа. Жив ли он? «Может быть», — спрашивала г-жа Эванс, — Вы перепутали фотографии. Если это не он, то, может быть, напишете, не встречали ли моего мужа. Может ли выжить белый человек, проведя несколько лет в пещерах?..»

Представители Главной ставки НОАЛ сообщили мне, что им ничего не известно о Дж. Эвансе. Возможно, погиб при падении. Об этом я и сообщаю в Калифорнию, в Аламеду, а заодно о преступной войне Пентагона в Лаосе, которую пытаются скрыть от общественности Соединенных Штатов...

## ПОРА ТРОПИЧЕСКИХ ЛИВНЕЙ

Остались считанные дни до начала дождливого сезона, который затянется до сентября. Проложенные по земляному грунту фронтовые дороги превратятся в сплошное месиво. Уже сейчас набухают, превращаются в бурные реки небольшие горные ручьи и высохшие старицы. А вместе с дождями надвигается малярия.

Принимаем предусмотрительно захваченный хинин. От него закладывает уши, но лучше уж глухота, чем изнуряющие приступы тропической малярии. Откочевывают в более сухие места и звери. Несколько раз натыкались в пути на следы слонов. На дорогах обгоняем последние колонны автомашин. Все торопятся выбраться отсюда подальше, чтобы не увязнуть вместе с техникой в болотах. Прошлой ночью встретили странный грузовик. Он медленно двигался по серпантину дороги, все время сбиваясь то в одну, то в другую сторону. После налета очутились вместе, в одном леске. Водителя грузовика жестоко трепала малярия. Позже узнали, что их колонна попала под массированный налет. Из четырех машин осталась одна, и единственный в живых — этот водитель. Груз важный, необходимо доставить по назначению. В пути начался приступ малярии. И вот, собрав все силы, в промежутки между приступами он ведет свой разбитый, с простреленными бортами грузовик. Два дня назад кончилось продовольствие. Помочь ему, кроме продовольствия, ничем не можем. Оставить машину водитель наотрез отказался. На всякий случай, если не удастся добраться до следующей базы, он передаст с нами записку. Пусть знают, что не сдался, не струсил и будет выполнять задание, пока останутся силы.

Последняя дневка в пещере перед перевалом через Большой хребет. Вода уже по щиколотку. Стены покрылись влагой. Но пещерные рисунки, оставленные побывавшими до нас здесь отрядами, еще держатся: хижина на сваях, грузовик и летящий над ним самолет, женские головки с четко выписанными большими грустными глазами.

Все чаще и чаще в пути обрушиваются на нас ливневые потоки, а в промежутки между ними — скрежет реактивных двигателей, разрывы бомб и ракет.

Последние десятки километров перед перевалом двигаемся разношерстной колонной. Прошлой ночью прямым попаданием ракеты была разворочена головная машина. Водитель убит наповал. Документы прочитать невозможно. Никто из колонны не знает, как звали водителя, откуда он родом. Вырыли у обочины могилу, сколотили подобие памятника. На нем красной краской написали: «Неизвестный водитель. Погиб при выполнении задания. Остановись, прохожий! Здесь погиб солдат революции, отдавший за счастье народа самое дорогое — жизнь».

Память солдата-водителя почтили минутой молчания и залпом из всего имеющегося оружия. И снова включили моторы.

Перевал проскочили благополучно. На границе нас уже ждали. Тропические ливни размыли и здесь большие участки полотна автотрассы. Кое-где образовались заторы. Но понемногу они рассеиваются. С одной из колонн ночью отправляются дальше. Впереди Ханой. Там короткий отдых. А затем — снова лаосский фронт.

Лаос — Ханой.  
1969.



---

# В МИРЕ НАУКИ

М. ВОЛЬКЕНШТЕЙН,  
*член-корреспондент АН СССР*

★

## НАУКА ЛЮДЕЙ

### ТЕМА ОЧЕРКА

**Н**аука — слово многозначное. Наука — совокупность систематизированных знаний о Вселенной, совокупность закономерностей, свойственных материи, существующей в пространстве и времени и раскрытых человеческой мыслью. Наука — форма творческой общественной деятельности человека. Наука — явление мировой культуры, связанное со всем ходом ее исторического развития. Наука — научение, воспитание, образование; вспомним старое «отдать в науку».

Этот очерк посвящен науке-творчеству, науке, создаваемой людьми, людям в науке. Отсюда его название — парафраза названия известной книги Сент-Экзюпери «Земля людей». Ясно, что роль человека в науке в свою очередь может быть (и должна быть) предметом научного исследования. Но этот очерк — не исследование, а всего лишь размышления и наблюдения, неизбежно субъективные и не претендующие на глубину и строгость, на точные формулировки, обязательные для подлинной философии. Оправдание очерка — в актуальности обсуждаемых проблем. Значение науки в общественной жизни непрерывно возрастает. Резко увеличивается не только абсолютное, но и относительное число людей, причастных к научной работе, сокращается дистанция между наукой и ее практическими приложениями. Наука становится производительной силой — эта формула уже общепризнанна. Тем самым растет и ответственность ученых перед человечеством. Эти процессы, не имеющие себе подобных в прошлом, особенно мощны в социалистическом обществе, которое само строится на научной основе.

Говоря о науке, мы будем иметь в виду естествознание. Это никоим образом не означает отрицания гуманитарных наук. Человеческое общество есть закономерно возникшая часть Вселенной, человеческий мозг — высшая форма существования материи на Земле. Поэтому любой вид человеческой деятельности служит предметом научного исследования, будь то древнегреческий эпос или игра в шахматы. К тому же есть веские основания думать, что в дальнейшем точные, естественные науки будут объединяться с гуманитарными, будет неограниченно усиливаться взаимодействие науки и искусства.

Итак, очерк о творческой деятельности ученых-естествоиспытателей. Естественно, что он затрагивает человеческие, психологические моменты — проблемы взаимоотношения науки и искусства, науки и эстетики, науки и нравственности. Задача очерка будет выполнена, если хотя бы некоторые из высказываемых в нем мыслей найдут отклик у читателя и будут способствовать более серьезному рассмотрению обсуждаемых проблем.

### ПОЗНАНИЕ И ТВОРЧЕСТВО

Познание Вселенной объективно. Материя существует независимо от нашего сознания. Когда мы устанавливаем ее свойства, мы находим объективную относительную истину. Истина эта не зависит от ученого, ее открывшего. Так, например, второй

закон Ньютона: «Изменение количества движения пропорционально приложенной движущей силе и происходит по направлению той прямой, по которой эта сила действует» — совершенно объективен и не зависит от того, что его открыл именно Ньютон. Закон этот мог быть открыт и другим ученым, который дал бы ему иную, но равнозначную формулировку, дело от этого не изменилось бы. Наука как совокупность установленных законов природы сама по себе бесстрашна, бесчеловечна, не имеет отношения ни к этике, ни к эстетике. В этом аспекте наука существует независимо от ученых, от людей.

Человечен и, следовательно, субъективен путь, которым шел ученый к своему открытию, способ познания, способ выражения его результатов. Познание возникает, казалось бы, из постановки точных экспериментов, из строгого логического рассуждения. Но и постановка опыта, и рассуждения — дело творческой личности, они связаны и с конкретными особенностями ее интеллекта и с эмоциональной сферой. Каждое крупное научное достижение требует не только систематической работы, но и подлинного вдохновения.

В учебниках, в научных монографиях и статьях обычно излагаются окончательные результаты исследований, максимально очищенные от всех субъективных элементов. Голое знание. Чаще всего современный ученый сознательно изгоняет из публикуемой работы все личное, приводя самый стиль изложения к установленному международному стандарту. Это определяется несколькими причинами. Во-первых, сейчас большей частью отсутствует возможность публикации пространных статей. Портфели научных журналов переполнены, и редакции требуют предельного лаконизма. Во-вторых, наука международна, и стремление к взаимопониманию неизбежно приводит к унификации, стандартизации стиля. В-третьих, ученый не всегда решает вносить личные элементы в работу — писать образно или с юмором, опасаясь недоброжелательной реакции, поскольку «это не принято». Конечно, были и есть исключения. Галилей излагал свои открытия в форме диалогов, сохранивших значение блестящей итальянской прозы, хотя и в XVII веке это было «не принято». До Галилея в научной литературе господствовал стандарт академической латыни, сильно отличный от современного, но все же стандарт. И сейчас удается встретить «живое» изложение научной работы. В ряде английских книг и статей по физике, например, можно наткнуться на цитаты из «Алисы в стране чудес» Льюиса Кэрролла.

Однако научная литература характеризуется не только стилем слова, но и стилем мысли. Мышление оказывается далеким от унификации, оно субъективно, хотя и посвящено объективно существующей Природе. Сравним три фундаментальных, многотомных курса теоретической физики, написанных в нашем веке, — курс Планка, курс Зоммерфельда, курс Ландау и Лифшица. Они трактуют в ряде случаев одни и те же вопросы и формулируют одни и те же положения. Но подход к ним, путь мысли, которому должен следовать читатель, совершенно различен. Он отражает и творческие личности авторов, и общее состояние науки. Так, Макс Планк (1928) выводит основные законы электродинамики из закона сохранения энергии, Ландау и Лифшиц (1941) — из уравнений движения, Зоммерфельд (1949) вводит эти законы как аксиомы, в интегральной форме.

По той же причине «оголения» история науки, как правило, не фигурирует в учебниках и монографиях. Многие современные ученые игнорируют ее полностью, считая нужной лишь формулировку сегодняшнего состояния знаний. Между тем история науки есть не только история накопления знаний, но и история творчества ученых. Стремясь к наилучшей организации научной работы — а сегодня это очень важная социально-экономическая задача, — стоит такой историей поинтересоваться. При этом, очевидно, недостаточно написать или рассказать на лекции о том, как Галилей размышлял о качающейся люстре или Ньютон о падающем яблоке. Современность остро нуждается в серьезных исследованиях путей, по которым шла творческая мысль крупных ученых. Установить это далеко не всегда возможно — остался лишь очищенный результат, черновики уничтожены, и очень немногие рассказали о том, как они думали и работали. И тем не менее эти исследования необходимы.



### СТИЛЬ НАУЧНОГО ТВОРЧЕСТВА

Творческая личность истинного ученого столь же индивидуальна и неповторима, как личность художника. Различие в том, что повторимы плоды ее деятельности. Повторимы и преходящи. Если бы Эйнштейн не создал теории относительности, то она обязательно была бы создана кем-нибудь другим — одним или несколькими мыслителями. — ибо в развитии науки существует логическая последовательность, последовательность и неизбежность. В ходе развития науки полностью или частично утрачивается значение прошлых работ, они приобретают только исторический интерес. Сегодня уже и орбитальная модель атома Бора не нужна науке. Напротив, стихи Катулла, сколько бы ни было после него поэтов, и сейчас находят живой отклик в душе читателя.

А как разнятся стили научного творчества ученых! Российские академики Ломоносов и Эйлер, глубоко читавшие друг друга, совершенно по-разному подходили к рассмотрению проблем физики. Ломоносов не пользовался математическим аппаратом, хотя он был хорошо разработан в его время. В трудах Ломоносова нет ни одной математической формулы. Это не помешало Ломоносову открыть закон сохранения вещества, высказать глубокие идеи о кинетической природе тепла, сконструировать ряд оптических приборов, открыть атмосферу Венеры — нелегко дать полный список его открытий. Стиль Ломоносова родствен стилю Декарта, но противоположен стилю Ньютона. Впрочем, Ломоносов, ясно понимавший свою роль и значение (это черта, свойственная истинному гению, вспомним пушкинское: «Он же гений, как ты да я»), писал: «Меня за Аристотеля, Картезия, Невтона не почитайте. Если же вы мне их имя дадите, то знайте, что вы холопы».

Напротив, Эйлер был великим математиком. И хотя в его «Письмах к одной немецкой принцессе», в книге, которую С. И. Вавилов считал лучшей популярной книгой по физике, когда-либо написанной, математических формул нет, — все изложение строго математическое, непосредственно переводимое на язык алгебры и дифференциального исчисления.

Обратимся к примерам из недавнего прошлого. В истории новой физики существенное значение имел спор Эйнштейна с Бором об основах квантовой механики. Мироззрение Эйнштейна отвергало статистическую, вероятностную причинность в явлениях микромира, раскрытую квантовой механикой, и он пытался доказать ее неполноту. Бор — один из создателей квантовой механики — победил в этом споре, найдя скрытую непоследовательность в рассуждениях Эйнштейна. Создатель теории относительности, основоположник ряда других областей новой физики, оставался ученым классического стиля. Мироззрение и стиль Бора совершенно иные, классические представления им преодолены. Эйнштейн и Бор различались во многом. Эйнштейн, подобно великим физикам прошлого, работал в одиночку. Напротив, Бор был руководителем большой школы, оказывавшим прямое влияние на многих.

Совершенно противоположны по стилю и крупнейшие советские физики Л. Д. Ландау и Я. И. Френкель. Ландау был пуристом, с железной логикой решавшим четко поставленные задачи в ясной и элегантной математической форме. Ошибок у него не найдешь. Задачи физики, допускающие пока лишь приближенное решение, основанное на неоднозначно доказанных, качественных соображениях, для него не существовали. Предельный рационализм в науке. Я. И. Френкель — ученый-романтик, непрерывно высказывавший новые идеи, далеко не всегда доводивший их до конца, зачастую ошибавшийся, но полный фантазии. Трудно сказать, кто из них больше сделал в науке, — современная физика широко пользуется работами и Ландау и Френкеля.

Стиль научного творчества связан с личностью ученого. В свою очередь личность, мироззрение определяются индивидуальной и общей историей — фенотипом и генотипом, как сказал бы биолог. Ученый творит в обществе, чья история, чье современное состояние оказывают на него непрерывное воздействие. И, конечно, существует обратная связь — ученые наравне с художниками, наравне со всеми творцами культуры воздействуют на общество.

## СУМАСШЕСТВИЕ НАУКИ

Однажды Нильса Бора спросили, что он думает об одной новой физической теории элементарных частиц. Бор ответил, что вряд ли эта теория верна, так как она недостаточно сумасшедшая (*сгазу*). Этот эпизод общеизвестен.

Смысл боровского парадокса состоит в том, что преодоление реальных трудностей, на которые натолкнулась наука в данной области, требовало принципиально новых, неожиданных идей. Существующие идеи исчерпаны. Такая новизна, смелость, неожиданность могут быть восприняты как сумасшествие.

Сам Бор в свое время ввел «сумасшедшую» идею. Для объяснения закономерностей, наблюдаемых в атомных спектрах, он постулировал (не доказывал, а постулировал) нарушение одного из фундаментальных законов классической физики электронами в атомах. В дальнейшем боровская модель атома оказалась неправильной, — еще более «сумасшедшая» квантовая механика (исходящая из волновых свойств частицы — электрона) дала спектрам вполне гармоничное и строгое объяснение. Но теория Бора сыграла важнейшую роль в науке, и ее основные положения полностью сохранились в квантовой механике, несмотря на то, что трактовка их изменилась.

«Сумасшествие» такого рода может быть научным и лженаучным. Есть ли критерии научного «сумасшествия»?

«Неожиданная теория» — в действительности ожидается. Понимал же Бор, что физика элементарных частиц требует новых представлений. Это ожидание возникает в результате понимания трудностей, которые невозможно преодолеть на ранее выработанной основе, в результате знания реальных границ применимости прежней теории.

«Сумасшедшая» теория должна объяснять и предсказывать экспериментальные факты точнее, логичнее и более однозначно, чем любые предшествующие ей попытки. Какими бы смелыми ни были сделанные предположения, они должны быть согласованы друг с другом и с опытом; теория не может содержать внутренних противоречий.

При соблюдении этих условий «сумасшедший» ученый оказывается талантливым творцом науки, нашедшим выход из возникшего тупика. Он оказывается Больцманом, Планком, Эйнштейном.

Принципиально новая и смелая мысль требует максимального вдохновения от ученого. Работа чистой логики кончается — приходится разрывать логическую цепь, руководствуясь фантазией, интуицией и даже эстетической эмоцией. Решающим фактором становится талант ученого, его способность угадать тайну природы. Не раскрыть ее путем последовательных рассуждений и расчетов, а именно угадать. Л. И. Мандельштам говорил, что основное уравнение квантовой механики — уравнение Шредингера — не выведено, а угадано.

Эта творческая работа во многом подобна работе художника. Художник тоже «сумасшедший», потому что он создает ранее не виданную форму, произносит ранее не слышанные слова. Большинство современников поначалу называло музыку Бетховена какофонией, живопись импрессионистов — мазней, спектакли Мейерхольда — балаганом.

Ученый находится в лучшем положении, чем художник. Он может доказать истинность своей концепции. Он располагает критерием практики, опыта. Не все поймут и примут эти доказательства — еще и сегодня имеются на белом свете физики, оспаривающие теорию относительности или квантовую механику. Однако «сумасшедшая» научная теория быстро завоевывает признание в кругах специалистов — среди наиболее талантливых и дальновидных ученых, среди научной молодежи, не обремененной чрезмерным грузом введшихся в мозг рутинных представлений. Новая теория стремительно развивается дальше (вспомним период «бури и натиска» квантовой механики 1926—1930 годов). Наука торжествует.

Художнику приходится долго ждать признания. Вначале его понимают лишь немногие — люди, особенно близкие к искусству, наделенные острым эстетическим чутьем

и глубокими знаниями. Признание художника определяется многими обстоятельствами, в частности здесь важную роль играет уровень эстетической культуры. И в XX веке таланты, позднее признанные обществом, умирали с голоду — такова трагическая судьба Пироманишвили или Модильяни. С ученым такое уже давно не случалось.

### ЯВЛЕНИЯ ЕДИНОЙ КУЛЬТУРЫ

Попытки рассмотрения науки и искусства как явлений единой культуры, явлений внутренне родственных встречаются с немалыми трудностями.

Наука, построенная на точном опыте, на точном рассуждении, существует каких-нибудь четыреста лет. В предшествующие эпохи развитие научных знаний шло значительно медленнее и не характеризовалось единым строгим методом. Одновременно возникали гениальные прозрения в области математики (не требовавшей эксперимента) и фантастические домыслы в области физики и тем более химии и биологии. Между тем человеческая культура в истинном смысле этого слова (как творческое познание мира и овладение его силами) существует тысячелетия.

Произведения подлинного искусства всегда сохраняют свое эстетическое значение. Конечно, современный человек смотрит на голову Нефертити не теми глазами, какими смотрел на нее древний египтянин, но надо думать, что ощущение гармонии, изящества, женственности, вызываемое этим скульптурным портретом, было всегда примерно тем же, что и сейчас. В то же время древнеегипетская наука сегодня не имеет никакого значения, кроме исторического.

В «донаучный» период развития науки ее тесная связь с искусством представляется более очевидной, чем в последующее время. Пифагорейское учение о числе, античная геометрия проникнуты тем же стремлением к наглядному совершенству, что и скульптура этой эпохи. Анализ конических сечений и создания Мирона и Фидия вызваны к жизни единым мировоззрением расцветшего античного полиса. Одновременно в Индии, в Китае, в Перу развивались совершенно иная наука, иное искусство.

Когда творцы культуры Возрождения преодолевали религиозно-мистические абстракции и догматизм средневековья, то этот процесс протекал одновременно и в науке и в искусстве, даже объединяясь в творчестве одной личности — особенно ярком у Леонардо да Винчи. Именно в эту эпоху и были заложены основы научного метода.

В дальнейшем, вплоть до сегодняшнего дня, наука развивалась непрерывно, со все возрастающим ускорением. И если в «донаучный» период наука и искусство непосредственно питались общими религиозно-философскими идеями, то дальше их пути стали расходиться. Наука обрела свой экспериментальный метод, свою логику и тем самым ту меру независимости от субъективных факторов, без которой она не могла бы существовать как наука, как познание реального мира.

В идеалистической философии истории Освальда Шпенглера («Закат Европы») человеческие культуры разных эпох и народов рассматривались как совершенно не связанные друг с другом. Шпенглер отрицал не только преемственность художественных идей и образов, но и преемственность научных знаний. Каждая культура расцветает, как цветок, и затем увядает и гибнет. Создания одной культуры непостижимы для представителя другой. «Фаустовская душа» западной культуры (X—XX века Европы) не имеет никаких способов для того, чтобы понять «аполлоновскую душу» античной культуры (XI век до н. э.— III век н. э., Греция и Рим).

Справедливо отмечая внутреннее родство науки и искусства, Шпенглер в то же время построил мистифицированную историю культуры. Наука для него имела символическое значение; так, понятия физики — это только символы некоего мирозерцания, но не отражения объективной реальности. Гигантский прорыв современной физики в новые области познания для Шпенглера всего лишь выражение краха «фаустовской культуры», подобного краху античной культуры в I—III веках.

Очевидно, что нет надобности подробно опровергать эту ложную концепцию,

пользовавшуюся известной популярностью в начале века. Не только в науке, но и в искусстве существует преемственность идей и образов.

Схемагизируя культурно-исторический прогресс, можно сказать, что по мере развития науки уже в «научный» период влияние на нее искусства становится все более скрытым. Напротив, возрастание общественного значения науки не может не сопровождаться возрастающим ее воздействием на искусство, на литературу. Оно и более очевидно, так как индивидуальность художника непосредственно выражена в его создании — в отличие от индивидуальности ученого.

Современное научное познание отказывается от натурализма в том смысле этого слова, в каком оно употребительно в эстетике. Наука XX века проникла за видимую данность явлений природы, и ее наиболее абстрактные обобщения — теория относительности, квантовая механика, — так явно противоречащие «здравому смыслу», оказываются несравненно более реалистичными, чем обобщения прошлых столетий.

Здравый смысл, конечно, историческая категория. Это совокупность данных повседневного опыта и прописных истин, сообщаемых в школе. Здравый смысл современников Галилея не мирился с гелиоцентрической картиной мира. Сегодня каждый школьник убежден в том, что Земля вращается вокруг Солнца, но теория относительности все еще представляется неприемлемой неспециалисту.

В статье Е. Л. Фейнберга («Новый мир», № 8, 1965) справедливо указывается, что на каждом этапе развития науки ее достижения знаменовали отказ от здравого смысла. Это так, но преодоление повседневного опыта идет все дальше и с ускорением. Ломка привычных представлений становится все более быстрой и значительной.

Это не может не оказать воздействия на характер поисков нового в различных областях искусства и литературы.

Наука воздействует на литературу и непосредственно. Писатель все чаще обращается к образам ученых и к их деятельности. Бурное развитие научной фантастики также отражает возрастающую роль науки в современном обществе.

Не менее существенно для взаимодействия науки и искусства влияние науки — естествознания — на эстетическое восприятие и на самую науку — эстетику.

Глубокий теоретический анализ произведений искусства, обоснованные эстетические оценки, не имеющие ничего общего с «вкусовщиной», с «нравится — не нравится», требуют научной работы. Искусствоведение развивается параллельно с естествознанием и в связи с ним. Сегодня оно черпает ценные и содержательные идеи в теории информации, руководствуется строгим аналитическим методом.

Перейдя от биологической эволюции к социальному развитию, человек не подчиняется более основному закону биологии, согласно которому приобретенные признаки не наследуются. В социальной, в культурной области человек наследует опыт и знания предыдущих поколений — у него есть книги. Он совершенствует и естественнонаучное и эстетическое познание. И этот путь ведет далеко, ко множеству новых открытий.

## УЧЕНЫИ

Говоря о науке-творчестве, мы, естественно, обращаемся к творцам науки, к ученым.

Научной работой занимаются очень многие. Но далеко не каждого научного работника можно назвать ученым. Ученый — человек, занимающийся научной работой потому, что его мировоззрение и психология определяются его жизненной задачей, состоящей в раскрытии тайн природы. Или, наоборот, его жизненная задача такова, потому что у него — научная психология.

Ученый не лучше и не хуже других людей. Но в его психологии имеются специфические черты, в ней есть свои особенности.

Специфична психология любого творческого работника. Истинный живописец воспринимает окружающее через призму своего творчества — он почти инстинктивно думает, как написать этот пейзаж, этого человека.

Какова же психология ученого? Это опять-таки тема специального исследования. Отношение истинного ученого ко всем явлениям жизни отражает его подход к предметам научного исследования. При всех субъективных различиях, этот подход характеризуется общими особенностями.

Ученый сознательно или бессознательно анализирует и классифицирует любые явления — начиная со своих знакомых и кончая историческими событиями. Те, кто близко знал Ландау, помнят его манеру все «раскладывать по полочкам». Ученый требует строгого доказательства любого выдвигаемого положения и поэтому сравнительно мало восприимчив к утверждениям декларативного характера.

Стремление к классификации, систематизации, каталогизации — очень важная черта многих ученых. Посетите музей-квартиру Д. И. Менделеева в здании Ленинградского университета. Вы увидите собственноручно составленный Менделеевым каталог его библиотеки. Каталог отгисков статей, которые присылали ему русские и зарубежные коллеги. Полный и очень пространный перечень присужденных ему научных степеней и званий, тоже написанный рукой Менделеева.

Менделеев любил живопись, даже публиковал рецензии о выставках и аккуратно вклеивал в альбомы все репродукции картин передвижников, где бы они ни печатались — в журналах и газетах, в «Ниве», в провинциальных изданиях.

В этой черте характера Менделеева было что-то детское. И в то же время эта черта представляется связанной с методикой его научной работы. В конце концов периодический закон был открыт через каталогизацию известных тогда элементов — Менделеев написал их свойства на оборотной стороне визитных карточек и стал эти карточки комбинировать. Конечно, этому финишу предшествовала мощная работа мысли, внимательное и критическое исследование громадного материала.

Классификаторство совершенно необходимо ученому. Никакая наука не может развиваться без классификации наблюдаемых явлений. Это верно в тем большей степени, чем более многообразны явления. Научная биология началась с классификации видов, данной Линнеем. Существенна, конечно, не классификация сама по себе, а глубокие научные принципы, положенные в ее основу. Если установлено, что мы с вами относимся к виду *Homo sapiens*, к отряду приматов, к подклассу плацентарных, классу млекопитающих, подтипу позвоночных, типу хордовых, то это значит, что найдено место человека в эволюционном древе, определены его главные биологические особенности. Без Линнея не было бы Дарвина. Без Менделеева-классификатора не было бы Менделеева — первооткрывателя основного закона химии.

Когда-то Оствальд делил ученых на классиков и романтиков. Есть ученые (классики, по Оствальду), посвящающие всю жизнь или значительную ее часть систематическому исследованию одной проблемы, идущие вглубь по однажды намеченному пути. Забавным выражением этой тенденции служит история одного биолога, на протяжении многих лет изучавшего строение дождевого червя и публиковавшего последовательно статьи об одном его сегменте за другим. Когда на одном семинаре биолога спросили, скоро ли он дойдет до хвостового сегмента, он ответил фразой, достойной латыни Цезаря: «Червяк длинный, а жизнь коротка» (*Vermes longus et vita brevis sunt*). Фраза смешная, но совершенно правильная. Речь идет о серьезной, глубокой и последовательной работе, которая и есть дело жизни ученого.

Другие (романтики) идут вширь. Зачастую они теряют интерес к проблеме после нахождения наиболее общих положений, относящихся к ее решению, и переключаются на новые задачи.

Современность выдвинула новый тип ученого — организатора и руководителя. Невероятное усложнение и увеличение масштаба научного оборудования, необходимого для решения актуальных задач физики или астрономии, делает в ряде случаев невозможной работу в одиночку или малыми коллективами. Вместо скромной лаборатории — грандиозное научное учреждение, в деятельности которого участвуют многие сотни людей. Ими руководит крупный ученый. Он вынужден ежедневно и ежедневно преодолевать громадные трудности совмещения творческой умственной работы с решением конкретных задач общественного, организационного, экономического, финансового характера.

Таланта и сосредоточенности здесь недостаточно. Руководитель должен быть и сильной личностью. Вспомним И. В. Курчатова.

Сказанное не означает невозможности в наши дни индивидуальной работы или работы с малым числом сотрудников. Молекулярная биология, наряду с физикой микромира ставшая ведущей областью современного естествознания, в значительной мере создана именно такими индивидуальными усилиями.

Отец кибернетики — Норберт Винер относился к крупным научным учреждениям отрицательно. Он писал (в книге «Я — математик»):

«Большинство администраторов и значительная часть публики считают, что массовой атакой можно достигнуть чего угодно и что такие понятия, как вдохновение и идея, вообще устарели... Предельным случаем большого научного института, позволяющим проверить разумность принципов, положенных в основу таких учреждений, является собрание обезьян, беспорядочно нажимающих клавиши пишущих машинок... Будет ли это означать, что с помощью массовой атаки можно создать творения Шекспира?»

Действительно, работникам науки известно, к каким тяжелым последствиям приводит чрезмерное разрастание научного института, как падает в нем жизненный тонус, как нивелируются дарования сотрудников. Нахождение оптимальных размеров института — сложный вопрос. Так или иначе, эти размеры невелики. В целом, однако, лессимизм Винера представляется односторонним и преувеличенным. Но, конечно, Винер был прав, когда писал дальше:

«При благополучном стечении обстоятельств в больших лабораториях можно сделать много замечательных открытий, при неблагоприятном — это болото, в котором гонут способности и руководителей и сотрудников».

Все дело в том, чтобы организовать благоприятное стечение обстоятельств. Для этого требуются специальные дарования, может быть, более редкие, чем чисто научные.

Есть ученые с аналитическим и синтетическим складом мышления. Нельзя отдать предпочтение одному типу ученого перед другим. Грандиозное здание науки построено и классиками и романтиками, и блестящими талантами и скромными тружениками. Даже Эйнштейн как-то сказал: «Если бы у меня был зад Макса Борна, я бы сделал многое». Он считал Макса Борна — одного из крупнейших современных физиков — гораздо усидчивее себя. Несомненно, что просиженные штаны необходимы для познания и творчества.

## СТИМУЛЫ

Стимулы творческой деятельности ученого разнообразны, они зависят от его характера, от области науки и даже от конкретной ситуации. Имеются, однако, три главных определяющих фактора.

Во-первых, в той или иной мере осознанное стремление найти решение проблем, практически важных для человечества. Ученый испытывает глубокое удовлетворение, если сделанная им работа оказалась полезной для общества, если ему удалось помочь технике, сельскому хозяйству, медицине.

Но если речь идет об истинном ученом, об истинной науке, то идея практической важности никоим образом не означает узкого утилитаризма. Утилитарное отношение к науке резко противоречит ее смыслу и содержанию. В нем — двойная опасность. Опасность непризнания работ ученых на том основании, что их практическая ценность сегодня не очевидна и поэтому они кажутся абстрактными и «оторванными от жизни». Опасность спекуляции на практической полезности лицами, выдающими себя за ученых. И то и другое создает помехи науке, иногда становящиеся серьезными.

К. А. Тимирязев писал в своей ранней статье о Пастере:

«Да, вопрос не в том, должны ли ученые и наука служить своему обществу и человечеству, — такого вопроса и быть не может. Вопрос о том, какой путь короче и вернее ведет к этой цели. Идти ли ученому по указке практических жизненных мудре-

цов и близоруких моралистов или идти, не возмущаясь их указаниями и возгласами, по единственному возможному пути, определяемому внутренней логикой фактов, управляющей развитием науки...

Никто не станет спорить, что и наука имеет свои бирюльки, свои порою пустые забавы, на которых досужие люди упражняют свою виртуозность; мало того, как всякая сила, она имеет и увивающихся вокруг нее льстецов и присосавшихся к ней паразитов. Конечно; но не разобраться в этом ни житейским мудрецам, ни близоруким моралистам, и во всяком случае критерием истинной науки является не та внешность узкой ближайшей пользы, которой именно успешнее всего прикрываются адепты псевдонауки, без труда добывающие для своих пародий признания их практической важности и даже государственной полезности».

Раскрытие любой тайны природы рано или поздно сказывается на жизни человечества. Выводя закон эквивалентности массы и энергии, Эйнштейн не помышлял об атомной электростанции или о водородной бомбе. Но прошло около сорока лет, и его открытие сработало на практике... Современное ускоренное развитие науки и техники резко сокращает эти сроки.

Второй мощный стимул — честолюбие. Высокая оценка труда ученого научной общественностью выражается различным образом. Вероятно, самое важное — это дальнейшее развитие работ другими учеными, опирающееся на результаты, достигнутые данным автором. Внешне это проявляется в цитируемости работы, в частоте ссылок на нее в мировой научной литературе. Присуждение премий, избрание в Академию, несомненно, тоже могут оказывать на ученого сильное стимулирующее воздействие. Здесь необходим, конечно, «гамбургский счет» — наука кончается и ученый перестает быть ученым, если его радует или огорчает оценка, основанная на ненаучных положениях. Честолюбие, свойственное в той или иной мере большинству ученых, видимо, нельзя считать недостатком, если «гамбургский счет» учитывается. Но в честолюбии таятся опасности. Если ученый говорит своим сотрудникам: «Мы должны работать на Нобелевскую премию», то вряд ли работа окажется хотя бы элементарно доброкачественной. Думать о премии допустимо лишь в конце работы, а не при формулировке задачи и разработке методики исследования. Представьте себе поэму, написанную в расчете на получение премии!

Были и есть ученые, совершенно лишенные честолюбия. Они пользуются всеобщим уважением, в том числе и уважением честолюбцев. Крупнейший советский физик Л. И. Мандельштам совершенно не интересовался внешним успехом своей работы, он не стремился к ее публикации. Мандельштама увлекала лишь наука, как таковая, самый процесс научного творчества.

Третий и важнейший стимул, без которого вообще не может быть творческой научной деятельности, — жажда познания. Человек становится ученым не потому, что его способности исключительны. Психология талантливого ученого может не отличаться от психологии бездарного. И Фауст и Вагнер жаждали знания. Человек становится ученым потому, что ему интересно. Его призвание состоит в раскрытии тайн природы, в удовлетворении глубокой любознательности, в стремлении выяснить истину. Конечно, степень этого удовлетворения тем больше, чем значительнее сделанное открытие, чем оригинальнее путь, которым удалось к открытию прийти. Но ученого радует не только достигнутый результат. Сама постановка эксперимента, логика рассуждений радостны и интересны. И как бы ни был мал научный вопрос, на который ему удалось получить ответ, — и процесс получения ответа, и окончательный результат составляют истинное счастье ученого.

## ПРИОРИТЕТ

Зачастую крупное и даже малое научное открытие становится предметом спора о приоритете — спорят о том, кто первый сделал открытие. Так, до сих пор в немецкой литературе иногда оспаривается приоритет Менделеева в открытии основного закона химии — периодического закона. Оно приписывается Лотару Мейеру.

В искусстве, в литературе проблема приоритета не возникает — художественное открытие принципиально неповторимо.

Важен ли вопрос о приоритете? Стоит ли о нем спорить?

В аспекте науки-познания приоритет не существует. Познание природы объективно и неизбежно. Если сегодня ученый не установил некую закономерность в явлениях окружающего мира, то завтра ее установит другой. Познание — дело общечеловеческое, и поэтому, казалось бы, не важно, кем именно сделано открытие.

Но если говорить о науке-творчестве, то приоритет важен. Творческие создания ученых, равно как и художников, — предмет гордости общества, в котором они работают. Мы справедливо оцениваем вклад страны в мировую культуру по достижениям ее мыслителей и творцов. Приоритет существует для общества, он формирует его самосознание, дальнейшие перспективы — при условии абсолютной точности и правдивости определения приоритета. Научный подвиг Менделеева важен для всей русской культуры.

Лотар Мейер действительно приближался к открытию периодического закона. Однако он ограничился лишь рассмотрением периодичности атомных объемов. Всеобщее значение периодического закона, его предсказательная сила не приходили Мейеру в голову. В своем основном труде, опубликованном в 1870 году, Мейер прямо ссылаясь на работу Менделеева 1869 года — сам он на приоритет не претендовал.

У Менделеева были и другие предшественники. Первые попытки научной классификации химических элементов делались Деберейнером, Бегье де Шанкуртуа, Ньюлендсом. Ни одно крупное научное открытие не падает с неба. До Эйнштейна к идеям теории относительности приближались Лорентц и Пуанкаре. Но автором открытия следует считать того, кто полностью его сформулировал, понял его смысл и значение и сделал из него нужные выводы. Если речь идет о техническом открытии, то его автор тот, чья машина действительно работала, а не разрушалась при первом же испытании.

Борьба за присуждение приоритета Мейеру использовалась для шовинистической пропаганды; так бывало не раз. Но подлинный патриотизм не имеет ничего общего с шовинизмом. Их отличие — отличие правды от лжи. Без правды не может быть приоритета.

Известен вульгарный и бесчестный способ защиты истинного или мнимого приоритета, основанный на охаивании других ученых. Так, в одной статье, опубликованной в конце сороковых годов, говорилось, что закон сохранения энергии открыл великий русский ученый Ломоносов, а не английский пивовар Джоуль или немецкий врач Гельмгольц.

Джоуль действительно был пивоваром, а Гельмгольц — врачом по образованию. Но они были прежде всего крупнейшими физиками и вместе с Майером — также врачом — открыли закон сохранения энергии. Энгельс убедительно показал, что этот закон и не мог быть открыт ранее XIX века — века пара и электричества.

Домыслы о Ломоносове основывались не на какой-либо из его работ, а всего лишь на одной фразе из письма к Эйлеру от 5 июня 1748 года: «...Так, сколько материи прибавляется какому-либо телу, столько же теряется у другого... Так как это всеобщий закон природы, то он распространяется и на правила движения: тело, которое своим толчком возбуждает другое к движению, столько же теряет от своего движения, сколько сообщает другому, им двинутому».

Слова очень содержательные. Но, во-первых, они касаются не энергии, а «движения» — понятия неопределенного, и, во-вторых, сходные мысли высказывались еще в XVII веке Декартом, утверждавшим, что во вселенной всегда сохраняется одно и то же «количество движения». Ломоносов хорошо знал и почитал Декарта. Закона сохранения и превращения энергии, количественной меры энергии, здесь нет и в помине.

Великий Ломоносов, открывший закон сохранения вещества, обосновавший кинетическую теорию тепла, так много сделавший во всех науках и искусствах, не нуждается в том, чтобы ему приписывали мнимые открытия.

Приоритет Менделеева определяется широтой и глубиной понимания им открытой закономерности. Менделеев не только систематизировал свойства известных в его время элементов. Он понял всеобъемлющее значение периодического закона, произвел ради-



кальный пересмотр громадного фактического материала, с предельной точностью предсказал свойства еще не открытых элементов.

Ученый лишь в редких случаях не заинтересован в своем приоритете. Даже такой полностью погруженный в науку человек, как Ньютон, тратил время и силы на защиту своего приоритета в открытии закона всемирного тяготения от притязаний Гука. И Ньютон был прав: талантливый Гук ограничивался качественными соображениями, в то время как у Ньютона закон был сформулирован в строгой количественной форме и из него были получены далеко идущие следствия.

В наше время — время широкого и быстрого международного обмена публикациями — споры о приоритете становятся все более редкими. Приоритет устанавливается достаточно точно датой поступления статьи в журнал, авторским свидетельством, патентом. Приоритет приобрел не только общественное, но и прямое материальное значение для автора и его страны, в особенности если открытие практически важно.

### НАУКА И ПРАВСТВЕННОСТЬ

Несколько лет назад на страницах «Литературной газеты» шла дискуссия о связи между наукой и этикой. А. Н. Несмеянов считал, что наука не имеет никакого отношения к нравственности, А. Д. Александров отстаивал противоположный тезис.

Этот спор был лишен рациональной основы, так как его участники употребляли слово «наука» в разных смыслах. Несмеянов говорил о науке-познании, о науке — совокупности фактов и закономерностей, свойственных Природе, а его оппоненты скорее имели в виду науку-творчество.

Конечно, структурная формула бензола, как факт реальной Природы, не нравственна и не безнравственна. Закон наследования приобретенных признаков, как таковой, не имеет отношения к этике.

Однако творческая деятельность ученого — личности, существующей и работающей в обществе, — связана с множеством этических проблем. В свою очередь этика, прежде всего этика социалистического общества, отвергающего религию, нуждается в научном обосновании.

Ученый сталкивается с этическими проблемами непрерывно. Научная работа требует абсолютной правдивости. Очень часто результаты опыта противоречат ожиданиям, режут под корень исходную концепцию. Основной этический принцип научной работы — честное отношение к этим результатам. Здесь нужно мужество. Тем более оно необходимо, когда уже опубликованная работа оказывается ошибочной и ее опровергают. Честный ученый вынужден признать свою ошибку, принять научно аргументированные возражения.

Фарадей еще не знал закона сохранения и превращения энергии. Но в течение всей своей творческой жизни он искал связи между различными физическими явлениями, искал и находил. Он установил основные законы взаимосвязи электричества и магнетизма, электричества и химии, влияние магнетизма на оптические свойства вещества. Нахождение связи между электромагнитными явлениями и тяготением было его мечтой. Фарадей поставил опыт. Он бросал катушку с намотанным на нее проводом, концы которого были присоединены к гальванометру, на пол с высоты в несколько метров. Стрелка гальванометра отклонялась. Многие на месте Фарадея удовлетворились бы этим результатом и были бы счастливы. В самом деле — изменение силы тяжести привело к появлению электрического тока! Но Фарадей провел тщательное исследование и убедился в том, что наблюдаемый эффект не имеет отношения к тяготению — провод при падении катушки пересекал линии магнитного поля Земли и ток был результатом обычной электромагнитной индукции, изученной тем же Фарадеем. Он имел и честность и мужество признать, что ожидаемого эффекта не существует.

Особенности психологии ученого — о некоторых из них уже говорилось выше — сами по себе не гарантируют высокого уровня его морали. Вероятно, процент морально недоброкачественных людей среди ученых не ниже, но и не выше, чем среди людей, занимающихся любым другим творческим делом. Специфична, пожалуй, этиология амо-

ральности. Она очень часто связана с чрезмерностью честолюбия и соответственно самолюбия. У ученого может возникнуть своего рода «комплекс неполноценности» — в результате несоответствия между честолюбивыми замыслами и достигнутыми результатами. Отсюда зависть и недоброжелательство, нарушения этики во взаимоотношениях с коллегами, диктаторство в научном коллективе, навязывание своего соавторства и прочие пакости вплоть до отставания не проверенных наукой положений и публикации недоброкачественных работ. Очень опасным для многих оказывается высокое положение в научной иерархии — известно немало случаев, когда в прошлом хороший ученый превращался в не терпящего возражений повелителя. Такой человек уже не говорит, а вещает, спорить с ним нельзя.

Есть такое понятие — совесть ученого. И это не просто красивые слова. Однако не всегда о ней помнят. Первоклассный французский математик Коши был преступно невнимателен к открытиям молодых ученых, не вникал в их работы и просто терял их: его поведение послужило косвенной причиной ранней гибели двух юных гениев — Галуа и Абеля. Блистательный Хемфри Дэви пытался помешать избранию своего ученика — Фарадея — в члены Королевского общества.

Великий Гаусс, не желая «дразнить гусей», не только боялся опубликовать свои работы по неевклидовой геометрии, но и не оказал необходимой поддержки Больяни. А Больяни она была так нужна! Серьезный математик Остроградский высмеивал «Воображаемую геометрию» Лобачевского. В протоколе Академии наук от 7 ноября 1832 года сказано: «...г-н Остроградский замечает, кроме того, что работа выполнена с таким малым старанием, что большая часть ее непонятна. Поэтому он полагает, что этот труд г-на Лобачевского не заслуживает внимания Академии». Подобных примеров, к сожалению, множество.

Наряду с «комплексом неполноценности» источником аморальности ученого может быть психологическое окостенение, приводящее к неспособности воспринимать новые «сумасшедшие» идеи, противоречащие привычным представлениям, выросшим в догму. По-видимому, в этом причина поведения Остроградского. Прямо противоположно, но в конечном счете не менее аморально поведение ученых, широко и преждевременно рекламирующих идеи — свои или чужие — именно потому, что они очень новы и неожиданны. Как раз в этих случаях и нужна особенно тщательная проверка, особенно высокая требовательность к точности и строгости экспериментальных результатов или теоретических рассуждений.

Безнравственность ученого становится особенно опасной, если он поддерживает своим авторитетом реакционные политические идеи. Немецкие физики Штарк и Ленар, когда-то заслуженно получившие Нобелевские премии, примкнули к фашизму и возглавили так называемую «арийскую физику» в третьем рейхе. В наши дни Теллер, в прошлом выдающийся физик-теоретик, превратился в глашатая наиболее реакционных кругов США и призывает к тотальной термоядерной войне против Советского Союза, против коммунизма.

Все эти мрачные примеры показывают, что наука (если не сводить ее к голому званию) имеет самое непосредственное отношение к этике.

Между тем моральными принципами иногда пренебрегают. Один выдающийся физик говорил о приглашаемом в лабораторию сотруднике: «Пусть он родную мать убил — меня это не интересует. Мне важно, чтобы человек был способный и работал бы хорошо». Моральные оценки зачастую отодвигаются на задний план по сравнению с профессиональными и смягчаются. О человеке недобросовестном говорят, что он несколько легкомыслен, о заведомом подлеце — что у него неважный характер.

В прошлом в науку шли немногие. Она не была карьерным поприщем, не приносила материального благополучия и настоятельно требовала сурового труда и самоотречения. Сейчас в связи с резко возросшим значением науки картина изменилась. Несомненно, что массовость научной работы и повышение оплаты привлекли в науку множество людей, далеких от высших моральных идеалов. Это неизбежный и естественный процесс, его хорошая сторона состоит в том, что наука стала более доступной. Но одновременно она стала и менее нравственной.

«Нам пришлось отказываться от многих старых представлений,— писал Винер.— Мы все знали, что у ученых есть свои недостатки. Среди нас были педанты, любители спиртного, честолюбцы, но при нормальном положении вещей мы не ожидали встретить в своей среде лжецов и интриганов».

В целом наука во всем мире остается наукой. Однако процент людей, занимающихся научной работой ради степеней и званий, ради высокой зарплаты и почетного общественного положения, сейчас, несомненно, возрос. Более того, именно потому, что эти люди не заняты глубокой и сосредоточенной работой по выяснению истины и в то же время обладают повышенной карьерной активностью, им в ряде случаев удается занять высокое положение в научной администрации, оттеснить настоящих ученых. Очевидна насущная необходимость повседневно отстаивать нравственные принципы в науке, бороться с их девальвацией. Этические проблемы становятся все более актуальными.

Подлинное научное творчество — нравственное занятие. Когда мы вспоминаем о человеческих качествах крупных ученых, то мы думаем не о мракобесах вроде Штарка и Ленера, а о благородных и смелых людях, истинных ученых в высшем смысле этого слова. Имена Эйнштейна и Бора, Л. И. Мандельштама и Н. И. Вавилова ассоциируются не только с их открытиями, но и с красотой человеческого облика. Л. Д. Ландау мог быть резким и беспощадным критиком, не всегда справедливым с точки зрения критикуемого, но всегда абсолютно честным и искренним. На высшем уровне служения истине ученый оказывается поборником нравственных идеалов человечества. Таковы ученые-гумансты, мужественные борцы за мир, игравшие и играющие сегодня важную роль в движении человечества к лучшему будущему.

### ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧЕНОГО

Служение нравственным идеалам следует из понимания ученым своей ответственности перед обществом. Ученому многое дано. Его творческая работа вырабатывает у него строгое и непредвзятое мышление, способность к гочному логическому рассуждению. Общество внимательно прислушивается к словам ученого; его деятельность может иметь серьезные последствия для человечества.

История атомной бомбы общеизвестна. Эйнштейн, Ферми, Сциллард, Оппенгеймер руководствовались высокой целью борьбы с беспримерными в истории человечества преступниками — с германским фашизмом. Однако открытие физиков попало в руки американских военных, которые сожгли Хиросиму и Нагасаки. Попытки ученых остановить это ужасное дело оказались тщетными. Физики — не Теллер, конечно,— пережили тяжелую нравственную травму.

Советская наука этой трагедии не знает. Деятельность И. В. Курчатова и его соратников послужила делу жизни, а не смерти. Создание атомного оружия в Советском Союзе стало существенным препятствием развязыванию третьей мировой войны.

Ответственность ученого перед обществом гребует от него гражданского мужества. Оно свойственно далеко не всем. В дореволюционное время далеко не все видные ученые выступали на стороне революции, боролись с царизмом. Чем выше положение ученого, которого он достиг непрерывным трудом, тем больше зачастую он боится им рисковать. Он старается уйти в сторону от острых общественных проблем. Это легко обосновать. «Я занимаюсь важным делом, нужным человечеству, я сею разумное, доброе, вечное — остальное меня не касается».

Но были и другие примеры.

Д. И. Менделеев всегда поддерживал всей силой своего авторитета революционную студенческую молодежь и был весьма за это нелюбим царским начальством.

Выступления великого русского математика академика А. А. Маркова играли существенную общественную роль. В 1902 году царское правительство отменило избрание Максима Горького почетным академиком. А. А. Марков выступил с резким протестом, а когда с ним не посчитались, подал заявление об отставке. Она не была принята. В 1905 году А. А. Марков вновь потребовал «внести имя г. Пешкова в список

почетных академиков». В 1903 году А. А. Марков подал в правление Академии наук заявление о своем отказе получать какие-либо ордена от царского правительства. В 1907 году А. А. Марков, назвав III Государственную думу незаконным собранием, просил правление Академии наук не вносить его имя в списки избирателей.

В 1908 году царское правительство пыталось возложить на профессоров университетов полицейские функции. А. А. Марков подал министру просвещения заявление, в котором писал: «Я решительно отказываюсь быть в Университете агентом правительства». В 1912 году А. А. Марков обратился в «святейший правительственный синод» с прошением, которое начиналось так: «Честь имею покорнейше просить Святейший Синод об отлучении меня от церкви». Дальше он аргументировал свое прошение. Как ученый, как специалист по теории вероятностей, А. А. Марков считал более чем сомнительной истинность религиозных сказаний. В конце прошения он говорил: «...и сочувствую всем религиям, которые подобно православию поддерживаются огнем и мечом и сами служат им». Это прошение вызвало бурную реакцию. Церковь пыталась уговорить Маркова — к нему прислали протоиерея Орнатского на предмет «наставления и увещания». Но Марков заявил, что согласен разговаривать с Орнатским только о математике. Пришлось Маркова от церкви отлучить.

Вероятно, с точки зрения послушных царскому начальству академиков Марков был в лучшем случае чудачком. Но это не было чудачеством. Марков отстаивал принципиальную позицию передового ученого — его право на справедливость, на независимость мыслей и поступков. И хотя положение академика было достаточно надежным, антиправительственные выступления Маркова требовали от него гражданского мужества. Революционная общественность России восхищалась его поведением.

Менделеев и Марков, другие ученые — маститые и начинающие, вплоть до Кибальчича и Александра Ульянова, — боролись с произволом самодержавия, с мракобесием и обскурантизмом.

К счастью, Маркову не пришлось защищать свою науку от агрессии невежд. Но в других случаях поиски истины ученым могут привести его на передовую линию борьбы с силами, враждебными знанию, науке, человечеству. В этой борьбе не устоял Галилей. Он ведь никогда не говорил: «А все-таки она вертится». Он отрекся от науки под угрозой пытки. И не каждый бросит в него камень. Великий ученый может и не быть бойцом. Будущее ведь все равно за ним. Но героем борьбы за учение Коперника стал не Галилей, а Джордано Бруно. Однако Брехт в своей драме о Галилее не дает ответа на вопрос о том, должен ли был Галилей идти на костер.

Кто травил Галилея? Не только папская инквизиция. Папа Урбан VIII не решился бы грозить признанному и прославленному ученому пыткой, если бы не получил поддержки «научной общественности» — ученых-завистников, карьеристов и реакционеров. Лженаука никогда ведь не утверждает, что она выступает против науки. Наоборот, мракобесие объявляет себя единственной подлинной наукой и поэтому ищет поддержки со стороны людей, облеченных степенями и званиями.

Очевидно, здесь нужна дифференциация. Мы горько сожалеем об ученом, который, зная истину, отступает от нее под страшной угрозой. Этим горьким сожалением полна драма Бертольта Брехта.

Заслуживает презрения человек, примыкающий к лженауке по глупости или по невежеству. Но наибольшая степень морального падения — поддержка лженауки ученым, знающим дело, но руководствующимся конъюнктурными соображениями. Были ведь среди врагов Галилея и такие — люди, понимавшие справедливость учения Коперника, но заботившиеся о своей карьере, а не о науке. Положение этих образованных карьеристов незавидно: рано или поздно им придется посмотреть в глаза собственным детям.

В связи со сказанным нельзя не вспомнить о недавнем прошлом советской биологии. Группа лиц, руководствовавшихся догматическими псевдонаучными идеями, временно захватила в биологии командные позиции и насильственно прекратила развитие ряда разделов биологии — прежде всего генетики — в нашей стране. До этого советская генетика занимала едва ли не первое место в мире. Был нанесен крупный ущерб и науке, и образованию, и сельскому хозяйству, и медицине. Схоластические проповеди,

профанирование высоких идей марксизма-ленинизма, фальсифицированные эксперименты, травля серьезных ученых — все средства использовались в борьбе с генетикой. Были растоптаны важнейшие этические принципы. В ряде случаев квалифицированные биологи под давлением отказывались от науки или клеветали на нее, исходя из конъюнктурных соображений. Но мы хорошо помним имена советских ученых, неколебимо стоявших на страже истины. Имена Н. И. Вавилова, И. И. Шмальгаузена, И. А. Рапопорта.

Эти черные страницы истории советской науки зачеркнуты решениями Пленума ЦК КПСС в октябре 1964 года.

### ЛЖЕНАУКА

Каждый ученый неоднократно встречается с лженаукой. И ему приходится с ней бороться. В наше время ситуации вроде отречения Галилея или «обезьяньего процесса» в США становятся редкими. Но то и дело в различных странах появляются люди, стремящиеся «удивить мир», претендующие на великие открытия, ломающие привычные представления. Один открывает вечный двигатель, другой доказывает наследование приобретенных признаков, третий ниспровергает квантовую механику, четвертый утверждает существование телепатии и даже телекинеза (то есть перемещения предметов силой взгляда).

Лженаука, как правило, агрессивна, широко себя рекламирует в общей печати, усиленно добивается официальной поддержки и иногда ее получает. Автором лженаучной работы порой бывает честный, но мало сведущий или недостаточно самокритичный человек, но чаще это — фальсификатор. Нередко случается, что в поведении лжеученых отчетливо выражены отклонения от психической нормы.

Критерии лженауки также очевидны. Отсутствие логической связи со всем развитием мировой науки, нарушение твердо установленных законов природы, пренебрежение к строгим и воспроизводимым опытам и чаще всего элементарное невежество.

Обычно лжеученый говорит своему ученому критику следующее: «Почему вы претендуете на знание окончательной истины? Откуда вы знаете, что завтра я не окажусь прав? Сколько раз так бывало в истории науки. Может быть, я Лобачевский, а вы выступаете в роли Остроградского. Вы хотите закрыть дискуссии в науке, хотя знаете, что истина рождается в споре. Вы — реакционер и догматик, а я новатор. И единственное, чего я требую, — равноправного спора!»

За этим следуют жалобы в разные высокие инстанции. Жалобы и доносы. Лжеученый находит себе сторонников в среде неспециалистов, выступает в роли невинной жертвы обскурантизма, жертвы злодеев, окопавшихся в редакциях научных журналов и отказывающихся печатать его статьи.

Эти кажущиеся убедительными аргументы лжеученого легко опровергаются. Да, действительно, наука развивается непрерывно, и сегодня трудно предсказать будущие открытия. Но развитие науки подчинено внутренней логике. Никогда не бывало так, чтобы новое открытие начисто отвергало добытые ранее знания. Поиски новых истин в настоящей науке начинаются тогда, когда выявляются границы применимости установленной концепции. Как известно, теория относительности не отвергла ньютоновскую механику, а включила ее в новую теорию пространственно-временных отношений, как частный случай, совершенно справедливый для движений, происходящих со скоростями много меньшими скорости света. Теория относительности органически возникла на пути преодоления трудностей электродинамики движущихся тел, которые выявились задолго до Эйнштейна. Квалифицированный ученый отвергает лженаучные работы, руководствуясь знанием области, знанием ее реальных трудностей, знанием логики ее развития.

Что касается дискуссии, спора, то он допустим далеко не по всякому поводу. Наука не могла бы существовать, если бы каждое ее положение было дискуссионным. Еще в 1775 году французская Академия наук постановила прекратить рассмотрение любых проектов вечных двигателей. Она была совершенно права — нельзя тратить драгоценное время на анализ попытки опровергнуть твердо установленную закономерность.

На попытку опровергнуть хромосомную наследственность или внутривидовую борьбу за существование, на попытки доказать самопроизвольное превращение видов или самозарождение жизни в бесклеточной системе. Дискуссии по поводу надежно доказанных истин ничего, кроме вреда, принести не могут. Дискуссии в науке, напротив, совершенно естественны и органичны, пока истина не установлена. Так, в XIX веке шел содержательный спор между сторонниками волновой и корпускулярной теорий света. Решающие опыты Френеля закончили спор доказательством справедливости волновой теории. После этих опытов продолжать дискуссию было бессмысленно. В том-то и дело, что подлинный научный спор состоит не в произнесении общих фраз, а в предложении поставить определенные опыты или произвести определенные расчеты. Лжеученый этого никогда не предлагает.

Даже очень хорошие ученые далеко не всегда борются с лженаукой. Очевидно, это занятие скучное, неприятное и небезопасное — известны случаи, когда психически больные лжеученые убивали своих критиков. Существует малопочтенная практика «перепасовки» — один ученый огсылает автора лженаучной работы к другому, вместо того чтобы резко и безапелляционно высказать свое суждение. С другой стороны, честным ученым иногда свойственно чрезмерно доверять кажущимся фактам или нарушать один из основных этических принципов науки и судить не только о том, что хорошо знаешь. В результате биолог дает положительную оценку лженаучной работе по термодинамике, с которой он не знаком, а физико-химик одобряет безграмотное биохимическое исследование. Последствия таких поступков печальны — многим в дальнейшем приходится тратить время и силы на разоблачение лженауки, уже освященной авторитетами.

Великий химик А. М. Бутлеров, один из создателей теории строения в органической химии, человек, сыгравший очень крупную роль в развитии русской культуры и образования, был убежденным сторонником спиритизма. Его опровергал Д. И. Менделеев, его высмеял Лев Голостой в «Плодах просвещения». Как мог Бутлеров, который, несомненно, был стихийным материалистом, поверить в потусторонние явления и поддаться дешевому обману профессиональных медиумов?

Ответ на этот вопрос дал Энгельс в статье «Естествознание в мире духов». «Мы здесь наглядно убедились, — писал Энгельс, — каков самый верный путь от естествознания к мистицизму. Это не безудержное теоретизирование натурфилософов, а самая плоская эмпирия, презирающая всякую теорию и относящаяся с недоверием ко всякому мышлению. Существование духов доказывается не на основании априорной необходимости, а на основании эмпирических наблюдений...»

Пропусту верили своим глазам и придумывали материалистические объяснения виденному, не ища истинного смысла и не опираясь на надежную научную теорию. Такое бывает и сейчас. Есть и среди ученых люди, готовые уверовать в телепатию и телекинез, в намагничение воды или в радиосигнализацию у насекомых, несмотря на то, что существование этих явлений противоречит всей совокупности фактов, добытых естествознанием. Выясняется, что ученого не так-то уж трудно обмануть. Смотря на иллюзии Кио в цирке, он знает, что это не чудо, а если телекинетический медиум перемещает предметы, смотря на них, — ученый верит, потому что это не цирк.

К науке-познанию все сказанное никакого отношения не имеет. Лженаучные работы быстро забываются, религия, вера в духов или в телекинез не оставляют следов в совокупности знаний, добытых человечеством. Но ученый, добывающий эти знания, живет реальной жизнью. Он встречается с лженаукой, с предрассудками и мифами, с безграмотностью и догматическим пустословием. Он то и дело натывается на невежд и фальсификаторов, околонучных спекулянтов и краснобаев. И ему приходится со всем этим бороться.

## ЗНАЧЕНИЕ ИСКУССТВА ДЛЯ УЧЕНОГО

Выше уже говорилось о взаимодействии науки и искусства как явлений единой культуры. Спрашивается, насколько важны литература, живопись, музыка для творчества ученого?

Дать общий ответ здесь невозможно. Далеко не каждый ученый интересуется искусством. Чрезвычайная занятость, погружение в специальную область порою целиком отрезают ученого от всей художественной культуры. В этом смысле такой ученый не интеллигентен, как бы ни были значительны его открытия.

Узкая специализация интересов в большей мере свойственна ученым Запада, чем советским. Это определяется двумя причинами. Во-первых, вековыми традициями русской культурной жизни, традициями русской интеллигенции, всегда отличавшейся широтой художественных и общественно-политических интересов. Во-вторых, беспрецедентным в истории человечества общекультурным подъемом советского общества. Характерное выражение высокой культуры советского человека — его отношение к непреходящим художественным ценностям прошлого. Для подавляющего большинства читателей этого очерка, в том числе и ученых, стихи Пушкина живут и вызывают сильнейшую эмоциональную реакцию. Обстоятельства гибели Пушкина воспринимаются как личная трагедия, то, что Пушкин был убит молодым и не написал того, что мог написать, лишив нас великой радости, наполняет душу горечью. Напротив, для очень многих западных интеллигентов их гении — будь то Шекспир или Гёте — достояние истории, хрестоматийное прошлое. Конечно, это не универсальная закономерность, но все же черта достаточно характерная.

Опять-таки, не настаивая на универсальности этого тезиса, можно утверждать, что художественные интересы ученого тем шире, чем более широка тематика его научных исследований. В этом смысле теоретик зачастую ближе к искусству, чем экспериментатор. Интерес к искусству более свойствен тем, кто занимается общими научными проблемами, выдвигающими повышенные требования к способности мыслить абстрактно, философски. Но и это утверждение справедливо лишь в нулевом приближении.

Пресловутая проблема «физиков и лириков» все же существует. Проблема двоякая. С одной стороны, у многих людей искусства и людей, любящих искусство, наблюдается своего рода боязнь науки, боязнь ее рационализма, ее технических последствий — как явлений, противостоящих эстетической, эмоциональной стороне жизни, противостоящих духовному значению искусства. С другой стороны, среди людей, занятых наукой и техникой и не успевших или не пожелавших получить эстетическое образование, встречается пренебрежение к искусству, выражающееся в худшем случае во враждебном отношении, а в лучшем — в полном к нему невнимании.

Вторая сторона проблемы вызывает большую тревогу, чем первая. Наука влиятельнее и сильнее искусства в современном обществе. И если представить себе будущее культуры как борьбу науки с искусством, то, конечно, искусство окажется побежденным и уничтоженным.

В действительности проблема эта ложная и существует она только благодаря невежеству — в первом случае «лириков», во втором — «физиков». Противопоставление науки и искусства антинаучно. Именно достижения современного естествознания, психологии, кибернетики, теории информации утверждают полноправное существование «лирики» как важнейшей функции человеческой природы. Сейчас только начаты научные поиски глубоких факторов, объединяющих «физику» с «лирикой». Именно потому и следует заниматься «наукой людей».

Не будем все же преувеличивать эту опасность. Каждый советский ученый, имеющий дело с научной молодежью, знает, с какой силой вторгается в ее жизнь поэзия, живопись, музыка. Общая тенденция состоит в ликвидации этой трагикомической проблемы.

Мы сравнительно мало знаем о влиянии искусства на творческую деятельность великих ученых прошлого. Они говорили об этом не часто.

Дарвин писал в своей автобиографии: «До тридцатилетнего возраста и даже позднее мне доставляла большое удовольствие всякого рода поэзия... и еще в школьные годы я с огромным наслаждением читал Шекспира... Но вот уже много лет, как я не могу заставить себя прочитать ни одной стихотворной строки; недавно я пробовал читать Шекспира, но это показалось мне невероятно, до отвращения скучным. Я почти потерял также вкус к живописи и музыке. Вместо того, чтобы доставлять мне удо-

вольствие, музыка обычно заставляет меня особенно напряженно думать о том, над чем я в данный момент работаю. У меня еще сохранился некоторый вкус к красивым картинам природы, но и они не приводят меня в такой чрезмерный восторг, как в былые годы...

Эта странная и достойная сожаления утрата высших эстетических вкусов тем более поразительна, что книги по истории, биографии, путешествия... и статьи по всякого рода вопросам по-прежнему продолжают очень интересоваться меня. Кажется, что мой ум стал какой-то машиной, которая перемалывает большие собрания фактов в общие законы, но я не в состоянии понять, почему это должно было привести к атрофии одной только той части моего мозга, от которой зависят высшие эстетические вкусы... Утрата этих вкусов равносильна утрате счастья и, может быть, вредно отражается на умственных способностях, а еще вероятнее — на нравственных качествах...»

Мало кто рассказывал о себе с такой прямоотой и искренностью, столь содержательно и красноречиво. Дарвин отмечает важность литературы и искусства, нравственное и интеллектуальное значение эстетических переживаний и скорбит об их утрате. Однако те, кто читал труды великого биолога, знают, что в нем скорее произошла не утрата, а переключение эстетического чувства на науку. Работы Дарвина читаются как роман — они не только проникнуты глубокой научной мыслью, но полны эмоциональным и эстетическим содержанием.

Надо думать, что Дарвин совершенно прав, когда он говорит о важности высших эстетических вкусов. Художественная культура обогащает душу человека, она не может не сказаться и на научном творчестве самым благоприятным образом. Отдаленность многих ученых от искусства связана, вероятно, не столько с их личной специализированной психологией, сколько с традициями, укоренившимися в университетской подготовке естествоиспытателей, с традициями научных учреждений. Жизнь ломает эти традиции, ломает стену, отгораживающую искусство от науки.

## НАУКА И ЭСТЕТИКА

Эстетические переживания ученого специфичны в том смысле, что их источник — сама наука. Творчество ученого не только рационально, но и эмоционально. Ученый испытывает чувство счастья, разгадав загадку природы, ощутив подлинное вдохновение, и это чувство сродни чувству художника, понимающего, что произведение ему удалось. Эти эмоции могут быть очень сильными. Едва ли не впервые эстетическое содержание научных законов и формул анализировалось в книге В. М. Волькенштейна «Опыт современной эстетики»<sup>1</sup>. В книге справедливо отмечалось эстетическое значение результата физического или химического исследования, определяемое целесообразностью и симметрией формулы. В качестве примеров, в частности, были рассмотрены уравнения электродинамики Максвелла, структурная формула бензола. Эстетическое ощущение вызывается тем, что получение этих формул, условным и лаконичным языком описывающих сложные явления природы, потребовало преодоления этой сложности, то есть победы человеческого разума над коварством природы, ставящим перед ним загадки.

Момент творческого преодоления сложности имеет здесь решающее значение. Эстетическое содержание научного исследования тем больше, чем парадоксальнее и неожиданнее способ указанного преодоления сложности. Научное «сумасшествие» эстетично в высшей степени. Говоря языком современной науки, можно сказать, что это преодоление, то есть нахождение относительно простой закономерности, видимым образом проявляющейся в сложных процессах, означает внесение определенного порядка в систему, выявление ее информационного содержания. В этом смысле работа ученого родственна работе художника. Поэт создает определенный порядок, выбирая слова и

<sup>1</sup> В. М. Волькенштейн. Опыт современной эстетики. Предисловие А. В. Луначарского. «Academia». М. 1931.



звуки из их хаотической массы, ученый находит объективный порядок в хаосе явлений природы. Именно этот порядок оказывается эстетичным.

Рассмотрим один классический пример. В античной науке Птолемей построил геоцентрическую модель Вселенной и для того, чтобы описать движение планет, ввел представление об эпициклах — о добавочном вращении планеты вокруг точки, движущейся по орбите вокруг Земли. Эта модель позволяла предсказывать положения планет на небосводе, лунные и солнечные затмения. Модель была сложной и требовала весьма громоздких расчетов. Коперник много веков спустя впервые понял, что планеты движутся вокруг Солнца, а не вокруг Земли. Гелиоцентрическая система оказалась правильной и несравненно более простой. Кеплер установил простые эмпирические законы движения планет. Ньютон открыл закон всемирного тяготения. Система Коперника эстетичнее системы Птолемея. Эстетичны законы Кеплера, так как они дают в предельно сжатой форме ключевую характеристику сложных движений планет, наблюдавшихся Тихо де Браге и другими астрономами. Еще более эстетичен закон тяготения Ньютона, говорящий, что и движение планет, и падение камня, и течение реки строго, количественно объясняются предельно простой зависимостью: сила взаимного притяжения двух тел пропорциональна произведению их масс и обратно пропорциональна квадрату расстояния между ними.

Это преодоление сложности, это внесение порядка в хаос, это освобождение внутреннего ядра явлений природы от внешних оболочек полны эстетического содержания. Надо думать, что и Коперник, и Кеплер, и Ньютон (а задолго до них и Птолемей) испытывали сильнейшие эстетические эмоции, снимая покровы с тайн природы. Такого же рода эмоции испытывает человек, знакомящийся с этими великими открытиями.

Художник, создавая свое творение, прежде всего руководствуется эстетическим чувством. И он также определяет творчество, как снятие покровов:

«Но, делая эти поправки, он (художник Михайлов.— *М. В.*) не изменял фигуры, а только откидывал то, что скрывало фигуру. Он как бы снимал с нее те покровы, из-за которых она не вся была видна... Он знал, что надо было много внимания и осторожности для того, чтобы, снимая покров, не повредить самого произведения, и для того, чтобы снять все покровы...» (Лев Толстой, «Анна Каренина»).

Глубокий взор вперив на камень,  
Художник Нимфу в нем прозрел,  
И пробежал по жилам пламень,  
И к ней он сердцем полетел.

Но, бесконечно вожделенный,  
Уже он властвует собой:  
Неторопливый, постепенный  
Резец с богини сокровенно  
Кору снимает за корою...

(Евгений Баратынский, «Скульптор»)

Путь развития науки состоит в установлении новых связей, в объединении различных явлений. Это объединение неожиданно, парадоксально и в то же время оно — целесообразное преодоление трудности и сложности. Тем самым оно эстетично. До Ньютона никому не приходило в голову, что падение камня и движение Земли вокруг Солнца имеют общую причину. Закон тяготения красив. До Эйнштейна не думали, что измерение длины и измерение времени взаимосвязаны. Теория относительности — красивая теория. Мендель доказал, что наследственность подчиняется строгим законам, выражаемым в простой математической форме, — до него математика казалась не имеющей отношения к биологии. Законы Менделя красивы.

Эстетической оценке подлежит и результат научного исследования (красивая теория, красивая формула, красивый закон, скажет ученый), и постановка опыта (красивый опыт!), и логика работы (красивая, то есть ясная и строгая и в то же время не-

ожиданная цепь рассуждений). Здесь всюду содержится трудное преодоление, трудное снятие покровов, вычленение общего и главного из хаоса фактов. Красив решающий опыт — *exregimentum crucis*, — устраняющий сомнения, однозначно доказывающий истинность теоретической догадки.

Эстетика не имеет отношения к науке-познанию, отвлеченной от человека — творца науки, от человека, изучающего науку. Но эстетика необычайно важна в науке-творчестве, ибо эстетическая эмоция — один из основных источников вдохновения.

Вопреки распространенному мнению, сильная эмоция — в данном случае эстетическая — не мешает интеллектуальной деятельности, а помогает ей. Вдохновение ученого есть именно сочетание интеллектуальной и эмоциональной, прежде всего эстетической, активности сознания. Вдохновение и ученого и художника есть момент их высшего счастья. Поэтому оно — могучий стимул. Стоит потрудиться, стоит присидеть не одну пару штанов, для того чтобы испытать это счастье вновь и вновь.

Эстетика науки на первый взгляд совершенно отлична от эстетики искусства. Эстетические переживания по поводу теории относительности доступны лишь человеку, имеющему надлежащую подготовку и понимающему читаемый им труд Минковского или Фридмана. В то же время «Сикстинская мадонна» дана каждому — его непосредственным зрительным восприятием.

Однако полноценное эстетическое восприятие произведения искусства также требует предварительной подготовки, предварительного запаса информации — тезауруса. Тезаурус при чтении поэмы, или при обозрении картины, или при слушании симфонии отличен от тезауруса при штудировании научного труда, но тезаурус необходим. О вкусах не спорят — каждый вправе сказать, нравится ему или не нравится картина или театральные спектакль, но эстетическая оценка художественного произведения требует знаний, зачастую не меньших, чем эстетическая оценка работы по теоретической физике.

Отношение самих ученых к эстетическому содержанию научной работы разнообразно. Людвиг Больцман говорил: «Оставим красоту портным и сапожникам!» Это, впрочем, не означает, что его работы не эстетичны и что сам он не испытывал эстетических эмоций — может быть, бессознательных, — создавая их. Другая крайность — точка зрения одного из создателей квантовой механики, нашего современника Поля Дирака. Дирак считает, что эстетический критерий — главный критерий научного исследования. В науке по-настоящему хорошо только то, что красиво.

Истина, по-видимому, лежит посередине. Теория и опыт могут быть и эстетически нейтральными. Но правильные теоретические и экспериментальные исследования не могут быть антиэстетичными, то есть безобразными. Что означает «безобразие» в науке? Отсутствие строгости и доказательности, построение теории на произвольной основе, введение в расчеты чрезмерного числа параметров и т. д.

Лженаука всегда антиэстетична, и в борьбе с ней уместно пользоваться эстетическим критерием.

Эстетические переживания имеют важнейшее значение в научном творчестве и отвлекаться от них опасно. Но главным критерием качества научной работы, научной теории служит ее истинность, ее экспериментальная проверка, именно то, что называется критерием практики. Этот критерий не противоречит эстетическому, но согласуется с ним. Истина — прекрасна, а ложь — уродлива.

Наконец, эстетической оценке подлежит и поведение ученого, равно как и поведение любого другого человека. Применительно к ученому эстетическая оценка его поведения специфична лишь в том смысле, что оценивается этика его выступлений, его взаимоотношений с коллегами и сотрудниками. Когда один крупный ученый в конце статьи о своем новом открытии написал, что сходное открытие в другой области было удостоено Нобелевской премии, этот достаточно прямой намек был по меньшей мере антиэстетичен. Премии он, впрочем, получил. Антиэстетично преждевременное рекламирование работы, антиэстетично умолчание о заслугах других ученых. Этика неотделима от эстетики.

## НАУКА И ЮМОР

Творческая работа, а значит, и работа ученого — занятие счастливое и потому веселое. Юмор имеет самое непосредственное отношение к «науке людей». По крайней мере в трех аспектах.

Во-первых, в познавательном. Остроумие сродни научной мысли. Шутка, острота чаще всего связана с парадоксальностью, неожиданностью сочетания явлений и понятий. Остроумие всегда непредвзято. Нельзя себе представить догматическую остроту — эти два понятия несовместимы. Но парадоксальность, неожиданность, непредвзятость, антидогматизм присущи и научному творчеству. Поэтому вовремя сказанная шутка может не только освежить восприятие обсуждаемых научных проблем, но и повернуть его в нужную сторону.

Во-вторых, в эстетическом аспекте. Лженаука безобразна, антиэстетична и потому смешна. Она подлежит не только опровержению, но и осмеянию. С другой стороны, остроумное решение научной загадки эстетично и в то же время служит источником веселья, смеха.

И наконец — в этическом аспекте. Смех — мощное орудие борьбы с несправедливостью и безнравственностью, юмор — великолепный амортизатор в человеческих взаимоотношениях.

Трудно представить себе талантливого, эффективно работающего ученого, лишеного чувства юмора. Такие встречаются редко. Напротив, среди людей бездарных процент наделенных звериной серьезностью, не улыбающихся и не понимающих шуток, весьма высок. «Комплекс неполноценности», ущемленное самолюбие также ведут к утрате юмора или к злобной и желчной его разновидности.

«Серьезный человек радуется, когда ему удается хоть раз посмеяться от чистого сердца», — говорил Эйнштейн. Ему это удавалось. Его шутки были полны остроумия и глубокого содержания. В статье «Физика и реальность» Эйнштейн писал: «Я не считаю законным скрывать логическую независимость понятия от чувственного восприятия. Отношение между ними аналогично не отношению бульона к говядине, а скорее гардеробного номера к пальто». А на вопрос маленького сына о причинах его славы, Эйнштейн ответил: «Когда слепой жук ползет по поверхности шара, он не замечает, что проиденный им путь изогнут. Мне же посчастливилось это заметить».

Наука не может развиваться без самокритики в лучшем смысле этого слова. Ей противопоказаны чинопочитание, «взирание на лица», бездумное следование авторитетам. В той же мере несовместимы с творческой научной деятельностью важничанье, командование, отсутствие человечности. Ученые посмеиваются и над собой, и над своими коллегами, зачастую пародируют и разыгрывают друг друга. В одном из институтов Академии наук существует милая традиция ставить оперетты на местные научные темы. В одной из таких оперетт в сцене, изображающей лабораторию некоего ученого, талантливого, но не раз получавшего ненадежные результаты, над занавесом красовался плакат: «Артефакты — упрямая вещь!» (Артефакты — ложные, искусственные факты, на которые то и дело приходится наталкиваться в научной работе.)

Конечно, шутки ученых иногда звучат тяжеловесно для людей, не связанных с наукой. Здесь своя поэтика, базирующаяся на специальных знаниях и терминологии. Смех — естественная реакция на лженаучную чепуху.

Юмор другого рода сопровождает остроумное научное открытие. Генетический код был расшифрован путем «обмана» клетки. В клеточную систему вместо генетического вещества вводили искусственный, синтетический полимер — молекулярную цепочку, состоящую из звеньев, подобных фигурирующим в природном генетическом полимере. И клеточная химия срабатывала, принималась за синтез белка. Здесь есть элемент комизма — клетку надули и вынудили раскрыть свою тайну. У лектора, рассказывающего об этих прекрасных опытах Ниренберга, весело блестят глаза.

В этическом плане юмор, сатира выступают союзниками науки, ибо нравственность имеет научное обоснование. Преступление всегда антинаучно. И оно всегда лишено веселья и юмора. Моцарт весел, а Сальери не улыбается.

Моцарт

...Ах, правда ли, Сальери,  
Что Бомарше кого-то отравил?

Сальери

Не думаю: он слишком был смешон  
Для ремесла такого

Преступник Сальери считает себя не смешным, но величественным. Он оправдывает высокими идеями об общественном благе — гнусное убийство, продиктованное завистью и страхом:

...я избран, чтоб его  
Остановить — не то мы все погибли.

Парадокс состоит в том, что Сальери выступает от имени науки. Сальери, а не Моцарт «поверил алгеброй гармонию». Но Моцарт гораздо ближе к науке. Он — творец, он внутренне свободен. И он — полон юмора. Недаром Эйнштейн так любил музыку Моцарта.

### НАУКА И ОБЩЕСТВО

Громадное значение науки как производительной силы в техническом прогрессе общества очевидно. Однако, говоря о «науке людей», нельзя не коснуться важной темы, связанной с влиянием науки на общественное сознание. Велика материальная роль науки, но ее духовное значение не менее существенно.

Эта проблема, конечно, должна быть предметом глубоких социально-философских исследований. Мысли и соображения, изложенные здесь, на такую глубину не претендуют и далеко не исчерпывают проблему.

Общественное значение науки определяется прежде всего ее революционным содержанием. Развитие науки происходит в непрерывном борении с принятыми на веру догмами, со «здравым смыслом», с легендами и мифами. Наука диалектически преодолевает самое себя, пересматривая и переоценивая ранее сложившиеся концепции и создавая новые, имеющие более глубокий и широкий, порою революционный смысл. Пятая глава «Материализма и эмпириокритицизма» В. И. Ленина называется: «Новейшая революция в естествознании и философский идеализм». Ленин с предельной ясностью показывает, что открытия, воспринимавшиеся идеалистами как «кризис в физике», в действительности означали революционное движение вперед в диалектико-материалистическом познании природы. Отвергается «здравый смысл» как историческая категория и торжествует подлинное естествознание.

Наука революционна и прогрессивна по самой своей сути. Поэтому она выступает и в человеческом плане как участник и соратник социальных революций. В истории человечества научная интеллигенция зачастую оказывалась на передовых позициях во всех прогрессивных движениях. Напротив, реакционные события, периоды реакции, периоды подавления свободы личности, материального и духовного порабощения человека всегда были отмечены борьбой с развитием науки, угнетением ученых вплоть до их физического истребления.

Крупный физик Бенджамэн Франклин был одним из виднейших деятелей буржуазной революции в Америке. В буржуазной французской революции участвовал целый ряд первоклассных ученых — Бертолле, Монж, Л. Карно и другие. Непоследовательность и внутренние противоречия буржуазной революции привели к террору, жертвами которого пали такие ученые, как Лавуазье и Кондорсэ, а затем и сами вожди революции — Дантон, Робеспьер, Сен-Жюст. Но при всей сложности событий этой эпохи несомненно, что французская наука была союзником революции, по крайней мере ряда ее этапов. Буржуазная революция во Франции привела, в частности, к бурному развитию науки в последующие десятилетия.

Великая Октябрьская революция исходила из науки, из научной теории марксизма-ленинизма. Впервые в истории научное познание стало руководством к революционному действию. Среди большевиков были многие выдающиеся представители науч-

ной интеллигенции. Немало крупных ученых, да и Российская Академия наук в целом откликнулись на призыв В. И. Ленина принять активное участие в экономическом восстановлении и развитии страны. Это послужило залогом мощного расцвета отечественной науки в последующие годы.

Реакционные идеи всегда противостояли научному познанию. Прежде всего это относится к религии. «Блаженны нищие духом»,— говорит Евангелие и ополчается на «книжников». Религия гребует беспрекословной веры, но никак не аналитического размышления. «Верую, ибо нелепо»,— утверждает наиболее последовательное — католическое — вероучение. Когда церковники убивали Ипатию или терроризировали Галилея, они имели полную возможность опереться на свои канонические тексты. Религия декларирует борьбу с наукой, с познанием, с независимостью интеллекта ученого. Сейчас она вынуждена приспособляться и искать путей сближения с наукой, но суть дела от этого не меняется.

В России XIX века в годы реакции наука, ученые были далеко не в почсте. Салтыков-Щедрин едко высмеял это отношение к науке в «Дневнике провинциала в Петербурге». Отставной подполковник Дементий Сдаточный в своем проекте «О реформировании де сиянс академии» считает первейшей обязанностью академии требовать от обывателей представления сочинений на тему: «О средствах к совершенному науку упразднению, с таким притом расчетом, чтобы от сего государству ущерба не произошло и чтобы оно и по упразднении наук соседей своих в страхе содержало, а от оных почитаемо было, яко всех просвещением превзошедшее». По мнению Сдаточного, только те науки распространяют свет, «кои способствуют выполнению начальных предписаний».

Реакция опасна и наука-познание, и в еще большей мере «наука людей». Ненависть к творческой интеллигенции характерна для самых черных периодов в истории человечества. «Когда я слышу слово культура, я спускаю предохранитель своего револьвера»,— откровенно заявлял Геббельс.

Научное мировоззрение не мирится с мифом о фюрере. Оно подрывает самые основы реакционного режима, противопоставляя насаждаемым силою догмам ясность революционной мысли. Научное обоснование этики и права отвергает произвол и насилие. Научное мышление гуманистично именно потому, что оно научное. Оно требует строгих доказательств, оно не допускает несправедливости, ибо несправедливость алогична.

Поэтому широкое распространение научных знаний имеет глубокий гуманистический смысл, освобождающая человечество от слепой веры и предрассудков, побуждая его сознательно восставать против произвола и насилия. Поэтому Маркс, Энгельс, Ленин придавали громадное значение широчайшему развитию народного образования, пропаганде науки. Этот идеал в большой мере достигнут в нашей стране и в странах народной демократии. Социалистические государства, строящие коммунизм, не жалеют средств и усилий на подъем культуры во всенародном масштабе. Плоды этой великой работы видны всему миру.

Все сказанное не означает, конечно, что каждый деятель науки обязательно прогрессивен и активно борется за лучшее будущее человечества. Оппортунизм весьма распространен и в научных кругах. Однако именно ученые оказываются в передовых рядах борцов за мир, борцов с империализмом и колониализмом. Это определяется, по-видимому, двумя причинами. Во-первых, прогрессивным характером научного мышления и, во-вторых, тем, что ученым особенно легко разговаривать друг с другом — в том числе и ученым социалистических и капиталистических стран — вследствие общности научных интересов, взаимного уважения, связанного с интернациональной природой науки.

Настоящая этика сегодня может развиваться лишь на основе науки. Великая Октябрьская революция отвергла религию, отделила церковь от государства. Этика социализма — научная этика, и ее нормы существенно отличны от норм общественных формаций прошлого. Построение коммунизма — в громадной степени этическая проблема, решение которой гребует максимального развития науки и образования.

## БОЯЗНЬ НАУКИ

Наука боится не только реакция. Да и реакция готова воспользоваться ее достижениями в своих целях.

Антинаучное мировоззрение может быть и не антигуманистическим. Жан Жак Руссо и Лев Толстой выступали против науки во имя высокого гуманизма. И сегодня наука кажется многим бесчеловечным, иссушающим душу занятием.

Действительно, атомная бомба — прямое следствие всего предшествовавшего развития физики. Кибернетика создает роботов, правда, еще весьма несовершенных, но умеющих многое. Всерьез идет разговор о сооружении машины, умеющей писать поэмы или сонаты. Благородная игра — шахматы — находится под угрозой. Экс-чемпион мира доктор технических наук М. М. Ботвинник сам занимается теорией автомата, играющего в шахматы. И все это — наука. Множество романов и кинофильмов рассказывает о самоистреблении человечества в будущей термоядерной войне или о порабощении людей всемогущими кибернетическими устройствами, о мрачном «научном» будущем.

До создания «мыслящей машины» еще далеко. Однако поскольку человеческий мозг, индивидуальное и общественное сознание возникли и существуют закономерно, в соответствии с законами физики, химии и биологии, то нельзя отрицать принципиальную возможность их моделирования и воспроизведения. Разумеется, если только не стать агностиком и не считать эти явления непознаваемыми.

Однако протесты против научных поисков в этой области бьют мимо цели так же, как удары луддитов, разрушителей машин, видевших в них орудие угнетения. В действительности угнетателем был и остается капитализм, а не машина.

Страшна не атомная энергия, но авантюристическая игра в атомную бомбу, которой занимаются империалисты. Страшны не «бесчеловечные машины», а их употребление врагами человечества. Страшны не ракеты сами по себе, а ракеты, несущие термоядерные заряды, чтобы сбросить их на незащищенных людей. Та же ракета уносит в космос смелых первооткрывателей. Страшна не наука, а использование ее открытий и завоеваний подлецами.

Надо думать, что стремление к познанию, к работе творческой мысли генетически запрограммировано в сорока шести хромосомах вида *Homo sapiens*. Так же как стремление к художественному творчеству.

Бороться с наукой и с ее созданиями бессмысленно. Это значит бороться с самой человеческой природой. Напротив, нормальный прогресс творческой работы человека идет по пути сближения науки и искусства, сближения рациональной и эмоциональной деятельности. Этот путь лежит через «науку людей». Вероятно, в будущем наука будет становиться все более человеческой. Творческое пламя не погаснет, но ярко разгорится и в науке и в искусстве.

Что касается мыслящих машин, то, если они когда-нибудь будут созданы, их придется рассматривать как новый этап эволюционного развития человека. Веря в добрую силу науки, будем ждать помощи от этих машин. Человек не подчинится машине, но воспользуется ее возможностями для своего блага.

И, может быть, не об этих опасностях сейчас надо думать, а совсем о другом. Да, наука резко усилилась в нашем веке, чрезвычайно возросло число людей, участвующих в ее развитии. Но это число по-прежнему ничтожно по сравнению с численностью населения Земли. Наука процветает лишь в немногих развитых странах. Сотни миллионов людей, живущих в зависимых, полукOLONиальных, культурно неразвитых государствах, лишены не только научного образования, но и прожиточного минимума. Там ежедневно погибают люди от голода, хотя достижения биологии, агрохимии, почвоведения таковы, что могли бы обеспечить человечество пропитанием надолго, невзирая на рост народонаселения. Мальтус ошибался, когда писал, что производство пищевых продуктов возрастет в арифметической прогрессии, а население — в геометрической. В действительности количество пищи на Земле могло бы увеличиваться со скоростью, превосходящей скорость роста населения, если следовать науке, мощь которой Маль-

тус недооценивал. Научному ведению хозяйства препятствует капиталистическая система эксплуатации неразвитых стран, антинаучное уничтожение природных ресурсов — сведение лесов, отравление рек и озер отходами производства, варварская охота. Наука, научная этика запрещают не только бессмысленное истребление тетеревов или зайцев, но и стрельбу по «хищникам» — убийство ястреба или рыси, ибо разрушение биоценоза чревато тяжелыми последствиями.

### ОСНОВНАЯ ТЕНДЕНЦИЯ

Не сочиняя утопий, попытаемся определить, в чем же состоит основная тенденция развития современной науки — науки-познания и науки-творчества.

Весьма распространено убеждение в том, что наука развивается по пути все большей специализации. Объем знаний возрос настолько, что сейчас невозможно быть не то что Леонардо да Винчи или Ломоносовым, но просто физиком вроде физика XIX века. Ибо нет уже физики как таковой, а есть атомная физика, радиофизика, физика полупроводников, молекулярная физика и т. д. и т. п. Специалисты в этих областях уже не понимают друг друга, они говорят на разных языках.

Этот тезис кажется убедительным. В самом деле — развитие науки приобрело гигантские размеры. И, конечно, гораздо легче быть узким специалистом, чем ученым, мыслящим широкими категориями. Ссылаясь на специализацию, можно обосновать леность ума, не желающего знакомиться с другими областями знания.

Но в действительности ситуация совершенно иная. Основная тенденция современной науки состоит в диалектическом единстве специализации и объединения. Именно объединение разных дисциплин, построение единого естествознания — важнейшая черта науки во второй и третьей четверти XX века. Вот несколько показательных фактов.

Математика, физика, химия, биология — основные области естествознания. Сегодня они объединяются. Ранее только физика широко применяла математические идеи, математический аппарат. Сейчас этот процесс углубился, и физические исследования стимулируют создание новых глав математики. Еще в начале века теория относительности навсегда связала геометрию с физикой, раскрыла реальное значение «воображаемой геометрии» Лобачевского.

Математика вторглась в химию. Такие абстрактные, казалось бы, разделы, как топологическая теория графов, оказываются основой не только рассмотрения теоретических проблем химии, но и решения технологических вопросов.

После создания квантовой механики в 1927 году была построена физическая теория химической связи. Тайнственные до того явления валентности — насыщаемости и кратности химических связей — получили научное объяснение. Сейчас мы понимаем, что в основе любого химического явления находятся физические процессы. Сегодня широко развилась промежуточная наука, условно разделяемая на физическую химию и химическую физику.

Во второй половине века произошло включение биологии в систему точных наук, характеризуемых строгим математическим подходом, точными формулировками законов и выводов. В результате объединения биологии с физикой и химией возникла молекулярная биология — одна из наиболее перспективных и многообещающих областей современного естествознания. Химия обратилась к биологически-функциональным веществам — развилась биоорганическая и биофизическая химия. Идеи и методы одних наук во все большей мере вторгаются в другие науки. Сама классификация наук оказывается исторически изменяющейся.

Именно в результате объединения математики, физики, электро- и радиотехники, биологии и физиологии возникла кибернетика, играющая важнейшую роль в современном научном мировоззрении.

Давно уже было ясно, что выход на перекрестки науки, установление новых связей между далекими, казалось бы, явлениями природы означает прорыв на новый этап познания. Это и есть путь науки. Тут можно привести бесконечное число примеров.

Многое мешает этому естественному процессу объединения. Тезис о необходимости узкой специализации. Медленность разрушения рутины школьного и университетского образования, в результате которого химик боится интеграла, а физик—химической формулы. Догматизм некоторых философов, пугающих ученых жупелом несводимости: упаси вас боже сводить химию к физике или биологию к химии — станете еретиком! Психологически понятна эта боязнь объединения наук — всякая ломка традиций воспринимается болезненно. Есть здесь и элементарное заблуждение: создание физической теории химических явлений, создание так называемой квантовой химии представляется уничтожением химии как самостоятельной науки. В действительности все значение и красота идей и методов химии не только сохраняются, но получают новое, более глубокое обоснование и химия как наука подымается на более высокую ступень.

Напрстив, естественному и неизбежному объединению наук способствует рост общей культуры, особенно мощный в Советском государстве, рациональное планирование развития науки, которое в нашей стране проводится учеными, прежде всего Академией наук СССР. Разумно и перспективно объединение в Академии естественников и гуманитариев. Потому что соединяются пути не только различных областей естествознания. Кибернетика, математика приобретают все большее значение в социологии, в экономике, в лингвистике. И наконец, искусствоведение и само искусство начинают тесно взаимодействовать с точными науками.

Мастером культуры близкого будущего, вероятно, окажется не узкий специалист, но многосторонний деятель, которому близки и наука и искусство — творческая жизнь в целом. Будет углубляться понимание ученым его ответственности перед обществом, его пристальное внимание к этике и эстетике.

Путь культуры — путь к построению коммунистического общества, цель которого — всестороннее развитие дарований человека, его подлинная и полная духовная свобода, высший гуманизм.





# ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Е. КРАСНОЩЕКОВА

★

## ПОД ЧИСТЫМИ ЗВЕЗДАМИ ПРАВДЫ И ЧЕЛОВЕЧНОСТИ...

**И**ван Катаев — автор широко известных в двадцатые — тридцатые годы повестей и рассказов — работал в искусстве всего десять лет, часто прерывая свой труд, и написал немного. При чтении недавно вышедшего в издательстве «Советская Россия» сборника его повестей, рассказов, очерков и статей — «Под чистыми звездами»<sup>1</sup> — рождается ощущение, будто все свои вещи (в особенности это относится к художественной прозе) Катаев написал за один вздох, глубокий и длительный.

Критики — современники Катаева пытались наметить четкую эволюцию его творчества от повести «Поэт» (1928) до «Ленинградского шоссе» (1932) и «Встречи» (1933), но сегодня их попытки кажутся мало убедительными. За несколько лет интенсивной работы Катаев только и успел раскрыться в одном своем художественном «состоянии». Возможно, в конце тридцатых годов писателя и поджидал серьезный творческий сдвиг (что в какой-то мере подсказывает посмертно опубликованная новелла «Под чистыми звездами»), но путь Катаева оборвался в 1937 году, когда ему было тридцать пять лет.

Проза И. Катаева — исповедь молодого, волевого и страстного человека, захлебывающегося чувствами, напряженно думающего, спорящего с самим собой и современниками. Четыре его повести — «Поэт», «Сердце» (1927), «Молоко» (1930), «Ленинградское шоссе» — лучшее из написанного Катаевым — постоянный диспут на

«материале» реальной человеческой судьбы о том, каков есть сегодня и каким должен быть человек нового общества, как воплотится в нем идеал человека будущего, о котором одержимо мечтал Иван Катаев — коммунист и художник.

«С чем войдет наше поколение в завоеванную с таким трудом и с такими жертвами обетованную землю, каким переступит ее границу? — задавал вопрос Катаев в одном выступлении. — Нам ответят, что оно гостит для этого жданного мига множество серых стеклобетонных зданий с блестящими машинами и миллионы гектаров тучной, сообща обработанной земли...

Мы хотим знать, каким будет человек в этой обетованной земле. Мы знаем, что он будет здоров телом и ясен умом, что он будет хорошо думать и хорошо работать. Но будет ли он счастлив, весел, способен к волнениям, энтузиазму, внутреннему страданию, обогащающему душу? Да, он будет таким, но в чем будет его счастье, веселье, энтузиазм, страдание? Как он будет относиться к встречному человеку, к соседу по работе, к женщине, которую он любит? Будет ли он нежен, добр, отзывчив, отважен, верен в дружбе, решителен, осторожен и притом отличен от других людей? Как он будет ощущать пространство мира, время, космос, свое существование, приближение к смерти? Будет ли в нем воля к дальнейшему изменению себя и мира, стремление к далеким, едва мерцающим целям? Что он будет чувствовать по отношению к человечеству, ко всем его историческим эпохам, к нашему времени, к будущему? Как он будет осознавать и пережи-

<sup>1</sup> Иван Катаев. Под чистыми звездами. Повести. Рассказы. Очерки. «Советская Россия». М. 1969, 511 стр.

вать все окружающее: солнечный свет, небо, смену дня и ночи, море, леса, льды, а также асфальт, машины, аэропланы? Будет ли жить в искусстве, воспринимать его, плакать, порываться к совершению несобъяснимых поступков — и если так, то что это будет за искусство? И последнее — главное и исчерпывающее: сохранит ли он богатство и тонкость души, способность откликаться на все разнообразнейшие и мельчайшие прикосновения мира, ловить в себе и в нем все шорохи, все звуки, все подсознательные и сонные движения, всегда слышать трепет своей жизни и жизнью ближайшего круга людей, окружающих его людских масс, всего человечества.

Характерная для литературы двадцатых годов тематика — гражданская война, революция в деревне, восстановление хозяйства — приобретает в книгах И. Катаева особый ракурс в свете этой особой одержимости писателя мыслью о человеке, его настойчивыми попытками постичь духовную «сердцевину» современника, сопоставить мир его чувств с миром идеальным, «должным». Но все результаты этого сопоставления выявляются у Катаева не в категорических определениях, а в величинах непостоянных, подвижных, текучих, как сама жизнь, подчас просто зыбких.

Насколько И. Катаеву-художнику органично восприятие души человека как особого мира чувств сложных, а то и путаных, настолько естественно для него и постоянное ощущение движений, переломов, сдвигов в большой жизни и отдельной человеческой судьбе. Отсюда два сквозных образа его творчества, запечатленных в названиях двух книг, — «Сердце» и «Движение». Вернее, это два аспекта одной и той же темы — в разных произведениях на первый план выходит то один, то другой из них, но связаны они неразрывно. Сознание «бесконечности жизни, слитности ее мгновений и частиц» так же постоянно у И. Катаева, как и ощущение неповторимости и непреходящей ценности одного человеческого сердца, одной его единственной жизни.

Четыре повести И. Катаева преемственны в своем ведущем пафосе. Но все усложняющаяся действительность (от эпохи гражданской войны в «Поэте» — к современности в «Сердце», «Молоке», «Ленинградском шоссе») формирует изменчивый характер катаевского подхода к жизни — он приобре-

тает все больше признаки широкого философского анализа.

«Поэт» — первая из повестей писателя была заслонена от критики, да и читателей ранее появившимся «Сердцем», с которого в литературе по-настоящему начался Иван Катаев. Но сейчас, с временной дистанции, «Поэт» видится подлинно катаевским произведением. События, изображенные здесь, локальны и будничны: политотдел одной из южных армий, ведущих наступление на белых, следует по железнодорожным путям в арьергарде армейских эшелонов. Эпоха гражданской войны встает со страниц повести в немногочисленных, типичных для писателей двадцатых годов (Вс. Иванов, Н. Никитин, Б. Пильняк) зарисовках.

«Через неделю штаб армии погрузился в вагоны и двинулся из Куршака по следам гигантского наступления. В Грязях, на взорванном, прогнувшемся ижицей железнодорожном мосту еще торчали два паровоза, сшибленные лбами, вставшие на дыбы и замершие в смертельном объятии. Дымились сожженные водокачки на станциях и скелеты вагонов под откосом у Песковатки, Графской, Отрожки. Раненые и тифозные еще метались в бреду на хлипком от грязи полу пристанционных эвакуантов. Еще по утрам длинные обозы с торчащими во все стороны из-под рогожек желтыми руками и ногами отъезжали в белые, ослепительные под морозным солнцем поля. Фронт еще гремел в ушах и трепетал в сердцах, но фронт был уже далеко».

Но в отличие от прозаиков начала двадцатых годов, для которых такого рода зарисовки — средоточие духа их книг, вспевших ветер революции, бурю, пронесшуюся над Россией, — И. Катаев фактически занят одним человеком — Александром Гулевиным, миром его чувств и его надежд, миром своеобразным, четко детерминированным временем. Странно и небрежно одетый, некрасивый, чрезвычайно добрый и трогательно беззащитный Гулевич читает свою поэму «Голгофа» молодому политотдельцу (автобиографический образ). Читает на чердаке холодной воронежской гостиницы «Бристоль», гудящей от голосов красноармейцев, освободивших город от белых. Эта поэма открывает катаевскую модель подлинного искусства, воспринимается как естественный комментарий ко всему его творчеству: «Это были первые

стихи, в которых революция и одинокая судьба человека предстали для меня слитными, мчащимися по единому руслу <...> Многие повторилось потом в бескрылых стихах других авторов и стало шаблоном. Но тогда, на чердаке, стругающаяся вместе с бледным и хмурым светом полукруглого окошка, окутанная паром, поэма потрясла меня своей глухой музыкой, вошла в меня, как нечто совсем новое, не похожее на читанные прежде стихи». (Выделено мною.— Е. К.) Катаев предвидел, что интонация, подобная его собственной — восторженная, искренняя, подчас чуть панвизия, — утратит со временем ощущение непосредственности, станет штампом и заранее «оговаривал» ее.

Поэма названа «Голгофа», ее пафос в таких строках:

Мы оба — искры  
Огня борьбы.  
Сгорим мы быстро  
В руках судьбы.

Аскетический отказ от всех желаний во имя борьбы — программа «Голгофы». Таков и «план жизни» поэта Гулевича. «Мы обреченное поколение... мы должны... принести себя в жертву. И вы и я — только агнцы закланные... Раз уж взялись перестраивать мир, так нечего за хорошую жизнь цепляться... Любви, конечно, у нас не должно быть места, она отнимает слишком много времени и сил».

Так диктует разум. Но против этих категорических и беспощадных формулировок бунтует сердце юноши-рассказчика и самого Гулевича. «Почему Голгофа? Почему вы написали — сгорим мы быстро? То есть я понимаю, что мы сгорим быстро... но все же, мне кажется, у нас у всех большое будущее и можно пока не думать о смерти... Нет, я не то сказал. Думать можно, но печалиться-то незачем», — недоумевает юноша.

В жизни Гулевича суровая убежденность сталкивается с привязанностью к женщине — Эtte Шпрах. Живой, изменчивый, полный неожиданностей поток жизни захлестывает упорядоченные постулаты разума, он смыкает даже следы насилия человека над собой. Рассказчик думает о Гулевиче: «Вот он хочет построить свою жизнь иначе, чем я, связать себя и

ограничить, а живет, пожалуй, так же — не может не радоваться весне и сапогам, не может не любить Этту...»

Поэт умирает от тифа. «Да, странные, прямолинейные чересчур были у него идеи, но какие зато честные, героические даже», — вспоминает о Гулевиче начальник политотдела Иван Яковлевич. Революционная эпоха и глубокая искренность героя приподняли, осветили «странные идеи», смягчили их прямолинейность, но не изменили их существа — наджизненности, враждебности естественной стихии чувств.

Время во многом объяснило появление таких настроений, но объяснение — не оправдание. Насилие над присущими исконно человеку многообразием и свободой чувств не может быть оправдано. Сама живая жизнь бунтует против этого насилия, и бунт оказывается победным.

Драматический финал «Поэта» как бы окончательно ограничивает действие повести в рамках военных лет, но в последних строках ее рождается мотив движения («Неуклюже зашевелился, загрохотал фургонами, грянул паровозными гудками тяжелый штабарм и медленно выполз из Луганска, навсегда покидая засоренные бумажными обрывками дома, темные, памятные дни и неподвижные могилы»), — мотив, который «подключает» «Поэта» к последующим катаевским произведениям, и прежде всего к «Сердцу».

Время, запечатленное в повести «Поэт», вообще осталось в творчестве Катаева той «единицей отсчета», от которой ведется перечень лет, дней, событий в его произведениях о современности. Мечтами, принципами, рожденными в дни гражданской войны, поверяется у Катаева «сегодня».

Журавлев, герой «Сердца», — председатель правления кооператива, в главном — человек «той эпохи»; его жена, друзья — с времен гражданской, все его воспоминания опозитивированы романтикой тех лет.

Журавлев — руководитель большого дела и человек с нездоровым сердцем. Предельная погруженность в дело, увлеченность им и почти постоянная боль — напоминание о сердце — на этих двух полюсах держится характеристика психологического состояния героя. Но в этом противостоянии — дело — сердце — заключенной, более широкий смысл. Напоминание о сердце среди деловых забот — это напоми-

вание о сердце как человеческом богатстве, о целом мире личных чувств, скрытых в нем.

Соответственно двум идейным доминантам — в повести два стилевых слоя. Один — вещный, красочный, богатый интерьерьером, натюрмортами (описание универсама, завода-гиганта по производству продуктов), другой — отличает словесная зыбкость, изменчивость, соответствующая движению чувств Журавлева.

Ведущее настроение героя «Сердца» — нежность и пафос. Нежность к товарищам по работе («Все вы удивительно хороши»), пафос притяжения окружающего мира, как своего, родного, радостного: «А мне весело. Эге, какой солнечный день! Земля-то, она еще совсем молодая, хоть и притворяется старушкой. Ужасно, до смехоты молода!»

Но сразу вслед за этими пафосными признаниями — столкновение со старым товарищем, оказавшимся в другом лагере: сознание и чувства Журавлева теряют радостную однолинейность, путаются, раздваиваются. И хотя классовый подход побеждает, легкая ясность ушла.

Да, Журавлев не «кожаная куртка», не бездуховный политик, а живой человек, изменчивый, многогранный, — и в этом его привлекательность, значительность. Без сомнений самоанализа нет Журавлева.

Жизнь Журавлева в силу особых обстоятельств часто развивается в соответствии с аскетическими принципами Гулевича, это не только не приносит удовлетворения герою, но по-настоящему тревожит его: «Да, многие струи жизни текут, не касаясь меня. Правда, второстепенные, — все-таки я ведь в фарватере, и это не перестает восхищать. Но иногда вдруг взгрустнется, даже тоска кольнет, — о том, об утраченном: простые мечты, путешествия, влюбленность, музыка... Все реже вспыхивает эта тоска, забываю вспоминать. Уж не высыхаю ли я, не превращаюсь ли в убогий механизм? Надо все-таки встряхнуться».

Без этих мыслей, без напряженной жизни сердца Журавлев уподобился бы своему сыну — Юрке, с его безоглядно радостным притяжением мира, как мира своего и мира для себя. Сыновья «ясность» и «сухотка сердца», разграфленность его жизни пугают Журавлева... «Как же так, без одиночества, без сладчайшей тоски непричастности, без блуж-

даний по сырому весеннему полю?.. Или, может быть, это им не понадобится, прибавится много другого, чего у нас не было? Нет, напрасно это: пусть прибавится, но зачем же терять старые богатства и радости?»

Глубокую разницу между отцом и сыном обнаружило самоубийство жалкого соседа Журавлевых — бывшего хозяина квартиры, где они жили. Он повесился, испугавшись ходатайства о выселении, подписанного пионером Юркой.

Смерть соседа — последний и очень тяжкий удар по больному сердцу Журавлева; а в сущности, по его жизненным принципам и гуманным чувствам: «А мы... не должны губить человека, даже и скверного, только потому, что нам троим от него неловко».

Некоторым товарищам Журавлева непонятны его гнев и страдания: «Повесился какой-то жилец. Но для него-то, в сущности, какое же это горе?» Для Журавлева чувство хозяина страны накрепко сопряжено с ответственностью за каждого человека, живущего в ней. Его сердце полно сострадания, оно открыто чужому несчастью и боли. А есть люди, для которых чувства хозяина — прежде всего синоним права на все, что завоевано. К тому же равнодушные к боли других — верное средство сохранить в душе на каждый миг уверенность, душевный покой, чувство своей правоты.

Журавлев куда ранимее таких людей. Разрыв сердца, от которого умирает герой, — предельное выражение этой уязвимости. Сердце ведь источник и силы и слабости человека. Но разве уязвимость способна зачеркнуть то богатство, которым владеет Журавлев? «В нем есть... — как писал один из критиков — современников И. Катаева, — активный гуманизм борца, работающего над переделкой условий жизни так, чтоб они стали достойными человека, гуманизм революционера, носящего в себе уже сегодня элементы нравственности завтрашнего дня, освобожденной от внушений мелочной и жестокой морали классового общества с ее торгашеской «справедливостью», с ее культом вещи — гуманизм социалиста».

Товарищи погибшего Журавлева вспоминают о нем: ушел хороший, светлый человек, один из тех, на которых стоит мир.

Повесть «Молоко» на первых своих

страницах, как эстафету, подхватывает эту мысль «Сердца»: «Хорошие-то люди,— ну, ласковые там, честные, веселые,— без них действительно все может прахом пойти».

Подчеркивание этических качеств героев — катаевская полемика с чересчур прямолинейной однозначной аттестацией человека, характерной для мышления многих писателей, публицистов двадцатых годов. Эта полемика проясняет мотивировки событий, поступки героев в «Молоке».

Деревни Дулепово и Ручьево, где происходит действие рассказа, расположены и близко от Ленинградского шоссе (оно у И. Катаева — своего рода символ прямого стремительного движения эпохи), и в стороне от него. Там своя жизнь, свой ритм, свои устои «По шоссе взад-вперед автомобили шныряют, вдоль него фабрики гудят, мельница паровая пофыркивает, а два шага по-за гумнами — и лежат снежные целины, сияют под солнцем, и прясла по ним ковыляют голые до самого синего лосочка. Белизна, безлюдье, мороз румяный. Тишина».

Революционные преобразования, успешно и быстро утвердившиеся на Ленинградском шоссе, в деревне разветвлялись куда медленнее, встречая на своем пути неожиданные трудности, сложности.

Герой рассказа, молодой розовощекий уполномоченный по кооперации в деревне, прозванный Телочкой, сначала полон веры в моментальный успех своего дела: «Эх, думаю, дайте мне, товарищи, годик — один годик всего-навсего — и будут у меня в районе коллективные дворы утепленные». Но скоро он вынужден признать, что «счень грустный оборот получила в Ручьево светлая кооперативная идея». И причина таится в людях, идею воплощавших. Так вырастает в повести фигура центрального героя — рачительного хозяина Нилова. При первой встрече Телочка подпадает под очарование этой мощной фигуры: «патриарх семьи и мудрый философ, воплощенное движение и счастье жизни». Судя по последним словам, с Ниловым Телочка связывает серьезные социальные надежды. Фигура Нилова действительно значительна. И Катаев, как и К. Федин, создавший в повести «Трансвааль» (1926) образ Сваакера, не пренебрегает умной приспособляемостью героя. Но ниловская значительность — с отрицательным знаком. Нилов

не из тех хороших, честных, бескорыстных людей, на которых мир стоит. Он глубоко корыстен, на нем отпечаток той «страшной фальши, черствости безвыходной», которая так бросается в глаза в его случайном столкновении по ручьевскому кооперативу Мышечкине. Кулацкая природа Нилова выявляется в его человеческих качествах, обрекает его энергию, ум, волю на поражение, а его самого — на одиночество среди людей. Недаром на собрании, где вскрываются темные махинации ручьевских кооператоров и Нилов терпит крах, Телочка уловил в нем «что-то застывшее... гробовое, и седины поблескивают, как серебряный глазет».

Правда, окончательное поражение Нилова объяснено в повести еще одним обстоятельством. Перед самым голосованием («за» или «против» Нилова) мужики стали свидетелями несчастья с его сыном Костей, которого облил серной кислотой старик грузин, отец увезенной Костей красавицы. «Не уважает наш мужик несчастья, и к несчастному человеку у него никакого доверия нет. Вот, ежели ты силен, здоров и доволен,— почет тебе и вера. А чуть пошатнулся человек,— появляется к нему какое-то отвращение... И все это у них вполне искренно и даже бессознательно происходит... Так, я полагаю, и с Ниловым вышло. Какой же он для них доверенный, ежели он без шапки по морозу бегаешь?.. Разочаровались мужички».

Но оба эти объяснения не противоречат друг другу. Просто одно из них обращено к самому Нилову, обреченному на одиночество рядом социальных причин и собственных нравственных качеств. другое — к мужикам, действующим во многом полусознательно.

Интерес И. Катаева к человеку, миру его чувств включал в себя и выяснение особой психофизиологии крестьянства. В этих поисках Катаев смыкался со многими прозаиками второй половины двадцатых годов — Вс. Ивановым («Тайное тайных»), Л. Леоновым («Необыкновенные рассказы о мужиках»), К. Фединым («Мужики», «Утро в Вяжном», «Трансвааль»). Пафос их горячих, хотя во многом противоречивых поисков точно выразил К. Федин, говоря, что его в то время интересовала биологическая, скрытая сторона явлений. «сокровенность чувств хуторянина».

Пытаясь истолковать во многом непонятные, загадочные поступки мужиков, И. Катаев развивал глубже свой излюбленный мотив «сердца» — стихии чувств, увлекающих человека, сердца, влияние которого на поступки человека не менее действенно, чем диктат разума. Показав в конце «Молока» неожиданный поворот крестьянского настроения и объяснив его неоднозначно, И. Катаев предостерегал от прямолинейного догматического прогнозирования сложных процессов в деревне, внушал уважение к противоречивому потоку жизни.

И. Катаев показал в «Молоке» деревенскую жизнь на переломе и не хотел упрощать, выпрямлять, схематизировать это ее напряженное состояние. Певец движения, он видел жизнь в переливах видоизменений — она его не пугала и не ставила в тупик. Иное дело Телочка (вообще-то близкий автору персонаж) — его, в начале повествования так легко и просто решавшего все вопросы, сложность и пестрота потокастораживаает и даже пугает: «...разрасталась дума моя, пропуская сквозь себя всех виденных за вечер людей, во всем различии и схожести их. Боже ты мой! Как еще все смутно, растерто и слитно вокруг! Нигде не найдешь резких границ и точных линий... Не поймаеть ни конца, ни начала, — всё течет, переливается, плещет, и тонут в этом жадном потоке отдельные судьбы, заслуги и вины и влачит их поток в неизвестную даль. Не в этом ли вечном течении победа жизни? Должно быть, так. А все-таки страшновато и зябко на душе».

Мотив стыка двух эпох, осложнивших нравственный облик героев И. Катаева, как начальный аккорд звучит в первых строках повести «Ленинградское шоссе».

«Старик помер не вовремя, в канун Первого мая, в ночь на страстную субботу; два праздника, старый и новый, в этом году пришлось на один день». Савва Пантелеев лежал в собственном маленьком домишке на окраине Москвы, а «улица летела мимо дома, мимо гроба, купаясь в просторах светлого воздуха, настигающе звенела трамваями, шушала и погромычивала по асфальту. Ленинградское шоссе уносило в даль...».

Маленький домик («До чего же затенен, безвестен отеческий дом его, весь этот крохотный, дряхлеющий мирок, забытая

жизна на краю большой дороги») и широкое шоссе противостоят в повести друг другу как прошлое и сегодняшнее, старое и новое, что находит выражение в ненавязчивых замечаниях, как бы брошенных мыслью: «Желтый гроб переплывал шоссе наискосок, будто сопротивляясь течению».

Но противостояние «дома» и «шоссе» включает и крепкую органическую связь маленького человека и большой истории, отсталой окраины с центром прогресса. В основе связи — движение. Именно эта мысль образно запечатлена в последних строках «Ленинградского шоссе»: жизнь шоссе замирала на Красной площади. «Отсюда до четырехконного домишки с палисадником, до свежей песчаной горки над Саввой Пантелеевым было двадцать минут прямого, как струна, пути».

Смерть старика в осмыслении И. Катаева — знак окончательной смены поколений. Молодое пантелеевское племя отрянуло последние связи со старой эпохой, оно крепко и уверенно утвердилось в новом мире. Но тяжеловатая пантелеевская закраска не изжита в них. Смена эпох — не разрыв: трудовая озабоченность Саввы, материнская стойкость живут в молодом пантелеевском поколении. «Семейное сходство как бы реяло в воздухе, осаждаясь то на тембры голосов, то на движения бровей, то на близорукие прищурки. Особенно задерживалось оно где-то в очертаниях округлых щек и в особой нежности подбородков. Дуняша (жена Сергея Пантелеева, — Е. К.) и Костя (муж одной из сестер, — Е. К.) тоже не выглядели чужаками, будто стихия множественного пантелеевского тела начала перерабатывать и их на свой лад, ласково всбрав в себя и картовоприголубивая».

От «Сердца» к «Ленинградскому шоссе» и к другим вещам тридцатых годов («Хамовники») в творчестве И. Катаева нарастает чувство истории, мотив взаимосвязи эпох и поколений, преемственности и прогресса, сметающего старые формы жизни.

В «Ленинградском шоссе» собраны воедино и представлены на более широкой философской основе размышления И. Катаева над всегдашней его темой: человек в его особом нравственном состоянии, сформированном сложной переходной эпохой. «Сокровенное» в человеке, биение его чувства все сильнее притягивает Катаева. Поэтому естественна отчетливая «переключка» в существое характеристики, в са-

мых ее методах у Катаева с А. Платоновым, создавшим в конце двадцатых — начале тридцатых годов «Сокровенного человека», «Происхождение мастера», «Третьего сына».

«Третьему сыну» и «Ленинградскому шоссе» свойственно и единство сюжетного поворота: смерть отца (матери) — съезд детей, и самой художественной манеры, способной передать безотчетные сердечные движения человека, живущего больше инстинктом, чем сознанием. Иногда стиль Катаева даже структурно приближается к платоновскому: «Савва отошел во сне, в безмолвных бурях угрожающих сновидений; потрясенное сердце его на переломе ночи в последний раз слабо толкнуло кровь и застыло».

В прозе А. Платонова большую идейную нагрузку несут лейтмотивные слова-образы: вещество, сердце, природа и др. Катаевские сердце, движение, счастье, улыбка по своей идейной насыщенности приближаются к платоновским и определяют тональность и стиль его прозы.

А. Платонов в «Третьем сыне» и И. Катаев в «Ленинградском шоссе», представляя два поколения, сосредоточились на мелодом. Каковы эти молодые люди, отстоявшие завоевания революции, воплощающие ее идеалы в живой современной жизни? Открыты ли их сердца высоким чувствам, способны ли они сострадать чужим страданиям и достойно нести свои? — вот какое исследование предприняли художники. Итоги его оказались неоднозначными.

Да, дети выросли и уже успели прожить достойную жизнь. Вот один из сыновей старика Пантелеева («Ленинградское шоссе»), «Сергей Саввич, московский красногвардеец, комиссар роты связи, рабфактовец», ныне «молодой инженер и директор научно-исследовательского института». Интересной и интенсивной жизнью живут и у А. Платонова дети бедной замученной матери, которая «не вытерпела жить долго» и умерла вдали от своих детей («Третий сын»).

День и ночь после смерти родителей — проверка стойкости детей, но прежде всего сердечной чуткости, тонкости их душевной организации. Только тяжкое горе платоновского «третьего сына» заставляет других сыновей прочувствовать по-настоящему по-

терю. Сложнее ситуация в повести И. Катаева. За поминальным столом столкнулись все дети Пантелеева со старшим своим неудачливым братом Алексеем, которым завладела «темная пантелеевская первобытность», и его случайным единомышленником — дальним деревенским родственником Саввы. В осуждении неудачника брата и подозрении к чужаку дети во многом правы. Но в своей безоглядной, поспешной нетерпимости, легкой готовности всех и вся не только осудить морально, но чуть ли не арестовать, единство всех детей выглядит, особенно в момент поминок, способных размягнуть, утишить душу любого человека, — устрашающе. «Вы опять тут учить, командовать», — бросает Алексей своим сестрам и брату. Мягкую терпимость родных они действительно слишком поспешно сменили на позицию судей — это сразу почувствовал Алексей, и его «повело». При всех своих достоинствах (жизнеспособности, целеустремленности, оптимизме), молодые Пантелеевы не смогли выдержать экзамен на отзывчивость доброго сердца. И автор требователен в своих претензиях к молодым.

В книгу «Под чистыми звездами» включены также избранные очерки И. Катаева («На краю света», «Отечество», «Третий пролет», «Бессмертие»), в момент публикации горячо встреченные читателями. Но прошедшие десятилетия подтвердили, на мой взгляд, справедливость их оценки А. Лежневым: «...очерки Катаева недостаточно публицистичны и недостаточно интимны. Его интонация, всегда правдивая, несколько торжественна. В ней не все можно высказать. Живое разнообразие мысли, возникающей на глазах у читателя, высекаемой каждый раз, как искра, от удара о действительность, требует большей свободы и легкости... Но то, что мешало Катаеву-очеркисту, составляет, пожалуй, сильную сторону Катаева-повествователя».

Сегодня в книге Катаева очерки интересны: как доказательство интенсивного и смелого исследования писателем движущейся современности тридцатых годов, но рядом с его повестями они кажутся свидетельством куда более частным.

Иван Катаев, как известно, входил в группу «Перевал», принимал активное участие в литературной борьбе конца двадца-

тых — начала тридцатых годов. Естественно, что критическая полемика «Перевала» с ЛЕФом и РАППом отразилась на оценке его произведений. И в течение многих лет инерция рапповских обвинений тяготела над литературной репутацией И. Катаева. Издание в 1957 году «Избранного» И. Катаева с предисловием В. Гоффеншефера, вывавшего бурную полемику в нашей критике, ясно показало, что возврат к старым рапповским оценкам ярких и спорных

произведений Катаева бесперспективен. «Избранное» открыло современным поколениям несправедливо забытого писателя. Выпуск новой книги И. Катаева (ей предпослана интересная вступительная статья Е. Стариковой), безусловно, обогатит в сознании читателей историю советской литературы, познакомит их с талантливым художником, все творчество которого озарено чистыми звездами правды и человечности.





А. ВОЛОДИН

★

## РАСКОЛЬНИКОВ И КАРАКОЗОВ

(К творческой истории статьи Д. Писарева «Борьба за жизнь»)

**Н**е так давно минуло сто лет со дня гибели Дмитрия Ивановича Писарева.

Неожиданной и загадочной была эта смерть. Его не стало, когда ему не исполнилось еще и двадцати восьми. Поговаривали даже, что он покончил с собой.

Писарев утонул. Он любил плавать — и всю жизнь боялся утонуть. И тонул же однажды. Первый раз — мальчишкой, в реке, близ родительского имения. Уже будучи петербургским студентом, шел как-то по замерзшей Неве, вдруг провалился и оказался по горло в воде... Когда его посадили в крепость, он в письмах к матери утешал ее тем, что тюрьма поневоле страхует его от несчастных неожиданностей: во всяком случае от опасности утонуть он тут огражден. Не прошло и двух лет после выхода из заключения — и вот во время купания в Дуббельне Писарев утонул. «От удара», — первоначально сообщили газеты. «От судорог в ногах», — свидетельствовал Ф. Ф. Павленков, ссылаясь на мнение доктора Капелляра.

Охранка боялась — и не без основания, — как бы похороны Писарева не переросли в антиправительственную демонстрацию: подобное не раз бывало в истории России. По донесению одного из агентов секретной службы, за гробом Писарева — по пути его следования из церкви петербургской Марининской больницы на Волково кладбище — «шествовал весь нигилистический синклит, — можно сказать, что гроб изменил даже свою форму и походил скорей на пирамиду, усеянную цветками».

«Преждевременная гибель мыслящих людей на Руси — дело не новое... но всякий

новый случай, подтверждающий горькое наблюдение о неживучести талантливых людей в нашем отечестве, наводит всякий раз, помимо сожалений о новом погибшем, на всех понимающих людей — скорбные и печальные размышления...» — так заканчивался некролог в «Отечественных записках».

В другом демократическом журнале — «Дело» — в обзоре «С неевского берега» Г. Е. Благовестлов так рассказывал о похоронах Писарева:

«...Рядом с могилой Добролюбова свинцовый гроб был опущен в землю. На его крышку посыпались цветы. Долго длилось над могилой то глубокое молчание, которое подчас бывает красноречивее всяких слез».

Наконец оно было прервано. Было сказано четыре коротких слова. На всех произвела сильное впечатление последняя речь писателя, бывшего когда-то в самых дружеских отношениях с покойным Дмитрием Ивановичем<sup>1</sup>. Его речь вовсе не отличалась холодным блеском приготовившегося оратора, но была искренним, задушевным словом, криком горькой печали...

На многих глазах навернулись слезы... Многие дамы громко рыдали. Плакал даже полицейский чиновник!..

Совершенно другого рода впечатление произвели на публику речи двух господ, заспоривших друг с другом над могилой Писарева и бросивших один в другого полемические копы о литературном значении покойника и о том, много или мало нужно говорить у его гроба. Прения эти по своему фельетонному характеру были совершенно

<sup>1</sup> Речь идет о Д. Гирсе, поплатившемся за эту речь ссылкой в Вологду.

неуместны, и на многих лицах выразилось полнейшее недоумение и досада».

Итак, гроб Писарева еще не был засыпан землей, как уже начались споры: выступая над еще раскрытой могилой, П. А. Гайдебуров обвинил Ф. Ф. Павленкова в непонимании истинной роли критика. В этом неуместном, несвоевременном столкновении — как бы завязка долгих, вот уже столетних, дискуссий о сущности писаревского творчества, о значении его для русской литературы и культуры и даже о личных качествах этого — такого юного — «отца нигилизма» на Руси.

Разное говорили о Писареве-человеке. Одни запомнили его счастливым, другие — грустным, мрачным, удрученным. Одни указывали на честолубие, другие считали его образцом скромности, «бескорыстным, деликатным до изящества в отношениях с другими людьми». Одним он казался заносчивым, гордым, даже нетерпимым, другим — чересчур застенчивым. «Писарев совершенно стухевывался в многолюдной толпе...» — писал Н. В. Шелгунов.

Не менее разнородными были и оценки творчества Писарева. Написал он за свою короткую жизнь немало, но, пожалуй, больше всего шуму произвели его статьи о Пушкине, и у многих так и отложилось в памяти: «А-а! Писарев... Это который Пушкина ниспровергал...» Во всем остальном, что касается мировоззрения и творчества Писарева, никакого согласия никогда не было. Революционер! — Нет, либеральный реформатор. — Социалист! — Нет, идеолог «культурного капитализма». — Блестящий мыслитель! — Нет, грубый эмпирик, противник теоретических мудрствований...

Все эти разноречивые отзывы легко можно обнаружить в литературе о Писареве. Много в них — от того, каким хотел бы видеть Писарева тот или иной автор. Но, безусловно, самая глубокая основа этой разноголосицы — в действительной сложности, внутренней противоречивости его творчества.

Писарев был прежде всего публицистом. Его мысль постоянно находилась в движении, определяемом развитием самой общественной жизни шестидесятых годов. А то время было на редкость не простым. Не говоря уже о событиях в Западной Европе и Северной Америке, отметим: в русском обществе совершался сдвиг к капитализму, а осуществлялся он под феодально-самодер-

жавной оболочкой. Это противоречие находило чрезвычайно сложное отражение в острой борьбе социально-политических идей, в духовном творчестве каждого политического писателя той эпохи, к какому бы направлению он ни принадлежал. Этой сложностью отличалось и содержание работ Писарева, в том числе и тех, которые он создал незадолго до своей трагической гибели.

Последний период творчества Писарева — после выхода 18 ноября 1866 года из Петропавловской крепости (по амнистии в связи с бракосочетанием цесаревича) — отмечен рядом первоклассных статей. Правда, стиль Писарева уже не так ярок, его статьи не столь дерзки и задиристы, как прежде. Отражая этот факт, в литературоведении появилась фраза об «утомлении мысли» Писарева последних лет жизни. Однако в действительности речь должна идти совсем о другом — скорее о сосредоточении, углублении мысли критика, вступившего, несомненно, в какой-то новый, более высокий этап своей духовной эволюции.

Характерной чертой этого этапа было все более внимательное всматривание в противоречивость исторического прогресса. В размышлении над этой проблемой Писарев особое внимание уделяет теме революции, ее причин и результатов, ее исторического смысла.

Эти поиски мысли Писарева отчетливо видны в его статье «Генрих Гейне» (1867), в которой была дана одна из основополагающих формул социально-политического кредо мыслителя: «В жизни народов революции занимают то место, которое занимает в жизни отдельного человека вынужденное убийство. Если вам придется защищать вашу жизнь, вашу честь, жизнь или честь вашей матери, сестры или жены, то может случиться, что вы убьете нападающего на вас негодяя... То же самое можно сказать и о насильственных переворотах, которые, кроме того, можно также сравнить с оборонительными войнами. Каждый переворот и каждая война, сами по себе, всегда наносят народу вред как материальный, так и нравственный. Но если война или переворот вызваны настоятельной необходимостью, то вред, наносимый ими, ничтожен в сравнении с тем вредом, от которого они спасают».

В статье «Образованная толпа» (1867) Писарев обращается к всегда занимавшей его проблеме различия между стихийным

протестом против социальных несправедливостей и осмысленным действием настоящего борца, восстающего против условий, мешающих людям «дышать свободно»: «Бессмысленный протест всегда вреден, потому что он своей бессмысленностью подравняет в массе окружающих людей уважение к той верной и святой идее, во имя которой он совершается». «Чтобы быть успешным, протест должен быть глубоко обдуман и приновлен самым искусным образом к существующим обстоятельствам места и времени».

Последней при жизни критика была напечатана статья «Французский крестьянин в 1789 году». Н. Курочкин тогда же с полным основанием назвал ее одним из самых замечательных произведений Писарева. Призывая читателя взглянуть в «ту таинственную лабораторию», где вырабатывается «великий глас народа, который действительно, рано или поздно, всегда оказывается гласом Божиим, то есть определяет своим громко произнесенным приговором течение исторических событий», Писарев подверг здесь специальному анализу вопрос о том, каким образом может быть осуществлено «политическое пробуждение» трудовых крестьянских низов.

Писаревское понимание революции нашло свое отражение и в других статьях 1866—1868 годов. Однако едва ли не самое большее внимание этой проблеме Писарев уделил в статье «Борьба за жизнь».

Статья посвящена разбору романа Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание». По свидетельству матери критика В. Д. Писаревой, этот роман произвел на него огромное впечатление. «В 66-м году, по выходе его из крепости,— писала она после смерти сына Ф. М. Достоевскому,— мы читали вместе «Преступление и наказание», но как нервы его были потрясены переходом в жизнь из гроба... то чтение было по совету доктора приостановлено, потому что слишком волновало его. После, когда холодная ванна укрепила его нервы, мы докончили роман... Вообще его приводил в восторг Ваш талант в практическом анализе всего перечувствованного честным преступником, его борьбы!»

Судьба статьи сложилась не слишком счастливо. Судя по всему, она была написана в 1867 году, когда вышло отдельное издание романа. Первая часть статьи под названием «Будничные стороны жизни» бы-

ла напечатана в журнале «Дело» в 1867 году (№ 5). В конце года Писарев сообщил М. А. Марко-Вовчок, что в редакции этого журнала находится окончание статьи о «Преступлении и наказании». Но тогда оно по ряду причин в печати так и не появилось.

И вот посмертно, как последний завет Писарева, в том самом номере «Дела», где Благовестлов сетовал по поводу нелепого спора над могилой своего бывшего сотрудника, было напечатано окончание писаревской статьи под названием «Борьба за существование».

Правда, некоторые важные пункты этого завета по вине цензуры остались тогда неизвестными читателю. Большие вымарки коснулись самых существенных мест. Лишь позже, в 1868 году, когда Павленков перепечатал в 9-й части «Сочинений» Писарева его разбор романа Достоевского полностью и под названием, данным самим автором — «Борьба за жизнь», — мысли Писарева предстали перед читателем в своем истинном виде.

В писаревском анализе романа Достоевского были как свои сильные (особенно по сравнению с другими демократическими критиками той поры), так и слабые стороны. Быть может, самым слабым местом «Борьбы за жизнь» было истолкование драмы Раскольникова как драмы житейской: «корень» преступления Раскольникова критик склонен был видеть едва ли не целиком в тяжелых условиях жизни бедного разночница, «совершенно задавленного обстоятельствами». Оставляя за пределами своего анализа философскую проблематику романа, Писарев обращался с ним как с произведением, главным интерес которого состоит в воспроизведении определенного пласта жизни. Он заявлял, что ему нет дела ни до личных убеждений автора, ни до общего направления его деятельности, ни до тех мыслей, которые автор старался провести в своем произведении: «Я обращаю внимание только на те явления общественной жизни, которые изображены в его романе...»

Такой подход к содержанию романа объяснялся не только публицистической заостренностью всего творчества Писарева, но и в последнюю очередь и тем, что проблема «преступления и наказания» решалась им во многом не так, как решал ее Достоевский.

А проблема эта была актуальной. Во второй половине шестидесятых годов она властно занимала умы.

## I

Четвертого апреля 1866 года случилось событие, которое потрясло тогда всю Россию: бывший студент, тезка и ровесник Писарева (также родился в октябре 1840 года), высокий угрюмый человек Дмитрий Владимирович Каракозов совершил покушение на царя.

Покушение не удалось. Как сообщалось на следующее утро в газетах, «провидение бодрствовало над драгоценною жизнью»: случайность спасла Александра II. Однако выстрел 4 апреля открыто сказал всему миру о неприятии демократической русской молодежи деятельности царя-реформатора, царя-«освободителя». Каракозовский выстрел во всеулышание заявил русскому обществу, что есть в его среде люди, во имя интересов народа готовые пожертвовать собственной жизнью. Первый среди русских революционеров поднявший руку на царя, Каракозов вошел в историю русского освободительного движения наряду с такими бесстрашными народными заступниками, как В. Засулич, С. Кравчинский, С. Перовская, А. Желябов, А. Ульянов.

Однако это была лишь одна сторона дела. Другая состояла в том, что объективно выстрел Каракозова сыграл во многом отрицательную роль.

Покушение не было понято народом. «Счастье их, что Каракозову не удалось убить государя, а то бы мы напрудили Фонтанку дворянской кровью» — так поговаривали в Петербурге представители «низших» классов; в Каракозове они видели агента дворянской партии, подосланного, чтоб отомстить Александру II за уничтожение крепостного права. И пусть версия о том, что крестьянин Комиссаров помешал Каракозову попасть в царя, является всего-навсего одним из антинигилистических мифов, — совсем не мифичны проникнутое горьким чувством реальности слова Каракозова, обращенные к схватившим его — нет, не к жандармам, а к таким же, как Каракозов, людям из толпы: «Дурачье! Ведь я для вас же, а вы не понимаете!..» После 4 апреля 1866 года авторитет Александра II как «крестьянского заступника» вырос еще больше.

Реакционные силы использовали событие 4 апреля для того, чтобы отобразить сделанные недавно и без того незначительные политические уступки, заглушить радикальное движение. С. М. Степняк-Кравчинский свидетельствовал в «Подпольной России», что после выстрела Каракозова «бешенство реакции удвоилось. В несколько месяцев было уничтожено все, что еще носило на себе печать либерализма первых лет царствования. Это была истинная вакханалия реакции». «Месть не удалась, но предлог был дан и схвачен с дикой радостью, реакция была оправдана, царские пугатели были оправданы», — писал Герцен.

Не ограничивая себя задачей выявления непосредственных участников покушения, председатель особой следственной комиссии Муравьев стремился, по его собственным словам, «обнаружить зло в самом корне и принять меры для окончательного подавления противоправительственного направления». Были произведены многочисленные обыски у лиц «сомнительной благонадежности», брошены в тюрьмы многие из тех, кто лишь подозревался в «политическом свободомыслии». Чуть ли не поголовно Муравьев арестовывал членов разного рода просветительских кружков, издательских артелей, воскресных школ и г. д.

В напечатанной Герценом в «Колоколе» статье Н. А. Вормса «Белый террор» рассказывалось: «Ночью, с восьмого на девятое апреля, начинается период поголовного хватания... Брали всех и каждого, кто только был оговорен, чье имя было произнесено на допросе кем-нибудь из взятых или найдено в захваченной переписке. Брали чиновников и офицеров, учителей и учеников, студентов и юнкеров, брали женщин и девочек, нянюшек и мамушек, мировых посредников и мужиков, князей и мещан; допрашивали детей и дворников, прислугу и хозяев; брали в Москве, брали в Петербурге, брали в уездных городах, в отдаленных губерниях; брали в селах и деревнях, брали в посадах и местечках; брали, брали и брали по такой обширной программе, что никто и нигде не чувствовал себя безопасным, кроме членов комиссии и сотрудников «Московских ведомостей»<sup>1</sup>.

И как обрадовался Муравьев, узнав, что Каракозов учился в той самой саратовской

<sup>1</sup> Газета, издававшаяся известным реакционером М. Н. Катковым.

гимназии, в которой в свое время преподавал Чернышевский!.. Забрехала мечта о потрясающем повторном судилище над вождем русской демократии, уже находившимся в ссылке. Но оказалось, что в те годы, когда Чернышевский вел преподавательскую деятельность в Саратове, Каракозов мог быть только в первом классе, а там будущий руководитель «Современника» занят не вел. Привлечь его к делу не удалось.

Обстановка, в которой жила тогда русская интеллигенция, ярко передана в воспоминаниях Г. З. Елисеева. «Я был арестован и отвезен в крепость 28 или 29 апреля,— пишет он.— Но самым злополучным временем было не то, когда меня посадили в крепость,— напротив, по заключении в крепость я значительно успокоился,— а время, проведенное от 4 апреля до 29 апреля в тревожном, ежедневном, ежечасном ожидании обыска и ареста, которое не давало покоя ни днем, ни ночью. Тот, кто не жил тогда в Петербурге и не принадлежал тогда к литературным кругам или, по крайней мере, не был к ним так или иначе прикосновенен, не может представить той паники, которая здесь происходила. Всякий литератор, не принадлежавший к направлению Каткова,— а не принадлежала к этому направлению вся тогдашняя литература,— считал себя обреченною жертвою. Так, все были убеждены, что граф Муравьев держится вполне взглядов Каткова и следует его указаниям... Каждый день и всегда почти утром приносили известие: сегодня ночью взяли такого-то и такого-то литератора, на другое утро опять взяли таких-то и таких-то и т. д. Всеми этими слухами, черепашанно возрастающим тревожным состоянием, бессонными ночами я до того был энервирован, так близок был к полной прострации, что подумывал идти сам просить, чтоб меня заключили в крепость»...

О характере событий, следовавших вслед за выстрелом Каракозова, свидетельствовала и напечатанная тогда же в «Коллекле» статья «Каракозов, царь и публика», доставленная из России: «...Петербург, за ним Москва, а до некоторой степени и вся Россия находятся чуть не на военном положении; аресты, обыски и пытки идут беспрерывно; никто не уверен в том, что он завтра не попадет под страшный Муравьевский суд за какое-нибудь слово, сказанное много лет тому назад, или даже просто

за знакомство с кем-нибудь из арестованных; правительство окончательно сбросило с себя и последние дырявые остатки либеральной мантии; обскуранты взяли царя решительно под свою опеку; невыносимо тяжелая, душная николаевская атмосфера охватила собою всю святую Русь; печаль придушена до нелепости, а в перспективе виднеется еще худшее...» Далее корреспондент сообщал, что ретрограды «Московских ведомостей» и «Вестей» нападают на власти за их «либерализм», за то, что Чернышевскому было дозволено писать в тюрьме роман, укоряют правительство «за недостаточность шпионства, за слабость цензуры» и всеми силами стараются «сделать солидарными с Каракозовым всех нигилистов, включая сюда всех сколько-нибудь свободно мыслящих, всех неретроградов».

Хотя большинство арестованных было в конце концов выпущено, не оправдав надежд Муравьева, урон, нанесенный освободительному движению, был огромен. «Горестное событие, совершившееся 4 апреля», было расценено Муравьевым как «последствие полного нравственного разврата нашего молодого поколения». Отсюда следовал призыв к усилению власти во всех областях общественной жизни и прежде всего в области духовного, нравственного воспитания молодежи: оно должно быть направляемо «в духе истины религии, уважения к правам собственности и соблюдения коренных начал общественного порядка».

Эти идеи легли в основу царского рескрипта от 13 мая 1866 года, знаменовавшего поворотный пункт в политической тактике царизма, переход к системе реакционных мер, опирающихся к тому же на сочувствие «народа». Правительство вводит особые правила, чтобы окончательно обуздать студенчество (запрещение студенческих кружков, землячеств, касс взаимопомощи и т. п., сокращение количества студентов, особенно вольнослушателей, в университетах, вменение в обязанность учебному начальству и полиции информировать друг друга о нравственной и политической благонадежности студентов и т. п.). Усиливается власть губернаторов; им подчиняются относительно самостоятельные ранее органы местного самоуправления. Окончательно закрываются «Современник» и «Русское слово»: на следствии было установлено, что они имели большое влияние на «злоумышленников»...

Смелый, героический поступок Каракозо-

ва нанес большой вред русскому освободительному движению и вот еще в каком отношении: явившись первым серьезным делом после стольких разящих и «свистящих» слов, он как бы говорил—вот смотрите, вот что на самом деле выливается «нигилизм», куда в действительности растет проповедь отрицателей.

Еще личность стрелявшего не была опознана, еще во множестве рождались разные легенды (одни утверждали, что Каракозов поляк,—версия Каткова; другие—что он мстящий царю за реформу дворянин-помещик; третьи называли его шпионом, подсланным Наполеоном III), а уже возникла и начала укореняться в общественном сознании мысль об органической связи покушения с деятельностью нигилистов. 9 апреля (а только 13-го стало известно, кто покушавшийся) А. В. Никитенко заносит в дневник: «Я все продолжаю думать, что это орудие нашего нигилизма в связи с международным революционным движением. Тут очевидна цель произвести в России сумятицу, а там, дескать, пусть будет, что будет». И на следующий день: «Злодеяние, которое чуть было не облекло в траур всю Россию, заставляет призадуматься философа—заблюдателя нашего современного умственного и нравственного состояния. Тут видно, как глубоко проник умственный разврат в среду нашего общества. Чудовищное преступление на жизнь государя несомненно зародилось и созрело в гнезде нигилизма... Какая ужасающая, чудовищная дерзость делать себя опекунами человечества и распорядиться судьбами его без всякого иного призвания, кроме самолюбия своего».

В одном из первых сообщений следственной комиссии Муравьева говорилось, что Каракозов—человек «болезненного настроения», страдавший «припадками меланхолии и ипохондрии» и склонявшийся к мысли о самоубийстве, «вместе с тем... развивал идеи самого крайнего социализма».

Тезис «каракозовщина—практический нигилизм» составляет сущность антиреволюционной пропаганды того времени, которую разъяренно ведут многочисленные соратники и единомышленники Каткова.

В шестидесятые годы эта идея получила распространение и в широком общественном мнении, поэтому на ней следует несколько задержаться.

Представлять дело таким образом, будто выстрел Каракозова вообще не имел никакой связи с революционно-демократической идеологией шестидесятых годов, было бы неверным. Герцен явно ошибался, когда полагал, что поступок Каракозова—это акт мести одиночки-фанатика, за действия которого русский революционный лагерь в целом не может нести никакой ответственности. На самом деле каракозовское покушение на Александра II было в известной мере логическим следствием той антиправительственной пропаганды, которая и тайно и явно велась на протяжении всего пореформенного пятилетия.

По свидетельству современника, первыми словами, сказанными Каракозовым царю, были: «Ваше величество, вы обидели крестьян!» По другой версии на вопрос Александра: «Почему же ты стрелял в меня?»—он ответил: «Потому что ты обманул народ—обещал ему землю, да не дал». Если эти сведения достоверны, перед нами сказано лишь повторение того, что было сказано Каракозовым в его воззвании «Друзьям-рабочим», написанном незадолго до покушения. Убийство царя-злодея представлялось там в качестве единственного выхода из того безнадежного положения, в котором оказались крестьяне. Ловко обманул их царь: «отрезался от помещичьих владений самый малый кус земли, да и за то крестьянин должен выплатить большие деньги; а где взять и без того разоренному мужику денег, чтобы выкупить себе землю, которую он испокон века обрабатывал?» Крестьяне бунтовать стали—да толку-то что? «...Царь послал своих генералов с войсками для наказания ослушников, и стали генералы вешать крестьян да расстреливать... Присмирели мужички, приняли эту волю-неволю, и стало их житьишко хуже прежнего...»

Во всем этом нельзя не увидеть восприимчивости известных положений руководителей русской демократии. «Государь обманул ожидание народа—дал ему волю не настоящую, не ту, о которой народ мечтал и какая ему нужна»,—говорилось в прокламации «К молодому поколению» (осень 1861 года). Идея об обмане народа царем проповедовалась и на страницах вольного «Колокола». «Народ царем обманут»,—заявлял Огарев. В подцензурных журналах «Современник» и «Русское слово» в завуалированной форме преподносились те же

идеи. Отсюда следовал естественный вывод — о необходимости ликвидации самодержавия. При определенных условиях он мог быть понят и истолкован как идея царевубийства, физического уничтожения государства.

Каракозов конкретизировал этот вывод именно так. «Удастся мне мой замысел,— писал он в том же воззвании,— я умру с мыслью, что смертью своею принес пользу дорогому моему другу — русскому мужику. А не удастся, так все же я верую, что найдутся люди, которые пойдут по моему пути. Мне не удалось — им удастся. Для них смерть моя будет примером и вдохновит их».

Ишутинцы — члены кружка, к которому принадлежал Каракозов,— считали себя последователями Чернышевского<sup>1</sup>. Идеиная связь кружка с Чернышевским была отмечена и в приговоре по каракозовскому делу: «Роман «Что делать?» имел на многих подсудимых самое губительное влияние, возбуждая в них нелепые противоречивые идеи». Действительно, эту книгу ишутинцы рассматривали как подлинный учебник жизни. Они отстаивали — теоретически и практически — аскетизм быта. И состоятельный П. Ермолов расхаживал в крестьянском полубубке, а А. Никольский спал на голом полу. Л. Оболенский писал, что ишутинцы подражали Рахметову, вели аскетический образ жизни. П. Николаев говорил о более кровном родстве: «Сближение с мзстеровыми, странствование по разным кабакам и притонам, суровая дисциплина в личной жизни, плавание на волжских пароходах Ишутина и Каракозова в качестве водоливов были до значительной степени навеяны Рахметовым. Эти двое, каждый некоторыми отдельными черточками, безусловно напоминали Рахметова. Каракозов был очень похож на Никитушку Ломова».

Из учения Чернышевского ишутинцы взяли идею создания ассоциаций, артельных товариществ, мысль о необходимости передачи земли крестьянам, отрицательное отношение к политическому реформизму. Это давало право П. Николаеву писать в своих позднейших воспоминаниях, что члены ишу-

тинской «Организации» могут считаться непосредственными учениками и последователями Чернышевского.

Но дело в том, что они были не всегда хорошими учениками и не во всем верными последователями. Из идей своего учителя они взяли то, что лежало на поверхности, да и это нередко толковали весьма упрощенно, вульгарно, а иногда и просто неверно. В частности, их революционный утилитаризм принимал подчас довольно грубую форму. И. Худяков, к примеру, решая для себя вопрос о браке, придавал большое значение тому, что его будущая жена, став театральной певицей, «излишек своих доходов будет отдавать на общественные нужды». Старавшийся, по-видимому, походить на Рахметова Ишутин — его в «Организации» часто величали «генералом» — нарочно окружал себя таинственностью заговорушика («сейчас только от дела», «сейчас бегу на свидание с одним человеком»), лишь бы придать побольше значения своим словам и поступкам.

Ишутинцы считали вполне согласующимися с принципами Чернышевского не только идеи строжайшей конспирации (организация кружков ведется в строжайшей тайне) и централизации (общество имеет право распоряжаться членами, как ему угодно, и все члены обязаны беспрекословно выполнять приказания своих руководителей), но и допущение любых средств, ведущих к достижению намеченной цели.

Один из ишутинцев — Д. Иванов — показывал на суде, что в уставе кружка говорилось: «Общество должно действовать не только путем устной пропаганды, но не обращать внимания и на средства для достижения цели — потреблять и нож». «Говорилось только,— заявлял и П. Ермолов,— что все средства дозволены, что кинжал и яд могут быть так же употреблены, как и другие...»

Среди ишутинцев обсуждались даже такие предложения: устроить почталыоню, чтобы ограбить почту, или с той же целью поступить на службу к богатому купцу; В. Федосеев брался даже отравить собственного отца, чтобы, унаследовав вместе с братом его имение, передать вырученные за него деньги «Организации». Правда, кое-кто из участников кружка протестовал против девиза «все средства хороши», в особенности часто повторявшегося Ишутиным. Однако значительная часть «Организации» счи-

<sup>1</sup> Впрочем, на допросе в следственной комиссии В. Н. Шаганов показал, что не только «Современник», но и «Русское слово» читалось и обсуждалось в кружке ишутинцев. С кружком Ишутина был связан ближайший соратник Писарева — В. А. Зайцев.

тала, очевидно, допустимым в борьбе любые средства. Не удивительно, что именно в этой обстановке оформился замысел Каракозова.

Так — далеко не адекватно — совершался перевод идей Чернышевского, идей революционной демократии, в революционное «дело».

Если мы захотим понять, почему этот перевод не был адекватным, мы должны будем принять во внимание одну из важнейших особенностей движения теории, заключающуюся в несовпадении двух различных форм существования одной и той же идеологии, — так, как она разрабатывается вождями и теоретиками движения, и так, как она понимается массой их последователей, рядовыми, практическими деятелями. Даже относительно научного социализма подмечена была В. И. Лениным та закономерность, что при его распространении вширь уровень его несколько понижается. В статье «О некоторых особенностях исторического развития марксизма», касаясь вопроса о причинах неверного понимания марксистской теории в период столыпинской реакции, В. И. Ленин писал, например: «Чрезвычайно широкие слои тех классов, которые не могут миновать марксизма при формулировке своих задач, усвоили себе марксизм в предыдущую эпоху крайне односторонне, уродливо, затвердив те или иные «лозунги», те или иные ответы на тактические вопросы и не поняв марксистских критериев этих ответов»<sup>1</sup>.

Что же говорить о том, какой характер могли получить идеи Чернышевского, Добролюбова, Писарева (искаженные к тому же прессом жесткой цензуры) при их распространении среди более или менее значительных кругов разночинцев, еще не созревших для понимания этих идей в их подлинном и полном смысле?

Разночинец — самый типичный, самый массовый представитель радикального направления в России шестидесятых годов — принадлежал к социальному слою, который обладал характерными качествами, обуславливавшими известную прямолинейность мышления и действия. Будущее этого слоя было скрыто в тумане, в прошлом же он не видел ничего святого, ибо в значительной степени был разочарован реальными резуль-

татами дворянской культуры. В условиях, когда стремление молодых разночинских сил революционной демократии к разумному преобразованию общества на демократических основах не могло получить своего свободного выражения из-за непомерного гнета государственной власти, единственно реальной сферой деятельности для демократически настроенных разночинцев оставалась резкая и решительная расчистка поля для последующей созидательной работы, расшатывание коренных устоев существующего общества. Вот почему цельная, хотя объективно и противоречивая идеология революционной демократии то и дело оборачивалась в жизни, в быту, в практике борьбы односторонним нигилизмом.

Таким образом, идеология вождей революционной демократии шестидесятых годов и массовое сознание разночинцев-шестидесятников — далеко не одно и то же. Между ними есть различие, обнаруживающее определенный спад, снижение, деформацию теории, когда она становится лозунгом, программой непосредственного практического движения. При этом снижении обычно руководством к действию берется наиболее прямолинейное и поверхностное из идей теоретика. Так и получилось, например, что, оставив без внимания заключенное в романе Чернышевского «Что делать?» предупреждение о трудностях революционной борьбы, о трагической судьбе «необыкновенных людей», ишутинцы по преимуществу выделяли в качестве руководства к действию идею революционного утилитаризма, воплощенную в Рахметове.

Что же касается Писарева, то многие его выступления тем более могли служить опорой для прямолинейно-практических выводов: здесь и вульгарно-материалистические положения, и лозунг «разрушения эстетики», и страстный юношеский призыв, содержащийся в статье «Схоластика XIX века»: «Бей направо и налево»...

Но это были крайности, «закрайны» творчества Писарева, причем ощущаемые им самим. Писарев сознавал незрелость, ограниченный узкий характер современного ему нигилизма. «Эта незрелость, — писал он в статье «Московские мыслители» (1862), — составляет существующий факт, но в существовании этого факта не виноваты наши писатели. Все мы воспитывались в душной среде, в узких понятиях, под влиянием мертвающих предрассудков; все мы, становясь на

<sup>1</sup> В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 20, стр. 88.



свои ноги, принуждены были разрывать связь с нашим прошедшим, переделывать сверху донизу весь строй наших понятий, выкуривать из нашего мозга ту нелепую де-монологию, которая заменяла нам в детстве трезвые понятия о мире, о природе и человеке...»

Уже в статьях начала шестидесятых годов критик не раз демонстрировал свое понимание сложности, противоречивости общественного процесса: «Сильно развитая любовь ведет к фанатизму, а сильный фанатизм есть безумие, мономания, *idée fixe*; но, с другой стороны, отсутствие любви приводит к скептицизму, а скептицизм, проведенный в жизнь с неумолимою логическою последовательностью, называется систематическою подлостью. И вот между безднью безумия, с одной стороны, и бездною подлости, с другой стороны, должен пробираться порядочный человек, балансируя на узкой тропинке, которая часто становится до такой степени узкою, что приходится только выбирать, куда свалиться...»

Понимая, что «переделать отношения, затвердевшие от десятивековой исторической жизни, и переделать их тогда, когда еще очень немногие начали сознавать их неудобства,— это, воля ваша, мудрено», осознавая ответственность, которую берут на себя люди, претендующие на роль «необыкновенных» («Когда берешься устраивать чужую жизнь, надо взвесить свои силы; кто этого не умеет или не хочет сделать, тот опасен, как слабоумный или как эксплуататор»), критик резко выступал против всякого рода авантюризма: «Действия на авось не имеют ничего общего ни с мужеством героя, ни с сознательным риском смелого спекулятора; в них просто выражается неумение и нежелание додумать до конца, неспособность ума к сложным выкладкам и лень мысли, ведущая за собою необходимость оставлять в тумане те следствия, которыми непременно должен закончиться данный поступок»,— так писал он еще в 1863 году.

За год до этого, приветствуя появление в литературе нигилиста Базарова, сочувствуя ему, видя в нем воплощение лучших черт молодежи своего поколения, Писарев одновременно вовсе не закрывал глаза на те недостатки и слабости, которые были присущи реальному Базаровым. Апологетом базаровщины — вопреки распространенному мнению — он не был. Писаревский идеал совпадал с Базаровым лишь отчасти.

В самом начале своей статьи о Базарове Писарев утверждал, что «идеи и стремления, шевелящиеся в нашем молодом поколении», проявляются, «как все живое, в самых разнообразных формах, редко привлекательных, часто оригинальных, иногда уродливых». «Теперешние молодые люди увлекаются и впадают в крайности...» — говорил Писарев и в конце статьи. Анатомируя образ Базарова со всем его грубым материализмом, утилитарностью, внутренним и внешним цинизмом, Писарев определял базаровщину как болезнь — «болезнь века», «болезнь нашего времени». «Относитесь к базаровщине как угодно — это ваше дело; а остановить — не остановите; это та же холера». Вскрывая причины этой болезни, Писарев указывал на отсутствие условий для того, чтобы Базаровы могли проявить свои недюжинные силы, на их практическое бессилие. «Я не могу действовать теперь, — думает про себя каждый из этих новых людей, — не стану и пробовать; я презираю все, что меня окружает, и не стану скрывать этого презрения. В борьбу со злом я пойду тогда, когда почувствую себя сильным. До тех пор буду жить сам по себе, как живется, не мирясь с господствующим злом и не давая ему над собою никакой власти. Я — чужой среди существующего порядка вещей, и мне до него нет никакого дела. Занимаюсь я хлебным ремеслом, думаю — что хочу, и высказываю — что можно высказать». И далее: «Не имея возможности действовать, люди начинают думать и исследовать; не имея возможности переделать жизнь, люди вымещают свое бессилие в области мысли; там ничто не останавливает разрушительной критической работы; суеверия и авторитеты разбиваются вдребезги, и мирозерцание совершенно очищается от разных призрачных представлений».

Однако — и в этом, согласно Писареву, состоит характерная черта базаровского нигилизма — Базаров «завирается» в своем отрицании: «Вооружась против идеализма и разбивая его воздушные замки, он порою сам делается идеалистом, т. е. начинает предписывать человеку законы, как и чем ему наслаждаться и к какой мерке пригонять свои личные ощущения». И еще: Базаров «сплеча отрицает вещи, которых не знает или не понимает... Выкраивать других людей на одну мерку с собою значит владать в узкий умственный деспотизм...» — подчеркивал критик.

Еще и раньше Писарев призывал своих единомышленников к тому, чтобы не быть «рабом какой бы то ни было головной теории». «Наш брат-работник часто вдается в крайность и вследствие этого противоречит самому себе; полемизируя против вредной идеи, мы противопоставляем ей тот принцип, который считаем хорошим, и часто, увлекаясь благородным жаром, проводим этот принцип до последних, в действительности невозможных, пределов...» В статье о Базарове Писарев призывал «новых людей» к трезвости, к реальному осознанию своих сил и возможностей, своего положения: реализм — вещь хорошая, «но во имя этого же самого реализма не будем же идеализировать ни себя, ни нашего направления. Мы смотрим холодно и трезво на все, что нас окружает; посмотрим же точно так же холодно и трезво на самих себя; кругом чушь и глушь, да и у нас самих не бог знает как светло. Отрицаемое нелепо, да и отрицатели тоже делают порою капитальные глупости; они все-таки стоят неизмеримо выше отрицаемого, но тут еще честь больно велика; стоять выше вопиющей нелепости не значит еще быть гениальным мыслителем».

Так, полемизируя с мнением тех, кто утверждал, что Базаров не более как карикатура на настоящего революционера, Писарев определял Базарова как типичную фигуру русского передового лагеря, рассматривая в качестве свидетельства этой типичности не только его достоинства, но и его недостатки.

Акт Каракозова подтвердил диагноз Писарева: русское практическое революционное движение развилось лишь настолько, что порождало пока еще по большей части революционеров-фанатиков, революционеров-мстителей, беспредельно преданных народу, но и весьма узких, ограниченных в своих представлениях о революции.

Таким образом, ставить знак равенства между Каракозовым и идеями его духовных учителей нельзя. Связь между «делом» и «теорией», разумеется, была, но это была связь неоднозначная и весьма противоречивая. Да, Писарев был идеологом революционной демократии, публицистом нигилизма, но как широкое историческое явление куда более сложным — и простым! — чем теории его вождей. Писарев видел край-

ности, «угловатость» нигилистов базаровского типа — реальные нигилисты в массе своей их не видели. То, что у самого Писарева было крайностью, издержкой, у некоторых его последователей превращалось чуть ли не в кредо, становилось главным, сутью. И как рядом с Базаровым появлялись Кукшина и Ситников, так рядом с Писаревым появлялся Каракозов...

С выстрелом Каракозова перед русской демократической мыслью вновь во весь свой рост встал ряд коренных проблем освободительного движения, нередко решавшихся ранее слишком абстрактным образом: в чем сущность революционного действия? Каково место индивидуального террора в революции? Уроки 4 апреля необходимо было осмыслить во всем их историческом значении.

У нас нет достоверных данных, которые свидетельствовали бы о том, что в статье «Борьба за жизнь» Писарев откликнулся именно на акт Каракозова. Но он рассматривал здесь те самые проблемы, которые это событие поставило перед русской общественностью. Так что объективно это был именно ответ на выстрел 4 апреля.

## II

Выше было высказано мнение, что история Раскольниковва интересовала Писарева по преимуществу как повод и материал для рассуждений на актуальные политические темы. Однако тот факт, что таким материалом стал именно роман Достоевского, конечно, нельзя считать случайностью. Здесь была определенная логика, обусловленная как самим характером главного героя «Преступления и наказания», так и некоторыми особенностями читательского восприятия этой книги в конкретно политической обстановке тех лет.

Хотя взгляды Раскольниковва далеко не совпадали с кругом идей революционеров-шестидесятников, тем не менее в этом образе было заложено и нечто такое, что давало возможность сближать его с «нигилистами» и, в частности, с Каракозовым.

Первоначально напечатанный в «Русском вестнике» Каткова, роман «Преступление и наказание» был непосредственно посвящен теме «нравственной неустойчивости» русской молодежи шестидесятых годов. Убийство и ограбление Раскольниковым старухи

процентщицы, это кровавое преступление и проявившийся в нем «бунт» бывшего студента против современного ему общества, представляли собой не только попытку героя испытать, может ли человек быть творцом собственной жизни, властен ли он распорядиться ею. Замышляя роман, писатель, по всей вероятности, намеревался изобразить идеи и поступки Раскольникова также и как своеобразный результат воздействия на него популярного среди молодежи «нигилизма», то есть поставить их в определенную связь с революционно-демократической идеологией. «Идея повести не может... ни в чем противоречить Вашему журналу; даже напротив,— писал Достоевский Каткову.— Это — психологический отчет одного преступления. Действие современное, в нынешнем году. Молодой человек, исключенный из студентов университета, мещанин по происхождению и живущий в крайней бедности, по легкомыслию, по шаткости в понятиях, поддавшись некоторым странным «чуждоконченным» идеям, которые носятся в воздухе, решился разом выйти из скверного своего положения. Он решился убить одну старуху... «Полезна ли она хоть кому-нибудь?» — и т. д. Эти вопросы сбивают с толку молодого человека. Он решает убить ее... ехать за границу и потом всю жизнь быть честным, твердым, неуклонным в исполнении «гуманного долга к человечеству», чем уже, конечно, «загладится преступление». Рассказывая далее о том, как «неразрешимые вопросы» встают перед убийцею, как «неподозреваемые и неожиданные чувства мучают его сердце», Достоевский вновь подчеркивал характер социального типа, к которому принадлежит его герой: «Выразить мне это хотелось именно на развитии, на нового поколения человеке, чтоб была ярче и осязательнее видна мысль... Есть еще много следов в наших газетах о необыкновенной шаткости понятий, подвигающих на ужасные дела... Одним словом, я убежден, что сюжет мой отчасти оправдывает современность».

Характерной чертой «необыкновенной шаткости понятий» у молодого поколения шестидесятых годов Достоевский считал безбожие и органически связанную с ним, по его мнению, склонность к нигилистическому «все позволено». Он полагал, что революционеры, стремящиеся к радикальному изменению существующего порядка, ввергнут страну в небывалую анархию.

В соответствии со своим замыслом Достоевский и изображает Раскольникова. То, что Раскольников — «бывший студент», чрезвычайно важно. Хотя, участь в университете, он «всех чуждался», хотя «ни в общих сходках, ни в разговорах, ни в забавах, ни в чем он как-то не принимал участия», весь образ мыслей обнаруживает его перед читателем человеком, зараженным духом студенческого вольномыслия, идеями демократической публицистики шестидесятых годов. При этом сами эти идеи представляются писателем, разумеется, не в адекватном виде.

Передовые публицисты пореформенной поры писали о непримиримости человеческого достоинства с мерзостью существующих порядков, о необходимости борьбы с несправедливыми социальными институтами и призывали к уничтожению тех преград, которые стоят на пути к человеческому счастью, к народной свободе. В рассуждениях Раскольникова это принимает такой вид: примирение с гнусностью существующего — это подлость, но человек не должен быть подлым, а потому — «нет никаких преград» на его пути к независимости, к свободе, надо лишь решиться и, не останавливаясь ни перед чем, любыми средствами вырваться из этого ада.

А деление Раскольниковым всех людей на два разряда — обыкновенных и необыкновенных, на материал, служащий «единственно для зарождения себе подобных», и на собственно людей, «имеющих дар или талант сказать в среде своей новое слово», требующих «в весьма разнообразных явлениях, разрушения настоящего во имя лучшего», — не находим ли мы и в этой «философии истории» извращенное отражение идей революционных демократов, в частности того же Писарева, о соотношении масс и выдающихся личностей в социально-историческом процессе?

В романе есть место, где прямо демонстрируется трансформация идей, волнующих студентов («все это были самые обыкновенные и самые частые... молодые разговоры и мысли»), в замысел Раскольникова о преступлении. Однажды он становится невольным свидетелем разговора неизвестных ему студента и молодого офицера. И вот какие речи произносит студент: «...Смотри: с одной стороны, глупая, бессмысленная, ничтожная, злая, большая старушонка, никому

не нужная и, напротив, всем вредная, которая сама не знает, для чего живет, и которая завтра же сама собой умрет... С другой стороны, молодые, свежие силы, пропадающие даром без поддержки, и это тысячами, и это всюду! Сто, тысячу добрых дел и начинаний, которые можно устроить и поправить на старухины деньги, обреченные в монастырь! Сотни, тысячи, может быть, существований, направленных на дорогу; десятки семейств, спасенных от нищеты, от разложения, от гибели, от разврата, от венерических больниц, — и все это на ее деньги. Убей ее и возьми ее деньги, с тем, чтобы с их помощью посвятить потом себя на служение всему человечеству и общему делу: так ты думаешь, не заглядится ли одно крошечное преступление тысячами добрых дел? За одну жизнь — тысячи жизней, спасенных от гниения и разложения. Одна смерть и сто жизней взамен — да ведь тут арифметика! Да и что значит на общих весах жизнь этой чахоточной, глупой и злой старушонки! Не более как жизнь вши, таракана, да и того не стоит, потому что старушонка вредна. Она чужую жизнь заедает...

— Конечно, она недостойна жить, — заметил офицер, — но ведь тут природа.

— Эх, брат, да ведь природу поправляют и направляют, а без этого пришлось бы лотонуть в предрассудках. Без этого ни одного бы великого человека не было...»

Близки к этим мыслям и некоторые рассуждения самого Раскольникова. «Я просто-напросто намекнул, — говорил он о своей статье, написанной незадолго до преступления, — что «необыкновенный» человек имеет право... то есть не официальное право, а сам имеет право разрешить своей совести перешагнуть... через иные препятствия, и единственно в том только случае, если исполнение его идеи (иногда спасительной, может быть, для всего человечества) того потребует... По-моему, если бы Кеплеровы и Ньютоновы открытия вследствие каких-нибудь комбинаций никоим образом не могли бы стать известными людям иначе как с пожертвованием жизни одного, десяти, ста и так далее человек, мешавших бы этому открытию или ставших бы на пути как препятствие, то Ньютон имел бы право, и даже был бы обязан... устранить этих десять или сто человек, чтобы сделать известными свои открытия всему человечеству...» Как видим, Достоевский прямо передает здесь Расколь-

никову ту мысль о «дешевизне крови», которую он приписывал революционерам<sup>1</sup>.

Так совершалось в романе сближение гой «борьбы за жизнь», к которой стремилось «молодое поколение», с уголовным преступлением, логики мыслей и действий Раскольникова — логики проверки теории через насилие, убийство, кровопролитие — с логикой революционного мышления и действия.

Это и давало основание и повод критике, рассуждая о преступлении Раскольникова, осмысливать другой современный ей «преступный» акт — каракозовский.

Характерно, что почти вся демократическая критика так и восприняла «Преступление и наказание» — преимущественно как акт идейной борьбы. В романе она усмотрела главным образом карикатуру и клевету на нигилистов, намеренно искаженное изображение их идей. Разумеется, в таком подходе проявилась определенная узость, но необходимо принять во внимание тот факт, что, опубликованный в год каракозовского выстрела в журнале Каткова, роман Достоевского сразу же оказался включенным в общий контекст идеологической травли демократического лагеря.

В отличие от Г. З. Елисеева и некоторых других критиков революционно-демократического направления Писарев отказался видеть в романе лишь «карикатуру» и «дребедень». Однако и он воспринял образ Раскольникова по преимуществу в конкретно-политическом плане, под углом зрения «каракозовских» проблем — проблемы средств

<sup>1</sup> В этой связи небезынтересно отметить, какое сильное впечатление произвело на писателя известие о покушении Каракозова (Достоевский впоследствии назовет его «несчастливым, слепым самоубийцей»). Сохранилось следующее свидетельство П. Вейнберга:

«4 апреля... я пришел к поэту Аполлону Николаевичу Майкову... Мы мирно беседовали о чисто литературных, художественных вопросах, когда в комнату опрометью вбежал Федор Михайлович Достоевский. Он был страшно бледен, на нем лица не было, и он весь трясся, как в лихорадке.

— В царя стреляли! — вскричал он, не здороваясь с нами, прерывающимся от сильного волнения голосом.

Мы вскочили с мест.

— Убили? — закричал Майков каким-то — это я хорошо помню — нечеловеческим, диким голосом.

— Нет... спасли... благополучно... Но стреляли... стреляли... стреляли...

И, повторяя это слово, Достоевский повалился на диван в почти истерическом припадке...»

и цели, проблемы «крови по совести». В конечном счете именно природа каракозовщины оказалась основным предметом его анализа в статье «Борьба за жизнь».

Разумеется, статья эта интересна не только с точки зрения характеристики социально-революционных взглядов Писарева, но и во многих других отношениях. Однако в данном случае она занимает нас именно как документ идейно-политического развития русской революционной демократии конца шестидесятых годов.

Сущность своего отношения к Раскольникову, к этому «раздражительному и нетерпеливому герою», Писарев выразил совершенно недвусмысленно: «Теория Раскольникова не имеет ничего общего с теми идеями, из которых складывается миросозерцание современно развитых людей». Более четко критик сказать не мог: мешала цензура. Но опытный читатель, приученный к эзопову языку, вполне мог догадаться, кто имеется в виду под «современно развитыми людьми...»

Более того: Писарев и вообще категорически и демонстративно отказался видеть в преступлении Раскольникова какое-либо следствие его теории. По мнению критика, она была искусственно построена Раскольниковым «исключительно для того, чтобы оправдать в собственных глазах мысль о быстрой и легкой наживе».

Тем самым внимание читателя обращалось критиком прежде всего на те невыносимые условия жизни, которые толкнули Раскольникова на «бунт», а само его «преступление» идентифицировалось со стихийным протестом против «тяжелых обстоятельств», доводящих человека до изнеможения. Это было, конечно, весьма субъективное истолкование романа, если говорить о его реальном замысле и содержании, но именно эта тема становится у Писарева основной при рассмотрении преступления Раскольникова. Очевидно, что так важна она была для него отнюдь не случайно. Всмотримся же внимательнее в рассуждение Писарева. «Непобедимо-враждебные обстоятельства ставят людей в «исключительное положение», — пишет критик. «...Когда человек постоянно попадает с булавки на булавку, когда этим булавкам не предвидится конца и когда человек видит и понимает, что при ужаснейшем напряжении всех своих сил он может только поддерживать это мно-

гобулабочное status quo, — тогда... тогда невозможно рассчитать заранее, в каких безумных планах и в каких безобразных галлюцинациях выразится уныние, озлобление, отчаяние и бешенство этого человека, которого люди и обстоятельства со всех сторон продолжают колоть булавками в его незажившие и незаживающие раны».

Очутившись под гнетом такого положения, подавленный им, человек «теряет способность решать нравственные вопросы так, как они решаются огромным большинством его современников и соотечественников». Образуется какой-то «особенный, совершенно фантастический мир, где все делается навыворот и где наши обыкновенные понятия о добре и зле не могут иметь никакой обязательной силы».

Нетрудно заметить, что Писарев рассуждает здесь настолько обобщенно, что под бунтом против «исключительного положения» вполне может мыслиться вообще любое насильственное выступление против принтеснителеев. Писарев и сам обнажает эту обобщенность: «...Бедняк, которому общество отказывает в работе и в куске хлеба, должен поневоле вступить в открытую войну с этим обществом и вести эту войну всеми правдами и неправдами, силою и хитростью, нарушая безбоязненно и бессовестно все предписания нравственного закона».

Таким образом, Раскольников под пером Писарева выступает как носитель стихийного протеста против гнета «исключительных обстоятельств». Очутившись на распутье, «очень похожем на то распутье, о котором говорится в сказках и в котором одна дорога обещает гибель коню, другая — всаднику, а третья — обоим», Раскольников пришел к выводу, «что ему надо или отказаться от всего, что было ему дорого и свято в себе самом и в окружающем мире, или вступить за свою святыню в отчаянную борьбу с обществом, в такую борьбу, в которой уже невозможно будет разбирать средств». Или сделаться трупом, или, поскольку честный труд не дает выхода, решиться на преступление — такова дилемма, перед которой он оказался. И Раскольников решается на «бесчестное средство».

Как же относится критик к раскольниковскому способу разрешения неумолимой жизненной антиномии? Оправдывает ли он героя «Преступления и наказания»?

Как будто бы да. По поводу отчаянного

решения Раскольникова стать преступником, чтоб не превратиться окончательно в труп, критик пишет: «Заключение верное. Кроме бесчестных средств, не остается никаких».

Однако дело в том, что на этом «согласии» с Раскольниковым автор «Борьбы за жизнь» не думает останавливаться. «...Весь вопрос в том,— пишет он далее,— действительно ли бесчестные средства достигают в данном случае той цели, к которой стремится Раскольников».

Нет, показывает Писарев, не достигают. И не потому, что этому помешали в случае с Раскольниковым определенные случайности. Роковая ошибка состоит в самом принципе нравственного оправдания кровавого насилия, даже если оно вынуждается «неумолимыми обстоятельствами». Рассуждения Раскольникова о праве «необыкновенных людей» на насилие порочны в корне; тот факт, что история наполнена насилием, отнюдь не доказывает, что для достижения высокой цели любые средства хороши.

Критик отвергает концепцию «крови по совести»: идя по этому пути, «необыкновенные люди» могут легко превратиться в «опекунов» человечества, предписывающих ему законы жизни, могут стать преступниками, «страшными кровопроливцами».

Более того, воспользовавшись термином Раскольникова «необыкновенные люди», Писарев прямо перекидывает мост своих размышлений к проблеме, наиболее его занимающей,— к проблеме деятельности особого сорта «необыкновенных людей» — революционеров. Он пишет, что до сих пор все крупные исторические события были неизбежно связаны с кровопролитием. «Что кровопролитие бывает иногда неизбежно и ведет за собою самые благотворные последствия — это известно всякому человеку, умеющему понимать причинную связь исторических событий». Но необходимость революций, по мысли Писарева, совсем не та же самая, что необходимость поступка Раскольникова. «Кровопролитие становится неизбежным вовсе не тогда, когда его желает устроить какой-нибудь необыкновенный человек; вовсе не тогда, когда какое-нибудь живое препятствие мешает этому необыкновенному человеку осуществить свою личную идею или фантазию, а только тогда, когда две большие группы людей, две нации или две сильные партии резко и решительно расходятся между собою в своих намерениях и желаниях».

Историческая неизбежность революционного насилия Писареву, как видим, вполне ясна. Но она отнюдь не дает права «необыкновенному» человеку не стесняться в выборе средств. Напротив, по мысли критика, она налагает особую ответственность, предъявляет к его деятельности высокие нравственные требования.

Тут-то и обнаруживается сложный, диалектический характер писаревского раскрытия темы «революция и нравственность». Сочувствуя задавленному обстоятельствами «бедняку», который в борьбе за улучшение своего положения не может разбирать средств и считаться с нормами морали, Писарев вместе с тем прилагает самые высокие нравственные критерии к деятельности тех, кто берет на себя ответственность, становясь во главе народной борьбы. Такой подход характеризует Писарева как прямого преемника Чернышевского, также уделявшего большое внимание разработке проблем революционной этики. Однако Писарев не ограничивается простым повторением идей, завещанных автором «Что делать?». Если последнего волновали прежде всего вопросы личной этики «новых людей» вообще и «особенного» человека в частности, если Чернышевский делал главное ударение на таких вещах, как нравственная чистота и безукоризненная честность революционеров, то Писарев пытается рассмотреть вопрос о нравственном характере и направлении деятельности «необыкновенных людей» в самом ходе «переворота», в самом процессе «перемены декораций». Это и понятно: выстраивая Каракозова и его реальные последствия свидетельствовали о том, что даже лично честный и преданный народу, «чистый, как голубь», революционер может при недостаточно развитом чувстве социальной ответственности принести вред движению.

По убеждению Писарева, задача «необыкновенных людей» состоит в первую очередь в том, чтобы попытаться избежать кровопролития, склонив неправую сторону к уступкам: «Прежде чем дело дойдет до кровопролития, необыкновенные люди, то есть самые умные и самые честные люди данного общества, всеми силами стараются о том, чтобы предупредить это кровопролитие и чтобы произвести как можно спокойнее ту перемену, которой требуют обстоятельства и которой необходимость уже чувствуется и даже сознается значительный

частью заинтересованной нации». Писарев не исключает возможность «мирного и безобидного выхода из затруднительного положения» путем «обширных и добровольных уступок тому течению идей, которое называется духом времени и которое порождается общими причинами и условиями».

Ставя — вслед за Герценом — проблему мирного пути революции, Писарев вместе с тем, как и издатель «Колокола», сознает, что теоретически осознанное как разумное и полезное для человечества отнюдь не становится в силу этого реальным. Действительный ход исторического процесса оказывается сложнее расчетов ума, он идет путем зигзагов, приливов и отливов, а иногда даже заходит в своеобразные тупики, когда возникают значительные «скучные и томительные» длинные исторические антракты». Немалую роль здесь играет тот факт, что противники «духа времени» не желают добровольно покидать насиженные места. Это и вынуждает «необыкновенных людей» переходить от мирного характера деятельности к боевому. Как писал Писарев в статье «Мыслящий пролетариат» (1865), Рахметовых «не понимают, им мешают делать добро, и от этого их мирная работа принимает совершенно не свойственный ей характер ожесточения и борьбы».

Эту же мысль Писарев подробно развертывает теперь в «Борьбе за жизнь». Он пишет, что в условиях, когда возможность мирного решения общественных проблем остается нереализованной и острая борьба противостоящих друг другу сил оказывается неизбежной, «необыкновенные люди» должны встать во главе стихийного народного движения — с тем, чтобы организовать и возглавить его. «...Когда не остается никакой возможности покончить дело соглашением или полюбовным размежеванием столкнувшихся и перепутавшихся интересов, когда нет возможности разъяснить заблуждающейся стороне посредством спокойного научного анализа, в чем состоят ее настоящие выгоды и в чем заключается ошибочность и неосуществимость ее требований, — тогда, разумеется, остается только начать драку и драться до тех пор, пока правое дело не восторжествует».

Что же должны делать в этих условиях «необыкновенные люди»? Убедившись раньше массы в неизбежности открытой борьбы, они из роли благоразумных советников переходят в роль воинов и полководцев.

«Они становятся решительно на ту сторону, которой стремления совпадают с истинными выгодами данной нации и всего человечества, они группируют вокруг себя своих единомышленников, они организуют, дисциплинируют и воодушевляют своих будущих сподвижников и затем, смотря по обстоятельствам, выжидают нападения противников или наносят сами первый удар».

Но и в этих условиях уже начавшейся кровавой борьбы «необыкновенные люди» не должны ни на минуту упускать из виду не только свою цель — удовлетворение требований «духа времени», но и характер тех способов, средств, методов, которыми она достигается; они должны помнить о неизбежных отрицательных последствиях происходящего кровопролития. И потому, «когда борьба начата, все внимание необыкновенных людей устремляется на то, чтобы как можно скорее покончить кровопролитие, но, разумеется, покончить так, чтобы вопрос, породивший борьбу, оказался действительно решенным и чтобы условия примирения не заключали в себе двусмысленных комбинаций и уродливых компромиссов, способных при первом удобном случае произвести новое кровопролитие».

Как видим, Писарев категорически отделяет здесь революционный подход к делу от тактики либералов, трусливых любителей «уродливых компромиссов», также не желающих кровопролития и стремящихся как можно скорее с ним покончить, но за счет замазывания неразрешенных противоречий, за счет в конце концов опять-таки народа, который обрекается на новые схватки в будущем за то же дело.

Вместе с тем критик в ходе своих рассуждений продолжает настойчиво развивать «антираскольнический» мотив: «Ни перед борьбою, ни во время борьбы, ни после ее окончания необыкновенные люди, которыми может и должно гордиться человечество, не являются любителями и виновниками кровопролития. Кровь льется не потому, что в данном обществе, в данную минуту действуют необыкновенные люди, а потому, что деятельность этих необыкновенных людей не может перевесить собою массу человеческого неблагоприятия, узкого своекорыстия и близорукого упрямства».

Подводя итоги своим суждениям, Писарев приходит к категорическому выводу: кровопролитие — это вовсе не обязательное и уж отнюдь не безупречное средство рево-

люционной борьбы, а лишь ее трагическая форма, вынужденная историческими обстоятельствами. «Кровь льется совсем не для того, чтобы подвигать вперед общее дело человечества; напротив того, это общее дело подвигается вперед, н е с м о т р я на кровопролития, а никак не в с л е д с т в и е кровопролитий; виновниками кровопролитий бывают везде и всегда не представители разума и правды, а поборники невежества, застоя и бесправия».

Писарев, таким образом, резко отделяет понятие революции, ее сущности, от тех ее реальных форм, в которых она необходимо осуществлялась в исторической действительности. Здесь его мысль движется в том направлении, начало которому положили еще великие социалисты Сен-Симон и Фурье и которое в России особенно характерно было для Герцена.

Еще более важным представляется стремление Писарева размежевать понятие революции с теми отклонениями от подлинно революционной деятельности, извращениями ее, которые нередко наблюдались в истории даже у выдающихся руководителей народных масс. Имея в виду, по-видимому, деятелей типа Робеспьера, Писарев заявляет: «Многое может быть объяснено и даже оправдано силою тех страстей, которые возбуждаются в гениальном человеке ожесточением великой борьбы; но если, подаваясь влиянию этих страстей, гениальный человек раздавил то, что могло и должно было жить, то историк в этом резком и насильственном поступке увидит все-таки проявление слабости... а никак не выражение гениальности и силы, долженствующее вызвать в других людях восторженное соревнование».

Вот здесь-то и раскрывается, таким образом, внутренний смысл писаревского обращения к «Преступлению и наказанию». Беря себе в союзники «мыслящих историков», произведения которых господствуют над умами «читающего юношества», и прямо полемизируя с возможным выведением идей Раскольникова из идей революционной демократии, Писарев утверждает, что «деление людей на гениев, освобожденных от действия общественных законов, и на тупую чернь, обязанную раболепствовать, благоговеть и добродушно покоряться всяким рискованным экспериментам, оказывается совершенной нелепостью, которая безвозвратно опровергается всею сово-

купностью исторических фактов». Если история и выдвигает отдельные личности на роль «необыкновенных», то главная задача их состоит отнюдь не в попытках по собственному усмотрению устроить жизнь масс, а прежде всего в способствовании «умственной эмансипации масс», их просвещению, ибо, пока массы политически слепы и невежественны, пока они сами сознательно не возьмутся за дело своего освобождения, это дело не может восторжествовать.

По мысли Писарева, именно потому, что освобождение народа от ига эксплуатации и бесправия представляет собою святое, великое дело, «необыкновенные люди», взвалившие на свои плечи все бремя ответственности за него, не могут иметь каких-то особых, только им присущих прав и моральных принципов. Наоборот: по своим нравственным устоям «необыкновенные люди» должны быть сродни «великим деятелям науки». «...Их руки совершенно чисты и всегда останутся чистыми; они могут только убеждать людей, а не приневоливать их; с той минуты, как великий мыслитель вздумал бы употреблять насильственные меры против невежественных и тупоумных противников своей доктрины, он перестал бы быть великим мыслителем, он сделался бы врагом беспристрастного исследования и свободного мышления, он сделался бы преступником против всего человечества, вреднейшим из вредных негодяев и по всем правам занял бы в истории почетное место рядом с испанскими инквизиторами. Представить себе Ньютона или Кеплера в таком положении, в котором они из любви к идее обязаны были бы устранить хотя одного живого человека или пролить хоть одну каплю человеческой крови,— еще гораздо труднее, чем представить себе, что Кеплер или Ньютон, состоя в чине необыкновенных людей, пользуются своими исключительными правами для того, чтобы убивать встречных и поперечных или воровать каждый день на базаре».

Легко понять, что все эти размышления и выводы имели самое непосредственное, самое тесное отношение к вопросу о характере революционной тактики в политической борьбе тех лет. С точки зрения развитой в писаревской «Борьбе за жизнь» концепции революционного процесса акт Каракозова выглядел не только нецелесообразным, но совершенно бессмысленным, неразумным, противоречащим самой главной сути рево-



люционно-демократической идеологии. Осуждая действия по раскольниковскому методу устранения «живых препятствий», Писарев, в сущности, заявлял о своем принципиальном неприятии тактики индивидуального террора: «Если бы Кеплер и Ньютон решились действовать по рецепту Раскольникова и если бы им удалось устранить какое-нибудь живое препятствие, то на месте этого благополучно устраненного препятствия тотчас появилось бы другое, на месте другого третье, потому что общие условия, порождающие такие препятствия, остались бы нетронутыми».

Не заглядывая далее в писаревский текст, можно было бы подумать, что критик под «общими условиями» имеет в виду социально-политическое устройство эксплуататорского общества, а применительно к России — систему самодержавного деспотизма и т. п. Однако мысль Писарева целит еще глубже: «Общими условиями оказываются в подобных случаях невежество, умственная неподвижность, робкая безгласность и дикие предрассудки массы». Забитость, приниженность трудящихся масс, их «умственная апатия» и следствие этого — историческая пассивность, или, как выражался Чернышевский, «консерватизм массы», представляют собой, по Писареву, самое главное препятствие освободительного движения. «...Умственная апатия, — писал он в «Очерках по истории европейских народов» (1867), — гораздо хуже самого мрачного суеверия и гораздо вреднее самого кровавого фанатизма». И пока эта апатия будет продолжаться, ни о каком социальном освобождении народа не может быть и речи.

А проблема развития социального разума масс не может быть решена насильственными средствами. «Народные привычки» не поворачиваются «вдруг», как-то заметил Писарев. Вот и теперь, в «Борьбе за жизнь», он делает вывод: «...Пока общие условия делают возможным существование и деятельность сильных противников научной истины, до тех пор Кеплеры и Ньютоны должны действовать не против этого существования, а против общих условий, которые могут быть изменены только путем настойчивого и неутомимого проповедования той же самой научной истины».

«Путь настойчивого и неутомимого проповедования» — это, согласно Писареву, не только распространение естественнонаучных

знаний, но и в конечном счете развитие социального разума народа, революционное просвещение, подготовка грядущего коренного общественного переворота. Что же касается настоящего положения вещей, то Писарев, очевидно, считал революцию в России конца шестидесятых годов невозможной, а всякие действия, подобные покушению Каракозова, вредными.

Разумеется, положение революционеров оказывалось в этих условиях поистине трагичным — Писарев понимает это и пишет об этом. За внешне спокойными фразами его статьи стоит горькая судьба разночинцев-шестидесятников, судьба Чернышевского и Михайлова, Добролюбова и Помяловского... Оскопленное слово или гробовое молчание, вынужденная эмиграция или ссылка, тюремные казематы, ранняя смерть от туберкулеза, от чахотки... Слишком хорошо знал Писарев ту цену, которую платили лучшие люди его времени за свою честность, свою неискоренимую любовь к народу, свою верность высоким политическим и нравственным идеалам.

И, однако, все это еще не основание для революционных авантур. «Необыкновенные люди» часто оказываются в истории в роли мучеников, но даже самая сильная «любовь к идее» не может превратить их в мучителей: «мучения никого не убеждают и, следовательно, никогда не приносят ни малейшей пользы той идее, во имя которой они производятся».

Таким — в общих чертах — был ответ Писарева на вопросы, возбужденные в русском обществе событиями 4 апреля 1866 года. И этот взгляд Писарева на революционную деятельность и ее формы, на историческую роль и границы революционного насилия, это выступление его вротив разного рода «нетерпеливцев» от революции, обрекающих «обыкновенных людей на унижительную и мучительную роль пушечного мяса», являлись еще одним свидетельством того факта, что русская революционная теория шестидесятых—семидесятых годов XIX века приходила к очень значительным и важным выводам.

Не говоря уже об известных письмах Герцена «К старому товарищу» (1869), укажем хотя бы для сравнения на его более раннюю и куда менее известную статью «Мясо освобождения» (1862). «Метода просвещения и освобождения, придуманных за спиною народа и втесняющих ему сго

неотъемлемые права и его благосостояние топором и кнутом, исчерпаны Петром I и французским террором,— писал в ней Герцен.— Манна не падает с неба, это детская сказка — она вырастает из почвы; вызывайте ее, умейте слушать, как растет трава, и не учите ее колосу, а помогите ему развиться, отстраните препятствия, вот все, что может сделать человек, и это за глаза довольно. Скромнее надо быть, полно воспитывать целые народы, полно кичиться просвещенным умом и абстрактным пониманием. Много сделала Франция своими указами равенства и свободы?.. Великая основная мысль революции, несмотря ни на философские определения, ни на римско-спартанские орнаменты своих декретов, быстро перегнула в полицию, инквизицию, террор; желая восстановить свободу народа и признать его совершеннолетие, для скорости обращались с ним, как с материалом благосостояния, как с мясом освобождения, *chair au bonheur public*<sup>1</sup>, вроде наполеоновского пушечного мяса.

Стоит вспомнить в этой связи и «Пролог» Чернышевского (1867—1870). Резко выступая против бланкистского подхода к революции, критикуя тех, кому недостает «рассудка и терпения» и кто бросается в восстание, не имея сил, писатель призывал революционеров «поумнеть» после уроков 1848 года и 2 декабря 1851 года<sup>2</sup>. Можно указать также и на лавровскую «Нашу программу» (1873), в которой говорилось, что революция «должна быть совершена не только с целью народного блага, не только для народа, но и посредством народа»: «Тот, кто желает блага народу,

<sup>1</sup> Мясом общественного благополучия (франц.).

<sup>2</sup> Отметим, что Чернышевский, по воспоминаниям С. Г. Стахевича, «не относился с одобрением к покушению» Каракозова. Придя «прямолинейное революционерство» тех, которые не умеют, да и не хотят принимать в соображение обстоятельства места и времени, он говорил: «В критические моменты народной жизни эти люди пронесут свое знамя через сцену действий. Это они умеют делать и сделают. Но критические моменты редки и коротки: до них и после них надо махнуть на этих людей рукой: ничего из них нельзя извлечь, или разве очень мало. Святые младенцы, святые — правда, но и младенцы — тоже правда». Эти слова Чернышевского, сказанные по адресу М. Д. Муравского, вполне относятся и к Каракозову.

должен стремиться не к тому, чтобы стать властью при пособии удачной революции и вести за собою народ к цели, ясной лишь для предводителей, но к тому, чтобы вызвать в народе сознательную постановку целей, сознательное стремление к этим целям и сделаться не более как исполнителем этих общественных стремлений, когда настанет минута общественного переворота».

Такое понимание революции, являющееся у одних русских мыслителей непосредственным результатом обобщения опыта 1848 года, у других — итогом раздумий над событиями более позднего времени, было чрезвычайно близко тому представлению о существовании социалистического переворота и его отличии от всех прежних, буржуазных революций, которое развивалось в девяностых годах Ф. Энгельсом. «Прошло время внезапных нападений, революций, совершаемых немногочисленным сознательным меньшинством, стоящим во главе бессознательных масс,— писал Энгельс.— Там, где дело идет о полном преобразовании общественного строя, массы сами должны принимать в этом участие, сами должны понимать, за что идет борьба, за что они проливают кровь и жертвуют жизнью. Этому научила нас история последних пятидесяти лет. Но для того чтобы массы поняли, что нужно делать, необходима длительная настойчивая работа...»

Разумеется, к подобному глубокому пониманию проблем революционной теории шли — особенно после 1848 года — не только радикальные русские мыслители домарковского периода. Однако нельзя не видеть и того, что своеобразные условия русской действительности чрезвычайно способствовали успеху их теоретических исканий.

\* \* \*

На этом, вероятно, можно было бы поставить точку, но что-то мешает этому...

Дело в том, что практически развитие освободительного движения России в семидесятых — восьмидесятых годах пошло несколькими иными путями, нежели желал Герцен, предполагал Писарев: «необыкновенные люди», наследовавшие их революционную традицию, и особенно герои и мученики «Народной воли», в условиях, когда политическая активность масс была незначительной, повели это движение путем революционной

онного террора, тем путем, начало которому положил как раз акт Каракозова. «...Я верую, — пророчески восклицал Каракозов, — что найдутся люди, которые пойдут по моему пути». Такие люди нашлись. «...Мы пойдем по следам незабвенных героев наших — Каракозова... и др.», — говорилось в прокламации одного из революционно-народнических кружков конца семидесятых годов. Пятнадцать лет спустя после 4 апреля 1866 года партия «Народной воли» осуществила то, что не удалось Каракозову: Александр II был убит.

При всей ограниченности понимания народолюбцами революционного дела, их роль в развитии освободительного процесса в России была отнюдь не однозначной. Наследовавшее им следующее поколение борцов с российским самодержавным деспотизмом — поколение революционных социал-демократов, большевиков-ленинцев — высоко ценило беззаветную преданность народолюбцев народу, их готовность отдать за него собственные жизни, их неустанные поиски наилучших форм политической организации. Да, путь, по которому они шли, был ошибочным. Но, как это ни парадоксально, именно их революционная практика, игнорировавшая некоторые основные условия подлинной революционности, вместе с тем имела одним из своих последствий в конечном счете как раз создание и формирование этих самых условий. Кровь, пролитая народолюбцами и другими террористами, и кровь, пролитая царизмом в борьбе с ними, открывала глаза на новым и новым поколениям русских людей — и все шире, все сильнее становился антисамодержавный лагерь.

Наконец, само очевидное отступление от некоторых важнейших общетеоретических принципов революционной идеологии шестидесятников в эпоху деятельности «Народной воли», сам во многом эклектический характер социально-философских идей революционеров того времени означали выявление — перед лицом более богатой политической практики — неразрешимых противоречий, несовершенности, ограниченности прежней, созданной в шестидесятые годы, теории и поиска путей к иному, не народническому решению проблем социально-революционного движения в России.

Так кто же прав?

Теоретики, твердившие о том, что социалистическая революция должна осуществляться только в том случае, если сами мас-

сы сознают ее необходимость и сознательно пойдут к социализму, или же те практические революционеры, которые, не очень считаясь с заветами теоретиков, самоотверженно, безоглядно бросались в борьбу с деспотизмом?

Какой Писарев прав — тот, который писал в «Борьбе за жизнь», что, «призывая насильственные меры на помощь к таким идеям, которые могут и должны торжествовать силою своей собственной разумности и внутренней убедительности, необыкновенные люди в значительной степени перестают быть необыкновенными и начинают обнаруживать ту нетерпеливую близорукость, которую отличаются все их дюжинные современники», что, «решаясь проливать кровь во имя идеи, необыкновенные люди изменяют своему естественному назначению, компрометируют свою идею, дискредитируют ее и замедляют ее успехи именно теми насильственными мерами, которыми они стараются доставить ей быстрое и верное торжество»? Или тот Писарев, который несколькими годами ранее призывал дать династии Романовых «последний толчок»?

Кто прав: Герцен или «Молодая Россия» и Александр Серно-Соловьевич?

Лавров или Бакунин и «Народная воля»?

Революционная теория шестидесятых или революционная практика семидесятых — восьмидесятых годов?

Но можно ли только так ставить вопрос? Не просмотрим ли мы с этим «или—или» большую проблему — проблему соотношения (совпадения и несовпадения!) практического и теоретического, идеального и реального в истории?

Классики марксизма не раз писали о громадной роли социальной теории, заглядывающей в будущее. За теорией идут те, кто уловил ведущие тенденции общественного развития, кто видит его перспективы. Однако часто бывает, что социальное и экономическое состояние общества, в котором они действуют, степень зрелости масс, да и самих участников непосредственного революционного процесса еще очень далеки от того, чтобы реализовать революционные идеалы. Применительно к социалистической революции это означает различную степень готовности к ней различных компонентов истории: вождей, передовых отрядов, широких народных масс.

Пока и поскольку история движется в формах социального антагонизма, до тех

пор и постольку логика освободительного движения представляет собой совершенно неизбежно комбинацию, слияние, синтез двух «логик» — познания и стихийного порыва, теории и непосредственного действия. Истина здесь — в противоречивом единстве обеих сторон живого процесса, в их взаимопроникновении.

И потому, наверное, было бы одинаково ошибочным при изучении разночинского этапа русского освободительного движения выступать либо с односторонне отрицательной оценкой непосредственных практиков-террористов, либо с упреками по адресу революционных мыслителей типа Писарева за просветительский характер их концепций. В действительности это были две стороны единого революционного движения России XIX века, имевшие, конечно, и свои «закраины», смыкавшиеся с анархизмом и печаявщиной, с одной стороны, и просветительским либерализмом, с другой. Но в общем и целом это было — несмотря на все их объективное различие, на все резкие споры и острые столкновения между ними — два те-

чения внутри одного живого революционного потока.

Сказанным мы вовсе не хотим оправдать релятивистский подход к истории. Многовековая история революционного движения вообще и особенно опыт социальных революций XIX—XX веков с неопровержимостью свидетельствуют о неодолимом нарастании в освободительной борьбе элементов именно сознательной революционности, о том, что верх все больше берет та тенденция, которая выражает осуществление революционной практики в соответствии с требованиями научной теории. Развитию именно этой стороны революционного процесса — конечно, с учетом возможных неожиданных поворотов и зигзагов — подчинена напряженная творческая деятельность марксистско-ленинских партий нашего времени, категорически и недвусмысленно отмежевывающихся от ставки на стихийный порыв, террор и бунт.

И это еще раз убеждает нас в прозорливости мыслей Писарева, высказанных в его статье «Борьба за жизнь».



# КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

## СОДЕРЖАНИЕ

★

### ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

**С. Бабенышева.** По страницам журнала «Север». — **Ф. Искандер.** «В прибое женщина из бронзы...». — **А. Дементьев.** Символ веры поэта. — **Д. Николаев.** Внимание: шаржеграммы! — **И. Варламова.** Шесть мегров счастья. — **З. Паперный.** Литература и «ведение». — **Э. Кузьмина.** Великая проверка.

### ПОЛИТИКА И НАУКА

**Л. Зак.** Борец революции, строитель культуры. — **Д. Фурман.** Путь к исторической правде. — **С. Троицкий.** На заре отечественной дипломатии. — **С. Владимиров.** Решающий довод. — **Р. Баландин.** Человечество как часть планеты.

### Литература и искусство

## ПО СТРАНИЦАМ ЖУРНАЛА «СЕВЕР»

«Север», №№ 1—6, 1968, №№ 1—6, 1969.

На обложке журнала броско обозначено — «Север». Север — это флаг журнала, его суть и его поэтический символ. На журнальных страницах воскрешена память о старом Архангельске, городе «трески, доски, тоски», о древней пудожской земле, куда нынче едут за стариной, за «досюльщиной», как любят писать очеркисты; о Мезени, про которую сложена поговорка: «позади — горе, спереди — море, справа и слева — ох да мох», о многочисленных северных экспедициях.

С пристрастием любви восстанавливает журнал недавнее прошлое края — очерки, статьи, воспоминания о войнах, гражданской и Отечественной, публикуются из номера в номер, как и материалы о сегодняшней жизни края — о рабочих, рыбаках, актерах, художниках, кружевницах и вышивальщицах, реставраторах икон и мастерах резьбы по дереву и чернению серебра.

М. Мильчик, автор занимательного очерка «Мезень — память прошлого», заклинает неофитов Севера не спеша приобщаться к его красоте: поторописься, — предупреждает он, — «тогда все пропало, тогда и ехать сюда не стоило».

А Север влечет. Лишь в прошлом году в Кижях побывало около семидесяти тысяч человек. Я узнала об этом из очерка В. Пулькина, того самого Пулькина, слава которого как одного из авторов устных повелл, своего рода кижской «1001-й ночи», разнеслась далеко.

«Музейщик», как оп себя именует, В. Пулькин напечатал в журнале очерк о Пудожье и несколько хрешек, каждая из них содержательна, пленяет знанием Севера. Впрочем, это относится к журналу в целом. Прочтешь этюды В. Белова, очерки М. Мильчика, В. Пулькина, В. Орфинского, рассказ Н. Жернакова «Солдатки» — и захлестнет тебя Север с его историей и сегодняшними заботами, с его неповторимым говором.

Север издавна славился как заповедник старинных слов, оборотов, и авторы журнала пользуются дарами этого заповедника широко и по-разному.

Василию Белову слово подвластно, он обращается с ним по-хозяйски уверенно, с ощущением неограниченности запаса этого заповедника В. Пулькин словом любит, осматривает его со всех сторон, поражаясь

неожиданности поворота. «Меня взволновала,— пишет В. Пулькин,— разгадка слова «шелонник» — западный ветер. Слово бытует по всему нашему Северу, а происходит, оказывается, от имени реки Шелони, что западнее Новгорода... Далеко на Север — за Онего, к Белому морю, к Печоре и Мезени — ушли повгородцы и уехали вместе с былинами, вместе с песнями и сказками, вместе с памятью о вольном белокаменном Великом Новгороде милое и родное словечко «шелонник».

Есть у журнала еще один способ «открыть Север» — на его вклейках опубликованы репродукции с картин художников Суло Юнтунена, Тамары Юфа, фотоочерки А. Кузнецова, К. Коробицына, С. Майстермана и других — журнал знакомит читателя с Архангельским краем и архангелогородцами, Сухонью, фресками Софийского собора и портретами современных жителей села.

Прекрасны новые листы Тамары Юфа — на темы «Калевалы»: молодая художница из эпоса избирает то, что дарит ему жизнь и сегодня. Ее Айно — сказочная Айно — бредет по фантастической Карелии, где все реально, даже валуны с их то ли кабалистическими знаками, то ли рисунками сказочных животных, реальна и поступь Айно, ее покорность и женственность. О живописи Тамары Юфа напечатана в журнале интересная статья И. Гина.

Радоваться бы да и только приверженности «Севера» к своему краю, пониманию того, что лишь так — через точное, доскопальное знание своей «малой земли» и приходит широта понимания «большой» жизни, сознание объемности происходящего. В самом деле, какой же еще журнал, если не «Север» познакомит нас со всем, что происходит в этом интересном крае? Но что обозначает фраза — «открыть Север»?

В. Орфинский в интересной статье об архитектуре Карелии рассказывает, как на выставке, в павильоне Карело-Финской АССР, он ощутил Карелию: «...каменные колонны классического портика и скульптурный фронтон из темного дерева контрастно и четко рисовались на фоне светлых стен. Сама сдержанность его архитектуры, контрастность цветового решения, соответствующая условиям освещенности Севера, и, главное, местные строительные материалы — дерево и камень — в архитектурной трактовке, выявляющей все их декоративные воз-

можности,— вот те простые средства, которые придали сооружению свое собственное лицо и вызвали ассоциации с Карелией».

Силуэт, контрастность, дерево и камень — «простые средства», как пишет В. Орфинский, без подчеркивания того, что обычно именуют национальной экзотикой, — так пришло к нему чувство Карелии. Но в иных очерках и статьях прошикновение в сущность северного быта и бытия дано подчеркнуто нарочито бесконечным повторением слова «север». «Страницы альбома просто дышат бесподобной красотой северного пейзажа», — сказано об альбоме «Художники на Валааме», «он обладает драгоценной способностью видеть глубинную поэзию северных мотивов», — о карельском художнике Суло Юнтунене. Художники разные, слова схожие. Поэт Ю. Линник в статье «День поэзии Севера» даже как бы подводит «теоретическую» базу под этот, я бы сказала «шаманский», способ открытия Севера: «Бесспорно стилевое многообразие поэтов Севера, — пишет он. — Но весь ход наших раздумий шел в том направлении, чтобы обнаружить в коллективной книге осуществление одного важнейшего эстетического принципа, лишь по недоразумению обычно отождествляемого с канонами эстетики классицизма. Мы подразумеваем принцип единства времени действия и принцип единства места действия. Время действия — двадцатое столетие, место действия — Север. Мы говорим, что у времени есть стиль. Мы знаем, что свой стиль есть у русского Севера. Можно сказать, что в сборнике осуществлен своеобразный синтез двух больших стилей и самых разнообразных творческих манер отдельных авторов».

Ю. Линник и впрямь стихи поэтов проверяет одной меркой, — что сказано в них о Севере, или точнее — сказано ли в них что-нибудь о Севере? Место действия указано — хорошо. Нет — куда как плохо. А поэзия ли это — стоит ли обращать внимание на подобную малость? Главное — двадцатое столетие, пусть даже ограниченное масштабами контурной карты северного края. Главное — ворожба со словом «север».

Может быть, и не было бы нужды говорить всерьез об этих рассуждениях: отчего ж и не дать воли капризу поэтической мысли, тем более что в последующих номерах журнала, в статьях В. Оботурова и Л. Резникова, посвященных выпуску «Дня

поэзии» 1968 года, стихи рассматриваются уже как произведения поэзии? Но беда в том, что Ю. Линник высказал вслух то, что скрыто в тенденции журнала, где как бы сосуществуют два способа «открытия Севера» — нарочитый, с бесконечным повторением слова «север», и открытие края изнутри, «простыми средствами», как это сделано в очерках В. Орфинского, М. Мильчика, В. Пулькина, в лучших публицистических произведениях журнала.

Лирический репортаж известной прогрессивной финской писательницы Хеллы Вуолиёки «Нет, я не была узницей» (перевод с финского Т. Викстрем), этот «фильм о человеческих сердцах», посвящен годам войны. В тюрьме, где писательница ждала исполнения смертного приговора, вынесенного ей военным трибуналом, сердце ее было открыто чужому бедствию, чужой боли. Она вслушивалась в исповеди сокамерниц и тех, кого встречала на прогулке, шла им на помощь, властно внушая: «Человека нельзя сделать узником, нельзя заковать в оковы человеческие сны».

«Мозаика тюремной жизни» составлена из разрозненных новелл: воспоминаний о доме, детстве, о запахе трав, о финских коммунистах и Бертольте Брехте, о дотюремной жизни, которая продолжалась и здесь, в камере, потому что никому не дано убить мысль и воображение. Все это вошло в репортаж, объединенный в целое личностью автора, человека благородного, ясно сознающего свою миссию, миссию писателя и гуманиста. Репортаж Хеллы Вуолиёки — признание в любви людям.

«...Будьте же вы благословенны, зеленая трава и весенний ветер в верхушках берез! И я не могу не любить человека».

«У шведов» — называется очерк Геннадия Фиша о Швеции последних лет. Очерк насыщен материалом и мог бы показаться перегруженным, если бы не умение автора привлечь читателя в собеседники, вернее в участники многоголосого интервью, которое автор возьмет у премьер-министра Швеции Таге Эрландера и коммунистки Гюнвор Рюдинг, у шведского врача и профсоюзного деятеля. В переплетении встреч, бесед, разговоров открывается читателю сегодняшняя Швеция, какой видит ее Геннадий Фиш.

В журнале опубликован очерк и о Норвегии А. Прокуева, он называется «Праздник Северного Калотта» — о празднике За-

полярья четырех стран — Финляндии, Швеции, Норвегии и Советского Союза. Но в очерке нет Норвегии, нет и портретов тех, кто съехался на торжество. А об атмосфере праздника сказано фразой, словно взятой напрокат из «Записной книжки» Ильфа: «В приподнятом настроении, окрыленные первым успехом, возвращались мы на корабль».

Незачем повторять, что желание журнала широко познакомить читателей с северными странами естественно, жаль лишь, что во имя исполнения своих — пусть добрых — намерений редакция журнала порою поступает требовательностью.

И в прозе журнала видна та же чересполосица, что и в других его отделах. Ф. Левин в рецензии, помещенной в «Литературной России» 5 сентября этого года, справедливо писал о ряде посредственных прозаических произведений, напечатанных на страницах «Севера». Я не стану повторять этого и остановлюсь на тех повестях и романах, которые кажутся мне интересными и характерными для журнала.

Роман Виталия Чернова «Медвежья Ворота» дает возможность узнать об одной героической странице Великой Отечественной войны — не так уж много у нас написано о боях в Карелии, а писатель по-своему рассказал о героизме советских бойцов и об упорстве противника; «финны это не немцы, дерутся до последней возможности», — говорит один из героев произведения.

Автор ставит себе задачей воссоздать картину боев, он оговаривается: его роль — роль летописца 127-го стрелкового корпуса, он стремится с предельной точностью рассказать об одном дне боев — решающем бое за Медвежья Ворота. Писателя тревожит мысль: люди уходят и с ними уходит в небытие память о прошлом; пройдет время — и окажется, что многое уже не восстановить.

Само собой разумеется, что документальность — это и угол зрения автора и манера, прием повествования. Поэтому трудно согласиться с Ф. Левиным, когда он в уже упомянутой рецензии видит просчеты В. Чернова в его приверженности к документальности, в отсутствии вымысла, обобщения. Думается, что жанр — не помеха обобщению, и документальное произведение, как и всякое иное, может содержать в себе обобщенный рассказ о действительности. И упрекнуть Виталия Чернова следует там, где он отходит от документальности, что бывает нередко, его преследует боязнь

быть неинтересным, и он отдает дань дурной беллетристике. Так, характеры молодых солдат Бакланова и Залыгина «расцветены» любовью к далекой девушке Юльке, и история этой любви кажется читаной-перечитанной, знакомой до каждой строчки. А вот характеры самих этих солдат интересны, как и характеры подполковника Маркова, штрафника Григоровича, старика вепса, перебежчика финна Яуряпяя.

Я хочу остановиться на одном — не главном, но любопытном — конфликте романа.

Один из героев «Медвежьих Ворот», командир Розанов — человек храбрый, но высокомерный и не вызывающий поэтому симпатии у окружающих его людей. В разгар жестокого боя он вынужден заменить раненого комбата. «Вынужден» — слово не точное, он делает это не по обязанности, а по совести. Обстановка сложна. Замкомбата предупреждает Розанова: «Пулеметы не дают головы поднять! Самое верное — это поотро двигать, ползком».

Но Розанов не умеет щадить людей, он поведет бойцов «на штурм». «И все было правильно, — замечает автор, — и то, что он поднял батальон, и то, что солдаты бежали вперед, и то, что противник был застигнут атакой в самый неподходящий для него момент, — все правильно, кроме одного, что, устремляясь вперед, батальон не мог одновременно вести огонь и карабкаться вверх, тогда как сверху он весь был виден, как на ладони».

Во время штурма погибло много солдат, ранен и Розанов, ранение свое он воспринимает как искупление вины перед погибшими и не может понять отчуждения окружающих его людей.

Он лежит в армейской двуколке «с пухло перебинтованной ногой, взятой в самодельные лубки из планок от патронного ящика. Рядом с ним, только головой к передку, лежал с наискось перебинтованной грудью знакомый ему белобровый солдат.

«— Не повезло нам с тобой, дружище, — мягко и грустно сказал Розанов, не глядя в строгие, осуждающие глаза солдата. Солдат промолчал.

— Не можешь говорить?

— Не хочу, — тихо и отчетливо сказал солдат».

С точки зрения Розанова — личная смелость и мужество все искупают, и он не по-

нимает, почему солдат не хочет с ним разговаривать; с точки зрения автора — личное мужество не снимает вины перед зря погибшими людьми.

Розанов убежден, что, подставляя «свой лоб под удар», не щадя себя, он имеет право на то, чтоб и других не щадить. Розановское отношение к человеческой личности вызывает протест и у героев романа и у автора.

В. Чернов обнажит это не только в эпизоде с Розановым, но и в лирических отступлениях романа. А повествование в романе ведется как бы на два голоса — рассказ о событиях дня прерывается лирическими отступлениями автора, где будто льется свет из сегодняшнего дня на события того времени. И если первый голос привлекает достоверностью, то лирические монологи — этот мост в сегодня — не выдерживают порученную им нагрузку: в отступлениях нет богатства и своеобразия мысли, они держатся лишь на чувстве.

Высокое внимание к человеческой личности, характерное для современной прозы вообще, проявилось и в повести А. Петухова «Тревога в Любимовке», и в его же рассказе «Слопцы». В «Тревоге в Любимовке» во имя заботы о жизни людей герои повести вынуждены пойти на конфликт с теми, для кого человек — пустая абстракция.

Первый год после войны. Неурожай. Голод. Отстрел лосей запрещен. Вернувшийся с фронта герой повести Тимофей Ярыгин, нарушая закон, охотится на лосей и подкармливает этим всю деревню, педантично деля добычу на едоков. Прекрасно зная быт деревни, автор сумел передать чувство непокоя, страха, в котором живут люди, поступающие пусть по совести, но вынужденные вести какую-то тайную жизнь и пугающиеся того, что правда выйдет наружу: «в семье Ярыгиных с некоторых пор мясо называли рыбой. Валя, самая младшая, прочно усвоила это лишь после того, как однажды за столом получила от отца увесистую затрещину ложкой по лбу. С того времени слово «мясо» уже было забыто. Мясные щи назывались рыбными, сушеное мясо — сушиком».

Правда и вышла наружу — председатель сельсовета Ипатов, когда однажды его случайно обошли добычей, сообщил об отстреле лосей и в райком партии и в охотинспекцию. Но как ни странно, атмосфера страха рассеивается. Деревня начинает борьбу за че-



ловска, и Тимофей Ярыгин и его сын (на этот раз он убил лося) оказываются победителями, хотя в повести и не говорится о реальной победе Ярыгиных. Победа их уже в том, что ответственность за судьбу Тимофея и его сына становится общим чувством.

В рассказе «Слопцы» восьмидесятилетний Кузьма ждет сына из неведомой ему Африки, где тот пропал бог весть сколько времени. Старик хочет угостить сына свиним, дегрепенским — ягодами, грибами, дичью. Собрав последние силы, Кузьма отправляется в лес, чтобы поставить слопцы (силки) на глухаря. Он давно не совершал столь длинного путешествия и горд собой. Слопцы вернули старику веру в себя, ему начинает казаться, что он и впредь будет охотиться, но уже не для себя, для колхоза. Слопцы — это надежда на будущее, это радость ожидания.

Но когда Кузьма в другой раз идет в лес, уже за добычей, то находит слопцы срубленными. Общественный охотинспектор, с которым старик поделился своей радостью, срубил слопцы: оказывается, ставить их не дозволено.

Рассказ кончается несколько прямолинейно. Автор с логической последовательностью расставил все ударения: Кузьме не достало сил вернуться домой, он умирает где-то в дороге, а дома ждет его сын из Африки, и охотинспектор штрафует сына за слопцы, поставленные отцом. Что ж, в жизни, как говорится, возможно и такое. Но в этой досказанности — отсутствие чувства меры, художественного такта. Срубленные слопцы, душевная глухота охотинспектора и беспомощность старика перед неожиданностью удара — разве не в этом суть рассказа? И надо ли что-то еще прибавлять к сказанному?

Поэтична «Охотничья тетрадь» В. Соловьева. Шофер «скорой помощи» В. Соловьев часто печатает в «Севере» свои охотничьи рассказы. В них живет детское удивление перед щедростью и богатством природы, доверившей автору свои секреты, и он в свою очередь открывает тайну леса читателям, удивляясь ей и удивляя ею.

Отношение к человеку как к высшей ценности достигает философского обобщения в рассказах Василия Белова. Не забудем, что знакомство с первой крупной вещью — повестью «Привычное дело» — этого интерес-

ного писателя произошло благодаря «Северу».

«Случайные этюды», напечатанные в «Севере» в 1968 году, — это цепь повелел, дневниковых записей о том, что увидел и услышал писатель, путешествуя пешком по северным селам.

Василий Белов — художник с обостренным чувством совести, тревожно вслушивающийся и всматривающийся в жизнь, и записи его часто с совершенно неожиданной стороны открывают увиденное. В рассказе «Не гарывали...» писатель обнаружит, что деревня как бы распадается на четыре маленьких деревушки, а в середине — пустошь, белое пятно. И называется деревня «Огнище».

«— Чего ж... домов-то в середине и сперва не было? — спросит он бабу, у которой остановился на почлег.

— Как не было, были. Двиста домов было, когда я замуж-то сюда вызнялась, двисти. Большая была деревня-то, большая. Крестовая.

— Куда же дома из середины девались?

— А через трубу да в синее небо.— Бабука весело засмеялась.

— Сгорели, что ли?

— Нет, батюшко, наша деревня не гарывала.

— Ну, а как это... через трубу?

— Да истопили. Раскатали да истопили. Люди разехались. Кого раскулачили, кого на войне убило. Да по городам... Большие были дома, ядерные... Не гарывали, милой, не гарывали».

В свете далекой истории откроется В. Белову сельское кладбище в новелле «Холмы». «Здесь, на его родине, даже кладбище только женское... Они, мужчины, родились здесь, на этой земле, и ни один не вернулся в нее (словно гнушаясь женским обществом и этим зеленым холмом...). Поколение за поколением они уходили куда-то; долго ли было сменить граблище на ружье, а сенокосную рубаху на защитную гимнастерку? Шли, торопились, как будто на ярмарку, успев лишь срубить дома и зачать сыновей. И вот сейчас на родине, одинокие даже в земле, лежат прабабки и бабушки».

Путевые заметки В. Белова — это драматические этюды, действие здесь разыгрывается на глазах у читателей, волею автора обращенных в слушателей. Его диалог словно предназначен для чтения вслух — в нем мелодия, интонация, говор северян.

«Да ты не Акима Ивановича зеть?»; «Взяли да в Архангельск и уехали»: «...а как война-то выныялася, он и пошел в главный огонь».

Короленко в «Истории моего современника» писал, что поколению его отца знаком был род устойчивого равновесия совести. Он, отец, думал: «Законы могут быть плохи... Он, судья, так же не ответствен за это, как и за то, что иной раз гром с высокого неба убивает неповинного ребенка», он согласен был отвечать лишь за свое, личное поведение, сомневаться в безукоризненности которого не приходилось. Вразрез этому юность короленковского поколения была захвачена «разведающим, тяжелым, но творческим сознанием общей ответственности»... «за весь порядок вещей».

Чувство ответственности перед людьми,

творческое неуходящее беспокойство «за весь порядок вещей» живет в новеллах Василия Белова, повести А. Петухова, романе В. Чернова — в лучших произведениях «Севера». Журналу свойственно то бережное внимание к судьбе человека, которым всегда была и будет жива советская проза.

На этом я и закончу ознакомление с прозой журнала, тем более что всякая концовка в подобном случае условна. Только поставишь точку — вышли новые номера журнала (в этом году он стал ежемесячным), и пока рецензия появится в свет, что-то в журнале сдвинется, возникнет новое, существенное, о чем не было сказано, а что-то наверное окажется пройденным, вчерашним.

**С. БАБЕНЫШЕВА.**



### «В ПРИБОЕ ЖЕНЩИНА ИЗ БРОНЗЫ...»

**Дебора Вааранди. Люди смотрят на море. Стихи. «Эсти раамат». Таллин. 1968. 150 стр.**

Что лучше — когда книгу стихов поэта переводит один переводчик или несколько? Вопрос этот мы никогда не разрешим, если будем пытаться найти общее правило для всех случаев.

Само собой разумеется, что лучше, когда поэт переводит поэт, близкий ему по духу. Но где взять такой идеальный случай совпадения, если у нас переводятся на русский язык сотни книг с доброй сотни языков народов нашей страны? Мечта почти неисполнима, а раз так, не лучше ли ее дискредитировать? Разве исключено, что взгляд лисы, обостренный неудачей, заметил истинный недостаток недоступного ей винограда?

Итак, не слишком ли это расхожая мысль, что поэт-переводчик лучше всего переводит на другой язык свое духовное подобие? Я в этой истине сомневаюсь. Близнецы часто не самые лучшие друзья и даже не самые лучшие родственники.

Мне кажется, лучшие переводы получаются тогда, когда переводчик через перевод воплощает свою собственную художественную мечту. Не в этом ли тайна замечательных переводов Маршака из Бернса?

Книгу эстонской поэтессы Деборы Вааранди «Люди смотрят на море» переводила большая группа русских поэтов, среди кото-

рых такие непохожие и даже далекие друг от друга, как покойная Анна Ахматова и Борис Слуцкий, Давид Самойлов и Владимир Корнилов, Светлана Евсеева и Леонид Завальнюк.

И вот, несмотря на разнообразие собственных голосов и собственных музыкальных инструментов, мы чувствуем, что все они играют одну вещь и что еще важнее — эта вещь никому из них не принадлежит. Эта вещь — поэзия Деборы Вааранди. Если через такое многообразие индивидуальностей до нас дошла индивидуальность поэта, мы убеждаемся в силе и подлинности ее голоса. А ведь нередки случаи, когда читаешь поэта, переведенного несколькими переводчиками, и думаешь: что за черт, от него ничего не осталось! Переводчики, урча, растащили поэта по собственным поэтическим углам. Но всегда ли в этом виноваты переводчики?

Во всяком случае Дебора Вааранди не дала себя растащить. Достоинство ее поэзии внушило переводчикам сдержанность по отношению к собственным импровизациям. Так мне кажется. На этом я заканчиваю скромный гимн коллективным переводам.

Вот стихотворение «Осенью» в переводе С. Евсеевой:

На лугу печаль-прохлада,  
 Буря по лесу прошла.  
 Пашня скирдами богата,  
 Только пашня весела.

Разрумянилась рябина,  
 Золото берез кругом.  
 Галкам на поле былины  
 Пишет осень ячменем.

Я не сдвину копен тяжких,  
 Мой амбар для них не тот:  
 У меня горох в кармашке  
 И морошки полон рот.

Паданцы сдвигаю в грудь,  
 Чтобы не валялись зря.  
 Запах в яблоках откуда  
 Сеновала, декабря?

Долго с полными руками  
 Я в сыром лесу брожу.  
 Колочу орех на камне,  
 Гриб под елкой нахожу.

Руки жадные, как дети,  
 Почему вы так слабы  
 Обняла бы я все эти  
 Копны, ягоды, грибы!

Эти милые стихи, по-моему, хорошо переведены Светланой Евсеевой, несмотря на некоторые шероховатости. Так, я не вполне уверен, что эстонская осень пишет именно былины. А на вопрос:

Запах в яблоках откуда  
 Сеновала, декабря? —

можно ответить, что запах этот, как и сама интонация, — от Пастернака, правда, интонация приятная, и что еще важнее, она не противоречит духу и настроению этих стихов.

Кстати, боязнь обнаружить в своих стихах влияние какого-либо поэта — забавная черта современных стихотворцев. Раньше поэт мог опубликовать стихотворение с обезоруживающим подзаголовком «Подражание Гейне». Сейчас это трудно себе представить. Влияние и подражания, конечно, есть, но никто в этом добровольно не признается, а главное, не выставляет напоказ.

Тут, конечно, много причин, и анализ их слишком далеко увел бы нас от этой рецензии. Одна из простейших причин — перенаселенность Парнаса, отсюда и лихорадочные заботы о собственной прописке. Но не есть ли агрессивное стремление к самостоятельности — признак потери ее? Когда за стихами стоит личность поэта, никакое влияние повредить не может.

Зима прекрасна.  
 Взгляни — навстречу девушка идет!  
 Кровь с молоком — лицо.  
 Вздывается от взмахов лыжных палок  
 грудь.  
 Оголена, подставлена морозу — шея.  
 Пушистый иней на ресницах.

И даже если она несчастна,  
 вот так она несчастна:  
 кровь с молоком — лицо,  
 и шея длинная обнажена перед морозом.  
 и грудь вздыхает от взмахов лыжных  
 палок.

(Перевел Б. Слуцкий)

В этом отрывке из стихотворения «Зима» чувствуются отголоски спора поэта с самим собой, с какими-то своими невзгодами. Старая, но вечно обновляющаяся идея, что жизнь все-таки прекрасна.

Поэт может отдаваться потоку печальных или радостных настроений или же, наоборот, сознательным усилием воли плыть против потока — в обоих случаях важен духовный результат, а не маршрут сам по себе. В свое время многие наши критики, одобряя поэтическую попытку преодоления внутреннего кризиса, сердито отзывались о стихах, в которых такая задача не ставилась. И если поэт, скажем, утверждал, что жизнь без любимой ему кажется бессмысленной и ненужной, критик спешил отгородить читателя от таких стихов санитарным кордоном, словно поэтической тоской можно заразиться, как гриппом. Такая шаманская вера в прямое воздействие художественного произведения напоминает мне одного моего родственника из глухой горной деревушки, который в каждом приходе почтальона видел опасную возможность нового налогового уведомления.

Печали и радости поэта в книге Деборы Вааранди как бы окутаны воздухом родного края. Шелест сосен, мокрый морской ветер, пустынные дюны, зимний снег, не слишком яркое цветенье прохладного лета — вот среда, в которую она влюблена и в которой охотнее всего рождаются ее стихи.

В книге нет гулких, наступательных ритмов, скорее наоборот — зыбкая точность, сдержанный вздох, иногда порыв не вполне уверенный и, может, потому — трогательный. Такова особенность душевного строя поэта, что не исключает ни широты человеческих интересов, ни смелости художественных образов, ни прямой политической публицистики. Из какого рода стихов наиболее сильным мне кажется «Освенцим»:

Волосы на моей голове шевельнулись.  
Мои волосы встали и задымили в небо,  
как черные ветви деревьев.  
Мои волосы встали и зашевелились,  
как страницы пылающих книг.

(Перевел Л. Самойлов)

А вот пример, когда внутреннее состояние передается через неожиданный, физически зримый образ:

Будто окликнули зло и несмело —  
разнесся в пригороде гудок протяжный.  
Я почувствовала, что лицо мое одревенело,  
как на морозе шерсть варежки влажной.

(Перевела Л. Ахмадова)

А вот еще один удивительный образ:

В прибое женщина из бронзы  
похожа на цветок в кувшине.  
Там волны вокруг колен и торса  
стеклянные и зелено-сини.

(Перевел Л. Самойлов)

Как легко передается ощущение моря, живой зыбкости морской воды, сквозь которую просвечивает тело купальщицы. Интересно,

что в самом сравнении чувствуется, что женщина увидена глазами женщины. Мужчины, не слишком радуя нас богатством воображения, неоднократно сравнивали цветок в кувшине с женщиной. Возможно, строфа эта отчасти протест против шаблонных комплиментов.

Кстати, поэт Николай Глазков когда-то в ужасе воскликнул:

Так молотом плющат железину,  
Так мышцы сгибают колоссу,  
Так женщина смотрит на женщину,  
Так палки вставляют в колеса.

Сравнивая эти строфы, мы со вздохом облегчения убеждаемся, что Дебора Вааранди дает поэтическое опровержение певеселым выводам Николая Глазкова. И мы, как говорится, с удовольствием присоединяемся к этому более оптимистическому взгляду на природу женщины, хотя и не полностью отвергаем известную точность, заключенную в частном наблюдении русского поэта.

Ф. ИСКАНДЕР.



## СИМВОЛ ВЕРЫ ПОЭТА

М. Исаковский. О поэтах, о стихах, о песнях. «Советский писатель».  
М. 1968. 486 стр.

В предисловии к сборнику М. Исаковский пишет: «...я считал и считаю, что поэзия наша при всем своем многообразии, при всей глубине мыслей и чувств, заложенных в ней, при всей своей художественной силе и красоте должна быть простой и понятной... Я считал и считаю, что каждый поэт не только не должен в своих стихах усложнять простое, а наоборот, он должен, он обязан о самом сложном в жизни говорить просто и понятно (не впадая, конечно, в примитив)». Это одна из самых заветных мыслей М. Исаковского, она повторяется во многих его статьях и письмах, проходит через всю его книгу, поэт называет ее — «мой «символ веры»».

С давних пор и до настоящего времени он постоянно выступает против всякой вычурности, зауми, нарочитой условности в поэзии, против того, чтобы метафоры, аллитерации, эпитеты или другие элементы художественной формы становились самоцелью. «Я думаю,— пишет Исаковский,— что по-

этическая речь не должна производить впечатления специально придуманной. Ей необходима известная естественность, неприужденность».

М. Исаковский — убежденный сторонник и пропагандист поэзии широко демократической, доступной миллионам читателей.

Этот «символ веры» поэта сложился органически — в исканиях и преодолении разного рода формалистических тенденций в поэзии — футуристского, имажинистского, конструктивистского толка, — получивших довольно широкое распространение в нашей литературе первого пореволюционного десятилетия. Мне, рассказывает поэт, «пришлось пробиваться не через одну линию заграждений, выставленных тогдашними формалистами...».

Надежной опорой была для Исаковского русская классическая поэзия и в особенности Пушкин и Некрасов, которые жили в его сознании с детских лет. «Они,— пишет Исаковский,— как бы оградили меня от той мут-

ной и вредоносной волны формализма, которая хлынула тогда в поэзию». Глубокое влияние оказала на литературные убеждения поэта известная рецензия Горького на книгу его стихов «Провода в соломе».

И в наши дни М. Исаковский решительно возражает против утверждений, что классический русский стих устарел, не годится для современности и, прекрасно сознавая необходимость обновления поэзии, строго осуждает тех поэтов, которые видят новаторство и «раскрепощение» стиха в небрежном отношении к поэтической форме, пишут совершенно произвольно, без всякого ритма и рифмуют цирк с церковью, Америку с Емелей и гвозди с грозой.

Излагает свой символ веры Исаковский с предельной ясностью. У него нет желания без нужды усложнить разговор или щегольнуть перед читателем особыми секретами мастерства и сверхтонким пониманием хитроумного дела. Напротив, поэт пишет просто, популярно, можно даже сказать просто-душно, не отказываясь от уже известных истин, от повторений и подробностей. Но нет в его выступлениях ни популярничанья, ни упрощения.

И вот что особенно важно: утверждение простоты и понятности поэзии соединяется в статьях, речах и письмах поэта с высокой эстетической требовательностью. В делах поэзии, в оценке тех или иных стихотворений и начинающих и известных поэтов Исаковский неизменно взыскателен, неприступен и не знает никакой снисходительности. Он неутомимо преследует стихотворные поделки и имитации, ремесленничество и графоманию, примитивную или стандартную версификацию.

Более того: с годами Исаковский все чаще выступает против инфляции, некоего обесценивания поэзии (ни в малейшей мере не отрицая ее неоспоримых достижений), и все чаще и энергичнее утверждает, что литература сильна не количеством пишущих стихи и даже не количеством выпускаемых книг, а «только людьми талантливыми, только качеством созданных этими людьми книг».

Каждый читатель книги «О поэтах, о стихах, о песнях» имеет полную возможность убедиться в этом. Так, значительная часть книги посвящена песне, и лейтмотивом почти всех выступлений и писем М. Исаковского на эту тему является утверждение, что

стихи, которые могут стать песнями, должны быть произведениями подлинной поэзии и иметь самостоятельное художественное значение, независимо от того, будут они положены на музыку или нет, станут их петь или не станут. Поэт постоянно напоминает об этом, так как, по его справедливому мнению, у нас наряду с хорошими песнями «много песен слабых, серых, а то и просто халтурных», ибо «в область песни проникло немало холодных ремесленников», которые все и вся «заполнили своими так называемыми текстами, весьма сомнительными по качеству».

Об ответственном отношении к поэзии идет речь и в письмах начинающим поэтам, перепечатанных из известной, выдержавшей три издания, книги «О поэтическом мастерстве». Все они проникнуты мыслью, что настоящая поэзия требует таланта и мастерства, культуры и знаний, упорного труда, что ошибаются те, кому поэзия кажется делом легким и простым: «написал несколько строк в рифму, расположил их столбиком — и произведение готово».

Исаковскому как бы выпало на долю показывать и растолковывать издержки массового литературного движения, и он делает это с терпением и талантом истинного педагога, отбирая из тысяч присланных писем начинающих поэтов наиболее типичские и поучительные, не жалея труда на разъяснение «азов» и неоднократное возвращение к «пройденному».

К сожалению, в этом нуждаются иногда не только начинающие поэты. Так, читатель найдет в сборнике известное письмо Исаковского в «Литературную газету» о стихах Осипа Колычева — поэта уже давно выступающего в области литературы. Письмо озаглавлено: «Как не следует писать стихи». И остается только пожалеть, что не вошла в сборник памятная многим статья о стихах А. Маркова. В ней тоже убедительно разъяснялось, как не надо писать стихи.

Наконец, и в статье «Доколе?..», опубликованной в прошлом году в журнале «Вопросы литературы» и вызвавшей оживленную дискуссию, говорится о «ненормальном и потому нетерпимом положении» в современной поэзии. Некоторые поэты и критики пытались возражать Исаковскому (многие были согласны с ним), но основные положения статьи «Доколе?..» остались непровергнутыми.

Как известно, у серости в литературе всегда находились адвокаты. Оправдывали они и безоголядное — в любом количестве — издание книг сомнительного качества. Дескать, во все времена были произведения хорошие и плохие, глубокие и поверхностные, и, следовательно, беспокоиться не стоит. Дескать, пусть выходят слабые и посредственные книги: они пужны для «удобрения почвы» и для «соревнования». У сдержанного Исаковского подобные рассуждения вызывают самое горячее негодование: издавать «никому не нужные книги для «удобрения почвы» ни к чему: «навоз»-то получается такой тощий, что вряд ли на нем вырастет что-либо хорошее. Издавать для «соревнования». И это не аргумент: слабыми, плохими сборниками никто никого не перешибляет».

Очень важную роль в развитии нашей поэзии М. Исаковский отводит редакциям издательств, журналов и газет. Между тем издательства, журналы и особенно газеты, по его словам, часто относятся к выбору стихов для печати крайне несерьезно и даже безответственно, сплошь и рядом прощают поэтам их малограмотность или не замечают ее и печатают стихи, которые дискредитируют поэзию, вводят в заблуждение читателей и приучают поэтов писать, что называется, спустя рукава. В книге Исаковского можно найти примеры из «Комсомольской правды», из «Известий», из «Советской России». Последний образец, приведенный в статье «Доколе?..», — уже получившие печальную известность строки Сергея Острового, напечатанные тоже в столичной газете:

Вижу давних времен опушку.  
Плачут кони. Горят дома.  
Разрядите меня, как пушку,  
А не то я сойду с ума.

«То, что это не стихи, а пародия на них, видно сразу же, — пишет по поводу этих строк Исаковский. — Как бы там ни было, хочется спросить у автора, как удобней разрядить его? «Как пушку?» Можно сказать, что статьи поэта о том, как не следует писать стихи, с полным основанием можно было бы назвать: какие стихи не нужно печатать.

Выступления против плохой, примитивной поэзии и снисходительного, безответственного отношения к ней перемежаются и переплетаются в книге М. Исаковского с по-

лемикой против упрощенного подхода к поэзии со стороны критики и читателей.

Письмо Исаковского критику Н. А. — из Орловской области заслуживает, чтобы его привести полностью, и только недостаток места в рецензии заставляет меня отказаться от этого. Речь в письме идет о стихотворениях Исаковского «Край мой смоленский» и «Зелена была моя дубрава». В том и в другом стихотворении критик Н. А. — в наш пессимизм и осудил их. «Мир поэта представлен здесь мрачной осенью, криком гусей, улетающих в теплые страны, и мотивом гармошки: «позарастали стежки-дорожки», — пишет он.

Наверное, Исаковский обошел бы рецензию Н. А. — ва молчанием, если бы не увидел в ней некоторой характерной и вредной тенденции. У нас появилось большое количество читателей и критиков, поясняет он, которые во всех случаях отрицательно отзываются о лирических стихах, если эти стихи написаны не в мажоре, а с некоторой раздумчивостью, с грустью, у нас «не принято» хорошо отзываться о стихах «негромких», о стихах сколько-нибудь печальных. «Не будем гадать, — пишет поэт, — откуда это пошло, но повелось так, что у нас как бы и не должно быть грустных стихов: все, мол, идет настолько хорошо, что людям печалиться и горевать совершенно не о чем. Они могут только радоваться. Ну, конечно, и поэты должны писать стихи только о радости, только о счастье...

Все это, я бы сказал, настолько противно, настолько противоречит жизненной правде, настолько ущемляет поэзию, что я не выдержал и написал ответ своему критику».

В своем ответе М. Исаковский прежде всего раскрывает тему стихотворения «Край мой смоленский». Человек после долгих лет разлуки приезжает в родные места, где он родился и вырос. Он, естественно, предается воспоминаниям. Здесь когда-то «бродила» его юность. Но она прошла и никогда не вернется... И человеку становится грустно.

«Вы утверждаете, — пишет поэт критику, — что это пессимизм, а я говорю, что это естественное чувство всякого нормального человека, прожившего на земле довольно долго. Это чувство останется у людей и при коммунизме, ибо человеческая натура никогда не может примириться, например, со

старостью или смертью. Человек всегда будет вспоминать свою юность с самыми нежными чувствами и с грустью, сожалея, что она навсегда миновала. Лишить человека этого, я бы сказал, прекрасного чувства — значит обеднить его внутренний мир...

И вопреки Вашему мнению, я хочу сказать, что стихотворение «Край мой смоленский» кажется мне одним из лучших моих стихотворений, таким, каких у меня не столь уж много.

Говоря о стихотворении «Зелена была моя дубрава», М. Исаковский тоже сначала определяет тему стихотворения: девушка или молодая женщина вспоминает любимого человека, погибшего в бою с врагами, и, естественно, горюет, плачет... А затем М. Исаковский «комментирует». И здесь я не могу не привести его рассуждений полностью.

«Так неужели же она не имеет права поплакать, погоревать? — пишет Исаковский критику о героине стихотворения. — Неужели она, грубо выражаясь, должна танцевать по поводу гибели своего возлюбленного или же, в крайнем случае, равнодушно говорить, что, мол, ничего, все обойдется...

Ее чувство — это также одно из чувств, свойственных человеку, и оно останется у человека всегда. Социалистический или коммунистический строй вовсе не предполагает сделать всех людей «каменными», такими, которым все ничем. Люди всегда будут сожалеть о гибели своих близких. И лишить их этого чувства — также значит обеднить их психику, их внутренний духовный мир.

Была жесточайшая война, во время которой погибли миллионы близких нам людей... Было бы абсолютно ненормальным, если бы мы не жалели своих близких, павших в бою с врагами, не горевали о них».

Однако не только с критиком Н. А.—вым из Орловской области пришлось полемизировать по этому вопросу М. Исаковскому.

Когда появилось известное стихотворение «Враги сожгли родную хату» (1946), критик С. Трегуб поместил в «Комсомольской правде» заметку, в которой осуждал его. Затем некий читатель прислал в редакцию газеты письмо. Он писал: «В самом деле, почему это у Исаковского сказано: «Куда ж теперь идти солдату, кому нести печаль свою?» Разве у нас некуда пойти? Пошел бы, например, в сельсовет, там бы с ним поговорили, дали бы совет, помогли бы...» Вскоре отрицательное отношение к стихо-

творению стало достаточно распространенным в критике, а один автор специальной статьи-лекции об Исаковском даже утверждал тогда, что «несбывшиеся надежды» война-победителя искажают образ советского человека, замыкают его в мирок личных утрат и переживаний».

«Я просто недоумеваю,— писал по этому поводу М. Исаковский,— почему критик осуждает «несбывшиеся надежды» солдата, который хотел, вернувшись с войны, встретить своих родных и близких, но никого не встретил? Что же крамольного в этих надеждах — сбывшихся или даже несбывшихся? Почему они, как сказано в статье, «искажают образ советского человека»?..

Это уж что-то совсем постижимое! Человек вернулся из самого пекла войны. И оказалось, что дом его сожжен, семья уничтожена, любимая жена загублена. И то, что он очень тяжело переживает эту трагедию (а не переживать ее могут только неодушевленные предметы), критик называет «замыканием в мирок личных утрат и переживаний». Ничего себе, хороший мирок!»

Столь же существенна, как и полемика с критиками, переписка М. Исаковского с читателями. Впрочем, и здесь иногда дело не обходится без спора. Читатель бывает разный.

Известно, что мнениям читателей придается у нас большое значение. И это справедливо. Письма читателей, как правило, отличаются непредвзятостью и свежестью взгляда, основанного на опыте и непосредственном наблюдении жизни, и содержат в себе немало полезного. Для М. Исаковского получить письмо от читателя — большое удовольствие. «...Читательские письма могут подсказать немало интересного и нужного», — говорит поэт. Но, добавляет он, бывают письма «и несколько иного характера».

Бывает, что читатель возражает против строчки «рыщет ветер на проселке», полагая, что рыскать может лишь голодный волк, и в ответном письме М. В. Исаковский терпеливо отстаивает право поэта пользоваться метафорой. Бывает, что читатель жалуется на «зловредное» стихотворение Исаковского «Черемуха», усмотрев в нем «хищническое» отношение к природе, и поэт обстоятельно разъясняет читателю, какое это непродуктивное занятие — судить о стихах по инструкции об охране зеленых насаждений.

Бывают недоразумения и споры и более серьезные. Например, спор о таланте.

Исаковский рассматривает два письма по этому вопросу. Автор одного из них утверждает, что талант всего-навсего ярлык, который наклеивается на трудовой опыт и умение человека, обладающего здоровым, нормальным организмом, и решительно возражает против самого понятия «талант», именуя его условным. Другой читатель еще категоричнее утверждает, что никаких прижизненных способностей и талантов не существует, что все люди рождаются одинаковыми и становятся разными по своим взглядам, призванию, способностям и талантам в зависимости от материальных условий, среды, социального строя. Утверждая это, читатель ссылается на марксистско-ленинское учение.

Письма эти примечательны, а их авторы — читатели особого склада. Они принадлежат к числу тех «критиков», которых слово «талант» раздражает, которые видят в нем нечто мистическое и подозрительное. Их представления о равенстве примитивны, их понимание марксизма-ленинизма — вульгарно. Им хотелось бы упростить мир до простоты таблицы умножения и укоротить всех людей до своего роста. Тем самым было бы оправдано их пренебрежительное отношение к обладателям таланта. Слова В. И. Ленина: «Талант — редкость. Надо его систематически и осторожно поддерживать», они или «забывают», или перетолковывают по своему.

М. Исаковский ответил авторам писем о таланте с обычными для него спокойствием и рассудительностью. Первому читателю он писал, что если таланта не существует и все дело в здоровом, нормальном организме и приобретении опыта и умения, то, очевидно, «можно было бы отобрать какое угодно количество людей, у которых организм вполне здоров и работает нормально, создать для этих людей все условия, с тем чтобы они могли приобрести «умение», скажем, в литературе и искусстве, и в результате у нас появились бы новые Толстые, новые Пушкины, новые Чайковские, новые Репины и многие-многие другие. А между тем Толстые и Пушкины рождаются один раз в столетие».

Со вторым читателем поэт не согласился в том, что все люди рождаются одинаковыми. «...В природе ничего не рождается и не растет одинакового. К примеру говоря, на

всем земном шаре нельзя найти двух берез, которые были бы во всем одинаковы... — писал он. — Вы категорически возражаете против утверждения В. Солоухина, что Шалаяпину, Собинову и Обуховой их дивные голоса даны самой природой. Вы полагаете, что Шалаяпиных, Собиновых, Обуховых можно воспитать в любом количестве, их можно выпускать чуть ли не конвейерным способом. Если это так, то позвольте Вам задать ну хотя бы такой вопрос: создав соответствующие условия, можно ли было бы добиться того, чтобы Собинов пел, скажем, не тенором, а басом? По Вашей теории выходит, что можно — ведь люди рождаются одинаковыми и из каждого новорожденного можно «вылепить» все, что угодно. Думаю, что Вы очень заблуждаетесь».

Возразил М. Исаковский и на слова читателя, что, дескать, если таланты рождаются, а не воспитываются, то зачем прилагать усилия остальным миллионам и заниматься воспитанием способностей, талантов. «Тут Вы явно передергиваете, — пишет поэт. — Таланты, склонности, способности — все это действительно надо воспитывать. Ведь любой талант не родится в совершенно готовом виде. Он начинается с малого и все время растет, развивается. Вот тут-то и нужны усилия общества, влияние среды». Для Исаковского ясно, что материальные условия, среда, социальный строй имеют решающее значение при воспитании в человеке того или иного таланта и склонности, но все же лишь в том случае, если этот талант и склонности у него имеются хотя бы в зачаточном состоянии: «Коль семечко не посеяно, то ничего и не вырастет, нечему будет и развиваться. Из ничего, из нуля ничего сделать нельзя». Напомнил он читателю, всеу ссылавшемуся на марксистско-ленинизм, и слова В. И. Ленина о таланте.

Таковы некоторые существенные черты «символа веры» поэта. Конечно, только некоторые. Содержание выступлений М. Исаковского несравнимо шире и богаче моего краткого изложения<sup>1</sup>. Но теперь они собраны в книге «О поэтах, о стихах, о песнях», и я горячо рекомендую ее читателям.

**А. ДЕМЕНТЬЕВ.**

<sup>1</sup> В частности, особого внимания заслуживают воспоминания М. Исаковского. Но к ним лучше будет обратиться в связи с напечатанными в «Новом мире» «автобиографическими страницами» поэта «На Ельнинской земле».



## ВНИМАНИЕ: ШАРЖЕГРАММЫ!

Это я?.. Шаржи — Кукрыниксы. А. Раскин — эпиграммы. «Искусство». 1968. 102 стр.

**К**укрыниксы хорошо известны как художники-карикатуристы, работающие в области политической сатиры. Но далеко не все знают, что начинали они с других жанров — с пародий и шаржей на литераторов. И имели при этом большой успех.

Лег десять назад неразлучная тройца карикатуристов «трихнула стариной», создав целый цикл интересных шаржей-пародий, который получил название «От Ренессанса до абстрактивизма».

И вот теперь перед нами еще одно свидетельство того, что первая любовь не ржавеет: вышел новый альбом художников, содержащий шаржи на современных деятелей литературы и искусства.

Когда-то шаржи Кукрыниксов публиковались вместе с пародиями Александра Архангельского. Изображение и слово не просто дополняли друг друга; они были проинкнуты единым духом, единой мыслью, образуя замечательный синтез. «Карикародии» — так называли в свое время соавторы один из своих сборников.

Ныне Кукрыниксы выступают в творческом содружестве с Александром Раскиным. Правда, на сей раз шаржи даны в сочетании не с пародиями, а с эпиграммами. Но это не меняет сути дела: перед нами снова пример точного взаимодействия комического изображения и остроумного слова. Два эти компонента — графический и словесный — настолько органично сливаются друг с другом, что образуют как бы единый «синтетический» жанр. Как назвать произведения этого жанра? «Эпиграммошаржи»? А может быть, «шаржеграммы»?

Вот, например, перед нами рисунок, на котором запечатлен кинорежиссер Григорий Александров. Постановщик популярных в свое время кинокомедий выглядит солидно и монументально. Как памятник самому себе. Глаза его — полузакрты. Вероятно, он погружен в самосозерцание. А может быть, просто дремлет...

Карикатуристы как бы «материализуют» мысль поэта-сатирика, выраженную в эпиграмме:

С веселым смехом он давно  
Вошел в историю кино.  
Возможно ли такое чудо,  
Чтоб он вернулся к нам оттуда?

Писатель Виктор Некрасов нарисован художниками в кепке и с чемоданом под мышкой. На чемодане наклейки, извещающие о том, что его владелец немало поездил по белу свету: был и в Риме, и в Париже, и на нашем Дальнем Востоке. Сейчас он, вероятно, опять собрался в дорогу... Так что же: перед нами «турист с тросточкой»? Нет! Пылливый, вдумчивый литератор.

Образ кукрыниксовского Некрасова дорисовывает А. Раскин:

Про него пустили анекдот:  
Дескать, он — Некрасов, да не тот...  
Но Некрасов человек упрямый,  
И теперь все говорят: «Тот самый!»

В свое время, работая над шаржами, Кукрыниксы были щедры на выдумку. Перелистайте их «карикародии» двадцатых — начала тридцатых годов и вы убедитесь, что почти каждый из рисунков тех лет представлял собою целую сценку — изобретательную и остроумную.

Исаак Бабель с буденовкой на голове и с саблей в руке, сидя в кресле, скакал на огромном битюге...

Илья Сельвинский, пританцовывая, вел на поводке медведя...

Теперь художники стараются попридержаться буйный полет фантазии. Большинство шаржей, собранных в новом альбоме, — «поясные». Строже стала сама манера рисунка. Меньше в ней сатирической соли, больше — «дружественности». Это не значит, что шаржи стали пресными и скучными. Вовсе нет! В каждом из них обязательно есть какая-нибудь «изюминка».

Эпиграммы Александра Раскина, как уже говорилось, составляют с рисунками Кукрыниксов органичное идейно-художественное единство. Конечно, не все они равноценны (есть среди них и слабые). Однако в большинстве своем это остроумные афоризмы, которые в нескольких строках раскрывают какую-то очень важную сторону изображаемого. Причем адресат их угадывается безошибочно.

«Период розовый»... «Период голубой»...  
Периодически он был самим собой

Всего две строки. Но мы сразу же понимаем, что это Пикассо. Именно он. И никто другой.

А вот другие две строчки. Не менее выразительные:

Художник бога превзошел namного:  
Бог сотворил людей, художник — бога.

Надо ли объяснять, что это Жан Эфель? И без того ясно.

Поэт хорошо чувствует комические возможности слова. Он умеет взглянуть на привычные, устоявшиеся словосочетания пристальным взором сатирика-юмориста; умеет переосмыслить их, вывернуть наизнанку, обнажить такие их стороны, благодаря которым фразы давно известные и прискучившие неожиданно приобретают свежее звучание. Сколько раз слышали мы, например, древнее изречение, приписываемое Наполеону: «От великого до смешного — один шаг...» Но вот Раскин пишет о Чаплине...

Однако сначала несколько слов о соответствующем шарже Кукрыниксов. На нем изображен не только Чаплин, но и Чарли. Великий артист и созданный им герой держатся за одну тросточку. Ту самую, знаменитую. Чаплин изображен в профиль. Он смеется. А Чарли нарисован анфас. Если закрыть ладонью левую половину его лица и смотреть только на правую, то видно, что Чарли тоже смеется. А если закрыть правую половину, он — плачет.

Рисунок этот сопровождают следующие строки поэта:

Чаплин! Смотрим не дыша  
На смешной и грустный лик его...

Жизнь его — прекрасный шаг  
От Смешного до Великого.

Трудно писать об альбоме Кукрыниксов и Раскина. Трудно, потому что шаржи все равно не перескажешь. А пересказывать эпиграммы глупо: их надо цитировать. Не случайно З. Паперный в своем остроумном и лаконичном вступительном слове к книге вынужден был заявить: «Единственная цель моего предисловия — сказать о мастерстве четырех участников книги, столь высококом и доходчивом, что тут уж никакие предисловия и послесловия не нужны».

И это действительно так. К чему комментарии, если и без них все ясно? Они не нужны.

Нужны глаза. И два рубля восемнадцать копеек — чтобы получить эту веселую книгу в свое личное и вечное пользование. Если, конечно, еще удастся найти ее в книжных магазинах.

А в заключение — одно практическое предложение. Мне кажется, что сейчас явно пришло время выпустить «сборный» альбом Кукрыниксов, который включил бы в себя и их давние «карикородии», созданные в содружестве с Александром Архангельским, и нынешние «шаржеграммы», сделанные художниками вместе с Александром Раскиным. Такой альбом был бы замечательным подарком нашему читателю-зрителю, очень соскучившемуся по настоящему, умному смеху.

**Д. НИКОЛАЕВ.**



## ШЕСТЬ МЕТРОВ СЧАСТЬЯ

**Валерий Попов. Южнее, чем прежде. Повести. Рассказы. «Советский писатель».**  
Л. 1969. 204 стр.

**В** последнем рассказе сборника «Я даже удивился», словно предваряя критику в свой адрес, Валерий Попов уведомляет читателя: «Все говорят — что-то такое странное вы пишите... Ни сюжета. Ни судьбы, прослеженной до конца... А когда я мог проследить?.. Вот мне кто нравится? Бах. Потому что у него можно жить в каждом звуке, у него в каждом звуке уже все есть — и жизнь, и смерть, и любовь, и ненависть, и волнение. — в одном звуке. А у других в звуке не проживешь, разве что в целом мотиве, мелодии... А мелодия — когда

еще она доиграется до конца? Может, и всей жизни не хватит. Значит, так нужно писать и вообще так чувствовать, чтобы в каждом звуке, слове или предмете было сконцентрировано уже все, что человека волнует...»

Это очень важное заявление.

Каждый рассказ, каждая страничка этой книги (заметим, кстати, — первой книги молодого талантливого писателя) звучит отчаянным призывом: умей ловить мгновение счастья. счастье — оно кругом, всюду, и главным образом там, где ты и не надеешь-

ся его встретить. Кто знает, как еще сложится жизнь, а ты распахни глаза, сердце — и лови!

Вот, например, в рассказе, давшем название сборнику, автор повествует о том, как его герой едет с товарищем по службе в командировку в южный город. Этот товарищ, по определению героя, — «самый большой зануда» из всех, каких он только видел в своей жизни. Едва выйдя из поезда, наш герой садится на чемодан, прямо у вагона, и ему становится так тепло и уютно, что не хочется никуда двигаться. А что делает «зануда»? Он, естественно, торопится к стоянке такси. «Видно, многое он так упустил, — размышляет герой, — признавая радость только в местах, специально для нее отведенных. А там ее почти и нет, совсем нет, настолько она зыбка, неуловима, и сразу ускользает оттуда, где ее объяснили и прописали».

А вот этот же молодой человек попадает на Кавказ, в Сочи, сходит с трапа, «чувствуя за спиной прекрасную, масляную, грустную гушу корабля». Он здесь бывал не раз, но «все как-то не с того конца», и вот он идет через длинный белый мост, а за мостом — темная улица под густыми деревьями и — «людей тут было полно, и всех была какая-то дрожь, все боялись, что скоро кончится это — теплота, темнота, любовь». И вот уже и он «кнабухает счастьем» и чувствует, что дошел до предела в этом своем странном счастье ни из-за чего, просто так...

В этом вся суть, полагает автор. Надо уметь ощущать радость ни из-за чего, радость без причины, она-то и есть самая главная.

Не следует думать, что В. Попов воспевает этакое прожигателя жизни, легкомысленного субъекта, занятого исключительно шатаньем по Черноморскому побережью Кавказа в поисках острых ощущений. Чем занимается «в миру» его молодой герой, — кстати, весьма образованный и интеллигентный человек, — я скажу позднее. Но сейчас важно подчеркнуть другое: у автора этой книги есть жизненная позиция, если хотите — философия, к своей «вере» он жаждет приобщить и нас, читателей, он ищет единомышленников, он учит, он проповедует... Что? Да вот послушайте.

В рассказе «Другая жизнь» В. Попов говорит: «Когда-то я вдруг ясно ощутил, что жизнь всего одна. И очень определена в се-

бе, замкнута. И пусть она даже хороша, да все ужасно, что одна. А нельзя ли сразу две жизни жить, или три?»

Нет, скоро понял я, нельзя.

Но хоть бы немного пожить другой жизнью, пусть несравненно более трудной и странной, даже только почувствовать ее запах — уже радость.

Он зовет пройти «по какой-то улице, по которой иначе никогда не прошел бы», увидеть «людей, которых раньше никогда не видел». И не просто «пройти» и «увидеть», а и пожить их жизнью, ловить с ними рыбу, вместе с ними уставать на их работе, если придется — и пострадать, испытать лишения, даже голод и жажду... Ради чего же? Да все ради того, чтобы познать новое, видеть, осязать, впитывать в себя неиссякаемое многообразие жизни. Он жаден на ощущения, и если перед ним встает дилемма — идти ли «по линии удовольствия», обычного, скучного, общепринятого удовольствия, или «по линии волнения», — он всегда выбирает второе. И не проигрывает. Так уж он устроен, что никогда не проигрывает при этом, не остается в накладе.

Потому что у молодого героя В. Попова свои понятия о человеческом счастье, своя шкала ценностей, по которой он судит людей, свои представления о самоуважении и жизненном успехе, и, с его точки зрения, шофер автобуса, с лицом значительным и острым, помогающий бестолковым старухам-пассажирам, — человек отнюдь не заштатный, а истинно незаурядный в своей доброте и благожелательности (рассказ «Другая жизнь»).

И только преодолев общепринятые суждения о том, как надо жить и кем быть в этом мире, поломав замшелые предрассудки о «приличном» и «неприличном» поведении, стараясь при этом никогда не причинять людям боли, можно, утверждает автор, стать по-настоящему счастливым. Вот к чему подводит нас исподволь В. Попов.

Самый удивительный, трогательный и вместе с тем самый странный рассказ в сборнике называется «Не спать, не спать!». Он все о том же — о преодолении инерции сложившегося, установленного порядка жизни.

Молодой инженер приезжает на завод в некий город на берегу моря. Командировка окончена, дело сделано, можно возвращаться домой. Но вот он идет ночью по мокрой, пустой, темной улице. Ночевать ему нигде.

Полагалось бы расстроиться, ведь с детства усвоено неопровержимое: остаться без ночлега в чужом городе — неприятность. А между тем он чувствует себя прекрасно, спать не хочется, голова ясна.

Его так и тянет отойти подальше «от той видимости законченности, полной определенности всего, что и принята нами наспех, для краткости, а вместо этого многим чуть ли не законом представляется, после которого ничего другого и нет».

Он забредает к реке, где стоят проржавевшие корабли, кругом — каналы с мазутной водой, какие-то технические, не природные островки. С веселым легкомыслием и любопытством он отдается во власть самых невообразимых приключений, пока, невзначай оступившись, не катится вдруг по каким-то ступеням вниз, к каналу. Только у самого края успевает он распереться ногами и руками в стены узкой каменной лестницы. Внизу — далеко, метрах в шести — ровная спокойная вода и на ней плавает что-то вроде размокшей двери — словом, плот. И хочется ему прыгнуть: ведь если он сейчас не сделает этого, значит, определится его жизнь, закончилась, думает он, и теперь пойдет только по прежним, разученым кругам. Вскрикнув, он отталкивается от скользких стен и летит вниз — шесть метров счастья!..

Он не разбился, а поплыл на плоту по каменному коридору. Что с ним было дальше в эту удивительную ночь, пересказывать не стоит. Важно лишь, что даже если нечто подобное и пришлось пережить автору, — а все описано с завидной достоверностью, да и вообще, как говорится, «такого не выдумаешь», — происшествие это имеет скорее символический характер. И долженствует оно, по-видимому, означать, что так и только так — необычно, странно, ни на что не похоже — можно ухватить за хвост счастья.

Невольно поддаешься обаянию точного авторского письма, его молодому увлечению и задору. Но вдруг ловишь себя на мысли: что-то уж слишком горячо уверяет нас герой рассказа в своем счастье, что-то уж больно усиленно доказывает, — как доказывают, пожалуй, не постороннему, а самому себе. И грустно делается. Печальный получается рассказ. Тяжко достается это самое счастье. Шесть метров лететь до него, шутка ли? Малодоступное оно какое-то, если приходится так летать: ведь кое-кому и

годы не позволят, и здоровье тоже, — как тут быть? Да и сам герой, что станет делать, когда чуть-чуть постареет?

А с другой стороны, начинаешь думать, что, видно, легко все же складывалась у нашего героя жизнь, если ему не страшно идти всегда «по пути волнения», видно, по настоящему миновали они его, эти самые волнения, каким-то удивительным образом обошли его стороной, коли уж так он к ним стремится. Ведь нам, грешным, чего-чего, а волнений в жизни хватало даже с избытком, и не станем мы их сами искать. И опять же назойливо преследует мысль, что и его они вряд ли обходили, что-то трудно себе представить чью-либо не эгоистическую жизнь без волнений — не за себя, так за других — и тогда окончательно укореняется убеждение, что наш герой попросту уходит от истинных, нешуточных, невыдуманных волнений в выдуманные. И снова делается грустно.

И вдруг, как почти уже неопровержимая догадка, является предположение: уж не этот ли совет и хочет нам дать автор? Мол, счастье можно обрести не через свою, а лишь через чужую (вторую, третью) жизнь. Не гладкая и она, конечно, да по крайней мере хоть будешь где-то внутри знаешь, что не твоя она, а чужая. И выход лукавый всегда есть: убежать из нее и вернуться «к своим пенатам».

Так кто же он, однако, герой В. Попова? Помню погони за каждым отдельным звуком жизни, отрезком в «шесть метров счастья» — чем еще дышит?

Этот герой, этот «я» — почти все рассказы сборника написаны от первого лица и совершенно ясно, что он alter ego самого автора, — молодой инженер, а затем начинающий писатель. Во всяком случае этот «я» — человек одаренный, думающий, современный в самом добром значении этого слова. Он чувствует технику так, как способен чувствовать лишь причастный ее тайнам. Ему и надобности нет лебезить перед ней, как иным непосвященным, которых подчас охватывает перед ней некий мистический ужас, он ей — свой.

Нам известно, что его дипломная работа — ультразвуковая очистительная установка на мукомолье («Поиски корня»). Мы знаем, что он чинит на заводе какой-то «излучатель», и нашему герою достаточно бросить беглый взгляд, чтобы заметить, что

болты на нем слишком стянуты и пьезопластины изогнулись («Не спать, не спать!»). В гидроакустическом отсеке огромного, как небоскреб, корабля он ищет неполадки в работе эхолота и эхолога, находит и исправляет их («Южнее, чем прежде»). Он участвует в разработке таинственного проекта «Подорожник» (в одноименном рассказе), видит странные сны, затем, гуляя, наблюдает за резвящимся котенком, и все это непонятным, счастливым образом претворяется в его сознании в число витков, в катушки, в легкий прозрачный капсуль... Он маг и волшебник в своем деле.

Любуешься его сложной, веселой работой, его властью над покорной ему техникой, веришь, что она не выйдет из повиновения, пока находится в его ловких, умных руках. А ведь бывает пока что и иначе, техникой кое-где еще «заведует» и тот самый «зануда», которого так не любит В. Попов. У «зануды» другой стиль: «В институте, получив задание, он обычно долго смотрит на него, задыхаясь от обиды и гнева. Потом, хлопнув дверью, убегает в самый дальний от нас корпус, забирая, так сказать, поглубже. Оттуда, а потом отовсюду вокруг начинает нарастать рокот, вот он все ближе, все громче, и в нашу комнату врывается эта огромная жуткая волна — звонят, подпрыгивая, телефоны, ругаются все со всеми, плачут монтажницы и машинистки, и над всем этим, а точнее во всем этом, летает он, упиваясь столь бурной деловой атмосферой. Потом это начинает стихать, все ходят как после болезни, улыбаются сквозь слезы, смотрят. Зато никто уже не забудет, как мы делали такой-то проект, и все будут помнить, кто его возглавлял. А сделать это просто и тихо, не вовлекая сюда событий в Гвинею, а также семейных раздоров в цеху, а также аморальных поступков отдельных сотрудников, сделать чисто, так сказать, технически, как это люблю делать я, — так никто и знать-то не будет, и всю жизнь будут тебя считать лентяем, понапрасну получающим деньги».

Поистине, два стиля, два противоположных мироощущения. Наш герой — это тот, кто уже — то там, то здесь — приходит на смену «зануде» и бюрократу. Спасибо В. Попову, что он рассказал нам, какой он. Нам важно это знать, ведь таких, как он, много, и не от этой ли смены отчасти зависит наше настоящее и будущее? Тем более хотелось бы, чтобы эти умные, умелые мо-

лодые люди не отрешивались от наших общих житейских и социальных забот, не уходили от них в «голую» технику, в свои эфемерные переживания и не менее эфемерные радости.

Каков же итог? Да, симпатизируешь уверенности нашего героя в себе, его лихой способности на прыжок, на полет, на шесть метров счастья. Ему веришь... Но не до самого, однако же, конца. Вот в одном из рассказов («Ювобль») автор пишет: «Как наша земля имеет атмосферу, в которой изменяются, разрушаются, сгорают летящие в нее метеориты, так и человек должен иметь атмосферу духовную, где изменяются, разрушаются, сгорают летящие в него несчастья...» Должен, пишет он. Должен... А может ли? Получается ли у него это? Если прыгнет и полетит, если заведет в себе некий, поневоле хочется сказать, игрушечный моторчик мальчишески-самолюбивого восторга, то — да...

Но не всегда это ему, к счастью, удается. Слишком он еще все-таки неиспорченный, равнодушный, наш молодой герой. И возвращаясь еще раз ко всему прочитанному, вспоминаешь, к примеру, что в повести «Поиски корня» он едет с братом в родную деревню на Волге, к обиженным им некогда по легкомыслию дяде Ивану и старенькой бабушке, и их простая, рабочая, полная испытаний жизнь глубоко и искренне волнует его. Ничто не миновало этих людей — ни бедность, ни тяжкий труд, ни перестройка деревни, ни война, ни болезни. И когда тетка говорит ему: «У нас вся семья такая. Ничего не пропускали. Все на свете шло через нас», — он начинает сознавать, что в этом-то, может быть, и заключены высший смысл и истинная красота человеческого существования.

И ему радостно сознавать, что старая бабка оказалась «неожиданно сильно и страшно» похожей на него, и на его отца-ученого, и на его брата-студента, и на его «огромных, потных, зевластых дядьев». А в рассказе «Ювобль» он жалеет одинокую, всеми покинутую собаку Стручка, а в «Другой жизни» делит с рыбаками их нелегкий труд, и ясно видно, как боль за людей, за все живое проникает в его сердце и жалит.

Так много это или мало — шесть метров счастья? И получается — маловато. Надеемся, что это понимает уже и Валерий Попов.

**И. ВАРЛАМОВА.**

## ЛИТЕРАТУРА И «ВЕДЕНИЕ»

Б. Эйхенбаум. О поэзии. «Советский писатель». Л. 1969. 552 стр.

В слове «литературоведение» сталкиваются две глубоко различные стихии: литература с ее мышлением в образах и наука, «ведение», разговаривающее языком точных определений, терминов. Слово это напоминает рукопожатие — так подают друг другу руки перед началом поединка.

Читая статьи и рецензии о литературе, в особенности о поэзии, видишь, как часто в таком столкновении начинает преобладать одна или другая сторона. То автор, забыв, что он «вед», сыплет взволнованно раскавыченными цитатами, соперничая в эмоциональности с поэтом, о котором идет речь. То, наоборот, не обращая внимания на природу и своеобразие своего предмета, решительно переводит язык поэзии на сугубо научный, чисто понятийный.

Борис Михайлович Эйхенбаум (1886—1959) — литературовед в доподлинном смысле этого слова. Он подходит к русской поэзии как ученый — историк и теоретик, но не накладывает своих дефиниций и классификаций на живую почву искусства. Заканчивая одну из самых значительных своих работ, «Мелодику русского лирического стиха», он писал: «...в научной работе считаю наиболее важным не установление схем, а умение видеть факты... пусть материал не до конца укладывается в схему — ей никогда не обнять всего его разнообразия...»

Порой Б. Эйхенбаум выходил за рамки литературоведения, пробовал себя как литератор, журналист. В 1929 году он даже выпустил книжку «Мой современник». Она строилась как журнальный номер: словесность, наука, критика, смесь. И все разделы этой книжки-журнала были заполнены статьями, заметками, воспоминаниями Б. Эйхенбаума.

Когда читаешь «Временник» сегодня, чувствуешь: интересно, а все-таки в целом идея выпустить «свой» журнал не получилась. Наверное, дело в том, что главная сила Эйхенбаума-литератора — литературоведение. Именно здесь, а не на журнальных путях он становился художником слова.

Каждый, кто занимался историей русской поэзии, не раз встречался с работами Б. Эйхенбаума — о Лермонтове, Пушкине, Некрасове, Полонском, Блоке, Ахматовой, Маяковском (не говорим о его статьях и

книгах, посвященных Льву Толстому, Лескову, Чехову).

И вот мы снова встречаемся с исследователем, читаем книгу — свод его наиболее важных работ о русской поэзии. Свод этот поневоле не полон. Из семидесяти трех прожитых лет Б. М. Эйхенбаум отдал литературе больше пятидесяти. Его первая работа — о Пушкине и декабристах — была напечатана в 1907 году. Книга же открывается статьей о Пушкине 1921 года.

Правда, составители снабдили издание библиографией работ Б. Эйхенбаума о поэзии (составитель Ю. Бережнова) и предварили вступительной статьей.

В. Орлов сумел в сравнительно небольшом предисловии, написанном, как всегда у него, — спокойно, серьезно и сжато, наметить главные моменты пути, пройденного исследователем, сказать о его движении — от формалистических, опоязовских теорий (ОПОЯЗ — общество изучения поэтического языка второй половины десятых — двадцатых годов) к целостному и всестороннему постижению литературы.

Опоязовцы нередко отделяли литературу как замкнутый в себе, обособленный от общественной жизни ряд. Б. Эйхенбаум постепенно освобождался от такого подхода. Но навсегда он сохранил редкое умение видеть процесс развития литературы в его непрерывности, в его сквозной перспективе, в преемственности традиций. Приведу только один небольшой отрывок из статьи «Художественная проблематика Лермонтова»: «Толстой — последнее звено в истории декабристской идеологии, прошедшей все фазы своего развития: от Пушкина и декабристов — к Лермонтову, от Лермонтова — к Толстому. «Родина» Лермонтова («Люблю отчизну я, но странною любовью») уже намечает обращение к крестьянской тематике, как «Бородино», по признанию самого Толстого, явилось зародышем «Воины и мира», как, наконец, от стихотворения о сражении при Валерике пошли военные рассказы Толстого».

Прежде чем обратиться к поэту, Б. Эйхенбаум ищет его предисторию, прослеживает, как намечается «предвозникновение» его творчества в развивающейся литературе.

Он пишет, например, о том, как постепенно переходила поэзия десятих — двадцатых годов прошлого века от оды к посланию, к «гусарской песне». И прежде чем сказать о Денисе Давыдове, говорит, как нуждалась поэзия тех лет в «его появлении»: «Нужен был не батальный пейзаж в стиле Тасса, а реальный автопортрет военного героя. Нужна была личностная поза, нужны были личностные тон и голос: не «воспевание» героя, а рассказ самого героя о самом себе — и рассказ конкретный, бытовой, с деталями жизни и поведения».

В статье о Некрасове исследователь тщательно и точно воссоздает процесс постепенного вытеснения в литературе тридцатых — сороковых годов поэта-«жреца» поэтом-журналистом. Лирика соединилась с журналом, с фельетоном, со статьей.

«Муза» продолжала жить в стихах Фета, Майкова, Полонского, Ап. Григорьева, — пишет Б. Эйхенбаум, — и многое из этого откликнулось потом в поэзии символистов. Но эпоха не могла жить только этой поэзией — ей нужен был Некрасов. История должна была создать его таким, каким она его создала. Он нужен был для самой поэзии».

Не много можно назвать литературоведов со столь развитым историко-литературным мышлением, как у Б. Эйхенбаума. В каждом поэте он стремится увидеть не только некую «данность», но и ответ на запрос времени, итог и предзнаменование.

Он пишет: «...классический стих Пушкина, его четырехстопный ямб, развивается у него не на песенной основе (как «музыкальный» стих романтиков), а на основе, так сказать, говорной. Отсюда открывается путь к прозе, невозможный, например, для Тютчева, для Фета, для Бальмонта или Блока»

Пушкин, увиденный так, уже не только заключает в себе переход к прозе тридцатых годов, к «Повестям Белкина», «Капитанской дочке». Он еще и предсказывает дальнейшие пути русской литературы: и «прозаизмы» Некрасова (а потом Маяковского), и торжество реалистической прозы Толстого, Чехова — «Пушкина в прозе».

Намечая историко-литературную перспективу, Б. Эйхенбаум сочетает смелость с хорошей осторожностью. Он не хочет прочерчивать линию с излишним нажимом. В конце концов поэзия состоит не из «линий», а из лириков, несхожих и самобытных.

В книге «О поэзии» впервые публикуется небольшая, в несколько страниц статья «Живой образ Лермонтова» (1940). Она помогает понять другую важную черту работы исследователя. Для него мало наметить историко-литературный ряд преемственности. Второе, не менее важное условие — ощутить образ поэта в его цельности.

Недостаток литературы о Лермонтове в том, что в ней «нет живого, конкретного образа, нет настоящего человека, представление о котором оживляло бы исторические схемы, объединяло бы отдельные биографические факты и углубляло бы восприятие творчества». Исследователь тонко подмечает две характерные крайности — либо образ Лермонтова получается слишком обобщенным, либо рисуется чересчур мелкими, бытовыми чертами и штрихами.

Почти тридцать лет прошло с тех пор, как писалась эта статья, но она несколько не устарела. Обратимся к нашим дням: разве, например, в статьях и воспоминаниях о Светлове, недавно ушедшем от нас, не встречаемся мы с этими двумя крайностями: либо абстрактная, условная, дидактическая фигура «певца молодежи», как будто лишенная личных примет, даже имени-отчества, либо же — «Миша», когорый, не отходя от ресторанного столика, сыплет шуточками. (Разумеется, этим не исчерпывается литература о М. Светлове, но не заметить этих тенденций довольно трудно.)

Б. Эйхенбаум призывает противопоставить недобросовестной литературе «подлинный, глубоко изученный, продуманный и прочувствованный образ Лермонтова — как это сделал, например, Ю. Н. Тынянов в отношении к Кюхельбекеру».

В самом деле, наше представление о Вильгельме Кюхельбекере неотделимо от тыняновского «Кюхли». Возразят: нельзя требовать от каждого литературоведа, чтобы он был Тыняновым. Но речь идет о другом: о неделимости творчества поэта — оно не поддается изучению вне ощущения того образа, о котором говорит Б. Эйхенбаум.

Вспомним статьи и книги о Маяковском, где авторы как будто забывали, что он писал стихи, сводили все его творчество к тезисам и декларациям. А вот как пишет о нем автор книги «О поэзии»: «Маяковский — вовсе не «гражданский» поэт в узком смысле слова: он создатель новой поэтической личности, нового поэтического Я,

ведущего к Пушкину и Некрасову и снимающего их историческую противоположность, которая была положена в основу деления на «гражданскую» и «чистую» поэзию. Маяковским снята самая эта противоположность.

Его Я грандиозно, но не романтической грандиозностью, при которой высокое Я противопоставлено низкому миру действительности, а иной грандиозностью, вмещающей в себя весь этот мир и ответственной за него».

В статье о Некрасове исследователь замечает: «Творчество... есть акт осознания себя в потоке истории». Определение это интересно и само по себе, и тем, что оно формулирует принципы подхода Эйхенбаума к писателю — стремление увидеть его в литературном потоке и вместе с этим в законченности собственной поэтической системы.

И здесь мы видим, что уже на ранних порах творчество исследователя по существу противостояло формалистической методике. Он пишет об Анне Ахматовой: о преодолении в ее стихах символистской отвлеченности, о слитности лирических стихов, превращающихся в «сплошной дневник», об ослаблении напевности — как рождается особая свобода речи, чувство спускается в сюжет, а разговорная или повествовательная интонация естественно проявляется в «паузнике»...

И все это — не в описательном перечислении, а в развертывании сквозного ощущения, без которого литературовед превращается в литературного «товароведа».

Большую часть книги заняла работа «Мелодика русского лирического стиха». Вышедшая отдельным изданием в 1922 году, она по праву стала одной из «самых настоящих» книг по стиховедению. Ссылаясь на исследования своих предшественников — О. Брика и В. Жирмунского, Б. Эйхенбаум намечает новый для того времени подход к изучению поэтического языка: не лингвистический — в ряду языковых явлений вообще, но стилистический. Его интересуется мелодика как интонационная система, то есть сочетание определенных интонационных фигур, реализованное в синтаксисе.

И, конечно, это было большим шагом вперед после работ, где структура стиха ограничивалась подсчетом ударений. Предмет

исследования в «Мелодике» — не стих как таковой, а скорее стихотворная фраза в ее ритмико-синтаксическом, интонационном построении.

Важный для своего времени подход Б. Эйхенбаума к стиху оказывается сегодня уже недостаточным. Современное стиховедение исходит из большего количества «факторов»: это и ритм, и ритмико-синтаксические фигуры, и звуковая инструментальность в их взаимодействии.

На этом примере снова убеждаешься: талантливый исследователь, наделенный поэтическим чутьем, преодолевает ограниченность своего подхода и вносит вклад в общее дело изучения литературы во всей незаменимости ее художественных средств.

Завершается книга статьей «О камерной декламации» (1923), представляющей собой приложение полученных в «Мелодике» выводов к технике чтения стихов.

И снова мы удивляемся долговременной «сохранности» работ Б. Эйхенбаума. Как свежо звучат сегодня его рассуждения о мастерах художественного чтения!

«Я резко помню,— пишет он,— впечатление, произведенное на меня декламацией А. Блока на вечере в память В. Комиссаржевской в 1910 году... Блок читал свое стихотворение «На смерть Комиссаржевской» («Пришла порою полуночной») — и я впервые не испытывал чувства неловкости, смущения и стыда, которые неизменно вызывали во мне все «выразительные» декламаторы. Блок читал глухо, монотонно, как-то отдельными словами, ровно, делая паузы только после концов строк. Но благодаря этому я воспринимал текст стихотворения и переживал его так, как мне хотелось. Я чувствовал, что стихотворение мне подается, а не разыгрывается. Чтец мне помогал, а не мешал, как актер со своими «переживаниями», — я слышал слова стихотворения и его движения. Надо мной не совершалось насилия и обмана, потому что не совершалось насилия над самим стихотворением».

В этом суждении слились воедино фундаментальнейшая подготовка ученого и артистический вкус. Мне кажется, каждый, кто отваживается читать «на людях» стихи наших больших поэтов, должен познакомиться со статьей «О камерной декламации». Она предостережет актера от неумеренного стремления расцвечивать стихотворную



строку, класть «красочку», разлеплять на разные интонационные отрезки целостно изваянный стих.

«О поэзии» — живая и увлекательная книга. И это тем более парадоксально, что она захватывает вас, нисколько не утрачивая академической строгости, тщательности, серьезности. Автор похож на тех любимых лекторов, которые завоевывают популярность, нисколько об этом не хлопоча, никак внешне не оживляя своего повествования, не заигрывая с аудиторией. И здесь — тоже важный урок для сегодняшнего литературоведа.

Для того чтобы статья была интересной, вовсе не обязательно ее беллетризовать. Статьи Б. Эйхенбаума читаешь, не отрываясь, потому что в каждой — свой внутренний сюжет, развертывание мысли, которое все время открывает вам что-то новое. И в этом смысле статьи остро сюжетны, динамичны, они забирают вас, вовлекают в самый процесс исследования.

И — последний существенный итог книги «О поэзии». Говоря о том, как необходимо

было литературе появление Некрасова, Б. Эйхенбаум заключает: «Некрасов оправдал самую необходимость поэзии, показал насущность стиховой речи, которая взята была тогда под подозрение. Мы теперь знаем, что потребность в стихе так же насущна, как и потребность в речи вообще».

Слова эти из статьи 1928 года наполняются новыми мыслями сегодня, в 1969 году. Немало мы слышали угрожающих обещаний, что не за горами тот день, когда машина — на полупроводниках или еще бог знает на чем — начнет сочинять стихи, запросто продуцировать поэзию на любой вкус и манер. Раздавались и голоса, что поэзия вообще отжила. Немало ей, сердешной, достается в век высоких скоростей, сверхзвуковых лайнеров, лазеров и спутников. А прочитаешь книгу Бориса Михайловича Эйхенбаума — и как-то легче становится на душе: ничего, никуда она, поэзия, не денется — «существует — и ни в зуб ногой».

**3. ПАПЕРНЫИ.**



## ВЕЛИКАЯ ПРОВЕРКА

**Рэй Бредбери. Марсианские хроники. Перевод с английского Л. Жданова. «Мир». М. 1965. 334 стр.**

**Рэй Бредбери. 451° по Фаренгейту. Перевод с английского Т. Шинкарь. Рассказы. Перевод Н. Галь. «Библиотека современной фантастики». Том 3. «Молодая гвардия». 1965. 348 стр.**

**Рэй Бредбери. Вино из одуванчиков. Перевод с английского Э. Кабалева и других. «Мир». М. 1967. 400 стр.**

Разбираешь ящики старого комода, фотографии, сувениры — и вдруг перенесешься в прошлое, услышишь его запахи и звуки. И уже «над головой у тебя летают в воздухе все эти июни, июли, августы, сколько их было на свете». Старый чердак, где покоятся тысячи вчерашних дней, окажется Машинной Времени — отправляйся в путешествие на сорок лет назад.

В этом рассказе — «Запах сарсапарели» — отчетливо сказался главный секрет крупнейшего мастера американской фантастики Рэя Бредбери — сложный союз реального и волшебного.

«Запах сарсапарели» можно читать как рассказ вполне реалистический, прошлое воскрешается силой воображения, игрой воспоминаний. Но внезапный сдвиг — и реальность обернулась чудом, мечта — реаль-

ностью. Прорыв в небывалое — и человек, распахнув чердак, и впрямь выпрыгнул из стылого зимнего дня в сияющее, давно минувшее лето.

Наука, техника, XX век дали человечеству огромные возможности. И фантастика, лишь ненамного опережая время, ставит такой эксперимент: человечество может заполнить все или почти все, что пожелает; чего же оно хочет? Фантастика, которая поначалу экспериментировала с научными прогнозами, смелыми изобретениями, теперь отбросила заботы о технике. Сегодняшняя фантастика исследует законы и устремления человеческого духа.

Почему в «Марсианских хрониках» Бредбери наделяет жителей Марса даром телепатии? Для Бредбери этот дар словно концентрирует в себе безграничные возмож-

ности человеческого духа. Фантастика пробует силу желания, воли, разума. Прекрасно, когда сбываются желания творческие, созидающие, как в рассказе «Зеленое утро». Но писателю важнее напомнить об опасностях. Чем она может обернуться, эта сила?

Иногда — беспредельным эгоизмом: нет ничего на свете, кроме собственных хотений. В рассказе «Марсианин» изменчивый облик героя повинуется излучению чужой воли. И учуяв беззащитную душу, люди тотчас раздрают ее своими жадными желаниями.

Иногда — смертоносным оружием. Земля с их атомной техникой марсиане побеждают одной лишь силой мысленного внушения. На чужой планете (рассказ «Третья экспедиция») космонавты встречают уютнейший земной городок времен своего детства. Их ждут у очага воскресшие родители, друзья... И отбросив гаданья о кознях пространства, времени и Эйнштейна, экипаж отдается радостям домашнего уюта. А наутро марсиане выносят на кладбище новенькие гробы. Злая мысль убивает. А масштабы могут быть безграничны. Небывалые масштабы и есть оружие фантастики.

Иногда эта сила оказывается прибежищем косности, застоя, когда все мочь и все знать означает ничего не желать (рассказ «Земляне»). Космонавты впервые ступили на новую планету, жаждут приветов братьев по разуму. Но марсианину мисгеру Ааа нет дела до контакта цивилизацией. Он поглощен счетами с соседом. Как тот смел пристать к нему каких-то чудачков?

«— По-моему, он ведет себя просто не по-джентльменски...

— Космический корабль. Мы прилетели на ракете. Вон она!..

— Он у меня дождется, я позвоню и отчитаю его, да-да...

— Земля. Ракета. Люди. Полет. Космос.

— Позвоню и всыплю ему как следует!..»

Все небывалое — только кажется, это чужие бредни, умело внушаемые. Вы совершили чудо? Да это галлюцинация безумца! Тут марсианин-телепат смыкается с классическим земным обывателем, чье кредо: «Этого не может быть, потому что этого не может быть никогда».

Глухота рутинной — один из главных врагов фантастики Р. Брэдбери. Разрыв между тем, кто «глазом упирается в свое корыто», и величайшими свершениями человечества — непрестанная тревога писателя.

Мы заглядываем в будущее доступное, обозримое, на пять, десять лет вперед. Но разве не хочется иногда отбросить ближние мерки и заглянуть через пропасть: что будет там, через миллион лет? Впереди тысячелетия. Неужто и к ним отнестись с той же обывательской меркой — ничто не ново под луной?

Подлинная фантастика должна будить непредвзятость, свежесть предвидения. Так возникает у Брэдбери ключевой мотив предчувствия. Брэдбери мастерски умеет создать неуловимое, но явственное настроение, пронизывающее обычно не один рассказ, а сквозные циклы. Волна предчувствия незримо нарастает в «Марсианских хрониках». Сначала смутные видения тревожат смуглую золотоглазую марсианку («Илла»). Ей снится человек с другой планеты. А в рассказе «Летняя ночь» уже весь город улавливает напор чужого влияния, напевает неведомые песни на незнакомом языке. Это как разведка, как звук рога в ночи перед битвой — перед встречей двух планет.

Сама фантастика по своей сути и есть предчувствие. Это попытка на пороге третьего тысячелетия заглянуть через горы времени, в самые дальние превращения нашей души — души человечества.

Отсюда еще один сквозной мотив у Брэдбери. Он удивительно ощущает человечество как единый организм с общим пульсом. Этот масштаб необходим фантастике как поэтике дальнего прицела.

Какой инстинкт толкает человечество вперед, даже когда кому-то кажется бессмысленным: зачем подниматься на Эверест, зачем осваивать космос?

Мотив движения, стремления разлит в самом дыхании рассказов Брэдбери. Гимн этому стремлению — рассказ «Земляничное окошко». Зачем люди прилетели на Марс? Ради денег, забавы, «скуки»? Нет! «...на самом деле внутри все время что-то тикает, все равно как у лосося или у кита и у самого ничтожного невидимого микроба. Такие крохотные часики, они тикают в каждой живой твари, и знаете, что они говорят? Иди дальше... не останавливайся, плыви и плыви. Лети к новым мирам, воздвигай новые города, еще и еще, чтоб ничто на свете не могло убить Человека... Сеять-то надо, иначе потом жать не придется...»

Брэдбери меряет человечество не сиюминутными масштабами, а неким гигантским векоисчислением. Из той дальней дали про-

шедшие века сольются в одну эпоху «начальной поры». Столетия окажутся шагами одной всечеловеческой великаньей биографии: тот, кто полетит на Луну, говорит Брэдбери, родился за девятьсот лет до новой эры, окончил курс Земли и переведен на Луну в 1970-й. И зовут его Икар Монгольфье Райт.

Но с космических высот Брэдбери не закрывает глаза на сегодняшние беды, раздражающие Землю. Мотив предостережения — один из самых отчетливых у писателя. Бок о бок со всей подлинной передовой гуманистической литературой прогрессивная зарубежная фантастика борется именно с сегодняшним злом, но своими средствами — показывая, к каким роковым последствиям оно может привести в будущем.

Вновь и вновь звучит главная тревога фантастики — тот чудовищный разрыв между авангардом великой армии человечества и ее «тылами», разрыв, о котором с такой болью думают честные писатели современности.

Каких-нибудь двадцать лет назад писались фантастические романы о полетах в космосе, совершаемых в далеком будущем сынами прекрасного и мудрого человечества. А сегодня? Полеты становятся реальностью. Лучшие умы человечества уже догнали своих идеальных прототипов. А мы сами? Ощущаем ли мы себя уже сегодня тем самым сияющим грядущим человечеством? Разве наш космический век не соседствует порой с каменным веком отсталой психологии?

Фантастика как бы устранивает человечеству великую проверку — достигло ли оно подлинной духовной зрелости? Что может принести оно на иные планеты?

И тут Брэдбери беспощаден. Он предъясняет суровый счет сегодняшней цивилизации. Он умеет «очи обратить ей прямо в душу». Ее страшные язвы, которые обычная литература улавливает в суете будней, становятся еще грознее в увеличительном зеркале будущего.

Это мир рассказа «Убийца» — назойливая орава машин одолевает человека. Кровати декламируют стихи, плита подает советы, радиобраслеты въедаются в мозг, телевизор, словно Медуса, каждый вечер обращает в камень миллионы людей.

Это военизированный мир 2155 года в рассказе «Кошки-мышки» — мир, где «жгут наши книги, обыскивают мысли, держат

нас в вечном испепеляющем страхе, командуют каждым нашим шагом...».

Это мир комфорта и стандарта, где вымерло все живое («Пешеход»). Безлюдные улицы — русла пересохших рек, темные вечерние дома — точно кладбище. Единственный человек, который просто гуляет, «одинок, как последний глаз у идущего к слепым человека». Он подозрительен — и полицейская машина отправляет его в Психиатрический центр по исследованию атавистических наклонностей!

Мрачный мир. Но разве истоки его не заложены в сегодняшнем дне рядового американца, которого дружно одурманивает телевидение, реклама, голливудские боевики?..

Духовный кризис современного буржуазного общества, конформизм, наступление на культуру, стандартизация чувств и мыслей, разъединение людей, разрушение живых человеческих связей — все наболевшие заботы серьезной современной литературы тревожат и лучших представителей мировой фантастики.

Страстный протест против язв отживающего строя — роман-предостережение «451° по Фаренгейту». Брэдбери рисует военно-полицейское общество, где малейшее отступление от предписанных чувств жестоко карается. Люди разучились разговаривать и думать, радоваться: небу, цветку одуванчика, капле дождя. Человек — лишь безгласный придаток к неугомонным телевизионным стенам своей комнаты. Но за внешним благополучием вдруг прорвется тоска и отчаяние. Привычно мчатся в ночь десятки санитарных машин — возвращать к жизни опустошенных, усталых людей. Привычно мчатся по доносам пожарные машины: еще один безумец осмелился хранить страшную крамолу — книги. Огнеметы сжигают хрупкие страницы, хранящие древнюю мудрость и разногососье чувств; порой сжигают заодно и дом и хозяина. Эти картины из повести Брэдбери стали грозным символом вырождения цивилизации.

И еще одно предостережение — призыв войны, который маячит перед цивилизацией, если мир не опомнится. Марсианин Эттил («Бетономешалка») не хочет идти воевать — и оказывается изгоем. Выбора нет: «Иди воевать, или тебя сожгут!»

Но не менее страшна и другая война. Земляне побеждают родину Эттила «невинным» оружием — тут и машинки для коктей-

ля, и жевательная резинка, ром и комиксы... На Марс нагрянут юристы, зашелкают затворы фотоаппаратов. В сердце Древнего города закружатся неоновые огни реклам. Это и будет конец Марса.

Герой рассказа «И по-прежнему лучами серебрят простор луна...» уже видит, как осквернят Марс банки из-под консервов и банановая кожура, пьяные песни и сальные анекдоты. «У нас, землян, есть дар разрушать великое и прекрасное. Если мы не открыли сосисочную в Египте, среди развалин Карнакского храма, то лишь потому, что они лежат на отшибе и там не развернешь коммерции... Мало того, что одну планету разорили, надо и другим все изгадить?»

Слишком мрачно? Но пока возможно и такое, передовая фантастика снова и снова требует от человека: оглянись на себя, ты в ответе за все, что делается на твоей планете и что будет сделано с другими планетами.

Экзамен человечеству начинается с малого — с ответственности каждого за каждый поступок, каждую мысль, каждое желание. В увеличительном зеркале фантастики с ее неограниченными масштабами причин и следствий легко проследить, что вырастает из самых малых ростков зла. Не зря Брэдбери так часто обращается к началу созревания души — к детству.

Как рождается жестокость? Вот рассказ «Урочный час». Родители безразличны к тому, что занимает малышей, — и оказываются им только постоянной помехой. «Забывают ли они, прощают ли в конце концов шлепки, и подзатыльники, и резкие слова, когда им велишь — делай то, не делай этого? Может быть, ничего нельзя ни забыть, ни простить тем, у кого над тобой власть — большим, непонятливым и непреклонным?» И дети оказываются той пятой колонной, которая предаст человечество. Прелестная маленькая Мышка весело ведет пришельцев из враждебного мира на чердак, где спрятались, почуяв наконец недоброе, ее отец и мать. Это самое страшное возмездие человечеству.

Небрежение к растущим душам оборачивается трагедией. Брэдбери исследует все истоки ее. Как отзовется в душе ребенка даже не явная жестокость, а ленивое равнодушие? Просто от досады, усталости вырвалось у героя «Каникул» минутное желание — чтобы люди с их вечным шумом, суетой и толчеей провалились куда-нибудь,

исчезли. «Проснуться завтра, и во всем мире ни души, начинай все сначала!» И — на то и фантастика! — желание сбылось. Они остались втроем на Земле: отец, мать и сын. Невольные убийцы человечества. И оказывается, без суетного и несправедливого рода людского нет житья ни одной душе. Приходится герою страстно пожелать, чтобы все вернулось — «вся эта катавасия, мелочность, суета, все надежды, чаяния и любовь».

С ним переключается Холлис («Калейдоскоп»). Никогда никому он ничего хорошего не желал. А теперь ракета взорвалась, и каждый из экипажа обречен одиноко лететь в своем скафандре, пока не умрет. И в эти последние минуты в пустынном холоде космоса отчаянно хочется «исккупить эту ужасную, пустую жизнь... хоть одним добрым делом возместить свою подлость... Но теперь никого рядом нет, я один, а что можно сделать хорошего, когда ты совсем один?». Самое важное для Брэдбери — чтобы человек это понял. И в награду он и в такую безнадежную минуту дарит герою немыслимый случай принести кому-то радость. Холлис сгорает, врезаясь в атмосферу Земли, и оказывается «счастливой звездой»: маленький мальчик загадывает желание.

«— Если попросить — исполнится? Если загадать — сбудется?»

— Иногда сбывается... даже чересчур».

Это разговор мальчика из «Каникул» с родителями. Все то же неотступный мотив творчества Брэдбери — ответственность за то, чего хочет человек.

Мера ответственности не только в том, как одиноки их невольные каникулы, а в том, что отцу «тоже не с кем играть». Самое страшное — упрек бумерангом возвращается в детях. Родители боятся взглянуть сыну в глаза — какое желание загадывает он? Воскресить человечество? Или убить и мать с отцом — остаться одному на просторе? Сила требовательности писателя в том, что он не дает ответа. Не отнимает надежду, но и не дает успокоиться.

Брэдбери воюет с жестокостью не только когда она уже глобальна, смертоносна, но в самом зародыше. Вот рассказ «Все лето в один день». Дети в злой забаве заперли в чулане одну девочку и на несколько часов забыли о ней. Только и всего! Но в эти часы на Венере прошло все лето. И снова

впереди семь лет — дожди, дожди... Из-за злой шутки ребят Марго так и не увидела солнца. И когда с первыми струями ливня дети возвращаются под своды и из чулана не слышно ни звука, ни движения, у нас вместе с ними падает сердце.

Да, и дети могут оказаться палачами. Дети. Сколько рассказов Брэдбери посвящено им! Во всей большой литературе последнее слово надежды, вечная эстафета — дети. Но сколько раз были обмануты эти надежды. В детях есть чистота — залог лучшего будущего. Но сколько надо положить сил, чтобы эта чистота не была затоптана, втянута взрослыми в привычный конвейер мелких уступок, соглашений, применений к подлости.

Ответственность за детей в чем-то формирует взрослых. Что в рассказе «Берег на закате» помешало двум взрослым превратить найденное чудо в предмет наживы? Совесть — и присутствие двух мальчишек, для которых это могло стать роковым уроком на всю жизнь.

Благотворно прикосновение детства и велика отдача — но только если прежде в эти души многое вложено. Человек идет на долгий изобретательный труд, чтобы подарить детям чудо («Ракета»). Другой на последние сбережения выписывает с Земли на Марс уголок прежнего уюта — старую веранду с качалкой, фортепьяно, дверь с цветными стеклышками, заливающими мир то лимонной волной, то теплыми румянцем зари. Это нужно, чтобы обогреть душу на чужбине. Нужно и ради жены, тоскующей на пустынном Марсе, и ради будущего — ради сыновей («Земляничное окошко»).

Недаром так естественна у Брэдбери словно бы вовсе не фантастическая повесть «Вино из одуванчиков». Здесь сплетаются самые заветные мысли писателя, самые любимые его мотивы. Здесь найдено то слияние человека и мира, которое необходимо, чтобы в будущем человек не принес во вселенную зла.

Эту повесть пронизывает дыхание природы, предрасветная безмятежность, первое утро лета — первое потому, что сейчас его постигает проснувшаяся душа. Это лето стало для двенадцатилетнего Дугласа летом открытий. Тысяча нитей протянулась между мальчиком и миром. Потому Дуглас так чуток ко всему.

Мотив предчувствия пронизывает воздух повести. Ибо детство — это предчувствие.

Каждая мелочь может оказаться предвестием небывалого. «В то утро... Дуг наткнулся на паутину. Невидимая нить коснулась его лба... И от этого пустячного случая он насторожился: день будет не такой, как все». Это чутье живет в тех, кто слит с природой. Так у Сент-Экзюпери в «Земле людей» герой по крылышкам стрекозы угадал — надвигается грозная песчаная буря. И человек горд тем, что ему внятн немой язык природы.

И для Дуга природа не мертва. «Бывают дни, сотканые из одних запахов... А в другие дни... можно услышать каждый гром и каждый шорох вселенной. Иные дни хорошо пробовать на вкус, а иные — на ощупь». Лес, трава — все для него живое. Он изумленно выпитывает все — и чувствует: «точно огромный зрачок исполнинского глаза, который тоже только что раскрылся и глядит в изумлении, на него в упор смотрел весь мир».

Открывая мир, Дуг открывает и себя: «Я ЖИВОЙ!» Когда-то и это постигаешь впервые. «Пальцы его дрожали, розовея на свету стремительной кровью, точно клочки неведомого флага. Тело жадно дышало миллионами пор. В каждом его ухе стучало по сердцу, третье колотилось в горле, а настоящее гулко ухало в груди».

Открытия бывают прекрасные — и ошеломляющие. Что такое расстаться с другом. И как страшно — забыть. Друг еще рядом, а оказывается — ты не знаешь, какого цвета у него глаза... И что такое одиночество. И как хрупка жизнь. Впервые умирает знакомый человек — и с ним умирает половина земного шара. Умер полковник Фрилей — и с ним словно еще раз кончилась Гражданская война, все, что он воскресал для Дуга и его друзей. Это трагическое открытие чуть не подкосило мир мальчишек. Но Брэдбери и его разрешает мудро и празднично. Просто надо стараться все успеть на своем веку. Отведать каждое блюдо, станцевать каждый танец. А потом за тебя продолжат частицы тебя. Дети и внуки побегут по дорогам, будут грызть яблоки и крыть крышу, плизать и работать в саду. Вечно движение жизни, и вечны ее простые радости.

Бесконечно поэтичны у Брэдбери обыденные обряды этой наполовину сельской жизни. Стрекошет косилка на лугу, вселяя веру в покой и порядок. Мягко сжимает пресс душистую охапку одуванчиков, готова для

зимы солнечный настой лета. Выпалывать сорняки, выбивать ковры — все это радостные летние обряды. И прабабушка завещает Дугу: «Никогда не позволяй никому крыть крышу, если это не доставляет ему удовольствия». Ведь с крыши виден весь город, и поля, и река, и тебя овеивает самый лучший весенний ветер...

Один из героев повести пытался сделать Машину счастья. Играет музыка, и ты переносишься в Париж или смотришь на закат — выбирай, что любишь. Но... «кому нужно, чтобы закат продолжался целую вечность? Мы потому и любим закат, что он бывает только один раз в день». Не нужно синтезировать счастье. Оно есть в обычной жизни, и только вместе с ее заботами и хлопотами его и ценишь.

Так мальчишки познают две самые главные для писателя вещи на свете — как живет человек и как живет природа.

Дугласу и его друзьям повезло, мир вокруг них населен такими людьми, которые умеют слушать голоса жизни. Людьми, которым все по душе — «как шуршит в нагретой солнцем траве чертополох и как звенят под дождем электрические провода»; кому не приелось бессонными ночами раздумывать, «как работает гигантский часовой механизм вселенной». Людьми, умеющими бескорыстно доставлять другим радость. В городишке снимают старый трамвай. И вожатый на прощанье устроил ребятам пикник. Вывез всех за город, устроил пикник на озере, рассказывал, каким был город много лет назад. И еще много лет спустя, когда и следа от трамвая не останется, мальчишки нет-нет да услышат далекий звон, увидят потаенные серебристые рельсы.

И потому, что так щедры люди к молодой поросли, они получают благодарные плоды. Уже начинается отдача. Пусть пока в малом. Сиделки запрещают приходиться к Фрилею — он очень плох. Но мальчишки уже понимают: «ему одному невтерпех. Что ж мы, предатели, что ли, — возьмем, да и бросим его?»

Возникает цепная реакция добра. Мистер Джонас спас Дуга. Как отблагодарить? «Ничем, ну ничем за это не отплатишь... Как же быть? Может, надо как-то отплатить кому-нибудь другому? Передать благодарность по кругу?.. найти человека, которому нужно помочь, и сделать для него что-нибудь хорошее». И Дуг уже умеет находить такие случаи сделать добро.

Но при чем тут фантастика? Добро, становление души, отношения между людьми... Разве не тем же озабочены все настоящие писатели? И написано все это зримо и полнокровно, как у самого доподлинного реалиста.

Но что такое, в сущности, фантастика? Что отличает ее от прочей литературы?

Лучшие мастера современной фантастики — и среди них Брэдбери — меньше всего стремятся создать сказку позатейливее об экзотике иных миров, изобрести неслыханных чудовищ и инопланетян да технику позамысловатей. Конечно, Брэдбери может бросить несколько красочных деталей: марсианка жарит мясо в кипящей лаве, оружие стреляет золотыми пчелами... Но все это для писателя второстепенно. Он не строит законченную фантастическую вселенную со своей флорой и фауной, как пытались делать на заре фантастики. Он строит внутренний мир. Причем вполне реальный. И вдруг смелым рывком преображает его.

С точки зрения строго фантастической у Брэдбери бывают и промахи и нелогичности. В стройном цикле «Марсианских хроник», так достоверно размеченных по годам, марсиане сначала злые, коварные, потом — мудрые, добрые. Для фантаста — ошибка. Для психолога и человека — единственно верно. Он мог быть на стороне первых отважных космонавтов, достигших Марса, и потому против враждебных сил, которые их губят. Но когда племя, или народ, или планету целиком истребляют — он не может не стать на их сторону.

Брэдбери прежде всего гуманист. Но к тому же наделенный еще одним чувством, столь же острым, как у другого писателя зрение или слух. Это — чувство времени, почти материальное ощущение его — на ощупь, на цвет, на вкус. Чувство, позволяющее вырваться далеко из рамок привычного.

В этом и есть смысл подлинной фантастики. Не скованная мелкими, сиюминутными частностями, фантастика берет главные, порою еще скрытые заботы сегодняшнего дня, преломляя их в увеличительном зеркале будущего. Она видит события в гигантской перспективе. Но суть ее та же, что у всей большой литературы, — человек.

Потому и «Вино из одуванчиков» для Брэдбери — не случайное отклонение в сторону от фантастики, а самая сердцевина его творчества. То, ради чего все осталь-

ное — самые фантастичные вымыслы, и социальные предостережения, и сатира.

Брэдбери дает очень важный ответ на вопрос «как жить сегодня?». Этот ответ — в заботе прежде всего о человеке, а не о машинном комфорте. В борьбе с жестокостью и равнодушием. В ответственности каждого человека за свои мысли и поступки, за всю планету. В страстной проповеди активного гуманизма: самое прекрасное — делать добро людям. Разве это не те святые ценности, которые всегда отстаивала большая литература?

Даже мрачные рассказы Брэдбери не повергают читателя в беспросветное уныние. В них чувствуется противостояние злу, вера в человека. А сейчас, когда распад нравственности, крушение личности в мире «массовой культуры» и «массовых преступлений» нередко захлестывает лучшие умы Запада и Америки волной отчаяния и безверия, так необходимы людям душевное здоровье, внутренняя гармоничность, нерушимая нравственная основа. Брэдбери — один из самых светлых писателей в современной мировой литературе.

Именно этим Брэдбери близок нам. В нашей стране его книги любят и издают щедро. Но — множество рассказов рассеяно в периодике, в сильном сокращении и часто в посредственном переводе. Но — книги его пропадают для целой группы читателей из-за «клейма» фантастики, которую многие еще по инерции не признают. Но — не всегда его книги доходят до очень важного для Брэдбери читателя — подростка. Рассказы, обращенные к этому читателю, иногда что-то теряют, окруженные рассказами более взрослыми, порой сложными, порой мрачными. Стоило бы собрать в один сборник «юношеские» рассказы и повесть «Вино из одуванчиков», и мы увидим знакомого писателя с новой, неожиданной стороны. Это был бы добрый вклад в воспитание души и сердца завтрашнего человечества.

И очень полезно было бы издать «избранного» Брэдбери. Это будет подарок не только любителям фантастики. Это покажет в полный рост большого современного писателя.

Э. КУЗЬМИНА.



### Политика и наука

## БОРЕЦ РЕВОЛЮЦИИ, СТРОИТЕЛЬ КУЛЬТУРЫ

По страницам изданий, выпущенных к столетию Н. К. Крупской.

Среди книг, вышедших к столетию со дня рождения Н. К. Крупской, особое место занимает библиографический указатель ее работ и литературы о ее жизни и деятельности<sup>1</sup>. Это большой, серьезный труд, подготовленный сотрудниками Государственной библиотеки СССР имени В. И. Ленина, Научной библиотеки по народному образованию имени К. Д. Ушинского и Института культуры имени Н. К. Крупской (Ленинград).

Указатель составлен четко и продуманно: учтены в хронологической последовательности все труды Н. К. Крупской, каждая статья, опубликованный доклад, речь, письмо, причем показано первое и последующие издания трудов, зачастую — с краткой аннотацией. Перечень работ до-

полнен предметно-тематическим указателем.

Чтобы представить размах и тщательность этой сложной работы, достаточно привести только три цифры: библиографы просмотрели 400 комплектов газет и журналов от восьмидесятых годов XIX века до сегодняшнего дня. Это не считая книг, сборников, брошюр. В результате удалось выявить и учесть 3940 опубликованных ею произведений (в их числе 1100 писем).

Мы «идем по указателю». Вот первая книга Н. К. Крупской. Это была брошюра «Женщина-работница», изданная «Искрой» за границей без указания автора. В 1905 году книгу перенесли в Петербурге под псевдонимом «Саблина». И сразу она попала в разряд запрещенных. В архиве сохранились документы о возбуждении судебного преследования против автора брошюры и «лиц, виновных в напечатании».

<sup>1</sup> Надежда Константиновна Крупская. Библиография трудов и литературы о жизни и деятельности. М. 1969.

Но когда петербургская судебная палата утвердила решение об аресте автора, Надежда Константиновна была уже вне досягаемости для царских властей... В ноябре 1914 года было постановлено «уничтожить брошюру», и, как свидетельствуют документы, 2 апреля 1915 года книга была уничтожена «посредством разрывания на мелкие части»<sup>1</sup>.

С девятиных годов прошлого века, в годы ссылки и эмиграции, Н. К. Крупская разрабатывает проблемы народного образования, женского и молодежного движения. Учтено более тридцати работ по этим вопросам, опубликованных ею еще до Октября. С 1917 года и вплоть до своей смерти в 1939 году Надежда Константиновна — в гуще масс. «Просветительная и воспитательная работа т. Крупской,— писала Клара Цеткин,— является ценнейшей частью культурной революции...».

Библиографический указатель отражает динамику публикации работ Н. К. Крупской. После смерти Ильича: 143 публикации — в 1924-м, 144 — в 1925 году. Кажется, что она напрягла все свои силы, чтобы перелить тоску свою и боль в работу по осуществлению ленинских заветов. Надежда Константиновна взяла на себя благородный труд — оставить людям правдивый образ Ильича, написать воспоминания о Ленине, и это стало делом ее жизни. Воспоминания Н. К. Крупской — подлинный памятник Ильичу. Здесь все точно, достоверно и сердечно просто. В наши дни и грядущим поколениям они служат и будут служить верным источником для изучения жизни и деятельности В. И. Ленина.

Воспоминания доведены до 1919 года, Надежде Константиновне не пришлось их завершить. Но представляется, что каждое ее выступление в какой-то мере выполняет ту же задачу. Ведь о чем бы ни говорила, что бы ни писала Н. К. Крупская, она всегда «советовалась с Лениным». Ленинскими мыслями пронизана каждая ее работа. Неоценимое значение имеют и замечания Надежды Константиновны по поводу воспоминаний, книг, статей, произведений литературы и искусства о В. И. Ленине, замечания, которые и сегодня, в дни ле-

нинского юбилея, должны быть у нас «на вооружении».

Так перед нами вырисовывается образ Н. К. Крупской как первого и лучшего биографа Ленина. В систематизации всех этих работ — большая практическая ценность указателя.

Значение воспоминаний Н. К. Крупской ныне признано всеми. Однако в течение более чем двадцати лет они не переиздавались и стали одно время библиографической редкостью. В плане научного источниковедения интересна работа В. Голубцова, содержащая сравнительный анализ различных изданий этих воспоминаний<sup>1</sup>.

Большую научную ценность представляют воспоминания о самой Надежде Константиновне. В библиографическом указателе они не выделены в отдельную рубрику. Но, изучая литературу о деятельности Надежды Константиновны, видишь: почти все написанное о ней — это именно воспоминания современников, друзей, соратников. Первый сборник воспоминаний в виде отдельной книги появился лишь в 1966 году. К столетию была издана новая книга воспоминаний о Н. К. Крупской «Рядом с Лениным». Впервые опубликованные воспоминания чередуются здесь с уже известными. Скупое, но проникновенно рассказывают Г. М. Кржижановский, В. А. Шелгунов о знакомстве и дружбе В. И. Ленина и Н. К. Крупской, об их совместной жизни и борьбе. Через все воспоминания проходит главная мысль — огромна роль Н. К. Крупской в жизни и работе В. И. Ленина. Секретарь большевистских газет «Искра», «Вперед», «Пролетарий», она вместе с Владимиром Ильичем готовила II съезд партии, участвовала в выработке партийной программы. Вся переписка редакции «Искры» проходила через Надежду Константиновну. М. Н. Покровский писал, что она была «в этом деле не секретарем Владимира Ильича, а его форменным «замом»<sup>2</sup>.

«Ее соединяла с Лениным самая искренняя общность взглядов на цель и смысл

<sup>1</sup> В. С. Голубцов. К вопросу о научных принципах переиздания мемуарной литературы, в кн. «Источниковедение истории советского общества». М. 1968, вып. II.

<sup>2</sup> «Рядом с Лениным. Воспоминания о Н. К. Крупской». К столетию со дня рождения. Редколлегия: Ф. Н. Петров (главный редактор), А. Г. Кравченко, Р. А. Лапров, Н. В. Рубан. М. 1969, стр. 22.

<sup>1</sup> См. публикацию В. Н. Фойницкого «Запрещенная книга Н. К. Крупской» в сб. «Культурно-просветительная деятельность Н. К. Крупской». Л. 1969, стр. 152.



жизни,— писала Клара Цеткин.— Она была правой рукой Ленина, его главный и лучший секретарь, его убежденнейший идейный товарищ, самая сведущая истолковательница его воззрений, одинаково неутомимая как в том, чтобы умно и тактично вербовать друзей и приверженцев, так и в том, чтобы пропагандировать его идеи в рабочей среде. Наряду с этим она имела свою особую сферу деятельности, которой она отдавалась всей душой,— дело народного образования и воспитания»<sup>1</sup>.

Тепло рассказывают о Н. К. Крупской представители старой большевистской гвардии — Е. Д. Стасова, М. Н. Покровский, З. П. Невзорова-Кржижановская, П. Ф. Куделли, С. И. Гопнер, Г. И. Петровский.

О маленькой квартирке «Ильичей», о трудном и скромном быте, согретом приветливостью и удивительной душевностью, говорят многие воспоминания. Впечатляет свидетельство Г. И. Петровского. «Прощаясь с Надеждой Константиновной,— пишет он,— я обратил внимание на то, что она старается прятать свои руки. Внимательно присмотревшись, увидел, что руки у нее потрескались и потемнели от кухонной работы для нас, участников совещания (речь идет о Краковском совещании большевиков в 1913 году.— Л. З.). Милые, хлопотливые руки, им много пришлось поработать и пером, записывая речи делегатов на заседаниях, и на кухне, обеспечивая нам вкусный и дешевый обед, и убирая квартиру!»<sup>2</sup>.

О Н. К. Крупской рассказывают и участники Великого Октября, ярко показавшие деятельность Н. К. Крупской в дни революции. Свежи и интересны воспоминания М. Л. Сулимовой, С. И. Шульги, М. В. Фофановой о работе Надежды Константиновны в Выборгской районной управе, о ее связях с последним подпольем Ильича.

Особо ценны новые, ранее не опубликованные воспоминания, которые составляют половину книги. В каждом из них есть свое, неповторимое, ухвачена какая-то новая черта характера, подмечены свои детали. С. В. Евгенов повествует об особом внимании и заботе Н. К. Крупской к рабочим. М. И. Бурдина приводит подробности эпопей ликбеза, цитирует малоизвест-

ную статью Надежды Константиновны «Об Ильиче», специально написанную для журнала «Горнорабочий». А. И. Мильчаков рассказывает о том, как Н. К. Крупская заботилась о комсомоле, а один из первых руководителей пионерии А. А. Северьянова — о том, как она пестовала пионерскую организацию.

Интересны воспоминания М. Шагинян, где приводятся письма и записки Надежды Константиновны с критическими замечаниями не только по отдельным биографическим фактам и деталям, использованным писательницей при создании образа В. И. Ленина, но и более общего характера. «Признаться сказать, я очень против романов, повестей, сценариев из жизни Ильича,— писала Н. К. Крупская.— Как ни старается писатель, у него обычно получается не образ Ильича, живого Ильича, а образ какого-то другого человека, а главное, искажается и эпоха. Я обычно ворчу ужасно. Обычно получается затемнение личности Ильича...»<sup>1</sup>.

Работавшие вместе с Надеждой Константиновной единодушно отмечают, что общаться с нею было легко и радостно. В. Лебедев-Полянский, даря ей свою книгу, надписал: «Н. К. Крупской на память о первых годах строительства Наркомпроса, полных величайшего энтузиазма и уюта, полных чистой радости и товарищеского единения». И эта надпись точно передавала атмосферу в Наркомпросе, душой которого была Надежда Константиновна. В. С. Дридзо, бесменный секретарь Н. К. Крупской в течение двадцати лет, рассказывает о системе ее работы, о требовательности к себе и другим. «Больше всего не любила Надежда Константиновна людей равнодушных, быстро отказывавшихся от своего мнения, если оно расходилось с мнением начальства, а в большинстве случаев просто не имеющих своего мнения»<sup>2</sup>,— пишет она.

В книге «Рядом с Лениным» опубликованы дневники сотрудницы Наркомпроса А. И. Радченко, близко знавшей Надежду Константиновну и в течение долгих лет ведшей свои записи. Приходится сожалеть, что в основу этой публикации взяты отрывки из «Недели», подготовленные со значительными купюрами, а не архивный первоисточник. Можно пожалеть и о некоторых неточностях, встречающихся в этой в общем

<sup>1</sup> Клара Цеткин. Воспоминания о Ленине. М. 1935. стр. 11.

<sup>2</sup> «Рядом с Лениным», стр. 84.

<sup>1</sup> «Рядом с Лениным», стр. 345.

<sup>2</sup> Там же, стр. 172.

тщательно и даже красиво изданной книге,— их необходимо устранить при переиздании.

В библиографическом указателе есть специальный раздел «Литература о жизни и деятельности Н. К. Крупской». Кроме небольшого биографического очерка Л. Сталь, вышедшего в конце двадцатых годов и изрядно сокращенного в тридцатых, кроме юбилейных речей и статей, приуроченных к шестидесяти- и шестидесятипятилетию, мы не находим обобщенного биографического материала о Н. К. Крупской при ее жизни. Только после смерти, особенно со второй половины пятидесятых годов, начинается широкая разработка истории ее жизненного пути. Однако по преимуществу это еще исследования, посвященные отдельным аспектам жизни Надежды Константиновны, главным образом ее работе в области народного просвещения или отдельным периодам, в узких хронологических рамках.

К столетию Надежды Константиновны вышло несколько общих биографических работ: интересная популярная книга Л. Кунецкой и К. Маштаковой «Страницы прекрасной жизни», хорошая монография С. Беляевского «Н. К. Крупская в сибирской ссылке», изданная в Красноярске и основанная на широком привлечении архивных материалов, воспоминаний, писем. Истинную благодарность испытываешь при чтении третьего издания книги Веры Дридзо «Надежда Константиновна».

Книга обращена к детям, и сам ее тон — доверительный, бесхитростно простой и серьезный — удивительно гармонирует с образом Н. К. Крупской. Трудно охарактеризовать жанр книги — это и воспоминания очень близкого человека, и труд историка-исследователя, основанный на множестве новых подлинных документов (например, страницы о работе Н. К. Крупской среди военнопленных в годы первой мировой войны). Очень хорошо, что выделены специальные главки о друзьях Надежды Константиновны: Кларе Цеткин, Инессе Арманд, Л. Книпович, З. Кржижановской. Автору удалось избежать сюсюканья и слащавости, столь ненавистных Надежде Константиновне, рассказать о ней с глубоким уважением, но без дидактики, без поучений.

Труды Надежды Константиновны посвящены главным образом развитию педагогики. А. В. Луначарский вспоминал, как в пер-

вые дни создания Советского правительства Владимир Ильич посоветовал ему обратиться к Надежде Константиновне, которая много думала по вопросам народного образования. М. Н. Покровский справедливо называл Н. К. Крупскую первым в нашей партии «спецом» по педагогическим вопросам. Ушло в прошлое время, когда замалчивалось педагогическое наследие Надежды Константиновны, когда исследователи должны были вскрывать какие-то несуществующие «ошибки» Н. К. Крупской. За последние годы издано собрание ее педагогических сочинений (в одиннадцати томах), уже готовится его новос, еще более полное издание. К столетию выпущен ряд исследований педагогического наследия Надежды Константиновны. Здесь прежде всего следует назвать серьезную монографию Е. И. Рудневой<sup>1</sup>. Автор показывает, что Н. К. Крупская — выдающийся ученый-марксист, что она на деле «пропитала» вопросы педагогики марксизмом-ленинизмом. Красной нитью проходит через все труды Н. К. Крупской по педагогике мысль, выраженная в ее письме к А. М. Горькому о том, что люди должны расти «умом и сердцем», что в социалистическом коллективе «я» и «мы» будут сливаться в неразрывное целое. При этом: «ориентироваться на индивидуальность... вовсе не значит воспитывать... индивидуализм»<sup>2</sup>.

Е. И. Руднева не только излагает взгляды Н. К. Крупской, но и показывает лабораторию ее научного исследования. В двадцати шести тетрадях Надежды Константиновны, хранящихся в Центральном партийном архиве, содержится богатейший материал по истории, теории педагогики, психологии, технике, экономике на французском, немецком, английском и итальянском языках.

В дни столетнего юбилея Н. К. Крупской в ряде педагогических вузов нашей страны проходили научные конференции, труды которых, изданные в Горьком, Йошкар-Оле, Томске и других городах, показывают, как серьезно и всесторонне исследует современная советская педагогическая мысль ее многогранное наследие в этой области. Среди материалов этих сборников есть доклады о работах Н. К. Крупской по проблемам эсте-

<sup>1</sup> Е. И. Руднева. Педагогическая система Н. К. Крупской. М. 1968.

<sup>2</sup> Н. К. Крупская. Педагогические сочинения, т. 11, стр. 451; т. 9, стр. 186.

тического и атеистического воспитания, заочного обучения и самообразования, психологии ребенка, пионерского движения, методики преподавания отдельных предметов, в том числе литературы, истории, географии, математики, естествознания и т. д.

Более всего важна разработка Н. К. Крупской животрепещущего вопроса советской педагогики — формирования коммунистического мировоззрения, патриотизма и интернационализма, — проблемы, которой она занималась всю свою большую жизнь.

Оригинальна вышедшая в прошлом году книга казанского ученого З. С. Ахмерова «Н. К. Крупская и народное образование в многонациональном Среднем Поволжье», где на ярких фактах из архивных документов, местной печати и воспоминаний показывается повседневное внимание Надежды Константиновны к формированию национальной интеллигенции, к воспитанию интернационализма и братской дружбы советских народов.

Хочется отметить еще один вид работ, характерных для юбилейных изданий о Н. К. Крупской. Это популярные книги для массового читателя. Надежда Константиновна сделала очень много для создания популярной научной литературы, массовых изданий, лишенных пошлого «популярничанья». И массовые книжки, посвященные ей самой как теоретику и организатору советской педагогики, как бы продолжают эту традицию. Издательство «Знание» привлекло крупных специалистов-просветителей, соратников Н. К. Крупской, и они написали небольшие, но содержательные брошюры. Таковы книги Ф. С. Озерской и Н. И. Стриевской, Е. Я. Голанта и Т. С. Колосова, П. В. Горпостаева. Н. К. Гончарова, В. А. Каспиной. Интересна, в частности, книга В. А. Каспиной об идеях Н. К. Крупской по воспитанию детей в семье. Ведь в первые годы революции нередко говорилось о необходимости полной замены семейного воспитания общественным. Трезвая оценка подобных теорий и взглядов в трудах Надежды Константиновны, ее определение роли и значения семьи — все это весьма актуально и полезно для тех, кому адресована книга — для сегодняшних родителей.

Эту серию книг завершает коллективная монография «Педагогические взгляды и деятельность Н. К. Крупской». Ее авторы

дают нам многогранный портрет Надежды Константиновны, в которой «целостно сочетались педагог, теоретик, организатор, политический деятель»<sup>1</sup>. В книге весьма обстоятельно анализируются дооктябрьские педагогические труды Н. К. Крупской, ее участие в создании новой системы социалистического просвещения, формы и методы руководства народным образованием. Подробно разбираются интересовавшие Н. К. Крупскую проблемы педагогической теории, как общие, так и специальные: дошкольное воспитание, политехническое образование и трудовое обучение, принципы, содержание и формы воспитательной работы и т. д. Показана роль Н. К. Крупской в коммунистическом движении молодежи и детей — комсомола и пионеров. Книга открывается кратким очерком жизненного пути Н. К. Крупской и завершается разделом, посвященным ей как педагогу-исследователю. Эта компактная книга — хорошее обобщение ее трудов и полезное пособие, отражающее современный уровень научно-педагогической мысли. Жаль только, что в ней почти не раскрыт вклад Н. К. Крупской в создание школ и внешкольных учреждений многочисленных народов нашей страны. А ведь в ее сочинениях, не говоря уже об архивах, хранится много ярких документов по этим вопросам. Менее подробно, чем хотелось бы, рассматриваются в книге тридцатые годы.

Надежда Константиновна всегда относилась к читателю, слушателю, ученику с уважением и доверием. Она не терпела нажима, давления, считая, что такие меры могут только отвратить от учения, от книги. И здесь — нечто большее, чем просто один из принципов педагогики. Здесь принцип гуманизма — основа коммунистического отношения к личности и ее правам. Во время Всероссийского совещания работников детских библиотек (1933) она с возмущением пишет А. М. Горькому, что «вместо руководства чтением организуется свирепая опека над чтением»<sup>2</sup>. «Предполагают, что читатель круглый дурак, а понимает книгу один только библиотекарь, — замечала она в своем

<sup>1</sup> «Педагогические взгляды и деятельность Н. К. Крупской». Под редакцией Н. К. Гончарова (главный редактор), М. А. Данилова, В. П. Есипова, А. И. Пискунова, П. В. Руднева, М. Н. Скаткина, Н. И. Стриевской. Составитель П. В. Руднев. М. 1969, стр. 6.

<sup>2</sup> Н. К. Крупская. Педагогические сочинения, т. 11, стр. 489.

выступлении на III пленуме Совета культурного строительства при ВЦИК.— И если человек, интересующий историей, хочет прочесть что-нибудь о фараонах, то библиотекарь часто решает, что этому читателю нужно прочесть о сельском хозяйстве, а о фараонах читать не нужно. Вот эта опека доводит до белого каления, она отучает от книги»<sup>1</sup>.

В том же плане интересна статья Н. К. Крупской «Неосновательные опасения», опубликованная в «Правде» 6 февраля 1919 года и, кстати, с тех пор не переиздававшаяся. После того, как литературно-издательский отдел Наркомпроса осуществил в 1918 году выпуск по старым матрицам изданий русских классиков, в «Правде» и «Известиях» стали раздаваться голоса о ничемности этой «затеи». Л. Сосновский, например, заявил, что «можно обойтись и без Жуковского», Я. Петерс призывал пойти еще дальше и не издавать ничего, кроме агитационной литературы и популярных брошюр. Отповедь Н. К. Крупской этим «левакам» была прямо-таки блестящей. «Комиссариат обвиняют чуть ли не в распространении царизма,— писала она.— Видите ли, в полном собрании сочинений Жуковского имеется гимн «Боже, царя храни». Что будет, если сочинения Жуковского попадутся в руки рабочего?! Прочитает он «Боже, царя храни» и моментально обратится во врага Советской власти. Так, что ли? Бояться, что рабочему попадет в руки гимн «Боже, царя храни», значит считать его за какого-то дурака... Бояться политического влияния Жуковского смешно. Никогда он этого политического влияния не имел, а уж теперь, сто лет спустя, и подавно иметь не может. Обвинять же Жуковского, что он был монархист в век, когда все были монархистами, никто не станет, и рабочих охранять от влияния Жуковского совершенно излишне».

Наша революция породила совершенно новые, невиданные ранее очаги культуры, учреждения, формы, методы. И у их истоков стояла Н. К. Крупская. Действительно, нельзя говорить ни о внешкольном отделе Наркомпроса, ни об избе-читальне, ни о ликбезе, ни о специальном органе — Главполитпросвете, не вспомнив о ней. Книга М. С. Андреевой «Н. К. Крупская и куль-

турно-просветительная работа в деревне» всем своим содержанием перекликается с сегодняшними проблемами развития культуры на селе. Клуб и изба-читальня, самообразование и атеистическая пропаганда, борьба за коммунистическую мораль — высказывания Надежды Константиновны на все эти темы свежи и сегодня. Стбило бы дополнить книгу анализом многочисленных рецензий Н. К. Крупской на различные кинофильмы — роль кино в культурном строительстве она оценивала очень высоко.

Вот книга с суховатым, непримечательным названием «Культурно-просветительная деятельность Н. К. Крупской». Однако это одно из самых полезных юбилейных изданий. В нем собраны статьи и воспоминания работников Ленинградского института культуры имени Н. К. Крупской. института, созданного при ее участии еще в двадцатые годы как одно из первых учебных заведений для подготовки кадров политпросветработников. Воспоминания принадлежат перу тех, кому выпало счастье работать вместе с Надеждой Константиновной (Г. Я. Голант, Е. А. Горш, М. М. Свещинская, Б. В. Банк, Н. Н. Житомирова, П. И. Усанов). Каждый из авторов прибавляет к ее портрету какие-то новые подробности, любопытные штрихи<sup>1</sup>.

Помимо воспоминаний, сборник содержит научные статьи и сообщения о вкладе Н. К. Крупской в разработку принципов и организации культурно-просветительной работы. Надежда Константиновна живо интересовалась тем, что теперь принято называть «наукой управления», и написала интересную статью «Система Тейлора и организация работы советских учреждений». Примечательно, что она была опубликована рядом с ленинской статьей «О продналоге» в первом номере журнала «Красная новь» в июне 1921 года. Ленинская постановка вопроса о преодолении буржуазии с помощью нэпа, о борьбе с бюрократизмом, об умении трудиться нашла горячий отклик в этой статье.

«Странное дело,— пишет Надежда Константиновна,— каждый коммунист знает, что бюрократизм — вещь крайне отрицательная, что он губит всякое живое начинание, что он искажает все меры, все декреты, все рас-

<sup>1</sup> Н. К. Крупская. Педагогические сочинения, т. 8, стр. 395.

<sup>1</sup> «Культурно-просветительная деятельность Н. К. Крупской». Сборник статей к 100-летию со дня рождения (1869—1969). Л. 1969.

поряжения; но стоит коммунисту начать работать в каком-либо комиссариате или другом каком советском учреждении, — он и оглянуться не успеет, как увидит себя уже наполовину увязшим в столь ненавидимом им бюрократическом болоте». Н. К. Крупская вскрывает связь бюрократизма с неумением планомерно и рационально организовать работу. «Дело управления, — подчеркивает она, — далеко не легкое дело. Это целая наука». Членение работы на элементы, четкое разграничение и определение функций, «уроки» на каждый день, точный, по возможности даже механизированный контроль и учет всей работы — вот, по ее мнению, меры, которые помогут бороться с «административной фантастикой», за деловитость и эффективность работы. Анализ этой забытой работы Н. К. Крупской, ее взглядов и суждений по проблемам научной организации труда — заслуга ленинградского ученого И. М. Болотникова, выступившего со специальной статьей на эту тему.

Хочется отметить одну — и немаловажную — особенность работ, вышедших в связи со столетием Н. К. Крупской, особенность, достойную памяти юбиляра, — стремление к научности, основательности изданий. Не к показной «научности» пухлых томов, а к научности подлинной, в том числе к серьезному научному аппарату. В сборнике «Рядом с Лениным», кроме хорошего биографического предисловия и кратких справок об авторах, следует особенно отметить публикацию краткой летописи жизни и деятельности Н. К. Крупской, подготовленную Д. К. Михалутиной. К книге «Педагогические взгляды и деятельность Н. К. Крупской» приложена библиография основной литературы по общим и частным вопросам

педагогике, разработанным Н. К. Крупской, и список архивных источников. Краткой библиографией снабжен ряд популярных брошюр общества «Знание», предназначенных для лекторов, учителей, пионервожатых. Примером серьезности в выполнении своей задачи служит и библиографический указатель, с которого мы и начали свой обзор. Правда, не успев выйти в свет, этот добротный труд уже срочно требует дополнений. Ведь он доведен только до 1968 года и не включает изданий, выпущенных к столетию Н. К. Крупской.

Но, конечно, вышедшие работы далеко не исчерпывают всех проблем изучения жизни и творчества Н. К. Крупской. Некоторые из них только поставлены и ждут своего исследователя, например, роль Надежды Константиновны как секретаря редакции «Искры», «Вперед», «Пролетарий» и руководителя переписки с местными организациями партии. Сделаны лишь первые шаги в изучении ее деятельности в период подготовки и проведения Великого Октября. Совсем почти не разработана тема: государственная деятельность Н. К. Крупской на различных этапах жизни нашей страны. Многие еще предстоит сделать и для публикации ее литературного наследия. В указателе отмечено 1100 опубликованных писем Н. К. Крупской. Но в архивах хранится еще огромное число ее писем, записок, тезисов, документов, представляющих большой исторический интерес. Только в ЦГАОР лежит 1300 папок с письмами Н. К. Крупской от трудящихся. Какой это великолепный материал для изучения ее деятельности, для изучения нашей эпохи!

Л. ЗАК,

*доктор исторических наук.*



## ПУТЬ К ИСТОРИЧЕСКОЙ ПРАВДЕ

**Источниковедение. Теоретические и методические проблемы.**  
 Ответственный редактор С. О. Шмидт. «Наука». М. 1969. 511 стр.

Исторический источник — это все то, что дает нам возможность узнать и понять прошлое: документы и произведения художественной литературы, картины и монеты, обломки посуды и стены древних крепостей. Узнать прошлое можно через изучение «остатков» этого прошлого, источников. А это сложное и трудное дело. Не всегда и не во всем можно доверять источнику. Перед историком в его работе над источником стоят две опасности: или пойти за источником, поддаться ему и видеть прошлое так, как его видело идеологически искаженное мировоззрение современников, или интерпретировать источник произвольно, видеть в нем то, что по тем или иным причинам историку видеть хочется. Насколько он сможет преодолеть обе эти опасности, настолько его работа будет шагом вперед в познании прошлого, в развитии исторической науки.

Исследованием источников, приемов их выявления и использования в работе историка занимается особая историческая дисциплина — источниковедение. Сборник «Источниковедение. Теоретические и методические проблемы» подготовлен сектором методологии Института истории АН СССР. В нем собраны статьи, отражающие достижения современного советского источниковедения и раскрывающие стоящие перед ним проблемы.

Источниковедение — наука о том, как раскрывать по источникам исторические факты, картину прошлого. Но что такое исторический факт? Просто любой факт или только некоторые, «важные» факты? Этой проблеме посвящена статья А. Я. Гуревича «Что такое исторический факт?». А. Я. Гуревич описывает проходившую в течение долгого времени в западной науке дискуссию по проблеме исторического факта и пытается нащупать возможность решения этой проблемы. По его мнению, исторический факт — это такое событие прошлого и то в этом событии, что может войти на данном теоретическом уровне в анализ историка. В зависимости от целей исследования один и тот же факт входит в него разными своими сторонами. По мере выяснения социальных закономерностей, по мере

роста наших знаний историками привлекаются все новые и новые факты. Для науки начала прошлого века данные о производстве сукна в средневековой Италии не были «историческими фактами», они не могли быть вовлечены в исторический анализ, и их знание или незнание ничего не давало и не отнимало от понимания прошлого. То же можно сказать про факты, относящиеся к психологии и логике мышления, скажем, древнего египтянина для науки начала нашего века. Круг привлекаемых фактов растет по мере социального познания, и само это познание растет по мере привлечения новых фактов, по мере того, как все больше фактов становится «историческими».

Ряд статей сборника посвящен истории источниковедческой науки. В статье Б. Г. Литвака «О путях развития источниковедения массовых источников» говорится о необходимости освоения опыта старого русского источниковедения, в частности — работ предреволюционных лет: Шахматова, Лаппо-Данилевского, земских статистиков. Статья О. М. Медушевской посвящена теоретическим проблемам источниковедения в советской историографии двадцатых — начала тридцатых годов. Для зарождавшегося советского источниковедения, несмотря на присущие ему элементы вульгарно-социологического подхода, характерно стремление к овладению накопленной источниковедческой культурой и к выработке объективных принципов источниковедения, не допускающих произвольную трактовку источников. Так, в статье М. Н. Покровского «От Истпарта» (передовая первого номера журнала «Пролетарская революция» за 1921 год) выдвигалось в качестве принципа историко-партийного источниковедения привлечение «всех без исключения материалов». Эти подлинно научные принципы все более явно утверждаются в источниковедении последних лет.

Основным требованием, предъявляемым современной наукой к работе историка, является требование анализа или всех доступных источников, или же, если исследуются лишь некоторые источники, точного установления их репрезентативности, то

есть того, насколько данные источники представляют типические явления прошлого. Между тем, несмотря на очевидную справедливость этого требования, выполняется оно далеко не всегда. В упомянутой выше статье Б. Г. Литвака уделяется много места полемике с теми, кто пробует защищать и даже «теоретически обосновывать» выборочное использование источников для иллюстрации априорного тезиса. Такие взгляды высказываются, например, в работах М. А. Варшавчика, который считает, что сплошное изучение всех историко-партийных источников «и невозможно, и излишне».

Но подобная тенденция в источниковедении — сегодня далеко не единственная и не господствующая. Другая тенденция, характеризующаяся стремлением к возможно более полному охвату источников и выработке точных, не допускающих произвола правил работы с ними, все более и более набирает силу. Она воплощена в настоящем сборнике.

Наряду с овладением классической источниковедческой культурой авторы пропагандируют новые методы и приемы источниковедения, вырабатываемые современной наукой. Этому посвящены статьи И. Д. Ковальченко «О применении математико-статистических методов в исторических исследованиях», А. Я. Гуревича «Социальная психология и история. Источниковедческий аспект». В последней работе доказывается, что при правильном подходе любые древние памятники, которые обычно используются как источники по политической и социально-экономической истории, могут рассказать нам и об особенностях мышления и эмоционального строя людей своего времени.

Примером тонкого источниковедческого анализа является, на наш взгляд, работа А. А. Курносова «Приемы внутренней критики мемуаров (Воспоминания участников партизанского движения в период Великой Отечественной войны как исторический источник)».

«Внутренняя критика мемуаров,— пишет А. А. Курносов,— может рассматриваться как система последовательно применяемых методов, включающая в себя логический анализ текста, текстологию, сопоставление с родственными и независимыми источниками». Логический анализ текста состоит в

членении его на отдельные эпизоды, отдельные сообщения. Среди этих сообщений могут быть рассказы о непосредственно наблюдавшихся автором фактах, о том, что он знал понаслышке, и, наконец, его теоретические выводы, его эмоциональная оценка событий. Естественно, что подход историка к каждому типу сообщений различен. Каждое сообщение оценивается особо, причем исследуется его внутренняя непротиворечивость. Исследование традиции текста и исторической ценности каждого отрывка — предмет следующего этапа работы — текстологического исследования, цель которого «состоит в выяснении того, что именно содержит каждый данный отрывок: более или менее близкое к первоначальному впечатлению свидетельство; ретроспективный взгляд на прошлое с позиций настоящего (и какого именно); ассимилированные мемуаристом исторические концепции и их аргументацию, заимствованную из научной литературы; следы самоограничения... учета автором... замечаний рецензентов, редактора или иных, причастных к изданию лиц».

Пример текстологического анализа в статье А. А. Курносова — разбор мемуаров П. Вершигоры, известных в различных редакциях. Такой анализ позволил исследователю установить неравноценность разных вариантов текста и влияние на них общественной эволюции. Ознакомление со статьей А. А. Курносова полезно не только историку, но и всем тем, кто читает многочисленные мемуары участников войны, вышедшие в последнее время.

Целый ряд статей сборника посвящен работам Маркса, Энгельса и Ленина.

Как известно, произведения великих мыслителей отражают эволюцию их воззрений. Многие из них писались по разным конкретным поводам. Чем более догматически, без учета всех этих обстоятельств, они используются, тем больше возможность их произвольного толкования. Лишь тогда, когда мы применяем по отношению к произведениям классиков марксизма-ленинизма проверки, мы можем добиться адекватного понимания их мыслей. В этом смысле показательна статья Г. А. Багатурия «Из опыта изучения рукописного наследия Маркса и Энгельса». Реконструкция первой главы «Немецкой идеологии», где рассказывается о блестящей источниковедческой работе, проделанной советскими марксоведа-

ми с текстом этого произведения, работе, позволившей установить его истинное значение и его место в развитии взглядов Маркса и Энгельса. В статье Э. С. Виленской «К истории статьи В. И. Ленина «От какого наследства мы отказываемся?» на основании глубокого изучения ленинской работы, всех данных о ее творческой истории и откликов на нее в печати подводится итог длительной дискуссии о смысле и значении этой статьи Ленина, долгое время использовавшейся для оправдания противопоставления революционных демократов

шестидесятих годов народничеству семидесятих годов, представлявшемуся как реакционное течение.

В целом сборник олицетворяет плодотворные тенденции в современной исторической науке, направленные на поиски таких приемов и методов работы с источниками, которые не допускают их произвольную интерпретацию и позволяют восстановить прошлое настолько полно, насколько это возможно на современном уровне знания.

Д. ФУРМАН.



## НА ЗАРЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ДИПЛОМАТИИ

В. Т. Пашуто. *Внешняя политика Древней Руси.* «Наука». М. 1968. 472 стр.

Есть темы, которым, видимо, еще очень длительное время не суждено стареть. К их числу, несомненно, относятся вопросы войны и мира, которые всегда горячо волнуют современников и вызывают живейший интерес у потомков, часто отстоящих от тех или иных исторических событий на десятки, сотни и даже тысячи лет. Изучая опыт прошлого, люди стремятся лучше понять проблемы, волнующие их сегодня.

Книга В. Т. Пашуто рассказывает о событиях, происходивших восемьсот—тысячу лет назад. Сперва современники — авторы летописей, писатели, публицисты, а позже многие поколения отечественных и зарубежных исследователей не раз обращались к различным аспектам внешней политики Древней Руси. Тем не менее рецензируемая работа является первым специальным трудом, в котором исследованы основные этапы внешней политики Древней Руси почти за три с половиной столетия: от образования в X веке у восточных славян относительно единого государства до середины XIII века, когда ослабленная феодальными усобицами страна после длительной и кровопролитной борьбы подпала под власть монголов.

Монография В. Т. Пашуто освещает широкий круг вопросов. Автор впервые так ярко и выпукло показал, что в X—XIII веках Древняя Русь была могущественным государством, имевшим обширные связи с большинством важнейших государств тогдашнего мира: Швецией, Норвегией, Данией, Германией, Пруссией, Польшей, Венгрией, Чехией, Болгарией, Францией, Анг-

лией, Италией, Византией, а также с арабскими странами Передней Азии и Африки, государствами Закавказья, Средней Азии, союзами кочевых племен северного Причерноморья.

Формы этих связей были различны и не раз менялись на протяжении освещаемого в книге периода. Тут были и отправка послов, и поездки купцов, и «хождения по святым местам» паломников и церковных иерархов, часто выполнявших дипломатические поручения. Древняя Русь заключала со своими соседями торговые договоры, военные и политические союзы, нередко скрепленные брачными связями. К этому времени восходит формирование в средневековой Европе норм международного права, включавшего положения о торговле и мореплавании, посольской службе и дипломатическом иммунитете.

Приведенный в книге В. Т. Пашуто материал убедительно свидетельствует о том, что значение Древней Руси в мировой истории было весьма велико. Она сыграла существенную роль в формировании политической карты средневековой Европы. Отражая натиск кочевников (печенегов, половцев и других), Русь объективно способствовала борьбе балканских народов с Византийской империей, а также выступлениям населения Кавказа против арабского владычества. Одержав ряд побед над крестоносцами, население Руси оказало героическое сопротивление нашествию монголов, что в немалой мере способствовало спасению западноевропейской цивилизации от разорения. В этой борьбе Русь была на



длительное время ослаблена, потеряла многие владения; ее земли были поделены между правителями отдельных монгольских орд и улусов.

Государственные деятели Древней Руси активно выступали на международной арене в защиту интересов своей страны. Из их среды в X—XIII веках выдвинулись такие крупные дипломаты, как князь Святослав, Владимир Святославич, Владимир Мономах, Андрей Боголюбский, Александр Невский, Даниил Галицкий. На дипломатическом поприще успешно подвизались и некоторые русские женщины, сыгравшие видную роль в политической жизни Европы: великая княгиня киевская Ольга, королева-регентша Франции Анна Ярославна, участница борьбы Вельфов со Штауфенами императрица Германии Евпраксия Всеволодовна, поборница политического единства страны королева Венгрии Евфросинья Мстиславна, галицко-волынская княгиня-регентша Анна, заключавшая договоры с Польшей, Венгрией и Литвой, и другие.

Крупные внешнеполитические успехи Древней Руси, возросшая роль ее в международных делах нашли отражение не только в русских летописях и былинах, но и в хрониках, эпосе и поэзии многих народов Европы и Азии. Об этом, в частности, свидетельствуют упоминания событий истории Руси в исламских сагах, в немецком эпосе («Песнь о Нибелунгах») и поэзии («Сага о Дитрихе Бернском», «Вольфдитрих», «Розовый сад»), в стихотворных хрониках англосаксов, в «Песне о Роланде» и других. Русы были хорошо известны в арабском мире в качестве торговцев, воинов и служилых людей.

Большое внимание В. Т. Пашуто уделил истории формирования политической карты средневековой Европы. В его книге содержится значительный фактический материал о взаимоотношениях Древней Руси с ее ближайшими соседями, особенно с Норвегией, Швецией, Польшей, Германией, Венгрией, Чехией и Болгарией. Как пишет В. Т. Пашуто, «факты свидетельствуют о тысячелетней традиции русских международных связей. Советские люди, граждане страны, последовательно отстаивающей принципы мира и гуманизма, помнят об этой традиции, им дороги «старые камни» и Европы и Азии».

Возникновение государства восточных славян и выступление Древней Руси на

международной арене в качестве крупной политической силы совпало по времени с аналогичными процессами у поляков, чехов, болгар, венгров и других народов Европы. У них также происходил процесс национальной консолидации и формирования территорий их государств. В этих условиях периоды мирных отношений и союзов между Русью и ее соседями сменялись конфликтами, вооруженными столкновениями, нередко весьма разорительными для их населения.

В. Т. Пашуто не замалчивает теневых сторон исторического процесса: «соседи» не только торговали, заключали военные, дипломатические и матримониальные союзы между собою, но и часто ходили войною друг на друга. Во время этих походов феодалы не упускали благоприятных возможностей для усиления своих позиций путем захвата соседних территорий и эксплуатации их населения. Древняя Русь не была исключением из общего правила. Достаточно вспомнить походы дружин киевских князей на Царьград или в Пруссию.

Однако, как неоднократно подчеркивает автор, в целом в это время на Руси, в Польше и в других странах Восточной Европы не было социальных сил, заинтересованных в широкой территориальной экспансии и способных ее осуществить, особенно в связи с ростом феодальной раздробленности. Напротив, в X—XIII веках Древняя Русь, Польша, Венгрия, Чехия, Болгария были вынуждены заключать между собой союзы в связи с постоянной внешней опасностью со стороны кочевников северного Причерноморья, а также для отпора враждебным действиям более сильных государств — Византийской и Германской империй, поддерживаемых римской курией. Как справедливо отмечает В. Т. Пашуто, «это был очень важный этап в истории внешней политики, ибо установленным в ту пору границам и оформленным тогда союзам было суждено пережить века, а в известной мере дожить и до наших дней».

История внешней политики правильно рассматривается в книге В. Т. Пашуто как продолжение внутренней политики господствующего класса феодалов и отдельных его групп, находившихся у власти. При объяснении внешней политики Древней Руси автор учитывает особенности ее социально-политического строя, хотя порой и хочется пожелать ему несколько большего

внимания к фактам экономической истории. Он хорошо показал значение относительно единого языка для успешного разрешения ею внешнеполитических задач и отрицательные последствия феодальной раздробленности.

Кажется само собой разумеющимся, что в любой научной работе выводы автора должны опираться на прочный фундамент тщательно проверенных фактов. И вряд ли стоило специально ставить это автору в заслугу, если бы дело не касалось истории Древней Руси. Дело в том, что при изучении ее политической истории исследователи располагают крайне скудным количеством письменных источников. Чтобы расширить источниковедческую базу своего исследования и восстановить основные события внешнеполитической истории Древней Руси более чем за три столетия, В. Т. Пашуто выполнил колоссальную для одного

ученого работу: он критически использовал не только все дореволюционные и советские издания источников и труды историков, археологов, искусствоведов, литературоведов и лингвистов, но и все важнейшие публикации и работы зарубежных ученых по этой проблеме почти на пятнадцати языках (разделы о взаимоотношениях Руси с тюркскими и кавказскими народами написаны востоковедом А. П. Новосельцевым).

В рецензируемом труде не раз отмечается, что в истории внешней политики Руси имеется еще много неясных и неизученных вопросов. Эти замечания — не только свидетельство критического отношения ученого к результатам своего труда, но в известной мере и вехи, намечающие новые проблемы истории Древней Руси и пути их исследования.

С. ТРОИЦКИЙ.

★

## РЕШАЮЩИЙ ДОВОД

Э. С в а д о с т. Как возникнет всеобщий язык? «Наука». М. 1968. 287 стр.

Заглавие настораживает. Как возникнет всеобщий язык? — спрашивает автор. Самый же факт возникновения всеобщего языка у него, видимо, сомнений не вызывает, хотя большинству специалистов вопрос о целесообразности и возможности появления в обозримом будущем единого для всего человечества языка представляется далеко не решенным.

Несколько необычна и вступительная статья «От редакторов». Отметив, что «в данной книге на обширном конкретном материале показано, что всеобщий язык как второй язык всех народов мира стал насущной жизненной потребностью нашего времени», редакторы — доктор филологических наук профессор Е. А. Бокарев, член-корреспондент АН СССР М. Д. Каммари и доктор философских наук профессор А. Г. Спиркин — довольно подробно оговаривают, в чем именно каждый из них не согласен с автором книги. Таким образом, еще до того, как мы успеваем прочитать первую страницу книги, мы уже оказываемся втянутыми в полемику с ее автором.

В книге семь глав. «Жизненная потребность нашего времени» — в этой главе автор перечисляет и анализирует доводы в

пользу создания всеобщего языка. «Четырехвековая история попыток создания вспомогательного международного языка» — эта глава читается как увлекательная повесть о надеждах и разочарованиях, о смелых мечтах крупнейших деятелей культуры и об — увы! — печальной действительности: всеобщего языка еще не существует. В следующей главе излагается история Эсперанто и дается критика искусственного языка. Здесь же автор развивает свою основную идею: являются ли вспомогательный международный язык и единый всеобщий язык двумя разными языками, различными проблемами или это один и тот же язык в разные периоды истории и в разных функциях и, следовательно, одна проблема?

Ответ Э. Сवादоста гласит: «Да, это — два различных языка, две различные проблемы, если под вспомогательным языком иметь в виду Эсперанто или любой иной ему подобный проект. Но это — один и тот же язык в разные периоды истории и в разных функциях, одна проблема, если иметь в виду тот язык, который будет создан для того, чтоб стать языком всемирного социализма, а затем и всемирного коммунизма».

Здесь, нам кажется, и находится слабое

звено в рассуждениях автора. Как мы стараемся показать дальше, он весьма убедительно доказывает необходимость создания всеобщего вспомогательного языка уже сейчас или очень скоро. Что же касается того, вытеснит ли когда-нибудь этот всеобщий вспомогательный язык национальные языки, то тут у автора есть лишь право на создание гипотез.

Вернемся, однако, к рассуждению автора. Он считает, что Эсперанто в лучшем случае может некоторое время выполнять функции вспомогательного международного языка, но «настоящий» всемирный язык должен быть гораздо более совершенным. В упомянутой выше статье «От редакторов» указывается, что Е. А. Бокарев «считает малопопулярной антиэсперантскую направленность книги», но в этом вопросе, пожалуй, прав Э. Сवादост.

«Некоторая распространенность Эсперанто,— пишет он,— некоторое практическое применение его никак не может быть решающим соображением в столь важном вопросе, как всемирный международный язык, пусть лишь вспомогательный. Только качества самого языка должны все решать здесь. Практические преимущества Эсперанто выглядят внушительно по сравнению с малой практикой других языков-проектов или полным ее отсутствием. Но эти преимущества, даже если они значительно возрастут в ближайшие десятилетия, потеряют значение, когда появится язык, достойный всеобщего признания».

Значит, победит достойнейший. Само по себе это утверждение тривиально, но Э. Сवादост убежден, что такой новый язык будет обладать качествами, которых нет не только у Эсперанто, но и у любых наиболее развитых естественных национальных языков. В этой связи в двух дальнейших главах книги («Теория выделения всеобщего языка из национальных» и «Теория всемирного слияния языков») и обсуждаются качества нового, искусственного языка, который мог бы претендовать на роль языка всеобщего. Но прежде Э. Сवादост убедительно, на наш взгляд, доказывает, что роль всеобщего языка не может быть передана ни одному национальному языку. Во-первых, говорит автор, признание даже самого распространенного языка в качестве единого для всего человечества натолкнется на непреодолимые политические и психоло-

гические трудности. А во-вторых, ни один из существующих национальных языков, каким бы развитым он ни был и каким бы совершенным он ни представлялся тем, кто на нем говорит, не может быть вполне пригоден для выполнения функций, ради которых и будет создан всеобщий язык.

Естественные национальные языки — результат многовекового развития, достояние культуры народов — прекрасно приспособлены для выражения самых тонких оттенков мысли и чувства, пока речь идет о быте или художественной литературе. Правда, у «каждого этнического языка свои трудности. Хорошо известны, например, исключительные трудности орфографии английского и французского языков, трудности немецкого синтаксиса и русской морфологии... В каждом историческом языке не хватает многих слов для выражения лексических понятий и многих морфем и вообще формальных средств для выражения грамматических значений...». Как справедливо подчеркивает Э. Сवादост, все эти «недостатки национальных языков, разумеется, не исключают у них различных достоинств и красот. Так, русский язык дает, в частности, богатые возможности для художественных произведений, для поэзии. Он гораздо более приспособлен для стихов, чем английский, немецкий и даже французский: он гибче их синтаксически, в нем больше данных для многообразия ритмики и рифм».

Тем не менее, еще раз возвращаясь к своему основному тезису, автор заканчивает последнюю главу книги, названную «Общечеловеческий язык как одна из проблем преобразования мира», утверждением: «Можно оспаривать что угодно в предлагаемой трактовке проблемы всеобщего языка, но вряд ли оспоримо, что пришло время для теоретической разработки всех ее аспектов».

Опять-таки автор не делает при этом различия между проблемой создания всеобщего вспомогательного языка уже в обозримом будущем и проблемой появления единого языка всего человечества в неопределенной перспективе. Независимо, однако, от того, насколько правомерно такое отождествление разных по существу проблем, и не задерживая своего внимания на ряде относительно второстепенных вопросов: о методах создания всеобщего языка, о критериях его оценки, о составе коллегии, кото-

рая окажется достаточно компетентной и авторитетной, чтобы выбрать для всего человечества единый (хотя бы вспомогательный) язык, — постараемся уяснить себе самое главное, принципиальное в рассуждении Э. Сवादоста: зачем и кому нужен всеобщий язык? Или точнее: чем вызвано превращение всеобщего языка из категории желаемого в категорию необходимого?

Э. Сवादост указывает, что «идею сознательно созданного международного языка поддерживали... в России — Лез Толстой, Максим Горький, Илья Эренбург, на Западе — Анри Барбюс, Герберт Уэллс, Бернард Шоу; сторонниками ее были и Ромен Роллан, Эптон Синклер, на Востоке — Лу Синь». Он передает слова Платона: «Боги облагодетельствовали бы человечество, даровав ему общий язык». Он приводит письмо Декарта Мерсенну по поводу сочинения Германа Гюго, в котором развивалась идея всеобщего языка: «Мой Преподобный Отец, это предложение о новом языке кажется мне восхитительным». Автор ссылается еще на десятки других авторитетных высказываний в пользу идеи всеобщего языка человечества. Но чем больше союзников становится у Э. Сवादоста, тем сильнее наше сомнение: если проблема создания всеобщего языка, за который ратовало столько великих, не была решена до сих пор, то почему мы должны верить автору, что эту проблему следует решать сейчас, незамедлительно и что ее вообще удастся решить?

Автор пишет: художественные переводы неполноценны. Старая истина. Но может ли стремление поэта говорить со всем миром послужить достаточным основанием для отказа всех поэтов от национальных языков в пользу даже самого совершенного воляюка? Тем более что многовековой опыт свидетельствует о том, что художественные произведения, написанные на любом языке, могут стать достоянием общечеловеческой культуры.

Автор ссылается на неудобства, которые испытывают туристы. Но армия гидов более или менее сносно обслуживает их, да и такая ли уж это существенная проблема, чтобы ради ее решения всем выучивать дополнительный к родному всеобщий язык, а тем более вообще отказываться от национальных языков?

Автор говорит об отмирании национальных языков в мире социализма и коммуниз-

ма. Но это пока всего лишь гипотеза, которая может быть подтверждена только в весьма отдаленном будущем.

Если бы автор оперировал лишь теми доводами в пользу создания всемирного языка, которые мы перечислили и большинство из которых известно очень давно, то его вывод о безотлагательной необходимости приступить к разработке всеобщего языка был бы неубедительным.

Однако в распоряжении автора есть еще один довод, очень существенный и, на наш взгляд, решающий. К сожалению, Э. Сवादост в своем исследовании (заметим в скобках: написанном увлекательно и доступном, при всей своей серьезности, широкому кругу читателей) не выделил в истории обсуждения проблемы всеобщего языка того момента, когда наряду с другими прозвучал этот совершенно новый довод, характерный именно для нашей эпохи. Суть его тем не менее подробно изложена в рецензируемой книге.

Э. Сवादост цитирует ученых-географов: «В области научного общения приближается эпоха настоящего Вавилонского столпотворения. Задача овладения всеми нужными языками становится для научного работника непосильной». Он утверждает дальше: «С ростом числа литературных языков растет почти в геометрической прогрессии число научных публикаций, каждая из которых непонятна и недоступна для большинства читателей мира, заинтересованных в той или иной литературе».

Автор показывает, что все это связано с так называемым «информационным взрывом», являющимся следствием экспоненциального роста количества научно-технической информации (роста, при котором через равные промежутки времени происходит удвоение ее объема). Одним из следствий «информационного взрыва» может явиться возрастание количества научно-технических журналов уже к концу нашего века до одного миллиона названий, тогда как уже сейчас — «на уровне» ста тысяч журналов — большая часть публикуемых в них сведений оказывается недоступной специалистам.

Чтобы преодолеть языковые барьеры и хотя бы отчасти облегчить инженерам и ученым поиск информации в огромной массе публикаций, следовало бы, рассуждает Э. Сवादост, приставить к каждому ученому

или инженеру по пять или по десять переводчиков. Альтернатива: машинный перевод. Автор книги добросовестно обсуждает такую возможность, подчеркивает, что ЭВМ еще не сказали своего последнего слова. Вместе с тем, пишет он, по мнению авторитетных специалистов, здесь «основную опасность представляет неоднозначность слов», то есть несовершенство научной и технической терминологии.

Для многих это утверждение Э. Свадоста окажется неожиданным. Широко распространено мнение о точности научного языка, искупающей его сухость и труднодоступность для непосвященных. В интересной статье Л. Саламона «О физиологии эмоционально-эстетических процессов» (см. сборник «Содружество наук и тайны творчества». «Искусство». М. 1968) на принятой за аксиому гипотезе о точности научного языка строится весьма красочное противопоставление. «Почему,— восклицает автор статьи,— научные положения поддаются сообщению «без потерь», а эмоциональные оттенки художественного произведения оказываются такими хрупкими и могут легко утрачиваться в процессе передачи?.. Почему при переводе с одного языка на другой научная информация будет стоцентной, если только перевод составлен грамотно, но эмоциональная информация литературного произведения может быть частично или полностью потеряна. Несмотря на идеальное соблюдение всех грамматических правил?»

Так писали и сто лет назад. Так часто пишут и теперь. Но вот что доказывает в своей книге Э. Свадост: «Несовершенство, неупорядоченность терминологической лексики вносит путаницу в документацию... усложняет понимание новых производственных методов и освоение новых производств; оказывается серьезной помехой при кодировании научной информации, при механизации информационного поиска... отрицательно сказывается на качестве реферативных обзоров... усложняет координацию научно-исследовательских работ...»

Многоязычие современной научной, технической и экономической литературы и документации во много раз увеличивает терминологическую неразбериху: одно и то же понятие «воспалющийся» в Англии, например, обозначается термином «inflammable», что значит в буквальном переводе негорючий, а в США — «flammable», то

есть горючий. Такая простая деталь, как шайба, имеет в США пятьдесят семь различных наименований. Термин «жабры», заимствованный техникой из биологии, в самолетостроении значит поплавки у гидропланов, а в словаре заготовительно-штамповочных работ можно прочесть, что жабры — это «длинные, узкие отбортовки по одной стороне отверстия».

Как это ни парадоксально звучит, но мы должны перефразировать построение Л. Саламона. Почему, спросим мы, любые оттенки эмоций могут быть переданы без потерь, в то время как изложение научных положений всегда сопровождается потерей информации? Потому, отвечает нам на этот вопрос книга Э. Свадоста, что развитые национальные языки более или менее адекватны друг другу и приспособлены для передачи мысли и чувств поэта, писателя, публициста. Иначе обстоит дело с языком науки и техники. Э. Свадост цитирует профессора В. А. Успенского: «...языки возникли для совершенно других, можно сказать бытовых, целей и лишь впоследствии стали использоваться для запаса сложных научных фактов. Словарный запас языка не приспособлен для обозначения научных понятий...»

И тут — последнее звено в рассуждении автора книги: в условиях научно-технической революции, интенсивного международного обмена информацией, в эпоху, когда кадры науки и техники насчитывают миллионы людей, а сообщения о научных достижениях неуклонно прорываются на страницы газет, в радио и телепередачи, немислимо четко отграничить язык науки и техники от языка, на котором люди говорят в быту. Нельзя, иными словами, создать для современных ученых эквивалент латинского языка, которым они обходились в средние века. Международный, всеобщий вспомогательный язык науки и техники неизбежно окажется существенной составной частью языка человечества.

Книга Э. Свадоста позволяет рассмотреть проблему создания всеобщего языка как одну из проблем информатики. Этим она выгодно отличается от многих других книг по этому вопросу. Это и дает, на наш взгляд, право утверждать, что если способы создания всеобщего вспомогательного языка подлежат обсуждению, то необходимость в нем бесспорна.

**С. ВЛАДИМИРОВ.**

## ЧЕЛОВЕЧЕСТВО КАК ЧАСТЬ ПЛАНЕТЫ

П. Дювиньо и М. Танг. Биосфера и место в ней человека. Перевод с французского. «Прогресс». М. 1968. 256 стр.

Эта книга адресована учителям биологии бельгийской средней школы. Благодаря широте охвата темы, обилию фактов и анализу острых проблем человечества она может заинтересовать широкие круги советских читателей.

В оригинале книга называется «Экосистемы и биосфера» (экосистема — сообщество живых организмов вместе со средой их обитания, биосфера — вся область жизни на планете). Это название, пожалуй, более точно выражает содержание книги.

В первой части излагаются основные положения экологии. Исследуются преимущественно трофические (пищевые) связи в экосистемах — динамика биомасс и потоков энергии. Схемы, графики и таблицы прекрасно иллюстрируют энергетическое взаимодействие живых существ между собой и окружающей средой. Выстраиваются экологические пирамиды, в основании которых находятся организмы, непосредственно использующие солнечную энергию и минеральные вещества Земли (такие организмы называются автотрофными). Выше, сужаясь, следуют слои организмов гетеротрофных, то есть растительноядных и плотоядных. Каждый слой питается за счет нижележащего. (Пример подобной пирамиды — пищевая цепь: злаки — кузнечики — лягушки — змеи — орлы.)

Наиболее продуктивны автотрофные организмы. Но даже они ассимилируют лишь сотую долю энергии, поступающей к ним от Солнца. Следовательно, любая экологическая система — это механизм с очень низким коэффициентом полезного действия.

Авторы анализируют главнейшие экосистемы Земли, сочетая простоту и четкость изложения с высоким научным уровнем и охватом обширнейшего материала. Наряду с «естественными» биологическими процессами они обычно учитывают и хозяйственную деятельность человека. Тем самым эта деятельность предстает как часть планетарного круговорота материи.

Конечно, пищевые (энергетические) связи хотя и важнейшие, но не единственные в экосистемах. Взаимосвязь отдельных элементов экосистем, их замечательное согласие осуществляется во многом с помощью ин-

формационных взаимодействий. Авторы книги не касаются этой интересной и малоизученной проблемы, которая связана с прогрессом нервной системы и мозга животных. Ведь экологические пирамиды увенчаны существами, умеющими наиболее полно использовать информацию, имеющими развитый головной мозг (млекопитающие, человек).

В наше время люди так или иначе вмешиваются во все экосистемы планеты. С помощью техники они имеют возможность использовать все слои экологических пирамид: и животных, и растения, и минералы, и непосредственно солнечную энергию. Такого рода вмешательства столь значительны, что нередко вызывают катастрофы: «истощение посевных угодий приводило к упадку и гибели цивилизаций; страны, некогда обладавшие плодородными почвами и покрытые лесами, стали теперь безлесными, превратились в бесплодные территории...» и т. п.

Анализу современного состояния биосферы, вызванного возрастающей численностью и активностью людей и техники, посвящена вторая часть книги П. Дювиньо и М. Танга.

Человечество не может существовать вне биосферы. Мы живем биосферой и сами являемся частью ее. Продуктивность биосферы может увеличиваться, однако она не беспредельна. По подсчетам авторов книги, она в настоящее время более или менее соответствует потребностям человечества; дело за тем, чтобы по-хозяйски использовать это богатство и справедливо распределять его. К тому же «число людей на земном шаре непрерывно увеличивается; каждый день прибавляется более пятидесяти тысяч ртов, которые требуют пищи. Чтобы между продовольственными ресурсами и ростом населения создалось благоприятное соотношение, увеличение ресурсов должно намного опережать рост населения». Этого, однако, не наблюдается. «С 1955 по 1965 г., то есть в период необычайного прогресса в области молекулярной биологии и в исследованиях космоса, сельскохозяйственная наука, от которой также ожидали заметного продвижения вперед, сумела лишь сохранить... уже достигнутую продуктивность биосферы».

Какие же перспективы намечают П. Дювиньо и М. Танг? Прежде всего они полагают, что «всякий прирост происходит по S-образной кривой. В настоящее время рост численности человечества соответствует поднимающемуся отрезку кривой; рано или поздно кривая примет горизонтальное направление; вопрос в том, когда это произойдет». Во всяком случае теперешнюю крутизну этой кривой они признают «вызывающей опасения».

Перечисляя целый ряд научно-технических мероприятий, способствующих увеличению пищевых ресурсов, авторы реально оценивают обстановку и воздерживаются от необоснованного оптимизма. В ближайшие годы едва ли не наиболее перспективным путем является интенсификация сельского хозяйства. Из таблицы 18 следует, что, если ориентироваться на максимальные показатели отдельных стран, наша страна, в частности, имеет возможность увеличить урожайность многих культур более чем в три раза. Приблизив среднюю продуктивность к нынешней максимальной (урожайность пшеницы—до 40 центнеров с гектара, годовой удой молока—до 37 центнеров на корову и т. д.), человечество может надеяться на двойное по крайней мере увеличение сельскохозяйственной продукции.

Авторы особо подчеркивают большое значение научного ведения сельского хозяйства. Улучшение сортов культурных растений и условий окружающей растения среды (почва, вода, воздух) позволит, согласно подсчетам авторов, увеличить вдвое-втрое существующие урожаи. В частности, «предполагается, что усовершенствование знаний об удобрениях и прогресс в искусстве их использования позволит увеличить мировой урожай всех культур на 40 процентов». Еще более перспективно использование морских ресурсов. Ныне только 0,7 процента суммарного числа калорий и несколько процентов белков, необходимых для питания людей, добываются из моря. Если добавить к этому микроорганизмы воды и суши, то в недалеком будущем станет возможно в несколько раз увеличить продуктивность той части биосферы, которая используется человеком для практических нужд.

Но дело не только в самих научных достижениях. Не менее важно уметь поставить их на службу человечеству. А это в значительной степени связано с воспитани-

ем людей, просвещением, выработкой научного мировоззрения.

«Мы пытались показать на протяжении этой книги,—пишут П. Дювиньо и М. Танг,— что для всех людей, понимающих свою ответственность перед обществом, знание биосферы, основанное на понятиях общей экологии, стало необходимостью... Нужно направить образование по новым путям: нужны новые темы, но необходима также и новая трактовка традиционных тем. Необходимо точно определить место человека в природе и выявить его ответственность за то, чтобы те новые силы, которые он высвобождает, были направлены на улучшение биосферы... Нужно, чтобы человек рассматривал себя не как стороннего наблюдателя, а как неотделимую часть того, что его окружает... все это дает возможность прийти к пониманию мировой экономики в ее самых общих чертах; отсюда становится ясным и то, что наша человеческая экономика—социальная, семейная или личная—лишь зависимые явления в экономике планеты.

Необъяснимым противоречием кажется то, что биологи крайне редко занимаются вопросами влияния цивилизованного человека на естественные явления: они забывают, что даже самые специализированные формы человеческой деятельности относятся, по сути, к биологическим явлениям».

Если первую часть цитаты можно признать бесспорной, то заключительную—нельзя. Действительно, сфера человеческой деятельности в настоящее время уже настолько изменена техникой, промышленным и сельскохозяйственным производством, что ее следует считать новым объектом, который В. И. Вернадский называл «ноосферой» (сферой разума), а А. Е. Ферсман—«техносферой». Она имеет такие особенности, которые не могут быть учтены в рамках биологического подхода.

Надо заметить, что главные идеи, пропагандируемые П. Дювиньо и М. Тангом, успешно разрабатывались русскими и советскими учеными (В. В. Докучаевым, В. И. Вернадским, В. Н. Сукачевым и другими). К сожалению, эти идеи у нас мало пропагандировались, а то и замалчивались.

Давая своей книге название «Экосистемы и биосфера», П. Дювиньо и М. Танг не сочли нужным особо выделять вопрос о месте человека в биосфере. В целом он для

них ясен, как и для большинства биологов и географов. Например, в работе видного американского эколога Е. Одума «человек рассматривается как элемент природы, а потому нет необходимости в особой главе или приложении под заглавием «Человек и природа»: на каждом шагу видны роль человека внутри экологических систем и его воздействие на системы»<sup>1</sup>. Аналогично мнение известного английского биолога К. Вилли: «Человек... представляет собой

часть весьма сложной среды, к которой следует подходить как к единому целому...»<sup>1</sup>. Такого же мнения придерживается и французский ученый Жан Дорст<sup>2</sup>. Все больше сторонников такого взгляда появляется и в нашей советской науке.

**Р. БАЛАНДИН.**

---

<sup>1</sup> К. Вилли. Биология. М. 1964, стр. 613.

<sup>2</sup> См. Ж. Дорст. Человек и его меньшие братья («Курьер ЮНЕСКО», № 1, 1969, стр. 18).

---

<sup>1</sup> Е. Одум. Экология. М. 1968, стр. 9.





## КОРОТКО О КНИГАХ



**А. П. НЕНАРОКОВ.** Восточный фронт. 1918. «Наука». М. 1969. 280 стр.

Литература о Восточном фронте немногочисленна. Его решающая роль для судьбы Советской республики летом и в начале осени 1918 года, широко признаваемая в двадцатых годах, в начале тридцатых подверглась сомнению, и первенство было отдано «обороне Царицына». Лишь в конце пятидесятых, когда была восстановлена ленинская периодизация борьбы с внутренней и внешней контрреволюцией, Восточный фронт стал предметом специального изучения.

Монография А. П. Ненарокова — первая работа, посвященная истории Восточного фронта в целом. Одиннадцать глав книги последовательно и детально рассказывают об обстановке, в которой формировались армии Восточного фронта, о муравьевской авантюре и временных неудачах, о большевистском подполье. Основное внимание автор по праву уделяет организации разгрома врага на Восточном фронте, решающей роли В. И. Ленина в мобилизации на казанско-самарский фронт лучших красноармейских соединений, коммунистических и рабочих отрядов, опытных партийно-командных кадров. обстоятельно описаны в книге бои за освобождение от белогвардейцев Казани, Симбирска, Самары. В последних главах специально отмечено участие в боях на Восточном фронте интернациональных соединений.

События, происходившие в Поволжье в 1918 году, вскрыли окончательный крах мелкобуржуазных партий; на Восточном фронте были сформированы первые регулярные боевые соединения Красной Армии, определились главные направления по строительству Советских Вооруженных Сил; накоплен большой опыт партийной работы во фронтовых условиях. Среди командиров и политработников Восточного фронта были В. М. Азин, И. И. Вацетис, В. К. Блюхер, Г. Д. Гай, С. И. Гусев, С. С. Каменев, Д. М. Карбышев, В. В. Куйбышев, Н. Г. Маркин, Ф. Ф. Раскольников, М. Н. Тухачевский, В. И. Чапаев и другие.

Сквозь, однако, ни широк охват темы, стоит с сожалением отметить отсутствие в монографии некоторых важных разделов. Одним из них могла быть глава о нацио-

нальных частях на Восточном фронте, об участии в борьбе с контрреволюцией лучших представителей народов Поволжья. Известно, что в армии Восточного фронта прославили себя в боях латышские дивизии, татарские полки, чувашские, марийские, мордовские и удмуртские отряды. В ходе гражданской войны закалялась и крепла дружба народов нашей страны.

Полезная и интересная работа А. П. Ненарокова безусловно достойна внимания читателей.

**А. Литвин,**  
*кандидат исторических наук.*

Казань.



**В. ЛЕДКОВ.** Метели ложатся у ног. Повесть. Л. ЛАПЦУИ. Рассказы. Перевод с ненецкого. «Молодая гвардия». М. 1968. 223 стр.

На яркой, веселой обложке этой небольшой книжки нарисованы чум, олень, нарты, вертолет. Чум и вертолет... Художник точно уловил основную тему повести и рассказов — соединение, срастание старого и нового. И вечный спор между ними.

Обычай тундры... Это емкое понятие вмещает в себя сочувствие к пострадавшему, готовность поделиться с путником последним куском, радушно встретить незваного пришельца и в то же время — бесправное положение женщины. Трудом мужчины, оленевода, охотника, рыбака, обеспечивается достаток. Роль женщины — рожать и воспитывать детей, ухаживать за мужком, нести всю домашнюю работу — и только. Так испокон веков считалось у ненцев...

Вместе с другими сородичами ушел на фронт лучший охотник тундры одиночник Микул Паханзеда (В. Ледков, «Метели ложатся у ног»), и теперь все тяготы легли на плечи его жены Нины. И хотя существует в тундре неписаное убеждение, что только мужчина может быть главой семьи, ни в чем не уступила мужу нежная и выносливая Нина. Ежедневно в любую погоду ставила и обходила капканы и стреляла не хуже бывалого охотника. Радоваться бы ей, гордиться, что справилась с мужским делом, но Нину грызет одиночество. Больше всего хо-

чется ей быть рядом с людьми, стать нужной, необходимой им. Эта тоска по человеческому общению привела ее в колхоз. Первый раз в жизни Нина приняла важное самостоятельное решение...

На характер героев рассказов Л. Лапцуй наложило отпечаток вечное единоборство с природой. Строгие, малоразговорчивые, уверенные в себе мужчины; спокойные, сдержанные в проявлении чувств женщины. И даже дети в тундре не такие, как на юге или в средней полосе. Редко увидишь маленького ненца плачущим или жалующимся: суровая жизнь приучила ребят стойко переносить неприятности.

Новое в жизни ненцев наступает решительно и неудержимо. Несут в тундру книги, знания, культуру такие люди, как комсомолец Тэсьда («За чертой горизонта»), учительница Зина («Надпись на камне»), врач Елена Петрова («Человек родился»), почтальон Сэротэтто Хынма («Песня Сэротэтто»).

Но живучи еще у ненцев темные поверья, предрассудки, невежественные представления. Как лишайники за корки, цепляются они за души людей. Есть семьи, которые боятся отдать своих детей в школу, чтобы в старости не лишиться кормильца. Бывает, что родители без согласия дочери выдают ее замуж, польстившись на хороший калым. От прадедов укоренилась вера в жертвоприношения, обеты, наговоры, якобы защищающие от злых духов, приносящие семье удачу. Ничто не приходит само. За радость, за счастье надо бороться — вот основная мысль рассказов Лапцуй.

Ледков и Лапцуй — молодые ненецкие поэты, рецензируемая книга — их первое слово в прозе. Они по-разному видят и отображают мир. Если у Ледкова господствует плавность, неторопливость письма (в повести, небогатой событиями, не встретишь явного столкновения характеров и мировоззрений), то Лапцуй тяготеет к напряженному, динамичному сюжету, его привлекает острота проблем и конфликтов.

Ледков выступает своей первой повестью в основном как сложившийся писатель, Лапцуй же пока весь в поиске. Проза его еще очень неровна по своим художественным достоинствам. Бросается в глаза стремление во что бы то ни стало прийти к счастливому концу, не всегда оправданному ходом событий и логикой фактов. Но главное, что позволяет верить в писательское будущее Лапцуй, — заинтересованный, острый взгляд на окружающее и самобытный, национально окрашенный язык.

При всем различии дарований двух молодых писателей, их объединяет любовь к своему народу, восхищение его стойкостью, трудолюбием, добросердечностью, страстное желание видеть своих земляков идущими в ногу со временем.

**И. Данченко.**



**А. В. БУРДУКОВ.** В старой и новой Монголии. Воспоминания. Письма. «Наука». М. 1969. 418 стр.

**В. Е. ЛАРИЧЕВ.** Азия далекая и таинственная. «Наука». Новосибирск. 1968. 292 стр.

Советское монголоведение обогатилось двумя новыми интересными изданиями. Не являясь по своему жанру научными исследованиями, они тем не менее приоткрывают новые стороны истории Монголии на весьма разделенных во времени ее этапах.

Книга А. В. Бурдукова — это мемуары, охватывающие 1911—1921 годы. Это интереснейший период истории Монголии: борьба за автономию, судьба страны в первые годы независимости, разгул банд Унгерна, борьба с ними Монгольской армии под руководством Хатан-Батора Максаржава и помощь ей в этом со стороны Красной Армии.

А. В. Бурдуков — человек интересной судьбы, прошедший суровую жизненную школу от мальчика-прислужника при купце, имевшем торговую факторию в Монголии, до преподавателя Ленинградского восточного института, а затем ЛГУ. В Монголии А. В. Бурдуков прожил тридцать лет (1896—1926), из них восемнадцать лет «мальчиком», шесть лет владельцем собственной фактории и последние шесть лет представителем Центросоюза — советской торговой организации, закупавшей в Монголии скот и поставлявшей ей в обмен промтовары.

А. В. Бурдуков пользовался уважением и авторитетом среди монголов. Он был членом в торговых операциях с ними, а после завоевания Внешней Монголией автономии создал на кооперативных началах торговое товарищество, куда наряду с русскими колонистами впервые на равных правах вошли и монголы. Несмотря на происки китайских и русских купцов, товарищество просуществовало вплоть до 1921 года, когда банды Унгерна уничтожили почти всех его членов. Был приговорен к расстрелу и А. В. Бурдуков, лишь чудом ему удалось спастись.

Будучи не только свидетелем, но и участником событий в районе Кобдо и Улясутая, где он жил со своей семьей, А. В. Бурдуков сумел отразить в своих записках тревожную обстановку тех лет, сомнения и неизвестность, мучившие и монголов, и русских колонистов, атмосферу вражды, когорую разжигали белые между монголами и русскими. В мемуарах даны также интересные портреты политических деятелей Монголии той эпохи.

Свободно владеет монгольским языком, А. В. Бурдуков не ограничивал себя одной торговой деятельностью. Его интересовали различные стороны жизни и быта монголов, их материальная и духовная культура, эпические сказания, религия, древние памятники — могилы и скульптуры, в обилии встречающиеся в степи. Он установил переписку с крупными учеными, специали-

стами по Сибири, Монголии, Центральной Азии (Б. Я. Владимирцовым, В. Л. Котвичем, Г. Н. Потаниным) и в своей деятельности руководствовался их помощью и советами. Его заметки о быте и нравах монголов, собранные им эпические сказания и поговорки публиковались в те годы в газетах и журналах «Сибирская жизнь», «Живая старина» и других и не утратили своей научной ценности и в наши дни.

Книга В. Е. Ларичева «Азия далекая и таинственная» носит подзаголовок «Очерки путешествий. За древностями по Монголии». Это описание двух полевых сезонов, проведенных автором в Монгольской Народной Республике в составе советской археологической экспедиции, руководимой А. П. Окладниковым.

Много тайн в истории Монголии. И среди них та, что уже несколько десятков лет волнует ученых различных стран, — время появления древнейшего человека на территории нынешней Монголии и в связи с этим вопрос: не является ли Центральная Азия родиной человечества? Поиск следов самого древнего человека и посвящена книга В. Е. Ларичева. Это живой рассказ археолога о научном поиске, об ожидаемых и все же всегда неожиданных находках и открытиях, о счастье ученого, вписывающего новую страницу в историю страны. Кто раньше слышал о местечке Оцо-Маньт в Южной Гоби? А теперь археологам и антропологам всего мира известно, что именно в этом месте находилось древнейшее (из найденных на сегодняшний день) человеческое поселение Монголии — нижний палеолит, сто тысяч лет назад.

Много удивительных находок сделала экспедиция А. П. Окладникова. Среди них обнаруженное на скале в Пади Великого неба изображение женщины в средневековом монгольском головном уборе — бокке. Этот убор описали Плано Карпини и Рубрук, остатки его были найдены в захоронении времен Золотой Орды, но изображение его нигде не встречалось. И вот рисунок женщины в бокке, сделанный рукою монгольского художника, жившего много столетий назад...

Обе книги читаются с интересом и, несомненно, заслуживают внимания самого широкого читателя.

★ Н. Жуковская.

**ЮЛИЙ БЕРЗИН.** Конец девятого полка. Повести и рассказы. «Советский писатель». Л. 1968. 264 стр.

Со страниц книги на нас смотрит человек, который мучительно и неумело ищет свое место в новой жизни, — бесприютный, колеблемый, гонимый, как Агасфер, всеми ветрами эпохи, капитан Приклонный. За плечами у него белая армия, эмиграция и возвращение на родину, биржи труда с их нескончаемыми очередями. Прежний служака, ныне влиятельный инженер устроил его на одну из первых советских строек на

Севере. Таким же образом поселились рядом с Приклонным другие офицеры канувшего в Лету врангелевского 9-го полка — Тэр, Мурза-Муравский, Нович, Иванов Восьмой. Но Приклонный не хочет оставаться «бывшим человеком», а его однополчане, превратившись в «счетоводов», утратили реальные очертания, стали химерами, упырями. Столь же нереален их случайный сосед по бараку Даниил Моисеевич Кихот. Он тоже призрак — призрак их преступного прошлого, неотвратимого возмездия. В 1919 году 9-й полк, ворвавшись в Винницу, учинил еврейский погром. Искалеченный, вынесший жестокие пытки Кихот ушел. Но увиденное, пережитое потрясло, надломило его. С тех пор по-настоящему он живет только за шахматной доской, в мире дебютов и комбинаций, а в повседневной жизни испытывает «знакомое чувство обреченности».

Контрастная, жесткая повесть Юлиа Берзина «Конец девятого полка» написана двадцатипятилетним автором сорок лет назад. Опубликованная после «Белой гвардии», она ощутимо впитала аромат великолепного романа М. Булгакова. Но это влияние не давит на Берзина — оно проявилось лишь в отображении мироощущения некоторых героев. Именно так и никак иначе и могли смотреть на мир, определить свое место в нем промотавшиеся игроки, лишенные смысла и цели жизни. «Теперь мы только, извини за метафору, отбросы времени, удобренные для истории», — обобщил их кредо Приклонный.

Только один — поручик Гуляй-Конь — на первый взгляд сильная личность. У него есть свой план — взорвать плотину, есть программа действий — подложить мину в потерну, есть исполнитель, хотя и опереточный, — Мурза-Муравский. На деле же и он беспомощен. Гуляй-Конь боится Кихота, свидетеля его «подвигов» в Виннице, он не смог повредить плотину, убить отказавшегося стать его сообщником Приклонного...

Повесть Ю. Берзина написана энергично, темпераментно, она обнаруживает руку талантливой писателя, дарование которого не смогло полностью раскрыться вследствие ранней гибели писателя в тридцатичетырехлетнем возрасте. Сейчас эта книга, возвращенная читателю, заняла свое место в строю советской литературы двадцатых годов.

Кострома.

В. Бочков.

★

**А. Д. УРСУЛ.** Теория информации и религия. «Знание». М. 1968. 32 стр.

Открытая всего двадцать лет назад К. Шенноном возможность измерять (по крайней мере в некоторых ситуациях) количество информации существенно расширила сферу применимости методов точных наук. То, что ранее казалось относящимся к области «надматериального», воплотилось в столь же объективные формулы, как и привычные физические понятия массы и энергии.

А. Д. Урсул, автор интересного философского очерка «Природа информации» (Политиздат. М. 1968), на сей раз поставил перед собой задачу проследить связь между представлениями современной теории информации и религиозным мировоззрением, чтобы поставить достижения современной науки на службу антирелигиозной пропаганды. Желание ввести в обращение новые аргументы, использование новейших научных данных отнюдь не отличают рецензируемую брошюру от многих других антирелигиозных произведений.

Например, интересные проблемы о природе «чуда» затрагивает аргументация автора на странице 18. Он правильно замечает, что мы всегда воспринимаем как чудо маловероятное явление. Действительно, если бы все молекулы воздуха собрались в одной половине комнаты, мы сочли бы это чудом, хотя физическая возможность этого явления существует. В этом смысле чудом является уже то, что существует наш, быть может, не очень совершенный, но достаточно сильно организованный мир: физически гораздо более вероятным был бы мир полностью хаотический, в котором не было бы даже элементарных частей с заметным временем жизни. Автор правильно отмечает, что, «познавая маловероятные события, которые в действительности происходят и не противоречат законам природы, мы получаем большую информацию». Следовательно, атеист может больше не пугаться чуда. Всегда можно ожидать маловероятного, редкого явления, познание природы которого может оказаться очень трудным или даже невозможным в обозримое время. Такая точка зрения придает научному мировоззрению разумную широту — готовность считаться с существованием явлений, не укладывающихся в сложившуюся систему научных представлений.

Следует заметить, однако, что в некоторых местах книги проявляется поспешность выводов, имеющая вполне понятную психологическую подоплеку. Современный образованный человек обычно принимает атеизм как заранее данное. Ему не приходится, как людям прошлого века, с кровью выдирааться из пут религиозного мировоззрения. Вопрос выбора перед ним не стоит, и поэтому у него нет потребности в глубоком анализе проблемы. По-видимому, это относится и к автору книги. Многие его рассуждения вполне естественны и убедительны для человека, заранее вставшего на атеистическую позицию. Но в его книге нет широты взгляда, которая дала бы возможность ответить на сомнения и вопросы людей, не стоящих столь же непреклонно на этой позиции.

Автор, например, ссылается на вывод науки, гласящий, что всякая информация имеет материального носителя. Тем самым невозможно существование чисто духовной субстанции, чистого Логоса. Действительно, тот факт, что информация неразрывно связана с материальным началом, есть серьезный аргумент против платоновской фило-

софии, против независимого существования мира идей. Но в философии Аристотеля, также принятой католицизмом, дух (форма, организация) неразрывно связан с вещью, воплощен в ней. Стало быть, А. Д. Урсул здесь выступает голько как сторонник Аристотеля против Платона, не выходя за рамки дискуссий, которые ведут между собой представители различных направлений католической теологии.

Ключ к настоящему решению проблемы взаимоотношения духа и материи лежит в раскрытии (на основе современных научных данных) ленинского положения: «Единственное «свойство» материи, с признанием которого связан философский материализм, есть свойство быть объективной реальностью, существовать вне нашего сознания» (Полн. собр. соч., т. 18, стр. 275).

А. Д. Урсул затронул существенные проблемы, но они еще ждут глубокого анализа.

Ю. Шрейдер.

★

**ВАСИЛИЙ КАМЕНСКИЙ.** *Путь энтузиаста. Автобиографическая книга.* Пермское книжное издательство. 1968. 238 стр.

«Что стихи, литература?»

Это прекрасно, это дает много, но это не больше парохода в море возможностей, а жизнь не знает пределов, жизнь широка, многообразна, изобретательна и ух как зовет для свершения невероятных дел... Так бы, откинув гриву, бежать и бежать необузданным конем по степи цветущих дней», — писал в своей автобиографической книге Василий Каменский. В этих словах очень точно выражен самый пафос жизни этого «вечно и прекрасно взволнованного энтузиаста» (Луначарский). Поэт, драматург, актер, живописец, один из первых русских авиаторов, журналист, редактор, он действительно стремился вместить все «море возможностей», которое открывала перед человеком жизнь, в «берега» одной судьбы.

Всякая биография, а биография поэта в особенности, всегда обнажает какие-то пружины сложного механизма времени. В этом смысле книга Каменского особенно интересна. Начало литературной деятельности поэта совпало с временем необычайно сложным. Каменский к тому же был в самом центре литературной жизни предреволюционного десятилетия. В книге масса имен, «диапазон» которых сам по себе не может оставить читателя равнодушным, — Маяковский, братья Бурлюки, Хлебников, Леонид Андреев, Н. Кульбин, Репин, Блок, Игорь Северянин, Куприн, Ремизов, Елена Гуро, Борис Грингорьев, Татлин, Горький, Лентулов, Сергей Прокофьев... За многими из них стоит целая эпоха в истории искусства, напряженная борьба, сложный, противоречивый путь поисков — то, что принято называть живой диалектикой искусства.

Ожесточенные споры и диспуты о новых путях в искусстве, бунтарские по своему

духу футуристические вечера, художественные выставки, встречи «литературных бездомников» в «Бродячей собаке», репинские среды в «Пенатах», на которых за одним столом собирались люди, нередко исповедовавшие прямо противоположные принципы в жизни и искусстве, — об этой до предела накаленной атмосфере тех лет Каменский пишет с редкой увлеченностью и страстностью. Вот он вспоминает одну из многих лекций, которые он читал вместе с Маяковским и Бурлюком в разных городах, всегда в переполненной аудитории, всегда в сопровождении «грохота ладош» сторонников, «шипенья» и «цоканья» противников: «Я развивал мысль о том, что мы — первые поэты в мире, которые не ограничиваются печатаньем стихов для книжных магазинов, а несут свое новое искусство в массы, на улицу, на площади, на эстрады, желая широко демократизировать свое мастерство и тем украсить, орадовать, окрылить самую жизнь... И это в наше динамическое время, когда мы пережили революцию, когда над головами дрожит воздух, провинченный аэропланами, когда мы все полны ощущения мирового динамизма, когда современность всем нам диктует быть новыми людьми и по-новому понимать жизнь и искусство». Время, людей, себя самого Каменский мерил особыми мерками — по складу своей души, по своему отношению к жизни и, очевидно, своей миссии в искусстве он был, как называл себя сам, «непромокаемым энтузиастом». Это сказалось и на книге о собственной жизни, на характеристиках людей, времени. Он и свою жизнь строил как красочную феерию — недаром один из критиков назвал его «поэтом, театрализирующим жизнь». И вспоминая о пережитом позже, когда у человека обычно появляется потребность оценить, осмыслить пережитое, он остался верен себе — в его сознании жизнь запечатлелась как яркий праздник, как нескончаемая цепь чудес.

Уже в двадцатые годы, отвечая на вопрос об «учителях» в поэзии, Каменский ответил так: «По стихийности — Природа. По свободе — тюрьма 1905 года. По разливности — Кама... По размаху — Стенька Разин... По вообще — Жизнь...» В сущности, вся его автобиографическая книга — об этих учителях, о времени, в котором он сумел найти себя. Время это было, конечно, много сложнее, неизмеримо жестче и противоречивее, чем воспринимал его Каменский в годы молодости, чем вспоминал о нем спустя многие годы. Но несмотря на всю пристрастность характеристик, на склонность к гиперболам, книга Каменского в силу именно этих свойств его личности сохранила в себе самый запах и вкус тех дней — без чего и самые точные цифры, и скрупулезно описанные факты все же остаются мертвым грузом и мало что говорят уму и сердцу читателя.

И. Гитович.



**А. Р. ЛУРИЯ. Маленькая книжка о большой памяти (Ум мнемониста). Издательство МГУ. 1968. 87 стр.**

Память — эта еще во многом таинственная и до конца не разгаданная человеческая способность — привлекает сейчас пристальное внимание ученых многих специальностей: психологов и физиологов, кибернетиков и психиатров, математиков и лингвистов. О памяти написано множество книг. Но небольшая книга видного советского психолога профессора Александра Романовича Лурия, несомненно, займет в этой литературе особое место. И не только потому что речь в ней идет о совершенно исключительной, феноменальной памяти человека, которого автор зашифровал буквой «Ш», но и потому также, что написана она в оригинальной, не столь уж часто встречающейся манере.

Людей, обладавших выдающейся памятью, в истории было немало. Утверждают, например, что у Наполеона была феноменальная память на лица, у Ласкера — на шахматные дебюты, у Бузони — на музыкальные опусы и т. д. Но человек, о котором рассказывает А. Р. Лурия и которого он наблюдал в течение почти тридцати лет, обладал такой выдающейся памятью, которую с полным правом можно отнести к числу самых сильных, описанных в литературе.

Известно, что даже самая выдающаяся память имеет свои границы. Но вот оказалось, что память Ш. «не имеет ясных границ не только в своем объеме, но и в прочности удержания следов». Опыт показали, что он с успехом и без заметного труда мог воспроизводить любой длинный ряд слов, данных ему неделю, месяц, год, много лет назад. При этом он до мельчайших деталей помнил обстановку, в которой ему приходилось впервые запоминать тот или иной ряд слов. В 1937 году А. Р. Лурия прочитал Ш. первую строфу из «Божественной комедии» Данте на языке оригинала, совершенно ему неизвестном. Прошло пятнадцать лет. И вот, по просьбе профессора, Ш. без всяких ошибок, с теми же ударениями, с какими они были впервые произнесены, воспроизвел эти строки...

Автор со всей научной дотошностью и скрупулезностью, на основе протоколов проведенных им многочисленных экспериментов раскрывает, так сказать, внутреннюю лабораторию этой необыкновенной памяти, которая относилась к тому редко встречающемуся типу, когда каждое слово, помимо его смысловой стороны, вызывает наглядный образ. При этом А. Р. Лурия с большой теплотой и душевным тактом рассказывает и о самом «подопытном», как о человеческой личности, очень своеобразной и неповторимой, не утаивая и слабых сторон его характера и ума.

Книга так быстро исчезла с прилавков, что издательству следовало бы подумать о втором издании.

О. Димин.



**ЛУБОК.** Русские народные картинки XVII—XVIII вв. Автор текста и составитель альбома Юрий Овсянников. «Советский художник». М. 1968. 120 стр.

Альбом этот, прекрасно изданный и сопровождаемый хрестоматией, представляет далеко не только мемориальный интерес: еще раз удовлетворенно убеждаешься, что искусство лубка сохранило возможность живого общения с нашими современниками. Духовная пища едва грамотных и вовсе неграмотных русских людей эшешедших столетий, лубок выжил именно потому, что в самом деле был воплощением духовности. А духовность не умирает, в каких бы наивных формах ни была она воплощена.

Мы помним Некрасова: «...Когда мужик не Блюхера и не милорда глупого — Белинского и Гоголя с базара понесет?» Да и сам Белинский строго отделил «охоту к чтению» от «потребности литературы». Конечно, это справедливо, однако, не пробудив охоты к чтению, не пробудить и потребности в подлинной литературе. В этом смысле «милорд» был шагом к Гоголю.

Будучи рыночным товаром, лубок тем не менее откликнулся на события русской жизни и имел по их поводу свое мнение, нередко дерзкое. Юрий Овсянников в серьезный знаток лубка, обращает в своей статье внимание на неофициальность, дерзость авторов лубочных картин и текстов к ним, не останавливавшихся и перед озорными выпадами против царей. Несвободный от законов рынка, лубок был более или менее свободен от духовной цензуры: его не считали искусством, «просвещенный вкус» не давил на него — просто чурался. Зависимость же от рыночного спроса все же легче, чем зависимость от «полупросвещенного щеголя» или от тяжелой руки императорского цензора. Тем более, что рынок вынужден считаться со вкусом покупателя к «запретному» — от соленого словца до политической критики.

Быть может, и чисто графические достоинства лубка во многом объясняются той же невольной неподнадзорностью его. Составитель альбома, озабоченный, как мне кажется, тем, чтобы показать близость лубка современной графике и с этой целью публикующий репродукции, где представлена в увеличенном виде характерная деталь той или иной лубочной картины, добивается своего: мы видим удивительную естественность, непринужденность вольного рисунка, свободного от живописных канонов своей эпохи.

Лубочные рисунки нередко весьма схожи по манере; но это не банальность, не ее унылая штампованность. Здесь то же единство стиля, что и в фольклоре. И еще лубок, пожалуй, в этом отношении близок детским рисункам, которые похожи друг на друга не стремлением к белликому эталону, а гениальной наивностью взгляда ребенка.

Борис Житков говорил о малолетних рисовальщиках, что они всегда рисуют только

главное, только существенное, и поскольку в быке для них главное — рога, то они и начинают рисовать быка с рогов. В лубке есть то же смелое небрежение второстепенным ради главного — то самое, что всегда отличало настоящих художников от копирайтеров природы.

Бедный пасынок «серьезного» искусства, русский лубок сумел донести до нас больше неубитой жизни, чем многие из прославленных в свое время произведений официальной литературы и официальной живописи.

Ст. Рассадин.

★

**Л. Д. БЕЛЬКИНД.** Андре-Мари Ампер (1775—1836). «Наука». М. 1968. 278 стр.

Эта монография вышла в «Научно-биографической серии». Ее автор подробно показывает перипетии полной драматизма личной жизни своего героя, путь, приведший человека, не проучившегося и дня в учебном заведении, на вершины науки (первая часть книги). По ходу повествования автор характеризует умственную жизнь Франции в конце XVIII — начале XIX века: появление «Энциклопедии», двадцать томов которой явились главными «университетами» юного Андре-Мари; эволюция Французской академии, членом которой Ампер стал в 1814 году; основание Политехнического института в Париже, где преподавал ученый; салон мадам Рекамье, куда он был вхож... Показано ближайшее окружение великого физика, даны портреты его «проводников» в науку, среди которых — виднейшие математики и естествоиспытатели страны.

Вторая часть книги знакомит нас непосредственно с научной деятельностью Ампера, весьма интенсивной и обширной по диапазону. Тридцать лет он пишет первую работу — о спрямлении дуги, а с 1802 года начинается систематическая публикация его математических трактатов. Некоторые теоремы и уравнения, предложенные Ампером, сохранили свое значение и поныне.

Какую бы ценность, однако, ни имели математические труды Ампера, имя свое он обессмертил другим — исследованиями в области электромагнетизма. Л. Д. Белькинд подчеркивает, что Амперу понадобилась одна лишь неделя сентября 1820 года, чтобы дать правильное объяснение найденному Эрстедом влиянию электрического тока на магнитную стрелку и открыть эффект взаимодействия двух проводников, обтекаемых током. В оставшиеся месяцы того же года он на основе серии остроумных, не имевших прецедента опытов создал физическую теорию, названную им электродинамикой, сведшей воедино рассматриваемые до него порознь электрические и магнитные явления. Электродинамика Ампера по существу подготовила открытие Фарадеем электромагнитной индукции, ставшей фундаментом всего того, что подразумевается под элект-

ротехникой. В 1827 году Фарадей писал своему французскому собрату: «Прогресс электромагнетизма развивается таким образом, что приходится непрерывно ссылаться на ваше имя, и в этих случаях я мысленно горжусь нашими отношениями и их основой».

В книге говорится и о заслугах Ампера в истории химии. Не зная о работах Авогадро, он в 1814 году разработал молекулярную теорию, в главных чертах совпадавшую с законом Авогадро, много сделал для развития химии галогенов, в частности предугадал существование фтора и дал название этому еще не известному в чистом виде элементу. Заключительная глава посвящена изданной в 1834 году работе Ампера по классификации наук. Он предложил наиболее упорядоченный и аргументированный для своего времени вариант классификации, рассчитанный на приумножение научных дисциплин в будущем. Автор напоминает, что именно Ампер предусмотрел науку об управлении, которую окрестил «кибернетикой».

Богатая фактами, написанная ясным языком, книга Белькинда, несомненно, найдет читателей, интересующихся историей науки и жизнью ее подвижников.

Г. Цверева.

Бокситогорск.

★

**МАНАНА АНДРОНИКОВА.** Сколько лет кино? «Искусство». М. 1968. 99 стр.

Вообще-то дата рождения кинематографа хорошо известна: совсем недавно отмечалось его семидесятилетие. Но вопрос, поставленный в заглавии книги, имеет в виду не только точно датированную историю кино, но и его предысторию, начало которой теряется в глубине веков. Искусство экрана многим и притом существенно важным обязано старшим искусствам — литературе, театру, живописи, скульптуре; на последних, а точнее на «пластической родословной кинематографа» и сосредоточено внимание М. Андрониковой.

Факты, собранные в книге, свидетельствуют о давнем и настойчивом стремлении художников раздвинуть границы пластики — преодолеть ее статичность, ее немоту. В круг проблем изобразительного искусства с самого начала входит проблема воссоздания движения, передачи слова, человеческой речи.

М. Андроникова не без оснований ставит в один ряд различные рассказы в картинах, пластические повествования — древнеегипетские и античные «ленючьи» росписи; средневековые холсты, где на едином пространстве размещаются разновременные события; серии гравюр Калло и литографий Домье. Во всем этом угадываются предвестия, зачатки современного экранного сюжета. Причем речь идет не об одном видимом сходстве лены изображений с кинолентой; исследование выявляет кинема-

тографический элемент в способах соединения картин-частей, в развитии повествовательных мотивов. Наряду и совместно с литературой, живопись подготавливала монтажную динамику, монтажно построенный кинофильм.

К современному монтажу, оперирующему разными ракурсами и планами, тянутся нити от классических полотен, от прославленных творений старых мастеров. В том убеждает вдумчивое «прочтение» картин, на которых запечатлено многомерное пространство, а человек и среда показаны с нескольких точек зрения — таковы «Менины» Веласкаса, «Бар в Фоли-Бержер» Мане, портрет Гиршман, созданный Валентином Серовым. Правомерно возникает параллель: живописное изображение — остановленный кинокадр (или совокупность совмещенных, сдвинутых кадров). Правда, автору не всегда удается соблюсти чувство меры; анализ, рассматривающий живопись в понятиях и терминах киноведения, порой несколько модернизирует замысел живописца.

Во многих пластических повествованиях примечательно не только развитие сюжета, но и сочетание изображения и слова, рисунка и текста. И уже самые ранние тексты — надписи на античных вазах — выходят за рамки простого разъяснения нарисованной сцены; слово расширяет изображение, углубляет его содержание. В дальнейшем, как показывает М. Андроникова, связь изображенного и написанного усложняется; так подписи к картинам из сюжетных серий Хогарта восполняют пропущенные звенья рассказа, уподобляясь титрам немомого кино. К этому добавляются смелые попытки заставить изображение «заговорить»; на картине Леонардо да Винчи «Тайная вечеря» позы, жесты апостолов столь выразительны, столь точны, что мы их и видим и словно слышим — мы въяزة воспринимаем срывающиеся с их уст восклицания. Справедлив сделанный исследованием вывод, что и со стороны слова и звука живопись предвещает кинематографический монтаж.

Изменение функции словесно-зрительного контрапункта прослежено в книге вплоть до наших дней: от живописи — к немому кино, от него — к звуковому, а от кино — к телевидению, сделавшему зрителя участником представляемого действия, изображаемой беседы.

Несмотря на небольшой объем, работа М. Андрониковой — законченное, целостное исследование, способное заинтересовать всех, кто следит за сегодняшними поисками эстетической мысли.

В книге, как того требует характер изложения, много иллюстраций; жалеть только, что их качество оставляет желать лучшего, на иных фоторепродукциях трудно что-нибудь разглядеть.

И. Гурвич.

Ташкент.

★

**И. И. ШАФРАНОВСКИЙ.** А. Г. Вернер, знаменитый минералог и геолог. 1749—1817. «Наука». Л. 1968. 198 стр.

«Великий реформатор минералогии», «отец точного направления в науке о камнях», «глава новейшей геологической школы» — так называли при жизни фрейбергского профессора минералогии и горного дела Вернера. Вернер был всесветно знаменит. Среди его учеников были и представители молодой русской геологии. Впрочем, тогда геология вообще была молодой, только рождавшейся наукой.

Слава Вернера вышла далеко за пределы его специальности. Гёте, не оставлявший без внимания, кажется, ни одной области науки о природе, с глубоким интересом следил за знаменитым научным спором начала XIX века о нептунизме и плутонизме, десятилетиями занимавшем мысли ученых мира. Симпатии Гёте в этом споре лежали на стороне нептунистов, сторонников первенствующей роли воды в геологии; великий поэт осмеивал плутонистов, приписывавших эту же роль «подземному огню», и высоко ценил Вернера — создателя нептунизма. Эта горячая заинтересованность Гёте в геологической дискуссии отразилась в его творчестве — в споре Анаксагора и Фалеса из второй части «Фауста», в «Ксениях», в разговорах с Эккерманом. Вернеру Гёте глубоко сочувствовал: «...со смертью этого превосходного человека все в этой науке перевернулось вверх дном, и я перестал заниматься ею открыто и держу про себя свое мнение». Поэт-романтик Новалис, ученик Вернера по Фрейбергской горной академии, оставил поэтические характеристики Вернера, в которых реальные черты ученого превратились в романтический образ Учителя, удивившего своих слушателей в мир подземных сокровищ и природных чудес.

Дальнейшее развитие науки выявило ошибки и преувеличения Вернера. Историки геологии подвергли суровой критике его односторонние утверждения. Уже его самые талантливые ученики А. Гумбольдт и Л. Бух, вначале отстаивавшие позиции нептунистов, впоследствии перешли в лагерь противников Вернера. Но, как справедливо указывает И. И. Шафрановский, в этих спорах выковыивалось современное знание.

В 1967 году столетием от смерти Вернера было торжественно отмечено в ГДР. Появился ряд исследований о роли Вернера в развитии геологии, минералогии, горного дела и металлургии. Известный советский кристаллограф и минералог И. И. Шафрановский, хорошо знакомый читателям также по своим научно-популярным книгам, выпустил читающийся с большим интересом очерк жизни и научной деятельности Вернера. Биография Вернера рассказана Шафрановским на широком историко-научном и бытовом фоне, с привлечением обильных выдержек из трудов самого Вернера и из красочных старинных описаний,

**А. Наркевич.**

**А. ПУЗИКОВ.** Золя. «Жизнь замечательных людей». «Молодая гвардия». М. 1969. 271 стр.

После литературоведческой биографии Эмиля Золя, написанной Анри Барбюсом, нелегко создать увлекательную и в то же время самостоятельную книгу этого жанра, посвященную автору «Ругон-Маккаров». А. Пузиков сумел это сделать. Он настолько владеет большим историко-литературным материалом, что рассказывает о Золя, его современниках, их эпохе с непосредственностью и живостью мемуариста. Книга эмоциональна — отчасти и потому, что автор не только цитирует источники, но и часто использует их в диалоге, во «внутреннем монологе» Золя: мы как бы от него самого узнаем о его переживаниях, «слышим» его мысли, его интонации. Этот прием использован со вкусом, тактично. Изящная литературная форма произведения А. Пузикова тем более ценна, что оно остается литературоведческим по своему характеру, хотя в нем немало и эссеистски-публицистических страниц. При этом А. Пузиков далек от такой популяризации, которая упрощает и схематизирует творчество. И право, исследование, неотделимое в книге от жизнеописания, не стало менее трезвым и серьезным оттого, что оно не изложено сухо и скучновато, как это, к сожалению, бывает.

Эпоха, жизнь и работа Золя проходят перед нами год за годом, и мы видим, как органический демократизм писателя, его активная, страстная натура, пылливость неутомимого исследователя действительности заставляют его всегда быть в движении, бороться с реакцией в обществе и в искусстве, как они направляют развитие его творчества и делают все более чувствительной, бдительной его совесть, все более острое его сознание своей ответственности за будущее родины и человечества. Тот самый Золя, который накануне франко-прусской войны 1870 года атакует в памфлетах II империю и императора, милитаристов и шовинистов, не сможет впоследствии не защитить честь Франции от тех же милитаристов и шовинистов, требуя в прозвучавшем на весь мир заявлении «Я обвиняю!» пересмотреть дело Дрейфуса. И в дальнейшем он не остался бы верным себе самому, если бы не начал все чаще обращаться к социалистическим идеям; изобразив работу в угольных шахтах капиталистической Франции как Дантов ад, он же восславил радостный труд людей, освобожденных от эксплуатации (утопический роман «Труд»).

А. Пузиков показывает, что «научный роман» Золя опирается не только на теорию наследственности, но и на историзм, то есть на науку, без овладения которой настоящий реализм невозможен. Анализируя критику капитализма в «Ругон-Маккарах», «обличительно-реалистический» «стилевой поток», он привлекает внимание читателя и ко второму стилистическому потоку — «лирико-романтическому», нередко остающемуся в



тени. А этот пласт творчества Золя, связывающий его с первым его учителем Гюго, очень важен: он порожден демократическим пафосом Золя, его верой в творческие силы народа, его устремленностью к торжеству гуманизма. Сочетая эти стилиевые потоки, писатель добивался и прочного композиционного единства «Ругон-Маккаров», и впечатления реального движения жизни, ее многообразия, многоцветности. Выделяя поэтическое и светлое не только в творчестве Золя, но и в его личности, характере, жизни, А. Пузиков освобождает облик автора «Ругон-Маккаров» от болезненности фрейдистских комплексов, которые в него привносят иные исследователи.

С тонким психологизмом А. Пузиков обрисовал переживания Золя в те дни, когда он вмешался в дело Дрейфуса, «защищал истину» в борьбе, быть может, стоившей ему жизни (еще не опровергнута одна работа о смерти Золя, автор которой утверждал на основании разысканных им фактов, что Золя погиб от угара потому, что дымоход был закрыт его врагами-шовинистами). И говоря о героической борьбе Золя с лагерем реакции, А. Пузиков пишет: «Как будто кто-то нарочно придумал этот финал, вносящий жизнь романиста. В свете «дела» новыми гранями засверкало его творчество».

А. Пузиков не только обобщил опыт предшествовавших золянистов, но и по-новому осмыслил содержание жизни и творчества Золя.

Н. Миловидова.

★

**М. ЧЕРНЕНКО.** Фернандель («Мастера зарубежного киноискусства»). «Искусство». М. 1968. 144 стр.

Об актерах писать трудно. Трудно даже в тех случаях, когда знаешь актера чуть ли не с первого его появления на сцене или на экране, когда знаком с ним лично, посвящен в его творческие тайны и можешь наблюдать за ним от роли к роли. Особенно трудно писать об актере-иностранце. Здесь и недостаток информации, и необходимость постичь во всей полноте и связях чужую культуру, чужую, а для нас во многом и чуждую, жизнь. Писать трудно, но не невозможно. И маленькая книжечка М. Черненко «Фернандель», выпущенная издательством «Искусство» в серии «Мастера зарубежного киноискусства», еще одно тому доказательство.

Фернандель — один из популярнейших комиков мирового кино — снялся, как свидетельствует приведенная в книге фильмография, в ста сорока фильмах, да еще в многочисленных короткометражках, да в более чем в полсотне телевизионных фильмов. Советский же зритель познакомился с Фернанделем сравнительно недавно и видел его всего в нескольких картинах. Учитывая это обстоятельство, автор мог бы рассказать о неизвестных у нас лентах

Фернанделя, тщательно разобрав одну за другой его работы. Но М. Черненко избрал другую возможность. Он дал не книжку-описание, а книжку-анализ, в которой попытался определить «зерно» творчества артиста, вскрыть самое существо его индивидуальности, обнажить пружины, помогающие Фернанделю вот уже четыре десятилетия оставаться «звездой» мирового экрана.

Одна из таких пружин — демократичность, простонародность искусства Фернанделя. Родословную его М. Черненко выводит из площадного зрелища — из ярмарочного театра. Искусство современного комика он связывает с традицией, идущей от средневекового гистриона, гаера, фарсера. «Наверно, это не самая благородная генеалогия, — замсчает автор. — Но Фернандель не страдает комплексом неполноценности» И пусть десятков картин, в которых снялся артист, забывались тут же по окончании сеанса, в душе зрителя жило воспоминание об этаким недотепе, наивном, нелогичном, неудобном человеке — Иванушке-дурачке, Полишинеле, Пульчинелле, одним словом — о Фернанделе, независимо от того, под каким именем он выступал на сей раз.

Однако не только в этом секрет успеха. М. Черненко исследует еще одну грань артистической личности Фернанделя. Он называет это «комплексом Тартарена». Развивая полужутливое замечание А. Доде — «во Франции все немножко тарасконцы», — М. Черненко убедительно доказывает, что герой Фернанделя — это своеобразный, сегодняшний Тартарен, французский провинциал, с его ограниченностью и мечтами, надеждами, заботами, неустроенностью, страхами. И сила таланта Фернанделя в том, что созданная им маска не остается неизменной, она меняется под влиянием времени так же, как меняется ее прототип — французский обыватель. Очень точно показано в книге, как постепенно в бездумное веселье Фернанделя врываются нотки грусти, потом тоски, а в самых лучших работах артиста за нелепыми перипетиями судьбы его героя раскрывается трагедия маленького человека в большом буржуазном мире.

М. Черненко пишет о Фернанделе, свободно, смело обращаясь со словом, заставляя его не только точно выражать мысль, но и передавать стиль искусства актера — стиль броский, грубоватый.

И все-таки книга эта не только о Фернанделе. В ней много интересных рассуждений о «синема-бис», например, о психологии рядового зрителя, об общих закономерностях искусства. Думается, что нашему читателю, не столь уж хорошо знакомому с французским кинематографом, прочитать книгу М. Черненко будет не только интересно, но и полезно.

Л. Кафанова.

★

**А. ИОЙРЫШ.** Атом и право. «Международные отношения». М. 1969. 222 стр.

Книга А. Иойрыша является первым в советской литературе исследованием, в котором всесторонне рассматриваются правовые проблемы, связанные с мирным использованием атомной энергии.

«Людам безразлично, — справедливо пишет в своем предисловии к книге первый заместитель председателя Государственного комитета по использованию атомной энергии СССР И. Д. Морохов, — какими законами регулируется производство и использование атомной энергии, ибо от этого в огромной степени зависит благополучие человеческого общества».

Человек и атомная энергия, международные отношения и атомная энергия — вот те вопросы, которые призвана изучать правовая наука. Право не может и не должно отставать от современного научно-технического прогресса. Содержательная монография А. Иойрыша охватывает все главные области, связанные с использованием атомной энергии в мирных целях и их правовом регулировании. Это — добыча атомного сырья, использование изотопов, перевозка радиоактивных материалов, патентно-лицензионная политика, защита от ионизирующей радиации, правовой режим ядерных судов, безопасность удаления радиоактивных отходов, ответственность за ядерный ущерб и т. д.

В книге убедительно показано, что в капиталистических странах правовой режим использования атомной энергии призван в первую очередь охранять интересы государственно-монополистического капитала. В отличие от советского законодательства правовыми нормами капиталистических государств защите интересов человека отводятся второстепенное место.

В монографии отчетливо выражен гуманистический подход к вопросам правового регулирования и использования атомной энергии, сделаны четкие выводы о необходимости международного запрещения ядерного оружия и организации широкого сотрудничества народов в мирном применении атомной энергии. А. Иойрыш всесторонне анализирует ряд международных документов, имеющих важное значение для правового режима использования атомной энергии. Его вывод о том, что меры правового характера могут эффективно содействовать предотвращению биологического, радиоактивного и химического заражения, — хорошо аргументирован и основан на глубоком изучении существующей практики международных отношений.

**М. Шафир,**  
доктор юридических наук.

★

**ДЖ. ОРИНГ.** Погода на планетах. Перевод с английского. Гидрометеоздат. Л. 1968. 124 стр.

Двадцать восьмого ноября 1964 года в США был запущен космический корабль

«Маринер-4» к планете Марс, изучению которой американские ученые отводят в своей программе космических исследований весьма важное место.

Дж. Оринг, видный американский метеоролог, посвящает большую часть своей книги описанию полетов космических кораблей «Маринер» к Марсу и Венере. Автор сжато, но в то же время увлекательно описывает методы исследования атмосферы планет, удаленных от Земли на миллионы километров.

Читатель познакомится с метеорологическими и климатическими условиями Марса, Венеры, Меркурия, Урана, Нептуна. Приводятся интересные фотографии, полученные различными обсерваториями и космическими кораблями. Книгу Дж. Оринга с интересом прочтут школьники и студенты, инженеры и научные работники — все, кто интересуется исследованиями Космоса.

**Б. Розен,**  
доцент.

★

**ВОЛДЕМАР БААЛЬ.** Голоса. Рассказы. «Лиезма». Рига. 1968. 124 стр.

Свою первую книгу молодой писатель Волдемар Бааль назвал «Голоса». Голоса моряков, рабочих, геологов, крестьян, студентов, перекликающиеся в тех шести рассказах, которые вошли в этот сборник, услышаны В. Баалем в его собственной жизни, взяты из собственной биографии. Из аннотации, помещенной на суперобложке, мы узнаем, что В. Бааль был и учителем в сельской школе, и шахтером, и слесарем, и матросом и коچهгаром речного парохода. Получив специальность инженера-механика, В. Бааль работал на различных должностях — от мастера до конструктора. Рассказы подтверждают: писатель в равной степени чувствует себя естественно и на корабельной палубе, и в крестьянской телеге, движущейся по размытой осенней дороге.

Но и сам он пробует говорить разными голосами. В маленькой, на четыре печатных листа, книге В. Бааля можно встретить и строгое реалистическое письмо, выдержанное в неторопливом ритме, позволяющем вглядываться и изучать, и бойкий говорок, каким рассыпается беспечный и бывалый (или хотящий казаться бывалым) морячок, — стиль этот все еще любим и нашей молодой прозой, и нашим читателем, не только молодым (рассказ «Капитаны»); и «лирическую прозу», как бы беспредметную, пытающуюся материализовать то, что называется настроением (рассказ «Одной тобой...»). Трудно предсказывать, на каком стиле остановится писатель, какой голос предпочтет, точнее говоря какой голос отстоится как собственный, — во всяком случае он ищет, пробует, — надо надеяться, время покажет, какая манера окажется наиболее результативной. А может быть, он найдет какой-то новый сплав. Последнее — скорее всего.

В. Бааль заметно стремится сопоставить в своем повествовании крестьянскую основательность, «укорененность» людей, работающих на земле, со скользкими, изменчивыми прихотями и судьбами, которые принято считать характерными для XX века. Три лучших рассказа сборника — «Ваня», «Расскажи-расскажи...», «Домой» — интересны и серьезны именно этим сопоставлением. Писатель вовсе не стремится только возвеличить одно и только заклеймить другое. Рассказ «Ваня» (впервые опубликованный в журнале «Юность») завершается ласковым, колыбельно-ласковым напустьем, которое дает парню, уходящему из деревни в институт, уже не его мать, только что с ним протившаяся, а сам автор, понимающий, что Ване надо будет много еще пройти, чтобы дотянуться до матери, о которой сейчас он думает с такой наивной снисходительностью: «Кресло, качалку, картинки...» (так мечтает Ваня обставить будущую счастливую дряхлость матери). «Ну вот мы и пошли,— продолжает автор.— И начался этот путь. Сначала лес, потом станция, потом поезд, потом город... Главное, что начался этот путь, что уже сделаны самые первые шаги. И, между прочим, это очень хорошо, даже знаменательно, что как раз когда мы сделали первые шаги, встало солнце. Вот мы и пойдём с солнцем... Вот и пойдём с солнцем... Вот и пойдём...»

В рассказе «Домой» — обратный путь. В крестьянской телеге несколько попутчиков: одни возвращаются в деревню просто

из-за тоски по родным местам, девушка с ребенком — потому что брошена мужем, а солдат, может быть, начинает тот самый путь, который Ваня начинал, уходя отсюда. Четверо попутчиков и женщина-возница перебрасываются словами, впечатлениями, воспоминаниями — случайными, как будто необязательными, ни к какому ответу они не приходят, да и не стремятся к чему, но возникает в рассказе крепкое единое чувство — тянет людей к обжитости, к общности. А автор спешит это чувство уловить и отстоять — чуть-чуть, может быть, испрещенно, но очень искренно.

Все рассказы этого сборника лиричны, действие в них как будто растворено в потоке авторского чувства даже тогда, когда они четко сюжетны. Но чувство тоже нуждается в содержании, и если это содержание автором не уловлено, растворено в хаосе скользких ощущений, то получается безжизненный пафос, как в рассказе «Одной тобой...». Наоборот, в рассказ «Расскажи-расскажи...» будничные подробности заводского быта и житейских неурядиц никак не мешают пробиться ироничному голосу автора, развенчивающему праздничное обаяние бродяги Налимова.

Писатель ищет, пробует; в поисках плодотворной устойчивости ему тем более необходима осмотрительность и выдержка, ему действительно доступны разные голоса.

**И. Борисова.**



# КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

★

## ПОЛИТИЗАТ

**Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине.** В пяти томах. Том 4 (1920—1924 гг.). 487 стр. Цена 1 р. 27 к.

**Справочный том к Полному собранию сочинений В. И. Ленина.** В двух частях. Часть I. 730 стр. Цена 1 р. 61 к.

**История Коммунистической партии Советского Союза.** Изд. 3-е, дополненное. 736 стр. Цена 1 р. 13 к.

**Мир социализма в цифрах и фактах.** 1968. Справочник. 144 стр. Цена 17 к.

**А. Титаренко.** Мораль и политика. Критические очерки современных представлений о соотношении морали и политики в буржуазной социологии. 264 стр. Цена 34 к.

## «ЭКОНОМИКА»

**А. Лебедь, М. Доветов, Ю. Аристархов.** Материально-техническое снабжение и сбыт в современных условиях. 255 стр. Цена 1 р. 15 к.

**С. Михайлов.** Мировой океан и человечество. 399 стр. Цена 1 р. 57 к.

**Н. Панченко, А. Гош.** Пропорции расширенного воспроизводства в колхозах. 215 стр. Цена 81 к.

**Проблемы народнохозяйственного оптимума.** Сборник трудов под редакцией А. Аганбегяна и К. Вальтуха. 359 стр. Цена 1 р. 30 к.

## «СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

**П. Антокольский.** Повесть временных лет. Поэмы и стихотворения. 222 стр. Цена 57 к.

**Ф. Вигдорова.** Дорога в жизнь.— Это мой дом.— Черниговка. Повести. 735 стр. Цена 1 р. 47 к.

**А. Генатулин.** Рябиновая гора. Рассказы. 215 стр. Цена 36 к.

**Т. Игумнова.** Шаги времени. Роман в 3-х частях. Цена 1 р. 8 к.

**М. Колосов.** Зеленый Гай. Рассказы. 205 стр. Цена 28 к.

**Ф. Колунцев.** Ожидание. Роман. 320 стр. Цена 51 к.

**Д. Максимов.** Брюсов. Поэзия и позиция. 240 стр. Цена 56 к.

**Э. Межелайтис.** Ночные бабочки. Монолог. Перевод с литовского Б. Залесской и Г. Герасимова. Стихи в переводе Д. Самойлова. Эпизод в переводе Ю. Левитанского. 400 стр. Цена 60 к.

**Д. Мулдагалиев.** Степной загар. Стихи и поэмы. Перевод с казахского. 183 стр. Цена 66 к.

**В. Нечаев.** Вечер на краю света. Повести и рассказы. 224 стр. Цена 34 к.

**В. Садай.** Запахи тумана. Повести и рассказы. Перевод с чувашского. 215 стр. Цена 48 к.

**А. Саксе.** Трудовое племя.— Искры в ночи. Романы. Перевод с латышского. 688 стр. Цена 1 р. 21 к.

## «ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

**Ш. Абдыраманов.** Мои знакомые.— **К. Бубулов.** Девушка с юга.— **Т. Касымбеков.** Хочу быть человеком. Повести. Перевод с киргизского. Предисловие Ч. Айтматова. 304 стр. Цена 64 к.

**В. Белшевиц.** Стихи о соловьином инфаркте. Перевод с латышского. 143 стр. Цена 43 к.

**Г. Гессе.** Игра в бисер. Роман. Перевод с немецкого. Редакция перевода, комментарии и перевод стихов С. Аверинцева. Цена 1 р. 78 к.

**И. Гончаров.** Обломов. Роман. Вступительная статья Е. Краснощековой. Цена 1 р. 5 к.

**М. Джалиль.** Моабитская тетрадь. Стихи. Перевод с татарского. 184 стр. Цена 80 к.

**Э. Джрбашян.** Поэзия Тумаяна. Перевод с армянского. 280 стр. Цена 70 к.

**Квартет.** Новые голоса Южной Африки (Ричард Фив, Алекс ла Гума, Джеймс Мэтьюз, Алф Ванненберг). Перевод с английского. 144 стр. Цена 36 к.

**Я. Крацохвил.** Истоки. Роман. Предисловие Иржи Тауфера. 672 стр. Цена 2 р. 4 к.

**Д. Марков.** Болгарская литература наших дней. 176 стр. Цена 59 к.

**В. Маяковский.** Стихотворения. Поэмы. Пьесы. Вступительная статья Ал. Суркова. Примечания Ф. Пицкель. 736 стр. Цена 1 р. 81 к.

**В. Панова.** Собрание сочинений в пяти томах. Том I. Спутники. Повесть.— Кружильиха. Роман. 448 стр. Цена 1 р. 5 к.

**Премчанд.** Ратный путь. Рассказы. Перевод с хинди и урду. 596 стр. Цена 37 к.

**А. Прокофьев.** Приглашение к путешествию. 256 стр. Цена 84 к.

**А. Сарсенбаев.** Берег моей молодости. Стихи. Перевод с казахского. 239 стр. Цена 71 к.

**А. Толстой.** Хожение по мукам. Трилогия в двух томах. Том 1. Книга 1. Сестры. Книга 2. Восемнадцатый год. 591 стр. Цена 1 р. 14 к. Том 2. Книга 3. Хмурое утро. 384 стр. Цена 81 к.

**И. С. Тургенев в воспоминаниях современников.** В 2-х томах. Составление и подготовка текста С. Петрова и В. Фридлянд. Том 1. 583 стр. Цена 1 р. 21 к. Том 2. 592 стр. Цена 1 р. 18 к.

**Б. Эйхенбаум.** О прозе. Сборник статей. Составление и подготовка текста И. Ямпольского. Вступительная статья Г. Бялого. 504 стр. Цена 1 р. 28 к.

## «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

**Владимир Ильич Ленин.** Стихи. Редактор-составитель Я. Шведов. 367 стр. Цена 1 р. 29 к.

**А. Марьямов.** Донисенко («Жизнь замечательных людей»). 383 стр. Цена 94 к.

**Б. Слуцкий.** Современные истории. Новая книга стихов. 159 стр. Цена 42 к.

**И. Снегова.** Избранная лирика. Предисловие А. Туркова 32 стр. Цена 12 к.

**Фантастика, 1968.** Сборник. 349 стр. Цена 77 к.

**М. Шагинян.** Билет по истории. Эскиз романа. 31 стр. Цена 16 к.  
**И. Шоу.** Солнечные берега реки Леты. Рассказы. Перевод с английского А. Симона. 222 стр. Цена 52 к.

#### «НАУКА»

**А. Желуховцев.** Хуабань — городская повесть Средневекового Китая. Некоторые проблемы происхождения и жанра. 200 стр. Цена 73 к.

**Из истории Международного объединения революционных писателей (МОРП)** («Литературное наследство», т. 81). 680 стр. Цена 3 р. 80 к.

**Пушкин.** Исследования и материалы. Том 6. Реализм Пушкина и литература его времени. 308 стр. Цена 1 р. 94 к.

**Рабочий класс СССР. 1951—1965 гг.** 559 стр. Цена 2 р. 45 к.

**К. Рудницкий.** Режиссер Мейерхольд. 527 стр. Цена 2 р. 97 к.

**Успехи современной генетики.** Сб. 2. Ответственный редактор Н. П. Дубинин. 256 стр. Цена 1 р. 73 к.

**И. Юдина.** Н. Г. Гарин-Михайловский. Жизнь и литературно-общественная деятельность. 238 стр. Цена 1 р. 3 к.

#### «ЮРИДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

**А. Абрамова.** Дисциплина труда в СССР (Правовые вопросы). 176 стр. Цена 60 к.

**С. Корнеев.** Имущественная самостоятельность предприятий в условиях экономической реформы. 104 стр. Цена 19 к.

**А. Рябинин.** Оплата труда работников здравоохранения 88 стр. Цена 15 к.

**Теория государства и права.** Библиография 1917—1968 гг. Составитель М. Кулажников. 372 стр. Цена 1 р. 12 к.

#### «ИСКУССТВО»

**Е. Габрилович, Ю. Райзман.** Твой современник. Сценарий. 128 стр. Цена 36 к.

**Д. Грегор.** «Черномазый». Автобиография. Написана при участии Р. Липсайта. Перевод с английского. Вступительная статья Б. Стрельникова. 167 стр. Цена 1 р.

**А. Монтего.** Мир фильма. Путеводитель по кино. Перевод с английского. Вступительная статья Г. Козинцева. 279 стр. Цена 1 р. 37 к.

**В. Сахновский-Панкеев.** Драма. Конфликт. Композиция. Сценическая жизнь. 232 стр. Цена 1 р. 13 к.

**Л. Столович.** Категория прекрасного и общественный идеал. Историко-проблемные очерки. 352 стр. Цена 1 р. 54 к.

**Тирсо де Молина.** Комедии. В 2-х томах. Перевод с испанского. Вступительная статья В. Силюнаса. Том 1. 343 стр. Цена 93 к. Том 2. 431 стр. Цена 1 р. 6 к.

#### «ПРОГРЕСС»

**Э. Вериссимо.** Господин посол. Роман. Перевод с португальского. 424 стр. Цена 1 р. 35 к.

**Ц. Кристанов.** За свободу Испании. Мемуары болгарского коммуниста. Перевод с болгарского. 335 стр. Цена 1 р. 36 к.

**Ч. Лодойдамба.** Прозрачный Тамир. Исторический роман. Перевод с монгольского. 488 стр. Цена 1 р. 67 к.

**А. Труайя.** Семья Эглетьер. Роман. Перевод с французского. 301 стр. Цена 79 к.

**Я. Щепанский.** Элементарные понятия социологии. Перевод с польского. 240 стр. Цена 94 к.

#### «МИР»

**Музы в век звездолетов.** Сборник научно-фантастических рассказов. Переводы. 374 стр. Цена 83 к.

**Э. Нортон.** Саргассы в космосе. Научная фантастика. Перевод с английского. 230 стр. Цена 53 к.

**Дж. Уотсон.** Двойная спираль. Воспоминания об открытии структуры ДНК. Перевод с английского. 152 стр. Цена 35 к.

#### МЕСТНЫЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА

**Г. Апресян.** Ораторское искусство. Издательство Московского университета. 160 стр. Цена 52 к.

**Голоса пяти городов.** Сборник стихов. Воронеж. Центрально-Черноземное книжное издательство. 159 стр. Цена 59 к.

**М. Лассила.** За спичками.—Манассе Яппин.—Сверхумный.—Воскресший из мертвых. Повести. Перевод с финского. Петро-заводск. «Карелия». 520 стр. Цена 1 р. 52 к.

**Подвиг века.** Художники, скульпторы, архитекторы, искусствоведы в годы Великой Отечественной войны и блокады Ленинграда. Воспоминания. Дневники. Письма. Очерки. Литературные записи. Автор-составитель Н. Паперная. Ленинград. Лениздат. 391 стр. Цена 2 р. 27 к.

**Л. Рейнус.** Достоевский в Старой Руссе. Ленинград. Лениздат. 78 стр. Цена 9 к.

**Р. Рза.** Ленин. Поэма. Перевод с азербайджанского А. Тарковского. Баку. «Гянджлик». 236 стр. Цена 1 р. 70.

**Сулейман Стальский** в критике и воспоминаниях. Сборник статей, очерков и заметок. Махачкала. Дагкнигоиздат. 212 стр. Цена 41 к.

**Б. Трубецкой.** Овидиев венец. Пушкин в Молдавии. Кишинев. «Нарта молдовеняскэ». 108 стр. Цена 30 к.

**О. Туманян.** О России и русской культуре. Статьи и письма. Ереван. «Айастан». 126 стр. Цена 15 к.

**Э. Хемингуэй.** Репортажи. Перевод с английского. Издательство Московского университета. 203 стр. Цена 80 к.

Главный редактор **А. Т. Твардовский**

Редакционная коллегия:

**Ч. Айтматов, И. И. Виноградов, Р. Г. Гамзатов, Е. Я. Дорош, А. И. Кондратович** (зам. главного редактора), **А. А. Кулешов, В. Я. Лакшин, А. М. Марьямов, И. А. Сац, К. А. Федин, М. Н. Хитров** (ответственный секретарь)

Редакция: Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. 299-81-77.  
 Почтовый адрес: Москва, К-6, пл. Пушкина, д. 5.

Сдано в набор 26/IX 1969 г. Объем 18 п. л. Подписано к печати 24/XII 1969 г.  
 Формат бумаги 70×108/16. 27,87 уч.-изд. л. 9 бум. л. (25,2 усл. печ. л.)  
 А 10850. Зак. 3378. Тираж 127.250 экз.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва. Пушкинская пл., 5.



Цена 70 коп.

70636